1 р. 90 к. Индекс 70331

В 1991 ГОДУ «ЗНАМЯ» ПУБЛИКУЕТ:

Продолжение «Воспоминаний» **А. Д. САХАРОВА**

Георгий ВЛАДИМОВ. Генерал и его армия. Роман

Олег ЕРМАКОВ. Заклинание против вепря. Повесть

Франц КАФКА. Письма Милене

Виктор КОЗЬКО. Спаси и помилуй нас, черный аист. Повесть

Анатолий КУРЧАТКИН. Реквием. Повесть

Владимир МАКАНИН. Долог наш путь. Повесть

Амоз ОЗ. До самой смерти. Роман

Евгений ПОПОВ. Ресторан «Березка»

Анатолий ПРИСТАВКИН. Рязанка. Повесть

Александр ТЕРЕХОВ. Зимний день начала новой жизни. Повесть

Николай ШМЕЛЕВ. Сильвестр. Роман

Артур ХЕЙЛИ. Вечерние новости. Роман

ISSN 0130-1616. Знамя. 1991. № 2. 1—240.

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1991

Февраль



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

Содержание

2

ФЕВРАЛЬ
1991

Москва
Издательство
«Правда»

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя».

Геннадий Русаков

ВРЕМЯ БОЛИ

* * *

По слухам, нынче смутны времена.
Полпуда гречки запасла жена.
Продержимся, не завелись бы мыши.
Опять Отрепьев бродит за Окой —
конечно, вор, но с манкой и мукой.
И мыла девкам обещала Мнишек.

Я плачу над страницами времен,
в которых жил, и помню сто имен
моих расстриг с перекаленной бровью.
Мне на душеспасителей везло:
они с колом добро вели на зло.
А завершалось, как обычно, кровью.

Ей-богу, нет беспомощней страны,
где все по беззащитности равны
перед рукотворимою судьбою!
И я дожил почти что до седин,
а все пути наставились в один:
от слова — к делу, то есть к мордобою.

Такой большой, такой нелепый век...
Я жил, я жив, а те осели в снег,
пошли в распыл, в усушку и усечку.
Что ж, продолжайте, скорбные мои:
вершите казни, празднуйте бои...
А я пойду и пересыплю гречку.

* * *

Людмиле Копыловой

Так птица воздух пьет и солнце ловит в луже.
Так женщина идет на легких крыльях ног.
Так я хотел бы жить — не лучше и не хуже.
Так я хотел бы жить, и никогда не мог.
Пусть женщина-дитя меня научит слогу,
как будто я немой и пальцами сучу,
как будто сорок лет ищу к себе дорогу,
а нынче отыскал — и видеть не хочу.
Что, Ева, что, жена? Опять приснился Авель...
Перевернись к стене, я тут, я сторожу.
Эдем отгомонил, на тропах конский щавель
и яблони в траву отряхивают ржу.
Непрошеная жизнь мне веки разлепила

две тыщи лет назад, и я перетерпел.
Я сеял и пахал, обстругивал стропила,
но кладку бытия закончить не успел.
Чем старше, тем душа бесстыдней и вольнее...
Я растерял детей и позабыл их след.
Целу́ю жизнь мою! Останусь только с нею!
И губы разнесло, как в девятнадцать лет.
Всё: стыд, гордыню, страх — как рубище, сдираю:
вот время простоты, смотрите, кто я есть —
соратник бытия, почти ровесник раю,
пометками творца исчерканная десть.
...Чернее сапога, блестя холодной кожей,
река течет во тьму — все мускулы внутри.
Еще не Лета, нет, — как будто непохоже,
на отмелях еще играют пескари.
Молчание в полях, и непромыты звезды.
И только над водой, раскрыв ее до дна,
качается, стоит, воронкой кружит воздух,
и Божья высота в отверстие видна.
Какая боль в любви к живущим с нами рядом!
Какая боль в любви!.. И жалко уходить,
когда глаза еще полны библейским садом
и хочется птенца на ветку подсадить.
Спи, Ева, спи, дитя, вторая половина,
увечное ребро, два голоса — в одном.
На мне мои вины. А женщина невинна.
И Каин по ночам проходит под окном.

* * *

Как мне хочется выйти, уйти, перестать и не быть —
никому, ни о ком, или волком завыть на балконе!
Перестать и не помнить, а лучше — не ждать, не любить
в этом городе тлена и ранней растительной вони.

У меня только горло и сердца тяжелый комок.
Отпустите меня, я не знаю ни слова, ни дела.
Я бы все вам отдал, если б что отдавать еще мог —
у меня только горло и сердцу ненужное тело.

Я никулинских кущей последний безумный чирок:
для чего он орет и шестую весну прилетает
на проржавленный скрап, под стройбатовский мат-говорок,
и орет за оврагом, и воздух кусками хватает?

* * *

Но нет во мне тоски, старик, пророк Исайя!
Я нынче лягу спать, не дочитав твой плач.
И снова через луг, в пространстве провисая,
откатится гроза куда-то на Калач.

Пора осенних мух ощупывает стекла.
Архангелы уже закончили страду.
Ладони их тверды и соль в бровях намокла.
Докурят и уснут у Бога на виду.

Затих мой Вавилон, назначенный к разору,
листая нонпарель районного листка,
покуда шаткий свет по нитке лезет в гору
под скрежет передач и вой грузовика.

Молчи, старик, молчи! И я ревную время,
и рад бы удержать на привязи травы.
Но ты договорил, а я всего лишь семя
от пятого стиха двенадцатой главы.

* * *

Я книгу отложил — мне непосильны книги.
Библиотека, магазин, ларек —
могильники судеб, всезнания вериги,
растворы аквавит, залитых в пузырек.

Вся эта страсть и срам, концы и начинанья —
зачем они, зачем? Чужая боль болит.
Я больше не хочу уроков вспоминанья.
Мне ближе пересказ — он времени главлит.

И вам не нужен сор латыней и кириллиц:
им занозил глаза — потом не ототрешь.
В строке шуршанье лап и копошенье рылец,
и правда неправа, и неподкупна ложь.

Я памяти лишен и вижу на полшага.
Но все равно болит! Куда б ни поглядел —
полубезумен шрифт и корчится бумага,
и крошево судеб размолото в продел.

* * *

Я устал от моей непомерной страны,
от ее расстояний — длины, ширины.
От концов, позабывших начала.
Шапку в руки — спасибо, кормила-ждала.
Вытру губы, полой потрясу у стола...
Отгостил, как сама назначала.

А июльские моли порхают трухой.
А родная земля не бывает плохой —
просто боль в непосильном искусе.
Я персты наложил, по костяшкам стучу,
я ее через пальцы услышать хочу.
Только что ей от этих перкуссий!

Дочь взрослеет, почти источилась жена.
Семерых пережил и забыл имена.
Снится нищая бабка-старуха.
Не хочу так жалеть ни родных, ни калек,
потому что я тоже засажен в мой век,
как турунда в отитное ухо!

Ну, и кто мне теперь, и куда, и к кому?
А никто: все равно ничего не пойму
в этом душном и перхотном лете.
Ты другого найдешь, поцелуешь в уста,
сплюнешь в сторону, прянешь — и снова чиста...
Ой, родимые, страшно на свете!

* * *

Пятидесятилетний человек,
не ставший взрослым
(как, впрочем, поколения других),
любивший и любимый,
муж, отец,
совслужащий с проверенной анкетой,
боящийся парторгов и вахтеров, замзавов, продавцов, кадровиков — вершителей и стрелочников судеб,
прокуренный, с передними зубами, стесавшимися от пенковой трубки,
старавшийся всю жизнь не лгать, но понимавший, что трусость управляема, и с кукишем в кармане не проживешь,
полуглухой — за левым ухом шрам от радикальной операции, которой меня спасал могучий Цукерберг,
боящийся грядущих перемен,
две трети жизни живший переводом чужого слова — письменно и устно,
но все же, как сквозь стиснутые зубы, зачем-то сочиняющий стихи, —
я говорю вам,
что не буду убивать других людей и бить по головам ни за свою и ни за вашу веру,
что я вам не товарищ при расчетах и не судья, вину других не знаю и не берусь ее определять,
что я дожил до времени стыда,
что я не верю новообращенным,
что вам не надо звать меня на площадь, где злоба злобе машет кулаком,
что я не знаю, как мне дальше жить, —
я говорю вам, милые мои,
страшась, как все напуганные люди, лишенный чувства самоуваженья, которое доступно лишь свободным,
что я приемлю все мои вины,
а боль мою давно сказал Исайя,
и мне осталось только умереть,
поскольку в этом мире невиновных
лишь я один так страшно виноват.

* * *

Будут жены стенать, задыхаться рыданьем и криком.
Лес войдет в города и на площади кинет зверье.
И в моем неоглядном, в отечестве, трижды великом,
совершится глумленье и распря во имя твое.
И какой-нибудь Авдий, какой-нибудь пьяный Исайя
станет с крыши вещать о пришествии страшных времен.
И, твои благодатные руки кусая,
назовет тебя худшим из низких и стыдных имен.
Все пророки безумны и равно в пророчествах схожи,
будто ты им когда-то показывал то же кино.
Но меня-то, меня-то не надо испытывать, Боже!
На твоей перфоленте давно уже все учтено.
Пусть я лучше уйду до прихода разора и смуты,
не увижу, не вспомню тобой уготованных лих.
И к ладоням твоим наклонюсь, чтобы выпить цикуты.
Наклонюсь, чтобы выпить. Но лишь из ладоней твоих.

* * *

Раскрыты пепельные воды.
На пустоплесье тишина.
Такие волглые погоды.
Такая долгая страна.

Древесный уголь скорой ночи
проводит первую черту.
И в небе ласточка стрекочет,
и умирает на лету.

Я отспешил, я встал и замер,
Меня не ждут и не зовут.
Мои осенние рязани
на легкой лодочке плывут.

Гудит в ушах от ожиданья.
Сырой кугой забросан плёс.
И ночь надстраивает зданье
кусками выгнутых полос.

* * *

Когда она, запев дырявым горлом,
пойдет путем расстриги Аввакума,
в срамной рубахе, раздирая струпья,
прекрасна невменяемым лицом,
я обрету последнюю свободу
того, кто все на свете потерял,
и, тоже наг, похабен, безрасчетен,
завою песнь моей прощальной воли:
о городах, загаженных разбоем,
об озвереньи сыновей, о крови,
о пепле, заметающем подворья...
И будет страшен грязный мой язык.
О, страшен, люди! Страшен, словно время,
скликающее воронов и судей,
живущее восторженным раздором,
безумьем площадей и мужеложством...
Да, словно время с воспаленным лбом!
А я один пойду за нею следом,
крича ей через слезы: — Мати, мати,
кому теперь я нужен на земле?

* * *

Последней прелестью прекрасная страна
в канун разоров, мятежей и мора
лежит и слушает, и шепчет имена
пятнадцати столиц, как имена укора.

Имперской нежностью мне стискивает грудь —
я тоже по земле ходил державным шагом.
Ах этот шелковый, бухарский этот путь,
и ветер Юрмалы с напругом и оттягом!

Я малой малостью на свете не владел,
но жалко общности... Земли всегда хватало.
Переточилась нить и близится предел
единству языка и рыхлого металла.

Прощай, империя. Я выучусь стареть,
мне хватит кривизны московского ампира.
Но как же я любил твоих оркестров медь!
Как называл тебя: «Моя шестая мира!»

* * *

Падает птица в колодец двора —
это у птицы такая игра.
Господи боже, неужто пора?

Милая птицей по небу плывет.
Милая где-то на небе живет.
Встану к окну, наклонюсь, позову:
— Милая, славно я нынче живу?

* * *

Опять гудит гоньба и мечутся народы.
Отболевает век и кровь идет на кровь.
Последние мои, недобранные годы!
Вы злы и тяжелы, как поздняя любовь.

Что делать со страной, лишенной чувства меры?
Опережая срок, вот-вот сорвется в мах.
И снова будут петь районные гомеры
ахейскую татьбу и рыжих андромах.

Не соблазняй меня соблазном повторенья!
Я рано пролистал письмовники времен.
Напрасно слышит слух. Напрасно видит зренье.
Напрасен пересчет названий и имен.

Нет правых на земле. И я мой век обидел.
Опять гудит гоньба. Зачем — в который раз?
Я это все уже когда-то где-то видел...
Но слушаю слепцом записанный рассказ.

* * *

Одинокие люди, я вам посылаю привет!
Мы отныне родня и уже не забудем друг друга.
Позовите меня — у меня никого больше нет.
Я ладони разжал, чтобы выйти из общего круга.

Я у Господа Бога в стеклянном сосуде сижу,
ничего не умею и галочкой дни помечаю,
просеваюсь дождями, любимое имя твержу
и не чаю уйти... И не чаю, родные, не чаю.

* * *

Ничего уже не будет:
всё, что было — позади.
Это ветер губы студит.
Это век меня паскудит.
Ну и ладно. Проходи.

Что ни год — свиное рыло.
Мне ни горше, ни больней.
Там поминки, здесь могила...
Это, в общем, тоже было.
Не столетье — сорок дней.

Как мне жить на этом свете?
Прибери меня, Господь.
Пусть блудят и те, и эти —
я за время не в ответе,
я его больная плоть.

Спит в земле моя защита...
Ни к чему мне этот век.
Тихо-тихо сеет сито.
Ну и ладно. Жизнь прожита.
И назавтра стает снег.

Михаил Кураев

ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ

ПОВЕСТЬ

Брату Сергею

Краткая, но выразительная жизнь Пети дня четыре занимала весь поселок Нива-III. Ко дню похорон новость как бы устарела и утратила свою занимательность, так как не несла в себе ничего загадочного. Куда интересней была последовавшая вскоре за ней смерть полковника Богуславского, которому еще предстоит выбежать на страницы этого рассказа в боевых галифе и домашних тапочках на заснеженную Кировскую аллею с ТТ в руках ровно в половине второго днем 26 марта. Смерть же Пети, ставшая негромкой новостью обширного поселка в трех километрах от Кандалакши, обойдя бараки и двухэтажные из бруса сложенные дома итээровцев, перекинулась в военный городок, где уже не Петя был представляющим интерес героем, а солдатик Черемичный, солдатик невыразительный и даже на вид какой-то золотушный. По мнению командира роты капитана Топольника, для строя этот самый Черемичный был мало пригоден, за три года службы он так и не сумел форму, надетую на него Родиной, наполнить сколько-нибудь достойным бойца содержанием: и гимнастерка, и шаровары, и шинель были на нем какие-то обмяклые, будто он только что вышел из больницы, где похудел до неузнаваемости. И что самое удивительное, Черемичный, не умевший толком попасть в поясную мишень ни лежа, ни с колена, ни тем более стоя, свалил Петю первой же очередью, правда, с небольшого расстояния. Происшествия со смертельным исходом, если за это никому не надо отвечать, недолго живут в устных гарнизонных преданиях. История жизни и, главным образом, интересной все-таки смерти через военный городок, разделявший поселок Ниву-III с Кандалакшей, перекочевала в город, и через неделю уже вся Нижняя Кандалакша пересказывала какую-то несусветицу, где переплелись времена и события, вовсе не имеющие к Пете никакого отношения, и затухая, уже морем, поблекшая новость докатилась аж до Лувеньги, где вздохом Анастасии Павловны Лопинцевой: «Все у них не слава богу»,— и была подведена последняя черта и поставлена точка в земной памяти о жизни и смерти Пети. Значительно дольше, месяца с полтора, держалась память о Пете на разъездах Ручьи и Проливы, расположенных невдалеке от Кандалакши по южному направлению Кировской железной дороги.

С разъезда Ручьи в Кандалакшу, а вернее, в расположенный в трех километрах от Кандалакши поселок Нива-III, ездила стирать в итээровских домах рябая и жилистая Валентина Репишева, мать троих детей, женщина молодая и крепкая. С собой она, как правило, привозила, сколько могла привезти, бруснику и моченую морошку, обратно везла продукты, что дадут из одежды и новости, оживлявшие ненадолго общественную жизнь на тесно связанных друг с другом разъездах Ручьи и Проливы.

Если у историков, уставших от грохота побед и маршей, от костров, набатов и зарниц, возникнет когда-либо на досуге сознание необходимости описать краткую жизнь и неожиданную смерть Пети, то им можно было бы настоятельно рекомендовать, в качестве источника наиболее досто-

верного, чисто объективного, рассказы Валентины Репишевой, знавшей Петю лично и слышавшей от итээровских дам о том, как был убит и похоронен Петя. После стирки и уборки ее кормили и, как свежего в поселке человека, угощали наиболее интересными новостями. «Ты сколько у нас, Валечка, не была? две недели? а мы тут такое пережили, просто ужас...» Распаренная работой Валентина, источая в ту зиму еще и запах переполненных молоком грудей, поспешно ужасалась, но слушала не очень внимательно, соображая, как она будет добираться до станции, в какие магазины успеет, и, смахивая обязательную слезу, успевала тем же жестом поправить рыженькие прядки негустых волос, наскоро скрученных после работы, а теперь расползающихся во все стороны. Валентина помнила, как раза три-четыре Петя останавливал шедшие в Кандалакшу с Нивы-III машины и предписывал водителю доставить груженную неподъемными мешками Валентину до станции. Валентина слушала рассказы о Петиной смерти не очень внимательно вовсе не от черствого сердца и не оттого, что забыла Петины услуги или больше в них не нуждалась, просто не было у нее роскошной возможности, как у других дам из поселка, с толком предаться печали: приходилось по-быстрому прикидывать, что ей дадут из обещанного для детей, поскольку обещали всегда чуть-чуть больше, чем давали: «Завалилось куда-то, Валюша, в следующий раз найду и все подсоберу...» Приходилось соображать, тащить ли то, что дадут, с собой в магазин и оттуда на станцию или оставить здесь, а потом уже, после магазина, забежать и лететь прямо к поезду. Про Петю Валентине рассказывали во всех шести квартирах, взятых ею под свое покровительство. И что поразительно, во всех рассказах совпадали даже подробности, что является лучшим свидетельством достоверности: значит, никто из рассказчиц не был ни в малейшей степени заинтересован ни в приукрашивании жизни и смерти Пети, ни особенно в сгущении красок, в чем сказалось, скажем так, благотворное влияние лучшей литературы начала пятидесятых годов. А скорее всего, просто не было никакой выгоды в том, чтобы искажать правду, поэтому и говорили все как есть, иначе не удержались бы и обязательно приврали в ту или другую сторону.

А сгущать краски и преувеличивать случившееся поселковым дамам не позволял хороший вкус.

Все подчеркивали, что «этот несчастный» был убит на том самом месте, где Гришка Ланзенгер убил своего отца. Историю о том, как позапрошлым летом начальник шестого участка пошел с сыном пострелять из мелкашки, стал поправлять консервную банку, по которой стреляли, а Гришка выстрелил и убил отца, Валентина много раз тоже слышала и знала хорошо. Теперь, в связи со смертью «этого несчастного», дамы обязательно подчеркивали: «Почти на том же месте...», «На том же самом месте...», «Буквально на том же месте...» — и все это для того, чтобы сообщить малоинтересному в смысле поучительности событию некоторый мистический, оригинальный оттенок, столь необходимый для дам, имеющих все моральные и физические основания быть надежно защищенными от всяческих опасностей в этой жизни, в том числе и от труднообъяснимых. Да, да, пристрастие настоящих дам к мистическому, таинственному и необъяснимому, пристрастие, разумеется, неосознанное, как и множество других пристрастий, было продиктовано бессознательной потребностью заявить о своей хрупкости и незащищенности, с одной стороны, и, с другой стороны, напомнить о долге тем, кто взял на себя ответственность и обязанность ограждать, укрывать и обеспечивать существа беззащитные перед лицом непредсказуемых и таинственных стихий.

Понимаю, милые дамы, понимаю! вам так хотелось, чтобы обязательно «буквально на том же месте», тогда место становится роковым и ужасаться можно почти по-настоящему. Должен вас огорчить и внести существенную поправку: в отличие от множества других исторических лиц Петя не нуждается ни с какой точки зрения в искажении фактов его биографии, по крайней мере тех, что худо-бедно сохранились. Ни в интересах политики, ни в интересах высокой морали, или даже в интересах самой поэзии нет смысла держаться за вранье, придуманное лучшими дамскими умами поселка. Гришка Ланзенгер убил своего отца почти у Медвежьей Пади, а Петю свалили аж за 14-м ручьем, уже за Поляной, звон где! за той самой огромной плешиной, косо поднимавшейся к подножию горы

Крестовой, восточным склоном обрывавшейся в Медвежью Падь, а западным — плавной седловиной перетекающей в округлую вершину под названием Бабий Пуп. Название, надо сказать, не очень и оригинальное на фоне Большого и Малого Каракваййиша, что по-фински или по-лопарски и означает ни много ни мало — Большие и Малые Женские Груди. Так вот, Петю убили не за взрывскладами, расположенными на нежилом берегу речки Нивы, в километре от моста, взрывсклады остались и далеко сзади и много левей, а там, где Поляна кончается и, у подножия Крестовой, начинается еловый лес, рослый и непроглядный. Здоровенные лесины, одна к другой, так стеной и стоят до половины довольно-таки крутого склона, а дальше уже идет совершенно голая каменистая земля с карликовыми березками, утрамбованная и зализанная крепкими полярными ветрами. В складках же этой совершенно открытой, из поселка с того берега кажущейся округлой вершины сопки даже в июле и августе можно было видеть прошлогодний снег, лежавший там в самом прямом, а не аллегорическом смысле. Разъяснение места, где был убит автоматной очередью Петя, совершенно необходимо вовсе не для отыскивания неточностей в мимолетных преданиях хранящей множество тайн кольской земли, а лишь для того, чтобы представить себе, откуда пришлось Петю нести, поскольку никаких дорог, кроме тропинок, в этих местах не было, а ближайшая дорога, отчасти выложенная гатью, начиналась у взрывскладов, то есть в добрых двух километрах от места происшествия.

Вот за исключением этой детали можно дальше во всех подробностях положиться на рассказ Валентины Репишевой, от нее можно было бы узнать, что мать Пети действительно считала, что хоронить сына должны военные, раз они его убили, но никаких убедительных резонов, кроме того, что от покойницкой при больнице, куда был временно помещен Петя, до кладбища самый короткий путь все равно лежал через военный городок, привести она не могла. Зато в военном городке пообещали помочь с гробом.

Командир роты, где служил солдат Черемичный, в наказание за промах, за ошибку приказал солдату своими руками построить для погибшего гроб. Черемичный был отправлен в гарнизонную столярку, где под насмешливыми замечаниями настоящих мастеров своего дела сколотил из неструганых досок что-то несусветное. Однако этот сосновый саркофаг востребован не был, поскольку в то же самое время в гараже Нивагэса был сколочен отличный гроб из легоньких сухих досочек от кузовов двух списанных полуторок, доски хранили запах бензина и дорог. О лучшем Петя не мог бы и мечтать. Вообще получилось так, что похороны и даже поминки взял на себя гараж, неофициально, конечно, и не в полном составе, а лишь те, кто не мог упустить как бы законного повода для прогула и уж совершенно законного — для пьянки. И вообще на поминках собралось даже больше народу, чем было на похоронах. К тем семи, что были от гаража, добавились еще двое из милиции, Копытлов и Многолесов, затянутые на скорбные торжества с приговоркой: «Вашего хоронили...» — так что тем некуда было деться, а в преддверии весеннего техосмотра такое общение, с Копытловым и Многолесовым особенно, было и своевременным и полезным.

Странно было смотреть на Петину мать, когда она моталась по начальству между поселком и военным городком, пристраивая своего покойника, потому что видеть ее без Пети было совершенно непривычно. Петю без матери при жизни видеть можно было сколько угодно, но вот Петину мать никто бы и не заметил, если бы рядом с этой крошечной, как пчелка, женщиной без возраста и лица, одетой, как правило, не по сезону, большей частью в худое платье или ватник гранитного цвета, не было длинного и плоского, как вечерняя тень, Пети. Если сравнение с тенью, как и все сравнения, хромает, то еще проще эту привычную для поселка пару было бы сравнить с восклицательным знаком, где Петя, естественно, был вертикалью, а крохотная его матушка — точкой. Отнимите у восклицательного знака вертикаль, и вы уже никогда не догадаетесь, что за точка образуется в остатке: от многоточия ли, из точки ли с запятой, или это, предположим, деталь вопросительного знака. Точка и точка. В подтверждение этого можно напомнить, что никто в поселке даже и не заметил, куда она делась после смерти Пети, хотя на самом деле, что особенно инте-

ресно, никуда она и не делась, осталась тут же, в Кандалакше, только перебралась с Нивы-III, не совсем, правда, с Нивы, а из Лесного, из поселка по дороге на Головной, непосредственно в Кандалакшу, где нашла неплохое жилье в хибарке между 310-м заводом и лесобиржей на берегу залива. Изредка она появлялась и на Ниве-III, и в Лесном, но там ее без Пети уже почти никто не узнавал, и таким образом вскоре как-то деликатно, не торопясь, погрузилась она в ничтожество и полную неизвестность.

Сопки, Ручьи, Проливы, Валька Репишева — все это вокруг Пети да около, с ним же самим лучше всего познакомиться в минуту триумфа. Минут таких в недолгой жизни Пети было две, и обе они достойны обстоятельного описания.

Если проследить незримую нить, соединившую всемирно известного народного артиста Черкасова и Петю, то никак не миновать клуба имени XXV-летия Великого Октября, расположенного на каменистом бугре, собственно на улице Высокой, откуда открывается прекрасный вид на обширное пространство станционного узла, где сосредоточились основные объекты строящейся ГЭС.

Все началось как бы исподволь и не обещало триумфа Пете, напротив, о нем даже никто и не помышлял, никакой такой Петя и в голову никому не мог прийти из тех, кто, быть может, в самом Московском Кремле принял решение избрать в Верховный Совет любимого народом артиста Черкасова Николая Константиновича по Заполярному территориальному округу. Сколько набилось народу в клуб имени XXV-летия Великого Октября, где происходила предвыборная встреча с депутатом, подсчитать совершенно невозможно: шестьсот мест сидячих было заполнено до отказа, в задних рядах были случаи, когда на одном месте сидели и по двое, а с детишками так и втроем, еще в проходах стояло человек полтораста, двадцать семь человек, перегнувшись самым неестественным образом, прилепились по стенам. Ну, в президиуме человек тридцать и за кулисами примерно тридцать пять. Столько же осталось на улице, готовых мерзнуть только для того, чтобы посмотреть своими глазами на великого артиста и любимого депутата, когда он будет выходить.

Сколько неслыханного сладострастия и неизведанных наслаждений таит в себе встреча с кандидатом в депутаты! Особенно в ту пору, когда общественное целомудрие достигает совершенства, а политика, утратив свое житейское содержание, перестав наконец быть борьбой за власть, обретает черты исключительно поэтические и достигает ужасающей силы.

Депутат такого размаха — это же отблеск той высшей и беспредельной власти, о которой каждый помнил и знал, но прикоснуться вот так, хотя бы взглядом, довелось совсем немногим.

Конечно, люди помнили, как в начале 1945 года через Кандалакшу на какие-то переговоры в Мурманск ехал товарищ Шверник, поезд был из четырех вагонов, но оснащен двумя паровозами «СО» и двумя платформами с зенитками. Из-за начавшейся бомбежки станции в Кандалакше останавливаться не стали, отменили и митинг в железнодорожном депо, где в ожидании люди пребывали с раннего утра, и только четыре бочонка отборной селедочки, приготовленной в спецпосоле для вождя на рыбоконсервном заводе, остались доброй памятью для городского начальства, не успевшего не только вручить презент, но даже толком разглядеть высочайшего гостя.

Такое столпотворение в клубе, выстроенном, замечу, с большим искусством в лучших традициях предвоенной заполярной архитектуры, с верандами, деревянными портиками и затейливыми башенками, объясняется очень просто. Во время выступления и встреч в Кандалакше у всех непопавших сохранялась какая-то надежда: не удалось пролезть в кинотеатр «Победа» — можно попробовать просочиться в Клуб железнодорожников, оттуда погнали — можно прорваться в Дом Красной Армии в военном городке, а вот выступление на Ниве-III, в клубе XXV-летия Великого Октября, было последним, и, если не удастся повидаться с депутатом здесь, то придется ехать за тридцать шесть километров в Зашеек, там у него следующая встреча, а не выйдет, так дуй в Апатиты или Мончегорск, хотя там кандалакшинским никогда ничего не светило.

Была зима, и Петя стоял в правом, если смотреть со сцены, проходе, спрессованный со всех сторон шубами, польтами и непробиваемыми для ветра и полярного холода одеждами неизвестных в поселке людей, приехавших из разных отдаленных дыр. Петя возвышался над теснившими его гражданами на голову, шею и даже верхнюю часть плечей. Он был облачен все в тот же ватник, перетянутый портупеей с пустой кобурой для нагана. Петя понимал, что синюю фуражку с красным околышем надо бы снять, поскольку большинство людей в проходах стояли все-таки без головных уборов, но — одно дело треух или лопарский шлем с метровыми ушами, его можно и в карман или за пазуху спрятать, а фуражку куда денешь, если рукой не пошевелить? Снять в конце концов можно, но она же погибнет от такого людского давления, погибнет навсегда, быть может, не уцелеет даже замечательный лаковый козырек, пришитый к этому милицейскому картузу, доставшемуся Пете без козырька, умелыми и заботливыми матушкиными руками. Была у Пети и форменная кубанка с эмблемой НКВД, он носил ее зимой, как положено, но для участия во встрече исторической и торжественной фуражка была намного выразительней.

Когда Петя забывал о фуражке, он чувствовал себя как в храме: слова, доносившиеся с трибуны, были торжественными, праздничными, ликующими, хотя и не очень понятными, все славили счастливую эпоху, радостную жизнь и творцов нашего счастья, а потом говорили о своей любви к достойному сыну нашей Родины, кандидату в депутаты Черкасову Николаю Константиновичу, великому артисту, выдающемуся борцу за мир и счастье всех советских людей. И во всех выступлениях шквалом аплодисментов встречала публика избирательский наказ: почаще видеть на экранах и побольше слышать по радио дорогого депутата. Отсутствие других пожеланий и просьб избирателей говорило о глубоком понимании народом творческого труда, о желании и готовности оградить артиста от всего, что может помешать его великому служению искусству.

Смотрели на Черкасова во все глаза, переживая сладостное предвкушение возможности еще его и услышать, услышать голос, ни с чем не сравнимый, раскатистый, несущийся словно из какого-то сказочного грота, услышать своими ушами, а не по радио, что думают высшие классы общества о них, простых людях, которые вот здесь, в Заполярье, в борьбе с природой и невзгодами строят своими руками свое собственное будущее. Многие при этом забывали, что в ту пору общество еще не было приготовлено к верному взгляду на народ.

Сидя в президиуме, Николай Черкасов глубоко и сладко задумывался, ни о чем не думая, прислушивался, повернув голову к оратору, ничего не слыша, и поспешно склонялся над блокнотом и делал запись, когда необходимо было зевнуть. Поездка была все-таки очень утомительной, а выступления в подавляющем своем большинстве не отличались разнообразием.

Такого количества вождей и начальства Петя не видел никогда в жизни и был счастлив не меньше тех, кому довелось там, в президиуме, на отдельном стуле сидеть рядом с народным артистом. Когда артист поворачивался к сидевшему справа от него начальнику Нивагэсстроя Николаю Ивановичу и что-то спрашивал, у Пети обмирало сердце, он даже в мыслях своих не допускал, что эти люди могут говорить о пустяках, ведь для этого не нужно выходить на сцену, для этого не нужно сидеть за покрытой красным кумачом трибуной. Николай Константинович что-то тихо, деликатно, чтобы не смутить очередного оратора, спрашивал Николая Ивановича, а тот, разглаживая ладонью лежащую перед ним бумажку, отвечал с подобающей для переговоров в президиуме сдержанностью, чуть поворачивая голову в сторону артиста, но продолжая при этом смотреть в зал. Петя знал, что и от этого маленького разговора, от этой улыбки Николая Ивановича, которую ему случилось наблюдать собственными глазами, жизнь станет значительно лучше. А еще было видно, что Николай Константинович вовсе не слушает лестные похвалы по своему адресу и высокую оценку его труда и таланта, прерываемую бурным шквалом аплодисментов. Он смотрел в зал мудро, проницательно, стараясь навсегда запомнить каждое обращенное к нему лицо, запомнить все чаяния и надежды, с которыми люди пришли в этот зал.

Именно по тому, как кандидат в депутаты не слушал похвалы по адресу выдающегося политического и художественного деятеля Черкасова Николая Константиновича, Петя понимал и чувствовал, какая глубокая и полная правда звучит в каждом произнесенном в этом зале слове, и ему казалось, что он вовсе не сплющен от напора множества тел, обретших необыкновенную твердость, несмотря на мягкую зимнюю упаковку, а стоит на вершине, откуда виден Кремль, Москва, сверкающая под красными кремлевскими звездами, и вся страна, и народы всего мира, возлагающие все свои надежды на несгибаемые ряды хорошо одетых борцов за мир.

Он, не отрывая глаз, смотрел на Черкасова, и только один раз ядовитая струя зависти облила его трепещущее восторгом сердце. Какой-то человек в пиджаке и свитере, аккуратно касаясь ногами сцены, вышел из-за кулис прямо во время выступления и, никого не тревожа, прошел, пригнувшись, сзади первого ряда стульев президиума и оказался за спиной Черкасова. Он протянул депутату из-за плеча белый листок бумаги и замер в ожидании. Черкасов прочитал, улыбнулся, отчего невольно улыбнулось и поползла, обернулся к гонцу, совершенно стушевавшемуся за его спиной, и согласно кивнул головой. «А ведь и я бы мог вот так же — и принести, и передать»,— подумал Петя как о счастье, проплывшем мимо. Вот так улыбнуться, вот так кивнуть великий Черкасов мог бы и ему, Пете. Откуда Пете было знать, что этот постройкомовский человек просил в письменной форме у гостя разрешения положить ему в машину семгу «депутатского» засола.

Обратно постройкомовский шел между рядами в президиуме, почти совсем не сгибаясь, и даже кого-то задел, неся в себе ростки некоторого величия, сообщаемого человеку правом во всю оставшуюся жизнь правдиво и обстоятельно рассказывать, как приезжал Черкасов, как он участвовал во встрече, как потом подходил, передавал сообщение и т. д., со всеми предшествующими и последующими подробностями.

И в эту самую минуту, когда горькая зависть острым коготком зацепила и сволокла обратно, на место, под ватник, под промокшую от пота рубашку эвон куда залетевшую в мечтах и грезах Петину душу, случилось невероятное.

Черкасов обвел взглядом зал, и взор его встретился с глазами Пети!

Петины глаза смотрели так жарко, так отчаянно, его мокрая от пота голова, полуоткрытый рот, совершенно влажные пряди волос оставляли впечатление утопленника, вдруг вынырнувшего над морем голов из безнадежной глубины, чтобы через мгновение вновь кануть в бездну. То ли от духоты, то ли от усталости Черкасову показалось, что он споткнулся и начал медленно-медленно падать, а круглые, разверстые на него глаза и черный сильно дышащий рот вдруг показались той пропастью, которая затягивает его. Так случалось не раз, среди обращенных к нему лиц он натыкался на такие, что, не признаваясь себе, все-таки хотел, чтобы их не было. Он любил, сидя на сцене, разглядывать лица людей, угадывать их характеры, судьбы, даже иногда придумывал им кусочки биографий, отталкиваясь от едва заметных примет, перетасовывал сидящие в партере пары, составлял подчас весьма забавные комбинации из молоденьких особ и молодящихся старцев, из увядающих красавиц и теснящих их соперниц новой формации, но это все были игры, вроде пасьянса; сейчас же происходило что-то иное, переставшее быть ему подвластным. Какая-то мрачная, болезненная радость, светившаяся в глазах Пети, пугала его, он знал, чувствовал, что смотреть туда не надо. Он давно уже видел эту голову в милицейской фуражке, торчавшую над другими головами, и почти нарочно старался не смотреть на него, переводя скорее взгляд на стены, где люди разных возрастов, хотя по преимуществу и молодые, лепились, как ящерицы, греющиеся на согретой солнцем каменной стене. Как они держались, понять было невозможно. Он вспомнил поездку с Пудовкиным в Индию, вспомнил, как в гостинице в Калькутте к ним прямо в окно заглянула какая-то кошмарного вида огромная птица с клювастой головой на длинной морщинистой шее без перьев. Птица по-петушиному, боком, смотрела на них, то ли недоумевая, то ли выбирая жертву. Сева без раздумья схватил ботинок и запустил в лупоглазое чудовище и ботинком и трехэтажным матом, срывавшимся с уст великого режиссера и по более скромным поводам.

Вспоминая все это, эту длинную красную в старческих морщинах шею, он на секунду забылся и встретился взглядом с Петей.

Увидев, что на него, прямо на него, ему в глаза смотрит Черкасов, изнывающий от жары Петя почувствовал холодное и бессмысленное отчаяние. Глаза его округлились еще больше, он был сдавлен по рукам и ногам и не мог вот сейчас, в эту, быть может, единственную минуту его жизни высказать и подтвердить, как он любит, обожает любимого артиста. Он хотел закричать, но крик, не дойдя до горла, застрял где-то между диафрагмой и легкими.

Великий артист попытался отвести взгляд и не смог. Он уже различал белесые негустые брови, и они казались ему пыльной травой на краю обрыва, видел черные круги вокруг воспаленных бесцветных глаз, видел капли пота, которые стиснутый человек не мог утереть; ему показалось, что двинулся и потек зал, потекли лица, словно кулисы при перемене декораций, взмыли вверх стены с распластанными на них фигурами, и глаза этого сумасшедшего в милицейской фуражке были единственной неподвижной и прочной точкой, за которую только и можно было ухватиться, чтобы остановить все безумие. Он смотрел на Петю, теперь уже боясь отвести взгляд, чувствуя, что ставшее невесомым тело упадет, если лишится этой последней точки опоры.

Петя страдал невыносимо, он видел, что Черкасов смотрит на него и даже не отводит глаз, словно чего-то ждет, а может быть, даже и просит...

И Петя подмигнул!

Петя подмигнул левым глазом из-под сбившейся на сторону фуражки, подмигнул как корешу, как старому приятелю, братку и земляку. И тут же весь зал увидел, как Черкасов подмигнул кому-то, подмигнул лихо, мудро, мастерски, словом, по-черкасовски. Зал, неотрывно смотревший на любимое лицо, следивший и ловивший каждый жест, каждый поворот головы, каждое движение пальцев на столе, так нуждался в этом приветном знаке, который напрочь ломал, сметал ту едва уловимую, даже вовсе прозрачную стену, что все еще сохранялась между народным артистом и народом. И вот подмигнул! И не было больше стены, словно он сам, весь, такой огромный, родной, каждого коснулся своей рукой, вот так, по-свойски напомнил о незабываемой, давней дружбе.

Сотни голов в ту же секунду, разом обернулись в ту сторону, куда был адресован непосредственно этот неповторимый жест чуть приспущенной левой брови, прищур глаза и веселый прыжок век, к тому, кого узнал Николай Константинович, кому послал свой привет.

Те немногие, кто не видел вот этого перемигивания, бросились к соседям с нетерпеливым расспросом, но есть вещи, которые нельзя объяснить словами, соседи только улыбались, как посвященные в нечто большее, чем тайна.

По тому, как Петя смотрел на Черкасова и улыбался, сомнений быть не могло, дружеский знак предназначался ему и только ему.

Петю в этом зале знали все.

Если описанная только что минута триумфа носила публичный и отчасти всенародный характер, то у второй высочайшей точки Петиной жизни зрителей не было, туда он поднялся и пребывал там, в неведомом ему доселе чувстве высочайшей гордости и блаженства, совершенно один.

Одиночество вообще черта лиц исключительных.

Рожденный для всевозможных испытаний и бедствий, как раз с бедствиями и испытаниями Петя справлялся сравнительно легко, во всяком случае, они тяготили его не так, как нас с вами, значительно меньше. Детское настроение его ума не позволяло ему охватить поглотившую всю его жизнь невзгоду целиком, не говоря уже о том, чтобы осознать и выглянуть, хотя бы в воображении, за ее пределы, поэтому и не чувствовал он в полной мере трагические обороты жизни.

Не мне судить, далеко ли он в этом ушел от людей высшего ума, взявших на себя роль учительствовать и предводительствовать хотя бы и частью человечества и понимавших при этом едва ли не меньше Пети, что с ними происходит, чем они в конце концов заняты, устраивая с неистовой энергией пути к блаженным грезам и непременно к будущему счастью, да еще такому, о каком сегодня простыми и ясными словами высказаться невозможно.

Петя находил себе занятия исключительно по душе, никак не насиловавшие его хрупкую натуру, а мечтания его никак не осложняли жизнь остального человечества. И вторая минута триумфа в его жизни как раз и связана с осуществлением давнего и тайного мечтания.

Едва в поселке появилась первая «Победа» изумительного цвета «кофе с молоком», как Петю охватило невыразимое томление и зародилась пламенная мечта ее проинспектировать. Если добавить к этому, что «Победа» была первой не только в поселке Нивагэсстроя, но и во всей Кандалакше, где городские и партийные начальники дотрепывали старенькие, чуть ли не довоенные эмочки, а директор 310-го завода разъезжал на трофейном БМВ, вовсе не пригодном со своей низкой посадкой для заполярных суровых дорог, то желание Пети понять можно.

Водителем на «Победу» был переведен Гриша Вартанян, верный шофер Николая Ивановича, державший «козлик», с деревянным утепленным кузовом и ковровыми красными дорожками на сиденьях, уже четвертый год в образцовом порядке. Николай Иванович и Гриша при многих внешних отличиях были в чем-то и очень похожи. С одной стороны, Николай Иванович имел высокий крутой лоб и был лыс аж до затылка, а у Гриши хотя лоб был и не такой высоты, зато волос был черен и густ; с другой стороны, Николай Иванович был бел и лицом, и телом и после перенесенного туберкулеза даже не загорал, а Гриша, напротив, был смугл и казался загорелым даже в полярную ночь, когда солнце вовсе не показывалось из-за горизонта с конца ноября до начала февраля. Среди наград, полученных в войну, у Николая Ивановича, с одной стороны, была медаль «За оборону Советского Заполярья», а с другой — «За победу над Японией». У Гриши медалей не было. Гриша был в плену и для искупления вины перед Родиной отправлен в Заполярье как репатриированный. А совпадали они главным образом в том, что Гриша никогда не давал понять, что он возит начальника строительства, а Николай Иванович никогда не подчеркивал, что он и есть начальник строительства и член бюро обкома, которого возит Гриша. Петя ничего этого не знал, потому что жизнь такого огромного начальства наблюдал совсем издали.

«Козлик» Гриши Петя не инспектировал ни разу, на это было много резонов. Во-первых, «козликов» таких, правда, чуть попроще, чуть похуже оборудованных самодельными утепленными кузовами, ну, без ковровых красных дорожек на сиденье, в поселке было несколько. Одна такая машина была у начальника Кандалакшстроя, вторая — у начальника еще не достроенного алюминиевого завода и третья — у главного инженера Нивагэсстроя Васильева Анатолия Федоровича. Шофер у Васильева был отчаянный матерщинник, даже дети у него сначала учились говорить по-матерному, потом уже остальным словам, и поэтому Петя инспектировал эту машину, только когда видел рядом с водителем самого Анатолия Федоровича, чья узкая щеточка усов под носом вызывала в Пете уважение и доверие. Увидев Петю с поднятой рукой на обочине дороги, шофер Васильева, бросив взгляд на непроницаемо серьезного Анатолия Федоровича, тормозил и, не решаясь материться при хозяине, спрашивал:

— «Ну, чего тебе, чучело гороховое?»

— «Инспектор Петя»,— представлялся Петя, прикладывая руку к картузу.— «Ваши права, товарищ водитель, и путевой лист».

Первый раз Анатолий Федорович так взглянул на своего водителя, которого, кстати, тоже звали Петром, что тот тут же полез в нагрудный карман за правами и потянулся другой рукой за путевым листом, заткнутым за светозащитный козырек. Когда машина была остановлена вторично, то есть полтора уже года спустя, прошлой зимой дело было, Анатолий Федорович тут же заявил:

— «Товарищ инспектор, мы очень спешим».

— «Понимаю»,— серьезно и строго сказал Петя и, чтобы остановка не казалась пустой придиркой, заглянул внутрь машины: «Посторонних нет? Можете следовать!»

Так что васильевский Петька, полная противоположность Анатолию Федоровичу, лихач и пьяница, был проинспектирован.

Требует, разумеется, разъяснения бросающееся в глаза несколько странное соединение человека английского типа, инженера высшей квалификации, стремившегося окружить себя людьми и предметами только высшей пробы, с пьяницей и матерщинником, шофером Петром, ездившим нагловато и рискованно.

Соединительным звеном между этими далекими друг от друга и по интересам и по развитию людьми служила собака Альма, немецкая овчарка, разумеется, тоже высшей пробы, признававшая над собой безраздельную власть только трех человек на свете: самого Анатолия Федоровича, его жены и шофера Петьки. И более всего при легендарной своей свирепости Альма питала какое-то неисчерпаемое доверие и любовь, которых хватило бы и на полчеловечества, исключительно к Петьке, позволявшему собаке подпрыгивать и лизать его нос. Когда жена главного инженера уезжала в Ленинград проведать сыновей, учившихся на специальных отделениях физико-математического факультета университета, собаке гулять было не с кем, хозяин пропадал почти целый день в управлении и на обширном пространстве стройки. Если же и хозяин отбывал в командировку или вся семья уезжала в отпуск, проблема Альмы вставала во всей остроте. Собака, прошедшая великолепную выучку в специальном питомнике, переучиваться не желала, привычек не меняла и не хотела знать никого, кроме хозяев и Петра; всех остальных она свирепо облаивала и постоянно стремилась если не загрызть, то хотя бы укусить на память, невзирая на пол и возраст. Особенно люто ненавидела Альма нищих и вообще бедно одетых людей. Нельзя сказать, чтобы в поселке нищих было много, в Кандалакше больше, но постоянно кто-то ходил от дома к дому, главным образом немолодые женщины, реже старики, и просили «Христа ради». Почему нищие выбрали для своего промысла эти скудные края, сказать невозможно, быть может, бессознательное убеждение в том, что бедностью люди делятся легче и охотней, чем богатством и достатком, удерживало их в этих полукаторжных краях.

В пору отсутствия Анатолия Федоровича на стройке Петр приходил или приезжал выгуливать Альму, как правило, в нетрезвом состоянии. Иногда это состояние было столь серьезным, что складывалось впечатление, будто бы не Петька выгуливает Альму, а умная собака-поводырь вывела для проветривания человека, тяжело пораженного ипритом или фосгеном. В такие минуты Альма не рвалась с поводка, не заливалась исступленным лаем на все вокруг, а, деликатно натягивая сворку, чтобы не уронить своего благодетеля, помогала ему передвигаться от крыльца к столбу и от столба к сараю, где у Альмы были контрольные точки. Иногда она даже садилась на землю, выжидая, пока Петр соберется с силами для нового небольшого перехода, и, сокращая прогулку до минимума, увлекала Петьку обратно в дом, глубоко понимая, что в ее присутствии никто не сможет прийти Петьке на помощь, да и не посмеет. Это маленькое представление собирало немало зрителей, равно восхищавшихся и умом собаки и такой верностью своему долгу, предписывавшему дважды в день собаку выгулять.

Таким образом, и сам главный инженер и его семья пребывали в некоторой зависимости от шофера, но сам он по простоте душевной этого не понимал и был искренне убежден, что они с Анатолием Федоровичем как бы друзья, а может быть, и больше.

С «казовскими» и кандалакшскими шоферами у «инспектора» Пети были отношения вполне деловые и не перераставшие в дружеские лишь потому, что сам Петя не мог себе позволить переступить какую-то грань, за которой он уже не сможет быть справедливым, но строгим.

Когда Петю в гараже хотели подловить на трусости и спрашивали, инспектировал ли он машину Николая Ивановича, Петя подкусывание пропускал мимо ушей и, поправляя пустую кобуру на правом боку, резонно заявлял: «Доверяю». Петя не лукавил, так оно и было. Особенно это доверие укреплялось после того, как им случалось вместе обедать. Петя вместе с матушкой, а иногда и один, ходил в орсовскую столовую на станционном узле, чтобы взять домой обед на два-три дня со скидкой, как-никак пятнадцать процентов, и вот во время этих походов ему не раз доводилось видеть, как обедал Николай Иванович и Гриша. В сооруженный из крашенных в зеленое досок балаган, устроенный на скалистом бугре, где нельзя было поставить ни мастерскую, ни склад, ни компрессорную, Ни-

колай Иванович почти вбегал по высокому деревянному крыльцу в драповой кепке с большим козырьком, в американском кожаном пальто, колоколом расклешенном от пояса вниз, в кирзовых сапогах, перепачканных грязью и бетоном. Следом за начальником входил Гриша, и, пока мыл руки, на столе уже появлялось и первое и гуляш. Для Николая Ивановича еще ставился стакан водки, причем всегда один. Водка, продававшаяся в столовой свободно, выпивалась залпом, как лекарство, после чего обед съедался без жадности, но быстро, намного быстрей, чем управлялся с едой Гриша, и пока шофер добирал второе и возился с киселем или компотом, Николай Иванович спокойно курил. Иногда во время обеда Петя слышал, как Николай Иванович отвечает на приветствия, перебрасывается словами с обедающими, шутит в зависимости от настроения и, одеваясь, говорит Грише: «Давай, Гриша, на Морской слетаем» или: «А теперь Гриша, на Головной»,— но вот голоса самого Гриши Петя никогда не слышал. Так что, если бы Петю спросили, в каких отношениях он с Николаем Ивановичем, тот бы, не задумываясь, ответил: в хороших,— а вот о своих отношениях с Гришей ему ответить было бы значительно трудней. Вот почему, когда в поселке появилась «Победа», Пете пришлось пережить моменты высшего напряжения всех своих душевных сил и разума.

«Победу» прислали словно в насмешку — кабриолет, со съемным брезентовым верхом. Гриша долго ждал, когда же зной принудит его воспользоваться замечательным свойством кузова, и наконец в установившейся в начале августа жаре по Чкаловской улице и Кандалакшскому шоссе прокатился впервые в истории автомобиль с откидным верхом в раскрытом виде. Верх этот был явно рассчитан не только на устойчивый теплый климат, но и на асфальтированные дороги; ни того, ни другого в ту пору ни сама Кандалакша, ни тем более ее окрестности предложить не могли, и, потратив полдня на выбивание пыли и сборку, Гриша задернул верх своей роскошной легковушки навсегда. Петя машину с открытым верхом не видел, о чем жалел искренне, но по рассказам очевидцев вполне доверял.

Праздных людей на Ниве-III не было, с транспортом было туго, все, что могло ездить, чинилось, латалось, снова чинилось и ездило уже вторую, третью и даже какую-то сверхзагробную четвертую жизнь, при том, что и первая жизнь на этой земле, на этих дорогах была отпущена нашим машинам совсем коротенькая, чуть дольше держались послевоенные «доджи» и «студебеккеры». Отсутствие запасных частей и природная русская смекалка порождали такие гибриды, таких монстров, при виде которых нормальный человек мог бы повредить свой разум.

Почему же вечно спешащие водители самосвалов, надрывно воющих на подъеме от Кандалакши к Ниве грузовиков и даже стремительные дежурные полуторки останавливались, покорные строгому жесту безумного милиционера?

Когда какая-нибудь машина проносилась мимо, никак не реагируя на повелительный жест длинного нелепого человека в милицейской фуражке и с пустой кобурой на перехваченном ремнем ватнике, он впадал в обиду и недоумение; шум проехавшей машины оставался в его гордо поднятой голове, превращаясь в какой-то невнятный шелест, шепот, лепет и звон. Постояв так минут десять — пятнадцать, как бы не теряя надежды, что водитель опомнится и вернется, Петя прислушивался к этим неясным звукам в себе и, взмахнув вдруг руками, начинал стремительно двигаться в совершенно непредсказуемом направлении. Он шагал, ноги отставали, гонимый обидой, недоумением и неразличимым многоголосым злобным шепотом в голове, бросив на произвол судьбы мать, два гаража и целую милицию, занимавшую половину барака на 3-й Полярной улице. Несколько раз его видели шагающим в Кандалакше, один раз он ушагал за реку и был остановлен у взрывскладов женщинами, собиравшими морошку, а дальше, в сопках, его остановить было бы уже некому; заворачивали его и с ближних мест, от хлебозавода, и с дальних, с Головного узла, и неведомо куда могли бы его завести размашистые решительные шаги, если бы среди вольной публики, по большей своей части совсем недобровольно заселившей эти каторжные края, не находилась какая-нибудь душа и не окликала зашагавшего Петю.

К счастью, большинство путей в поселке вело к магазину, двухэтажному, довоенной постройки дому из почерневшего бруса, с продуктовой

торговлей на первом этаже, промтоварной на втором и круглогодичной торговлей семечками из мешка под клубной афишей на углу; другие пути приводили в «чайную», крашенный в голубое обширный деревянный дом с портиком вроде веранды, из брусчатых колонн у входа, третий путь вел мимо столовки рядом с милицией или мимо шалмана по дороге в Лесной, где всегда и почти при любой погоде в дневное время клубился народ.

Никто не помнил, когда Петя в поселке появился, но явно уже после войны. Ни во время, ни в пору, когда Нивагэсовский коллектив и часть оборудования были эвакуированы на Облакетку под Усть-Каменогорск и поселок опустел, никто никакого Пети не знал и не помнил.

Наплывное население поселка представляло собой затейливое смешение лиц, сословий и народов. Среди инженерной публики были и люди, запятнавшие свою юность кадетским прошлым, один бундовец, разоружившиеся левые эсеры и один законченный монархист, белоподкладочник из путейцев Десятниченко. Естественно, вся эта публика в круг общения Пети почти не входила.

Техника и рабсила, даже в первую очередь рабсила, а потом уже техника, были главной заботой Николая Ивановича. Эвакуация, где сам он не был, оставаясь здесь на оборонных работах, сохранила ему лишь итээровскую часть коллектива. Для производства работ требовались ежедневно тысячи рабочих рук, пришлось перекачивать спецпереселенцев, пользуясь поддержкой бюро обкома, из самых разных мест обширного Кольского края, в том числе и из Апатитов и даже Кировска. Немецкие и итальянские военнопленные, полученные в конце сорок пятого года, не прижились; зато наши пленные, полученные из немецких лагерей через репатриационные службы, очень своевременно, как раз в предпусковой период дали очень хороший контингент, тот же Гриша Вартанян, например. Не вылезавший из Москвы и Ленинграда, Запорожья и Харькова Родченко, зам. начальника строительства, умевший достать все, начиная с «Победы» первого выпуска до фондированных материалов и круглогодичного сена для подсобного хозяйства, не имевшего своего пастбища, Родченко, способный пригнать на стройку и провести через стройбанк вагон предметов интимного мужского туалета для гидроизоляции запалов на взрывных работах, оргнабор вел слабо, и вопрос рабсилы держал стройку в напряжении постоянно.

Мордва, армяне, украинцы, удмурты, много вологодских и вообще россиян из разных далей и мест, перемешанные в великом котле и зачерпнутые случайным ковшом одной из тысяч строек, приближавших социализм, чувствовали себя на промерзшей каменистой земле жителями временными, и землю эту своей не считали. Тем удивительней, что вся эта разношерстная и даже несколько озлобленно живущая публика, являя смешение нравов и рас, обнаружила снисхождение и милосердие единственно в отношении этого Пети.

Обломком какой скалы, каплей какого прилива осел он здесь со своей матушкой в клубном бараке поселка Лесного, установить так и не удалось.

Если в нашем лаконичном повествовании пришлось уделить все-таки несколько страниц Николаю Константиновичу Черкасову, человеку действительно великому и настолько знаменитому, что, казалось бы, достаточно было лишь назвать его имя, чтобы этим было сказано все, то о Николае Ивановиче, с чьим именем связана вторая минута триумфа в Петиной жизни, сказать необходимо чуть подробней, хотя многие могли не только знать о нем, но и видеть его фотографию на первой странице газеты «Правда» среди лиц, награжденных Сталинской премией первой степени за возведение первой в мире подземной гидроэлектростанции.

Нива-III и ее строительство были, естественно, окружены публичным молчанием, потому о пуске сообщила только одна радиостанция, «Голос Америки», нещадно переврав факты и назвав станцию вместо «Нива-III» — «Ниво-III». Злые языки из домашних поговаривали, будто премия дана за то, что станция была пущена 21 декабря 1949 года. Но зато все языки были прикушены, когда, по указанию Николая Ивановича, был заживо сварен машинист железнодорожного подъемного крана Вася Попов. Дело в том, что элементы шандорных затворов были доставлены из Ленинграда на стройку с опозданием на два месяца, и Николай Иванович

лично дал указание немедленно приступить к разгрузке с тем, чтобы сразу же на специально изготовленных в механических мастерских санях доставить полученное оборудование на Головной узел для монтажа. Работы велись в воскресенье. Ни один тракторишка эти махины по нашим дорогам протащить не мог. Николай Иванович договорился с танкистами, те прислали свои «тридцатьчетверки», Вася Попов снял у них аккуратненько башни и поставил на подготовленные подклети из шпал, чтобы танкам не возить лишнюю тяжесть. Потом приступили к разгрузке элементов шандорных затворов. Работа шла с риском, ветер порывами доходил до двадцати пяти метров в секунду. Николай Иванович был здесь же, на Станционном узле, вместе с командиром танкового полка полковником Голиком, приехавшим посмотреть на необычную работу своих экипажей. Замечательный бригадир такелажников Володя Моисеев, кстати, дважды одними полиспастами вытаскивавший Голику провалившиеся в болото танки, не давал листам парусить, и разгрузка шла нормально, но пятнадцатый, предпоследний лист все-таки поймал ветер, а может быть, уставший и промерзший на ветру, как собака, одноглазый Володя что-то упустил, и железнодорожный кран, державший на полном вылете стрелы огромный рыжий металлический лист, вдруг потянулся за ним. Васе надо было майнать немедленно, бросать груз, но ему было не видно, есть ли внизу люди, и, надо думать, решил, что удержит, но не удержал. Кран рухнул. Все заняло секунды две-три. Ударивший из лопнувшего котла пар заживо сварил Васю Попова, скрыв в непроглядном клокочущем и обжигающем облаке свое преступление. Когда пар рассеялся, все увидели синее с малиновым пятнами лицо раздавленного и сваренного Васи Попова. На метеостанции Николай Иванович положил перед Настей Бочаровой плитку шоколада «Золотой ярлык» и получил справку о том, что порывы ветра 27 февраля достигали лишь пятнадцати метров в секунду. Прибывший из Ленинграда инспектор котлонадзора Павел Иванович Змеенков, тайно и безнадежно влюбленный в жену Николая Ивановича, никогда бы дело до суда не довел, а если бы и захотел, никто бы ему этого не позволил, сам Жимерин, тогдашний министр, никогда бы не дал обезглавить стройку в разворот пусконаладочных работ. К этому можно сказать, что накануне, летом, когда Николай Иванович в разгар воскресного пикника на берегу Нивы решил один на один покорить последний год клокочущую на камнях бешеную реку и, переплывая ее, был снесен на три километра вниз, участвовавший в пикнике Вася Попов, пока искали Николая Ивановича, наплакал полную кепку слез.

Кроме героического и самоотверженного покорения Нивы, для характеристики этого человека надо припомнить хотя бы еще один эпизод, относящийся к зиме сорок первого года, когда, отправив коллектив в эвакуацию, он уже перешел на «Оборонстрой» и завершал консервацию стройки.

Надо напомнить, что несколько предвоенных лет были на стройке чрезвычайно нервными, люди жили в какой-то даже неуверенности, время было бурное, то исчез Думлеров, потом взяли Верещака, таскали, таскали, но потом все-таки выпустили Мигаловского. Свирепствовал Иван Гапоненко, прибывший с Днепрогэса с орденом Ленина, делать он ничего не умел, поболтался год в управлении, перешел в кандалакшское НКВД, а там его через год-полтора самого, как у них говорится, шлепнули. Вот почему, готовя стройку к длительной консервации, Николай Иванович решил непосредственно ознакомиться со всеми личными делами, хранившимися в архиве отдела кадров. Листая дело за делом, просматривая биографии буквально каждого, особенно итэзровцев, он приходил к твердому убеждению, что эти документы никогда не должны попасть в руки врагов, он так и сказал Анне Ивкиной, отвечавшей за архив отдела кадров: «Давай-ка, Анечка Ивкина, подготовим актик и ввиду нависшей угрозы вражеского вторжения ликвидируем этот опасный материал». По акту количество единиц хранения должно было резко сократиться, а вместе с ними должны были уменьшиться хлопоты и опека. Анна Александровна с готовностью в три дня подбила актик, и в то время, когда под Москвой шло знаменитое сражение за Москву, сидя рядом у печурки в опустевшем здании управления строительством, они жгли, жгли и жгли пухлые досье, оставляя в картонных папочках со шнурками только выписки из приказа о зачислении на работу, для стажа и высчитывания поляр-

ной надбавки и распоряжения об уходе в очередной отпуск. Располагая этими сведениями, даже самый хитроумный враг навряд ли мог нанести большой урон стране и ее многострадальным гражданам, собравшимся строить ГЭС под нежарким полярным солнцем.

Краткое отступление в биографию начальника строительства было необходимо лишь для того, чтобы читатель смог оценить основательность сомнений и внутренних препятствий, стоявших на пути Пети, решившего проинспектировать бежевую «Победу», и объяснить, почему он так долго собирался с духом.

К лету пятьдесят второго года Петя был уже опытным инспектором, он многое знал и многое мог предвидеть; рассчитывая важный шаг, он старался взять во внимание все возможные неожиданности, чтобы действовать наверняка.

Для начала надо было решить: инспектировать Гришу или Николая Ивановича тоже. И Петя пошел ва-банк, молчаливому Грише он втайне все-таки не доверял.

Теперь надо было выбрать день.

И здесь Петя сделал для себя маленькую уступку, он решил инспектировать в воскресенье. Быть может, в его смутном мозгу каким-то образом отпечаталась необходимость самые важные и рискованные дела проводить в воскресенье. С одной стороны, лучше всего было бы остановить машину в поселке, на глазах публики, но это было, с другой стороны, делом и совершенно рискованным, если машина не остановится, многие будут над Петей смеяться, а начальник всегда имеет право не останавливаться, только не все об этом знают. Поэтому для инспекции он выбрал участок шоссе между Нивой и Кандалакшей, два километра от военкомата на окраине Кандалакши до фундамента нового клуба, который решили построить при въезде на Ниву. Примерно половину этой дороги занимала горка, поднимавшаяся в сторону Нивского поселка, на горке останавливать не рекомендуется, можно, конечно, убедиться в неисправности тормозной системы, только это может очень дорого обойтись нерадивому водителю и беспечному завгару. Останавливать машину под горой, когда она летит сверху, окутанная клубами пыли, тоже не очень хорошо, но и перед горкой не лучше, когда ей нужно разогнаться и набрать скорость, таким образом, оставался совершенно небольшой, метров двести, кусок дороги от фундамента нового клуба до начала спуска. Здесь дорога делала поворот, но место было вполне широкое и для разговора удобное.

Два воскресенья провел Петя на позиции, шесть раз мимо проносилась бежевая «Победа» с Николаем Ивановичем, но рука, скованная размышлениями, не поднималась. Узнав в гараже, что начальник строительства в конце июля собирается в отпуск, инспектор наконец решился.

Зорким глазом Петя заметил «Победу», когда она показалась только еще около военкомата, через пару минут она влетит на горку и будет здесь на повороте. Нет, не нужно, чтобы тебя видели издали, настоящий инспектор появляется внезапно и бьет неотразимо.

Петя поправил портупею, укрепил на голове фуражку, будто ему предстояло не просто остановить машину по правилам движения транспорта, а прыгнуть на ходу ей на крышу.

Едва машина показалась из-за поворота, изрядно потеряв скорость на подъеме, как Петя шагнул на проезжую часть с обочины и сделал повелительный жест рукой.

Подъехав к инспектору, машина остановилась, не глуша мотора.

Гриша приспустил стекло и вопросительно посмотрел на Петю.

Николай Иванович не то чтобы внутренне замер, но как-то собрался, косил глазом на Гришу и боялся что-нибудь сделать не так. Сидевший на заднем сиденье одиннадцатилетний сын начальника, стриженный наголо, с маленькой челочкой пятиклассник, тут же перескочил из-за спины отца к левой дверке, чтобы получше видеть Петю, и даже приспустил стекло.

— «Права, товарищ водитель, и путевой лист»,— проговорил Петя, глядя даже не на Гришу, а куда-то вдаль, непрерывно наблюдая возможные беспорядки на всем обозримом пространстве дороги.

Гриша полез за правами.

— «Вы не представились»,— строго сказал Николай Иванович.

— «Извиняюсь», — сказал Петя, сложился пополам и заглянул в окно, приложив ладонь к козырьку: «Инспектор Петя».

Мальчонка, сидевший сзади, фыркнул и повернул свое смеющееся лицо к отцу. Отец не слышал этого смеха.

— «Николай Иванович, — передав права Пете, сказал Гриша, — а путевки-то у меня нету».

Патриархальные порядки позволяли Грише больше времени заниматься машиной, чем бумажной ерундой.

— «Влипли», — вскинув густые брови, сказал Николай Иванович.

— «Путевочку не вижу», — нетерпеливо напомнил Петя, не собираясь отдавать права.

— «Ну ладно тебе», — вдруг раздался с заднего сиденья грозный голосок мальчика.

Николай Иванович обернулся к сыну, но смолчал, распахнул дверку и вышел к Пете.

Сердце у Пети билось так сильно, что он не слышал шума все еще работающего двигателя.

— «Товарищ инспектор, здесь скорее моя ошибка, чем водителя, я не мог точно сказать: мы только на рынок поедем или завернем еще в парикмахерскую. Понимаете? Вы бы путевку все равно задержали».

Петя ликовал, душа его пела, он похлопывал правами по ладони и смотрел мимо невысокого роста человека, с трудом подбиравшего какие-то нелепые оправдания. С этим человеком разговаривать было не о чем. Петя посмотрел куда-то на вершины сопок за рекой, не глядя протянул в окошечко права Грише и строго сказал: «Можете следовать...», — и только после этого перевел глаза на человека в кожаном пальто, стоявшего рядом.

— «Большое спасибо», — как-то торопливо сказал начальник строительства. Секунду подумал и добавил еще раз: «Спасибо», — подкрепив сказанное коротким и даже несколько суетливым жестом головы.

Странное дело, но Петя овладел грацией подлинного инспектора ГАИ, который останавливает вас и наказывает, а впрочем, может быть, даже и милует, как бы мимоходом, с тем безучастным видом, почти не замечая вас, что заставляет проникнуться всей ничтожностью своего существа рядом с человеком, непостижимо превосходящим вас со всеми вашими прегрешениями, оправданиями, клятвами и жаждой свободы. Никого и никогда, ни за Сталинскую премию, ни за назначение начальником, ни за прием в партию после девятилетнего кандидатского стажа, а перед войной и такое водилось, Николай Иванович не благодарил вот так, в сознании своей вины и собственной как бы незначительности.

Мальчишка на заднем сиденье смотрел на отца и ничего не понимал, он знал, что отец умеет валять дурака, но этот жест головой, это «спасибо-спасибо»...

— «Ну, Гриша, с тебя причитается», — сказал Николай Иванович, садясь наконец в машину.

— «Ты что с этим идиотом объяснялся?» — вдруг раздалось с заднего сиденья. Сын, слышавший разговоры по телефону даже с министром и секретарем обкома, привыкший видеть, что сношения с высшей властью, почитаемой отцом, и даже выполнение ее приказаний может сочетаться с глубокой сдержанностью и достоинством, вдруг увидел отца, униженного, готового признать свою вину, и даже не свою! и перед кем? перед этим долговязым придурком...

— «Останови», — негромко сказал Николай Иванович, вышел из машины и открыл заднюю дверку, секунду помедлил, полагая, что сын догадается, но тот только моргал глазами, тогда отец за руку выволок недоумевающего пацана: «Проветрись и подумай!»

Обе дверки захлопнулись, и машина укатила.

Петя, еще не пришедший в себя, случившегося за поворотом дороги не заметил.

А теперь хотите знать, почему Петя был так нетороплив и похлопывал по левой ладошке правами Гриши Вартаняна, единственными безусловными его правами, и не спешил простить нарушителя, хотя за него просил извинения сам начальник строительства? Зорким глазом Петя увидел мелькнувшую у школы машину полковника Богуславского, сверкающий, как начищенный черный ботинок, трофейный «оппель-капитан». Ему даже не верилось, что машина может проехать мимо него в ту минуту, когда он инспектирует «Победу» начальника строительства. К «оппелю» начальника лагеря полковника Богуславского у Пети подступа не было, номера на машине были военные, да и водитель был из расконвоированных, какой-то смурной. Когда он ждал хозяина на улице и к нему подходили с разговорами, он отвечал односложно, а то и вообще не отвечал, делая вид, что не слышит, то ли так уже он дорожил этим своим блатным местом, то ли ему и по эту сторону казалось, что он на зоне, разве только обнесенной такой широкой оградой, что сразу и не увидишь, где она кончается, где начинается. Петя с одобрением несколько раз осматривал машину, когда она стояла около поликлиники в больничном городке, где работала жена Богуславского Ирина Константиновна. Петя высказал шоферу свое одобрение за внешний вид машины и состояние протектора на колесах: на передке резина была получше, сзади похуже, хотя одинаковый рисунок протектора был только на задних колесах. Водитель в ответ на Петину похвалу так тихо, не разжимая рта сказал: «Спасибо», — что Петя, в миг почувствовав всю меру своей власти над этим тихим человеком, решил его больше не трогать. Для многих был неясен вопрос, почему Богуславский не позволит своему расконвоированному шоферу отрастить волосы хотя бы и на два-три пальца. Держать вот так при себе расконвоированного зека, не придавая ему цивильного вида, и не иметь при нем охрану, в этом, конечно, был шик. Это все равно, что ходить по поселку с волком, причем без поводка, удерживая его в повиновении и кротости одной лишь силой своей власти. Но все дело было в ревности. По долгу многолетней службы, по глубокому пониманию жизни, в которой он был не последним винтиком, полковник Богуславский готов был подозревать всех и во всем. Зная все настоящее и все прошлое своей красавицы-жены, мысленно даже любуясь ее безупречной биографией, он мог подозревать ее только в одном, в супружеской неверности, мысля эту неверность как бы футурологически, допуская как возможность. Однажды Богуславский разрешил своему шоферу отпустить волосы, но когда Ирина Константиновна при нем сказала: «Как вам идут волосы подлиннее», — тут же приказал обкорнать шофера под «нуль», помня о патологическом страхе, какой вселяли в душу его жены стриженые зеки.

Верность мужу была ее желанием, а не обязанностью, и не будучи по природе женщиной блудливой, она постепенно развращалась, ища выхода из-под опеки, слежки и нечистого внимания, направленного на нее людьми либо стоявшими в зависимости от ее мужа, либо желавшими оказаться ему полезными. Ирина Константиновна знала, что за ней следят, и изредка изменяла Богуславскому, ошеломляя каждого нового своего избранника внезапностью и полнотой чувств, требовавших немедленного удовлетворения. Умный Богуславский в больнице или в поликлинике, куда устраивал работать Ирину Константиновну, без труда находил наиболее опасного в том самом футурологическом смысле мужчину и, приглашая его для доверительной беседы на темы государственной безопасности, заодно, как знак особой расположенности, поручал и заботы нравственного порядка, в том числе и в отношении своей супруги. Частая перемена мест жительства, а вместе с ними и мест работы, породила у Ирины Константиновны уже привычку в течение первых двух-трех месяцев без труда находить своего опекуна и где-нибудь в ординаторской или даже, один раз, в бельевой аргументами безусловно убедительными превращать в считанные минуты своего врага в самого близкого и верного друга. Эта тайная война, в отличие от всех других войн, достойна всяческого поощрения, поскольку в ней не было побежденных, были одни только победители, иногда трое, а в Оленьей и на Иове даже четверо, поскольку Богуславский умудрился завербовать по паре соглядатаев. Вот так, обратив врага в друга, Ирина Константиновна всякий раз испытывала и полно переживала освобождение, свободу, необходимую ей вовсе не для фиглей-миглей. Сам ее ритм, ее стать и поступь были чрезвычайно далеки от забот любовных приключений, и невероятные происшествия в ординаторской или бельевой, подчас даже не имевшие продолжения, требуют возвышенного подхода, свободного от предрассудков плоской морали.

Нет-нет! Не спешите отвращать ваше лицо, полное искренности и презрения ко лжи, от Ирины Константиновны.

Женщина не лжет!!! в ту минуту, когда говорит неправду, она просто таким способом высказывает заботу о вас, просто желает вам же добра, спасая вас, в меру своей умелости, от горечи и досады.

Согласитесь, признайтесь: власть женщины — это высшая власть, и какая же высшая власть не имеет права на тайну, о которой, как правило, знают все, но изображают незнание. Такова сила власти!

Не избалованный удовольствиями, до которых так охоча жизнерадостная юность, даже несколько обманутый по прихоти злой судьбы, Петя влюбился сразу и безраздельно, даже не влюбился, а полюбил и жил всей полнотой этого нешуточного чувства. Ирина Константиновна стала для него страной красоты и счастья с первого же мгновения знакомства, с той самой минуты, когда его привезли из гаража в поликлинику с обваренной рукой и сунули в кабинет врача. Безмерный и неодолимый восторг охватил Петю, когда она коснулась его руки и попросила закатать рукав рубашки.

Каждое ее движение, взгляд, приближение, касание рук и касание воспаленной кожи шпателем с мазью, пахнущей копченой рыбой,— все это было воплощением окончательной полноты общения, к которой только и может стремиться закоренелый любовник. Она принадлежала ему вся, целиком, и улыбкой, и голосом, в котором не было слов, а только веяние звуков, и женское колено, открывшееся под разошедшимися полами белого халата, он, мог поклясться, видел первый раз в жизни.

Есть писатели, которые с удовольствием рассказывают о себе и о своих близких такие вещи, рассказывать которые вовсе нет никакой надобности, особенно когда речь заходит о делах сердечных. Но Петя!.. Нет, Петин роман чист и бескорыстен, и каждое его мгновение не оскорбит самый строгий вкус, жаль только, что мгновений этих история сберегла не так уж много.

Все время, пока не заживала рука и приходилось ежедневно, а потом и через день ходить на перевязку, Петя был переполнен безмерным, неодолимым восторгом перед Ириной Константиновной. Бледные от волнения щеки в сочетании с пламенными глазами делали Петю по-своему красивым. Короткие и четкие ответы на все вопросы пробудили любопытство Ирины Константиновны, и однажды она спросила: «Вы были военным?» Петя пожалел, что его ватник, портупея с кобурой и кубанка остались в гардеробе. Чтобы не оставить вопрос без ответа, Петя с достоинством сказал: «Я и сейчас немножко военный»,— и, увидев как вспыхнули глаза Ирины Константиновны, поспешно пояснил: «Служу в Государственной автоинспекции». Ирина Константиновна вдруг нагнулась и подула ему на освобожденную от бинтов обваренную руку, подула, а потом приступила к перевязке.

В каждую минуту своей последующей жизни Петя мог почувствовать это дуновение, это отданное ему дыхание любимой. Большинство людей, чтобы продлить и сохранить радость посетившего их чувства, делают на руках наколку, полагая, что синяя тушь, загнанная под кожу, способна удержать, сделать неистребимым высокое мгновение, пережитое когда-то. В гараже неплохие наколки делал пришедший с флота Серега Пархоменко, он даже предлагал Пете наколоть «Валя», заметив, что именно рыжая Валька с Ручьев занимает внимание Петиного сердца. Петя отказался, а потом все-таки спросил, можно ли выколоть имя с отчеством. Серега был пьян и сказал, что с отчеством нельзя, и о просьбе забыл, а Петя второй раз напоминать не стал, удовлетворившись выразительными шрамами на правом запястье, заживающими плохо и долго по причине нехватки в организме витаминов.

Высокая любовь — свободная любовь, и Петя был в своей страсти совершенно свободен от каких бы то ни было обязательств, в том числе и от обязательства обладания, но, как и все счастливые влюбленные, он был всецело в плену опьяняющих грез.

Петя даже не мог бы объяснить толком эти томящие душу желания, те, что нормальные люди называют «грезами».

Нетерпеливость сердца, стремящегося скорее насладиться счастьем, была чужда Пете. Тот самый высокий и первый миг любви, когда обреченный любить еще не знает своей судьбы, но уже очарован и живет радостью этого очарования,— этот счастливый миг, еще не знающий тоски зыбких надежд, печали ревности, унылой пустоты разлуки,— мгновение, которому суждены лишь недолгие часы и дни для сердца, жаждущего взаимности, для Пети остановилось, замерло в самой своей высокой точке и освещало все его существование, как незаходящее полярное солнце во всякое время дня.

Когда на первой перевязке Ирина Константиновна нагнулась к нему и он почувствовал запах ее волос, он понял, что никогда в его душу не проникало такого легкого, веселого огня, колющего, как искорки от бенгальских свечей, которые зажигали в клубе на елке, и этот запах светлых, как сосновая смола, волос казался ему запахом леса и чистой-чистой воды, огромной, как Плес-озеро. Потом он узнавал его, этот запах, когда весной весь поселок блестел и переливался на солнце гремучими ворчливыми потоками талых ручьев или когда он стоял на мосту над Нивой, над водой, летящей, кипящей и клокочущей на камнях.

Чем чище и звонче была вода, тем отчетливей и полнее вспоминал Петя выбившиеся из-под белой шапочки волосы Ирины Константиновны, не умея сказать, какого они цвета, как не бывает цвета у стремительной живой воды, как нет цвета у глаз, память о которых хранит лишь блеск и веселое счастье видеть их перед собой.

Причуды мелкого разврата, загоняющие под душ любовников, никогда не сообщали соискателям обновленных желаний возможность даже на миг, даже на минуту, испытать всю полноту обладания и единства, всю полноту слияния с предметом своего восторженного обожания, каковые испытал Петя, увидев однажды под дождем Ирину Константиновну.

Огромная радуга одним концом упиралась в море, быть может, прямо в каменистые корги на заливе, а другим, взлетев над сопками на полнеба, уткнулась куда-то далеко в Плес-озеро и делала дождь, пронзенный красным светом заходящего августовского солнца, праздничным, но немножко кровавым. Ирина Константиновна, застигнутая дождем врасплох, шла по улице Чкалова в сиянии своей красоты, не пряталась от окрашенных в красное струй, не спешила, а Петя заметил ее, хотя сам прятался под небольшим навесом у зеленого, заколоченного досками ларька.

Он слизывал капельки со щек, слушал густой шорох дождя и думал в эту минуту как раз об Ирине Константиновне. Заметив ее еще издали, он тут же выскочил под дождь и двинулся ей навстречу, окунувшись в косые, просвеченные заходящим солнцем струи, переливавшиеся красными отблесками.

Он шел быстро, как и полагается человеку под дождем, но неотрывно смотрел на нее, на прибитые водой волосы, на ноги, грудь, бедра, облепленные платьем и представшие вдруг в ошеломляющей откровенности...

Вода — прародина всего живого — разом обнимала и соединяла их, и легкое, тревожное мечтание, рожденное еще прошлой зимой запахом ее волос, вскормленное и вспоенное всеми запахами чистой воды, что преследовали его уже второй год, это томительное, мучительное в своей неопределенности желание, превзойдя даже саму фантазию, осуществилось полно и празднично...

Читателю уже, конечно, припомнилась история несравненной Артезы, бросившейся в море в поисках спасения от неотступного Алфея; вспомнилось, как предприимчивый Алфей, обратившись в реку, ринулся в море и настиг желанную...

Но Ирина Константиновна не искала спасения, а Петя не стремился к покушению.

И Карамзин сказал: «Удовольствия любви бесчисленны!»

Так же, как мы, постигая красоту неба, заката, пурги, не хотим присвоить их себе и обратить в собственность, так же и Петя, восхищенный женским совершенством, не обращал свой восторг в жажду собственности. Каждый миг общения с Ириной Константиновной и был для него мигом полного обладания предметом своей любви, впрочем, нам этого и не понять, зато легко можно представить, какие чувства испытал Петя, увидев «оппель-капитан» в то самое время, когда он инспектировал «Победу» начальника строительства. День-то был воскресный, так что вероятность того, что в машине едет Ирина Константиновна, была очень велика. Так оно и случилось. Петя видел знакомое красивое лицо, подавшееся с заднего сиденья вперед и бросившее жаркий взгляд в его сторону.

Богуславский всегда сидел рядом с шофером.

Нарядное оперение Ирины Константиновны, скрытое в промелькнувшем черном ларце трофейного «оппеля», более подходило не к тусклым небесам заполярной тундры, а каким-нибудь венским лесам или курзалам Баден-Бадена, кстати, для тамошних дам в свое время и сшитое. Ко времени описываемых событий венская мода, быть может, и переменилась, но Ирине Константиновне приходилось блистать в нарядах конца сороковых годов там, где застала ее пора расцвета и совершенства.

Что ж, не раз женам боевых офицеров, принимавших этапы из российских глубин, распределявших их по зонам и неусыпно содержавшим контингент в строгом соответствии с предписаниями режима, приходилось украшать собой места, столь отдаленные от всяческой цивилизации, что чувство томления от неоцененности по достоинству легко понять, как чувство естественное и справедливое. Стоило бы на Ниве-III или хотя бы в Кандалакше появиться какой-нибудь австрийской баронессе, как местное население воочию убедилось бы, что австрийская баронесса против Ирины Константиновны ничего предъявить не может, только баронессы в Кандалакшу не заезжали, и поправить дело не мог даже полковник Богуславский, поставлявший Ирине Константиновне, как говорили все вокруг, продукты прямо из Ленинграда в специальном вагоне, который цепляли к пассажирскому поезду, в связи с чем он имел неприятности от нового начальства, приведшие в конце пятьдесят третьего года его за решетку и в лагерь, где он вскоре стал жертвой несчастного случая, то есть, попросту говоря, был жестоко убит.

Для наглядности же можно сказать, что Ирина Константиновна была высокой блондинкой, фигуру имела округлую, даже с некоторой склонностью к пышности, не переходящей, однако, в излишнюю полноту: гармоничная и соразмерная во всех своих крупных чертах, она блистала свежестью и здоровьем. Полковник Богуславский был всего лишь лет на десять старше своей супруги. Поэтические намерения, выдуманные в оправдание своего выгодного замужества, Ирина Константиновна ни от кого не скрывала и охотно рассказывала о неисчерпаемых преимуществах Богуславского перед ее сверстниками, не сумевшими сделать ее счастливой. Зато счастливый муж был, что называется, широк в кости, выглядел всегда молодцом, держал себя франтом, насколько позволяла суровая служба, а что касается роста, то в фуражке, сшитой кандалакшским военторговским кудесником Кырфом Алексеем Деомидовичем, он был нисколько не ниже шагавшей с ним рядом жены. Серым глазам Ирины Константиновны не было чуждо выражение глупости, мгновенно пропадавшее, едва она увлекалась какой-либо мыслью или сосредоточенным желанием. В пору встречи с Петей она еще не утратила молодости, но уже обрела ту опытность и уверенность, которая позволяет гибкой душе красавицы осуществлять любые свои желания в полном согласии с собственными высокими принципами морали и нравственности. Не только ее приветливое лицо, но даже и плотная спина, облаченная в красивое платье, не раз приковывала к себе взоры не только мужчин, но и женщин.

Родом Ирина Константиновна происходила из Сум, где была старшей дочерью крупного сумского чекиста.

Чувство, охватившее Петю, при всей необъятности, при удивительной способности воспламеняться, как уже было отмечено, даже от запаха чистой воды, наружу не рвалось и целиком умещалось в нем самом.

Иное дело — чувства Ирины Константиновны, готовые вырваться наружу, требовавшие немедленного удовлетворения, но не знавшие к тому путей, что заставляло страдать непривычную к страданиям Ирину Константиновну глубоко и неразумно.

Немало провинциальных романов, романов захолустья, начинается с музыки, случайно вырвавшейся из окон незнакомого дома и задевшей душу, сердце и все такое прочее героя или героини.

Вышеописанный Николай Иванович любил дома музицировать для собственного удовольствия. А Богуславскому дали квартиру на Кировской аллее, где по преимуществу жило начальство, но не в том доме, где обитал начальник строительства, главный инженер и директор эксплуатации Геннадий Алексеевич Волоков, а в таком же двухэтажном восьмиквартирном, сложенном из такого же точно бруса, но рядом. И потому совершенно естественно, что, услышав однажды звуки фортепиано, летевшие из окон на улицу, Ирина Константиновна поинтересовалась: «Кто так мило играет?» «Николай Иванович у нас играет», — не без гордости ответила соседка, Мина Львовна Быкова, жена начальника технического отдела. Ирина Константиновна смутилась и даже почувствовала свою вину за это «мило».

Любопытство, слегка окрашенное чувством вины... Что может быть благодатней этого зерна, способного на почве праздного женского сердца дать не только ростки и побеги, но и самые удивительные плоды. «Как хорошо он играет», — тут же поправилась Ирина Константиновна.

Заехав в обеденный перерыв домой, Николай Иванович играл как раз плохо, ему только что привезли фотографию нот чардаша Монти, фотокарточка была небольшого размера, Николай Иванович, почти уткнувшись в ноты неморгающими глазами, сбивался, сердился на себя и от этого ошибался еще больше. Супруга Николая Ивановича, обладавшая слухом исключительным, на слух поправляла его, точно напевая мелодию, и тем только сердила мужа и сердилась сама, не умея переключить его внимание от Монти к остывающему обеду. Однако ноты, заказанные давно, были получены только что, и чардаш, в соответствии с натурой Николая Ивановича, надлежало исполнить немедленно и качественно.

Быть может, на Ирину Константиновну произвело сильное впечатление то обстоятельство, что, разбирая ноты, Николай Иванович играл, как говорят французы, du bout des doigts, кончиками пальцев — такое исполнение может тоже взволновать своей незавершенностью, легкостью и дальним обещанием всей полноты страсти и неудавшихся порывов.

Вот это вырвавшееся из дома музицирование и воспламенило в Ирине Константиновне опасное любопытство, так легко перерастающее в тревогу неутоленного желания.

Строительство ГЭС обошлось без помощи заключенных, удовлетворившись спецпереселенцами и репатриированными, и потому в отношениях служебных, столь легко и почти обязательно переходящих в провинции и в личные, и товарищеские, Николай Иванович и Богуславский не пересекались. Вовлеченная в круг общения друзей и товарищей по службе мужа, Ирина Константиновна почувствовала себя отгороженной от этих вольных людей, где подчиненные гордятся не высокими связями своих непосредственных начальников, не способностью этих начальников оказывать милость и покровительство, как говорил Богуславский, «двигать», а способностью играть на пианино.

Больше всего Николай Иванович любил играть фортепианные партии скрипичных сонат, память воскрешала скрипку отца, которому он аккомпанировал уже с тринадцати лет, и горькие паузы, строго соблюдавшиеся при исполнении, паузы для сольных скрипичных фраз, зияли загадочной пустотой, заполнявшейся слушателями сообразно возможностям собственного воображения...

Пете только казалось, что взгляд, брошенный сквозь окно пролетевшего черного «оппеля», был адресован ему.

«Хоть бы заболел, черт!» — подумала Ирина Константиновна.

Чтобы сорокадвухлетний Николай Иванович не показался белой вороной со своим Рахманиновым и Монти на фоне заполярного строительства, можно было для примера вспомнить ту же Александру Ивановну Землякову, выпускницу Петроградской консерватории: ее дивное контральто искренне радовало, кстати сказать, Сергея Васильевича Рахманинова, посулившего написать Сашеньке романс, но в заботах отъезда обещания не выполнившего. Для убедительности надо назвать и Елену Анатольевну, жену заместителя начальника технического отдела Скородумова, обучавшуюся балету и на подмостках все того же клуба имени XXV-летия Великого Октября в каска́х и пачке при глубоком недоумении половины зала, не предполагавшего такой меры откровенности в классическом балете, танцевавшую в праздничных концертах «умирающего лебедя». Да и жена самого «князя Кольского», Васи Кондрикова, бывшего в Заполярье правой рукой Сергея Мироновича Кирова, тоже была из балетных, из ленинградского Малого театра, правда, уже в тридцать восьмом она отправилась на десять лет к другим женам врагов народа в Тобольск, а потом на Колыму, откуда в сорок восьмом году вернулась, но не в Мончегорск, а в Ленинград с новой фамилией.

Заполярная тундра только на первый взгляд кажется краем диким, пребывающим в стороне от большой жизни страны, но судьба едва ли не каждого второго покорителя суровой природы могла послужить основанием для создания настоящей драмы, а может быть, и трагедии, в которых так остро нуждаются наши драматические театры.

А вот биография Пети, как и вся его жизнь, не так уж длинна, и поэтому упускать из нее события знаменательные было бы неверно, даже в том случае, когда они не носили никакого поучительного и воспитательного характера.

Когда туристы, а особенно альпинисты достигают намеченной цели, они ликуют, веселятся, поздравляют друг друга, в общем, празднуют. Когда строители гидростанции достигают в процессе стройки намеченного рубежа: отсыпают временную перемычку, затопляют котлован, разбирают перемычку, пускают первый агрегат и т. д., они, естественно, тоже ликуют. Строительство же глубоко подземной электростанции, не имевшей аналогов в мире, разумеется, несло в себе множество оригинальных этапов, так сказать, промежуточных вершин, одолев которые, были все основания отпраздновать победу. Одна из таких вершин в ходе строительства Нивы-III была достигнута на глубине пятидесяти метров.

В конце зимы, по сути дела, весной 1948 года была пробита подземная часть отводящей деривации. Шедшие навстречу друг другу от станционного узла и со стороны Морского канала проходчики, отпалив аммоналом последние метры скалы, встретились, обнялись и приступили к празднованию. А проходка здесь шла не в морене, не в поверхностных ледниковых грунтах, а в основных породах, в той самой знаменитой скале финно-скандинавского щита, никогда, даже во времена величайших всемирных трансагрессий моря, не уходившего под воду и потому являющегося самой древней сушей на земле. Вот в недрах этой суши и произошла встреча. Оси обоих туннелей, шедших навстречу друг другу, сошлись благодаря немалому искусству главного маркшейдера стройки Зенцова так точно, что для их протирки и скрепления было доставлено непосредственно в туннель несколько ящиков водки и кой-какая закуска, был и спирт; казалось даже, что где-то под землей ударил непересыхающий спиртовой родничок, потому что, когда ублаготворенные начальники, выпив в сыром подземелье по символическому стакану водки, а потом по глоточку с самыми заслуженными героями дня, во избежание окклюзий предложили всем подниматься наверх, народ двинулся очень неохотно. Анатолий Федорович Васильев, человек в отношении алкоголя совершенно сдержанный и вообще в высшей степени дисциплинированный, поднялся в числе первых и, естественно, направился к своему «козлику», где за рулем уже в мертвецкую пьяным спал его верный шофер Петька. Как удалось Петьке прийти в такое состояние, находясь на расстоянии не менее двух километров от праздника, шедшего глубоко под землей, остается до сих пор неразрешимой загадкой. Машина стояла рядом с аэрационной шахтой «Б», снабжавшей подземелье воздухом и оборудованной здоровенной клетью для подъема и спуска людей.

Подошедший Николай Иванович, увидев смущенного Анатолия Федоровича и счастливо похрапывающего шофера, положившего морду на руль, коротко бросил: «Напраздновался!» — и хотел уже сесть в свою машину с трезвым Гришей за рулем, как передумал и вернулся к машине главного инженера. «А ну, мужики, давайте-ка его вниз!» — скомандовал Николай Иванович и, сняв машину с тормозов, навалился, чтобы подтолкнуть ее к подъемнику.

Через пятнадцать минут веселого труда машина со спящим Петром была не только спущена на семьдесят метров под землю, но и откачена от шахты по подземному туннелю метров на сто.

Начальники уехали, и шофер главного инженера остался для забавы победителей.

Теперь уже расходиться не было смысла, каждый хотел видеть Петькину рожу, когда он проснется.

Тут-то и вспомнили Петю-инспектора. Нашли его буквально за двадцать минут: Петя с матушкой были в орсовской столовке на станционном узле, так как в последние дни весь поселок жил предстоящей сбойкой, и разговоры об усиленном снабжении столовки на станционном коснулись и этой маленькой семьи, непосредственного отношения к стройке и победе не имевшей.

Хмельные люди вытащили Петю буквально из-за стола и поволокли на происшествие, сбивчиво, но серьезно объясняя суть происходящего.

Петя понял главное: пьяный за рулем. Пьяных за рулем он не любил: угрозы, брань, дерзость, полное неуважение власти — вот что такое пьяный за рулем, и если уж люди сами обращаются к нему за помощью, значит, дело совсем плохо. Петя не преувеличивал своих сил, помнил о своем мягком характере и еще раз с печалью ощутил пустоту в кобуре на правом боку.

Когда Петя разбудил своего тезку, тот не поверил глазам, матернулся и собрался было продолжить сон, но лица за спиной Пети и странный гул голосов, звон какого-то железа, все непривычные для слуха туннельные шумы заставили его продрать глаза. «Ваши права и путевой лист, товарищ водитель», — сдерживая волнение, произнес Петя. Шофер, казалось, и не слышал вопроса: «Ты мне лучше, чумичка, скажи, куда это я заехал?»

Перемазанная публика в спецовках, ватниках, резиновых сапогах, по преимуществу хмельная, с восторгом смотрела спектакль в тусклом освещении дежурных ламп, на живую нитку развешанных по грубо прорубленным, еще незабетонированным стенкам туннеля.

Петька завел машину и, соображая, что надо двигаться назад, пер задним ходом, добравшись до машинного зала, не видя выхода, попробовал двигаться вперед, с вытаращенными глазами спрашивал: «Где тут у вас?» и «Мужики, как я сюда заехал, кто помнит?» Приказ начальника не говорить, как Петька сюда заехал, выполнялся строго и с удовольствием.

Петя-инспектор, как человек, по состоянию здоровья испытывавший к вину полное равнодушие и даже некоторое отвращение после неоднократных попыток друзей-шоферов приобщить его к выпивке, был со всей своей трезвостью на празднике в подземелье человеком лишним. Исполнив свою краткую роль серьезно и основательно, посмешив народ, Петя выпал в осадок, о нем даже забыли: он стал беспокоиться об оставленной в столовой матушке и устремился в поисках выхода. Сначала ему казалось, что он легко найдет подъемник, но забрел куда-то не туда и в растерянности метался по многоярусным лесам машинного зала, выходил к подъемникам третьей и четвертой шахт, где вместо пассажирской клети были только бадьи для подъема выбранной породы. Его изредка окликали, спрашивали, что он здесь ищет. Стесняясь сказать про поиски выхода, Петя серьезно произносил: «Вы не видели Газ-63, государственный номер МФ 62-33?» «А-а, вон кого ты ловишь, он куда-то туда поехал, ты его пониже ищи!» И Петя снова метался в лабиринте переходов, штолен, окончательно запутавшись в пяти горизонтах машинного зала.

А от забоя, где произошла праздничная сбойка, до аэрационной «Б» мотался на своем «козлике» второй Петя, быть может, так же, как и несчастный «инспектор», уже близкий к ужасу и отчаянию.

Свободу они получили одновременно.

Васильевский Петька прибег к универсальному способу преодоления печали, его подлечил, и он, естественно, приложился, а поскольку ударивший ключ в этот день не пересыхал, то приложился по аппетиту. Через час его в невменяемом состоянии запихнули обратно в машину, на заднее сиденье, откатили машину к шахте и подняли. На знакомый, на родной шум мотора отозвалось чуткое ухо Пети, и он оказался у подъемника как раз вовремя.

Матушку он нашел в утепленной, обшитой белыми нестругаными досками просторной кабине «деррика», где в этот вечер на смене была Вера Маколкина.

Через отошедший ко сну поселок, загребая длинными ногами по снегу, Петя припустился домой, но все равно не поспевал за летевшей перед ним, как жаворонок перед орлом, матушкой, взявшей сына за руку и тащившей его за собой, прибегнув к способу, вот уже лет пятнадцать к выросшему, но так и не повзрослевшему сыну все-таки не применявшемуся.

С месяц эта история не сходила в поселке с уст, пересказываясь с новыми подробностями и ответвлениями, потом перешла в легенды, и на приеме по случаю сдачи станции Правительственной комиссии была рассказана в подходящий момент самому Кандалову, невольно попавшему в подземелье тоже впросак. Он спустился в лифте в машинный зал, и первое, на что обратил внимание, были скромные двухрожковые бронзовые бра, установленные по всем четырем стенам. «И это — все освещение? Вот эти рож-

ки?!» — со знанием дела указал на первый просчет Председатель комиссии, отлично помнивший, что только в одной из восьми люстр актового зала нового здания Московского университета содержится сто пятьдесят ламп дневного света. Пришлось Николаю Ивановичу самым деликатным образом объяснять, что высокие шесть окон, расположенные по стене со стороны масляных регуляторов, — главное освещение зала. «Но это днем, а когда стемнеет?» — упорствовал представитель Правительства. «Здесь всегда ночь, — сказал Николай Иванович, мягко добавив к сказанному имя-отчество. — Мы под землей, на отметке порядка семидесяти пяти метров». Ловко выругавшись, рассмеявшись и похвалив ровный и мягкий, как у заполярного солнца, свет, заливавший весь машинный зал с четырьмя пауками надежно работающих генераторов, Председатель комиссии больше не прибегал к тону раздраженной строгости.

А Петя-инспектор вылетел из рассказанной на банкете Кандалову истории про спущенную в туннель машину с пьяным шофером; вылетел не только потому, что гость мог запутаться в двух Петрах, а потому, что к этому времени прошло уже с полгода, как Петю похоронили и забыли, как не оставившего по себе никакого интересного следа.

Но вообще-то ни одно общественное движение не оставалось без Петиного участия и внимания, он активно присутствовал на похоронах, всегда был в колоннах демонстрантов, хотя самые ответственные портреты и лозунги нести Пете шоферы не доверяли. Кстати, на демонстрацию он ходил «по гражданке», как говорят военные, то есть без портупеи и кобуры. Регулярно Петя принимал участие в летних гуляньях на Чкаловской улице, центральной в поселке, по наиболее фешенебельной ее части, от почты, дальше мимо чайной, «Когиза», к магазину, и так до больницы, поставленной фасадом поперек улицы в самом ее конце, на больничной горке. Когда горели сараи на 2-й Полярной, Петя был на пожаре одним из первых, ринулся в огонь и спас козу, но когда горел двадцатипятиметровой высоты деревянный копер на Пятой шахте, Петя был, как и все остальные, только зрителем; подъехать к шахте пожарные не смогли, и тушить чуть ли не стометровый факел было нечем.

Не осталось без Петиного внимания и даже некоторого участия движение огромной серой людской массы дважды в день, туда и обратно, шествовавшей мимо клуба в поселке Лесном.

Ни для кого не тайна, что строители по большей своей части обитают в жилищах временного типа, вроде бараков, и в лучшем даже и не нуждаются, поскольку, пожив пять — десять лет, все равно переезжают на новые необжитые земли, в новые палатки, в новые времянки, в новые бараки. Иное дело жилище граждан, поселяющихся здесь же после ухода строителей, на постоянное жительство. Построили, к примеру, ГЭС, а рядом, глядишь, и уже поднял свои 150-метровые трубы алюминиевый завод КАЗ, или какой-нибудь лесопромышленный комплекс, с которым тысячи людей хотят связать свою жизнь навсегда. И чтобы ответить на эти законные требования жителей в описываемые времена, где-нибудь с краю от населенного пункта часть территории обносили колючей проволокой, строили необходимое число бараков, которые заселялись будущими строителями благоустроенного каменно-кирпичного жилья для тружеников завода или комбината. То ли к счастью, то ли к сожалению, но преступный мир поставлял в распоряжение народного хозяйства как раз столько отпетых преступников, сколько требовалось для возведения каналов, заполярных железных дорог, комбинатов и прочих замечательных и необходимых сооружений как в центре столицы, так и по обширным окраинам нашей с вами Родины.

Все помнят, что в начале 50-х годов уже наметился отток рабсилы с Нивы-III, пик работ был пройден, станция пущена, начался завершающийся цикл отделочных работ и подготовки к сдаче Государственной приемной комиссии, и одновременно начался разворот нового строительства, последней станции каскада Нивы-I. Часть коллектива, не пожелавшая расставаться с Николаем Ивановичем и полярными надбавками, перебралась в Зашеек на Ниву-I, часть потянулась к теплу, на Камскую и Горьковскую ГЭС, часть перешла на работу в КАЗ, так что найти строителей для постоянного каменного поселка, а вернее, уже городка не представлялось никакой возможности. Вот тут-то " вырос волшебным образом небольшой лагерек, всего на четыре барака. Он приютился на скалистой плешине

за поселком Лесным, с той его стороны, что обращена не в сторону поселка Нива-III, а в противоположную, в сторону Головного узла.

К зиме пятьдесят первого года, к декабрю месяцу, комиссия с оценкой «удовлетворительно» зону приняла, замечания по недостаточной освещенности двухрядного ограждения были немедленно устранены, дополнительно оградили тропу наряда легкой проволокой, завезли даже на первое время дрова, и лагерек принял заключенный контингент, что-то порядка тысячи душ.

Жители поселка радовались, когда незадолго до заполнения лагерька по Кандалакшскому шоссе, по Кировской аллее, 1-й и 2-й Полярной не только поправили освещение на столбах, но и ввернули какие-то замечательно светлые лампы. В поселке стало по-праздничному светло, в непроглядной заполярной темноте и такому-то свету рады. И почти никому не пришло в голову, что делалось все только для обеспечения режима, поскольку и на работу, и с работы эта публика шла уже в полной темноте.

Таким образом, каждый день, кроме выходных, праздничных и актированных по морозу и туману дней, мимо клубного барака в Лесном, помещения, прямо скажем, скверного и неприличного, где уборщицей с комендантскими правами или комендантшей с обязанностями уборщицы жила и работала крохотная матушка непомерно длинного Пети, в начале девятого утра и после шести вечера, скрипя снегом, чавкая грязью, взбивая негустую пыль на каменистой дороге шествовала колонна по шесть человек в ряд, в сопровождении человек пятнадцати, не больше, охранников, если не считать двух овчарок на длинных поводках.

Несколько раз по утрам Петя выходил на крыльцо клуба, торцом стоявшее по направлению к шоссе, и наблюдал это стройное и отчасти воинственное шествие. Приметливый начальник конвоя капитан Капустин (Яркин), замыкавший шествие, шагал пружинистой независимой походкой скорого на ногу человека, за спиной, стволом вниз, висел неизменный легонький, как большая игрушка, автомат ППС.

Прежде чем принять решение, Петя долго думал и наконец понял, чего от него ждут.

Однажды утром, при блеске всех звезд на небе и белом свете измерзшейся до синевы полной луны, конвойные и заключенные увидели на валуне за обочиной длинную фигуру в кубанке. Конвойные заволновались, а заключенные жалели, что не могли рассмотреть лица стоявшего в рост человека, потому что свет от луны падал почти отвесно. Когда колонна поравнялась с Петей, он вскинул руку и приложил ладонь к кубанке в воинском приветствии. Капустин (Яркин) непроизвольно передвинул автомат из-за спины под мышку, готовый к любой неожиданности: для того, чтобы дать очередь в воздух и скомандовать: «Ложись, б... и!» — ему не требовалось предварительных размышлений. Такое обращение к своим подопечным он предпочитал вовсе не потому, что русский язык не предоставляет на этот случай достаточно широкого выбора; здесь обнаруживала себя прежде всего преданность руководству, преемственность традиций и много разных замечательных штрихов, рекомендующих Капустина (Яркина) в самом лучшем смысле. Старшие товарищи, помнившие Беломорстрой, не раз рассказывали о самой короткой речи легендарного Фирина на Сорожском участке, запоровшем план: «Русский мужик, пока гром не грянет, не перекрестится. Так гром гремит! Креститесь, б... и!»

И сорожцы план дали.

Рассказ произвел в свое время на Капустина (Яркина) большое впечатление, и он включил опыт старших товарищей в свой боевой арсенал.

Беспокойство Капустина (Яркина) было напрасным, несмотря на некоторое возбуждение, в колонне никто не дал повода уложить всех на снег, видно, зэки были опытные и никому не хотелось лежать брюхом на дороге, уткнувшись мордой в ботинки впереди лежащего гражданина.

Когда колонна прошла, Капустин (Яркин) легко перепрыгнул в своих бурках за обочину и подлетел к Пете: «Давай отсюда к ...матери! Сейчас собак спущу!» Капустин (Яркин) говорил очень выразительно, примешивая к произносимым словам еще какие-то звуки, не принадлежащие ни одному из известных в мире языков, и примесь этих звуков как раз и позволяла даже знакомым словам приобретать какое-то леденящее душу свойство.

Петя стоял с туманным взором, видя себя, эту дорогу и звезды и луну, и приседающих на задние лапы, всегда готовых к прыжку овчарок как бы

со стороны, как бы не принадлежащими в полной мере этому миру. Он нимало не удивился, увидев перед собой Капустина (Яркина) и услышав его злобный голос. Он спустился со скользкого валуна на заднице, поправил пустую кобуру и неожиданно твердым голосом отчеканил: «Несите службу!», — приложил руку к кубанке, повернулся через левое плечо и зашагал к клубу, где на крыльце, сунув голые ноги в валенки и накинув на плечи то ли половик, то ли пальто, его поджидала мать.

Что можно сказать о толпе в восемьсот душ, проплывшей перед нашим взглядом в голубоватом отсвете луны по ярко освещенному шоссе? Не так уж много. Разнообразия в этой публике было чрезвычайно мало. Быть может, самой характерной и отличительной чертой была и вовсе незаметная издали манера шнуровать свои тяжелые, но все-таки холодные рабочие ботинки. Шнурки были величайшим дефицитом на зоне, их можно было увидеть только у самых сильных, самых мужественных обитателей лагеря, готовых пойти на все, чтобы отстоять свое место в жизни; хорошие бечевки тоже можно считать примстой стойкости и большого запаса прочности в борьбе за выживание, вот бинты и куски простроченных краев от старых простыней, обращенные в шнурки, скорее свидетельствовали о некоторой пронырливости, хозяйственной ловкости, но не больше; проволока вместо шнурков, прямо скажу, была худым знаком, от проволоки был уже один шаг до ботинка вовсе без шнурков, а были и такие.

Или взять головные уборы, все они матерчатые, легкие, от мороза прикрывающие слабо, но и здесь можно было увидеть характер и меру стойкости заключенного человека.

Те, для кого взгляд со стороны, из свободного мира еще кое-что значил, рисковали дойти от лагеря до своего строительного загона в шапке с поднятыми ушами, рискуя обморозить собственные уши. Решение надо было принять еще на построении в зоне, потому что во время перехода уже никто тебе не позволит разнять руки за спиной, что-то там перевязывать или что-то там тереть. Те же, кто уже махнул рукой на то, как они выглядят со стороны, сразу же завязывали тряпичные уши шапочек под подбородком, что делало всех похожими на больных детей, заботливо снаряженных к выходу на холод, или на людей, страдающих зубами. Носить на шапке уши вниз, не подвязывая, Капустин (Яркин) не позволял, он получил однажды за это замечание от Богуславского, кстати, не очень верно понятое, и строго преследовал нарушение предписанной высшим начальством формы.

Но справедливости ради, надо замечать не только то, что людей разъединяет, отличает, делает непохожими друг на друга, но и то, что роднит.

Например, не было в эту минуту среди сотен участников этого зимнего парада ни одного, кто бы заметил, что все действующие лица, кроме пяти вертухаев, чьи лица не больно-то и были видны из поднятых воротников тулупов, в которых им предстояло по очереди потом весь день стоять на дощатых сторожевых вышках, своим рисунком чем-то отдаленно напоминающих некоторые, не самые знаменитые башенки Кремля, так вот, кроме этих вертухаев, все остальные действующие лица были облачены исключительно в ватники. Длинный худой человек с вытянутым лицом стоял на скользком валуне в ватнике, подлетевший к нему начальник конвоя для быстроты передвижения и легкости маневра тоже был одет в ватник, хотя и новый, хотя и зеленый и с отложным воротником, ну и колонна осужденных вся без исключения вжималась в куцые ватные пиджаки без воротников, закутав для утепления, впрочем, очень сомнительного, свои изъеденные чирьями шеи окаменевшими на морозе вафельными полотенцами не первой свежести, не успевавшими, кстати сказать, как следует просохнуть после утреннего умывания.

Как, по чьей причуде эта фатальная одежда досталась разом всем участникам незабываемой встречи?

Предъявленное наблюдение о единстве облачения может подвинуть читателя Петиной истории, кажущейся поначалу бессмысленной и безумной, к предположению — уж не аллегория ли здесь развернута с каким-то большим и тайным смыслом? К сожалению, нет в этом бесхитростном рассказе ни поэтических аллегорий, ни тайного смысла, одна только истина, а может быть, лишь ее фрагменты, уцелевшие на жерновах истории, под бременем повседневной жизни лишь частично, как и следы многих земных цивилизаций, сгинувших в бездне лет безвозвратно.

Ночь на шестое марта 1953 года Петя провел тревожно, почти не спал, не спала и его матушка, тайком шепча молитвы о даровании здоровья, перемежаемые плачем. Когда утром было объявлено, что все кончилось, Петя заплакал сильно, а матушка, доплакавшись до дурноты, издала стон, более похожий на визг, упала лицом в подушку и мгновенно уснула.

Петя еще накануне в гараже исподволь интересовался, будут ли вывешивать траурные флаги, если врачам не удастся спасти; в гараже народ от ответа уклонялся, а в милиции, куда потом зашел Петя, всегда готовый к любой беседе Многолесов твердо сказал, что не только в траур «оденется страна», но и заводы остановим, и транспорт, поэтому Петя сразу же отправился в клубную кладовку, где лежали флаги и праздничный инвентарь. Он нашел коробочку с траурными лентами, хранившимися от дней памяти Ленина и отвязанных буквально накануне Дня Красной Армии и Военно-Морского Флота. Петя подвязал двадцать семь черных бантиков, но вывесить флаг даже у входа в клуб не решился, вспомнились ему вчерашние слова старшего лейтенанта Многолесова: «А если что такое случится, то дисциплина в стране будет строжайшая...»

Петя вышел на крыльцо клуба и осмотрел небо.

Солнце в тихом великолепии вот уже второй месяц после зимней отсидки за горизонтом светило жителям полярных стран с нарастающей щедростью, с каждым днем все увеличивая и увеличивая продолжительность своих небесных прогулок.

Если не считать солнца, стоявшего невысоко прямо над Бабьим Пупом, то все небо, без единого облачка казалось безнадежно опустевшим, что в полной мере отвечало чувству безмерной утраты. Высоко-высоко, выше солнца он увидел реактивный истребитель, тянувший белую кудель, должно быть, от самой Африканды, и подумал, что лететь теперь нет никакого смысла, как нет смысла больше и в снеге, и в домах вокруг, и в одиноком, не умеющем никого согреть солнце.

Особенно белый росчерк в небе показался Пете совершенно неуместным и бессмысленным.

Сверху, со стороны КАЗа, но только справа, оттуда, где дорога заворачивала к Головному узлу, показалась черная лента, неторопливо выползавшая и занимавшая всю ширину шоссе. Дорога шла под уклон, и Петя, не раз наблюдавший это медленное тягучее движение черной колонны, всякий раз ждал, что на склоне она непременно соскользнет вниз, скатится или хотя бы немножко ускорит движение, чтобы легче было выскользнуть на встречный подъем, заканчивавшийся неподалеку от клуба. Но черная длинная гусеница одинаково текуче двигалась и под гору и в гору, и, казалось, окажись на ее пути отвесная стена, она так же неторопливо и вязко взберется на нее и, перешагнув край, так же медленно, шагом сойдет по отвесной стене вниз.

Сегодня это тягостное движение черной ленты по припорошенному ночным снежком белому шоссе как нельзя больше соответствовало безмерной печали, охватившей притихшую землю. Пете стало их жалко, не имеющих возможности даже сегодня, хотя бы в такой день остаться в зоне и выплакаться всласть.

Он пошел к себе в конуру рядом с заколоченной кассой, тихонько, чтобы не разбудить мать, надел портупею с кобурой, фуражку и вышел. На улице, проваливаясь сквозь плотный мартовский наст и зачерпывая валенками сыпучий, как песок, рыхлый снег под настом, он добрался до того самого валуна, с которого его прошлой зимой согнал Капустин (Яркин), и снова залез на него.

Теперь его было видно всем, солнце светило ему в лицо, он стоял на камне, строгий и печальный, готовый приветствовать осиротевших соотечественников военным жестом.

Впереди колонны медленно и не в ногу шли два бойца в толстых шинелях, винтовки они держали штыками вниз, неся их как миноискатели. Они коротко взглянули на Петю и улыбнулись. Петя понял этот привет как сочувствие и одобрение, но то, что он увидел дальше, не укладывалось в его ясном мозгу, открытом простым истинам, он видел сотни лиц, повернутых к нему: ни тени скорби, ни знака печали, ни заплаканных глаз... Если раньше они напоминали стадо мертвецов, которых зачем-то подняли и перегоняли из одной братской могилы в другую, то теперь Петя видел совершенно отчетливо — перед ним шли живые люди, плыли лица. Из грязной

скорлупы ушанок и вафельных коконов полотенец на шее на него смотрели веселые, нестарые лица, даже струпья обмороженной кожи на скулах, черные круги вокруг глаз, пунцовые волдыри волчанки — все было отмытым и нестрашным. Восемьсот пар счастливых глаз, именно счастливых, смотрели на него, а некоторые даже подмигивали, давая намек на какое-то тайное взаимопонимание, которое не может быть пока еще высказано.

Ужас охватил Петю, он понял с ясностью необыкновенной, почему этих людей собрали в лагерь, зачем они устранены из жизни и помещены под конвой, зачем нужна охрана и собаки.

Капустин (Яркин), как всегда замыкавший колонну, только бросил короткий взгляд в сторону Пети, не подав никакого намека на давнее знакомство. Маленький, черного металла автомат со сложенным откидным прикладом, висевший на правом плече Капустина (Яркина), показался Пете средством совершенно недостаточным, чтобы держать в повиновении этих притаившихся, только похожих на людей негодяев, готовых улыбаться и веселиться в такой день и в такой час. Провожая взглядом Капустина (Яркина), Петя порадовался, что, кроме автомата, у того есть еще и наган на поясе, плотно перехватившем коротенький зеленый ватник.

Наган, пристроенный в тылу у Капустина (Яркина), в потертой милицейской кобуре с округло обрезанной крышкой и латунным шомполом с кольцом, сочувственно провожаемый Петиным взглядом, в скором времени Петя увидел в действии, и в смысле рукоятки, которую Капустин (Яркин) вбивал между лопаток зэку, и в смысле огнестрельном, потому что вбивание рукоятки между лопаток, хотя и со всей силы, показалось Капустину (Яркину) мерой недостаточной, даже не до конца понятной человеку, на которого была обращена, и он прибег к выстрелам. Петя первый раз в жизни, как и некоторые взрослые, не говоря о детях, сбежавшихся на происшествие, первый раз в жизни видел, как стреляют в живого человека. Было страшно, но интересно.

А история, в сущности, произошла совершенно простая, даже и чепуховая, но, знаете, это всегда чужие заботы кажутся чем-то не очень трудным и сложным.

26 марта, в четверг, Петя шел по Кировской аллее, застроенной двухэтажными итээровскими домами только с левой стороны, со стороны края поселка, а правая сторона, если идти от Кандалакшского шоссе в сторону Управления строительством, была почти не застроена. Всего три таких же восьмиквартирных дома стояло с правой стороны аллеи, но неоштукатуренные в отличие от домов слева, и почему-то повернуты они были торцом к улице, а не развернуты фасадом, как дома на противоположной сторое. Зато между этими поперек стоящими домами сохранились фундаменты, заложенные в горячие предвоенные годы, но так до начала пятидесятых годов и не проросшие ничем, кроме худосочного березняка и небогатых ольховых кустов; правда, всякий раз к осени и внутри фундаментов и по краям хорошо расцветал нежно-розовый иван-чай. Небольшая польза от этих фундаментов все-таки была: школьная молодежь от первого класса так до шестого, насмотревшись фильмов про дикарей, вооружившись шестами, прыгала с одной каменной тумбы на другую, носилась как оглашенная друг за другом, издавая пронзительные крики, тоже заимствованные из трофейных кинофильмов. Когда некоторые взрослые старухи, не понимавшие пользы для детского здоровья от подвижных игр на свежем воздухе, спрашивали у молодежи, что они делают, те отвечали: «Тарзаним!» — и считали объяснение достаточным. О детях школьного возраста приходилось напоминать потому, что они тоже были свидетелями того, как ловили двух дернувших в побег и как выведенный из себя Капустин (Яркин) был вынужден применить оружие.

Если вернуться к фундаментам, то надо сказать, что вскоре после того, как за поселком Лесным образовался лагерек, тот фундамент, что был ближе к Чкаловской улице, обнесли столбами, между столбами натянули что-то линий в пять-шесть новенькую колючую проволоку, которую — частично — проворные поселковые владельцы огородов ухитрялись воровать для защиты своих угодий от бродивших безнадзорно коз, по краям поставили четыре деревянные вышки из белых сосновых досок, вышки были с красивыми шатровыми крышами.

Надо честно сказать: колючую проволоку с остававшейся на ночь безнадзорной стройзоны подворовывали, но порывов к побегу за полтора года замечено не было, а тут после трагической смерти, оплаканной всем народом, когда вовсю заговорили о возможной амнистии, на побег мог решиться только совершеннейший дуролом. Но предположить, что в заключении находились только люди дальновидные, умеющие принимать взвешенные, продуманные решения, было бы совершенно неосновательно. Разный народ был в ту пору в лагерях, разный, и можно только удивляться, как в последующие времена стало получаться, что сидел в лагерях цвет России. Взять хотя бы того, в которого вскоре будет стрелять Капустин (Яркин), и вообще — сопляк, лет по виду не больше семнадцати, а уж как подорвал и как начал тыриться, стыдно сказать. А тот, что рванул за речку, за Ниву, в сторону взрывскладов, тоже вам скажу, ума палата! И это — лучшие люди России! Не смешите. Вспомните хотя бы знаменитый каргопольский прорыв, когда сразу сто семьдесят шесть человек ушло. Так это ж люди! На Пин-озере шесть человек ушло, одного в Котласе взяли, второго в Обозерской, третий по пьянке засыпался, а трое — с концами. Люди! Думаю, что это совершенно необходимо сказать, потому что по привычке к чтению произведений социалистического реализма читатель может за каждым конкретным случаем вычитать обобщение и картину в целом; так вот, по этим двум фраерам, о которых речь впереди, не надо судить обо всех, кто пришел к весне пятьдесят третьего года, скажем образно, под конвоем.

Петя совершенно не случайно шел 26 марта по Кировской аллее, хотя и жил он на противоположной стороне поселка, но любил бывать на этой крайней со стороны Кандалакши улице, потому что здесь можно было встретить Валентину Репишеву из Ручьев, которой он совершенно откровенно и бескорыстно прокровительствовал, или Ирину Константиновну, от одного вида которой в Пете кровь замирала и начиналось сердцебиение.

На Пин-озере был лагерь посерьезней, чем в Лесном, и хозяином ему тоже был Богуславский, только условия там были не сравнить с нивскими, и держать там Ирину Константиновну было бы просто бесчеловечно.

Петя, привыкший видеть на вышках топчущихся в тулупах часовых, неторопливых, с красивыми бараньими воротниками, стеной ограждающими лицо от порывов полярного ветра, был немало поражен, когда, поравнявшись с вышкой, стоявшей на углу со стороны кандалакшского шоссе, увидел что-то непонятное. Сначала ему показалось, что часовой, прыгая, хочет затоптать окурок. Петя не понял, почему окурок надо бросать на дощатый пол, а не скинуть с вышки в снег, и только когда солдат освободился от тулупа и остался на вышке в одной шинели, Петя стал понимать, в чем дело; окончательно все разъяснилось, когда он увидел бегущего от проволоки в сторону двухэтажного дома одного человека в сапогах и матерчатой ушанке, а второго — пролезающим в изрядный проем в колючей проволоке. Часовому на вышке не составило бы большого труда пристрелить хотя бы вот этого, второго, до него было, что называется, рукой подать, метров двадцать пять, так, оказывается, винтовка с длинным штыком зацепилась за крышу изнутри вышки, и никак ее было не выдернуть и не развернуть в нужную сторону. Все дело в том, что боец на вышке сильно разнервничался из-за тулупа, потерял драгоценные секунды, а может быть, и доли минут, и вот теперь никак не мог справиться с винтовкой. Слава богу, догадался не стрелять в этого второго, который уже выскочил за проволоку и рвал по следам первого, а просто выстрелить туда, куда зацепившийся ствол был направлен, то есть вверх, в крышу. Пете показалось, что выстрел прозвучал не очень громко. Наконец этот пентюх на вышке выпростал винтовку как положено, только стрелять уже было как бы не в кого. Хитрые мужики в стройзоне нарочно все попрятались, кто в подсобках, кто за стенами уже выведенного в кирпиче первого этажа, кто в подвале, только ни одной души Петя не увидел и с тревогой подумал, может быть, эти двое — последние, остальные уже все как-то по-тихой смылись.

Запускали в зону с Чкаловской, там была и комендантская времянка, и караулка, и все как полагается, оттуда и прибежал Капустин (Яркин), уже держа в руках наган. Еще не добежав до вышки, подавшей сигнал тревоги, он по-матерному спросил часового, что произошло, и часовой с вышки такими же приятельскими словами, вкладывая в них гнев, и тревогу, и готовность защищать зону до последнего патрона, объяснил, что подорвали двое, наврав при этом, что стрелял по беглецам непосредственно. Поскольку этот страстный диалог, не представляющий особенной государственной тайны, все-таки в печать не может быть пропущен, незачем его и повторять.

Можно частично воспроизвести лишь конец разговора, где Капустин (Яркин) дал указание своему бойцу на дальнейшие действия: «И если хоть одна ... высунется к ... никаких предупредительных к ...., понял, Фролов?!» Петя про себя отметил, что фамилия «Фролов» хорошая и боец с такой фамилией должен быть хорошим бойцом.

От нештукатуренного дома, стоявшего торцом к Кировской аллее, прямо к Капустину (Яркину) бежали три мальчика и одна девочка, задыхаясь и размахивая руками, они кричали: «Он там! Там! Он туда побежал!» Капустин бросил взгляд на дом, взял почему-то наган под мышку, достал из кармана ватника «Беломор» и закурил. После двух коротких затяжек он наконец заметил детей. «Где второй?» Голос Капустина (Яркина) звучал по-командирски. Дети виновато понурились, стали о чем-то спорить между собой и, сообразив, что до настоящих героев им еще далеко, стали вспоминать: «Ты сказала...» «Я сказал...» «А что я тебе говорил!..» — и все в таком духе, но вполголоса, чтобы не мешать Капустину (Яркину) курить и думать.

От штукатуренного дома с противоположной стороны Кировской аллеи к месту происшествия бежал в кителе без пояса, в пыжиковой шапке, в галифе и в тапочках без задников сам полковник Богуславский, в руках у него был плоский ТТ.

«Что стоишь?! Что стоишь...?!» Богуславский нашел удивительное матерное выражение для Капустина (Яркина), человека небольшого роста, хотя и сам Богуславский, видит бог, был самое лучшее среднего росточка. Для убедительности и в подтверждение своих решительных намерений Богуславский дважды выстрелил в небо.

Петя оценил выстрелы из ТТ значительно выше винтовочных, может быть, оттого, что они грохнули почти над ухом.

Едва прозвучали первые выстрелы, еще те, с вышки, как к месту происшествия стеклись неизбежные лица, образовавшие не то что бы толпу, а немногочисленную кучку зрителей — из десятка мальчишек, двух девочек и трех убого одетых женщин без возраста, с тусклыми лицами и какими-то сонными, остановившимися глазами, будто их разбудили и насильно поставили здесь смотреть, что будет. Выстрелы Богуславского пробудили в сонных женщинах страх и возрастающую готовность досмотреть все до конца, сколь бы ужасно ни было предстоящее зрелище. Несмотря на то, что публики было все-таки мало, а места очень много, дети умудрялись толкаться и даже ссориться между собой, а взрослые, прося вести себя потише, внушая уважение к серьезности происходящего, поняли наконец свою роль и обязательность своего присутствия.

Петя всей душой стремился к центру событий, он менял позицию, чтобы видеть лицо начальника конвоя и по его выражению понять ход мыслей и предстоящих дел; волоча по снегу длинные ноги, он сделал несколько кругов вокруг Богуславского, едва не наскочив на мальчиков, ссорившихся из-за горячих гильз, вылетевших из пистолета полковника. Если Капустин (Яркин) и Богуславский, отдадим им должное, были главными действующими лицами на утрамбованной снегом сцене, то Петя, с его сосредоточенным интересом буквально ко всем и ко всему, напоминал режиссера, который во время репетиции бесцеремонно влезает на сцену, ходит среди актеров, продолжающих играть свои роли, и следит за правильностью исполнения одному ему ведомого замысла, но сам никакой роли не играет.

Разум Пети был развит ровно настолько, чтобы принимать окружающую его жизнь за единственно возможную.

Три класса начальной школы в Усмынске, согласитесь, образование скромное, таким образом, можно смело сказать, что отсутствие сколько-нибудь глубокой образованности, да и отсутствие способной к полету фантазии, позволяющей и без образования вообразить жизнь более-менее порядочную, делали Петю неотличимо похожим на самих устроителей окружающей его жизни и на многих прославленных ее певцов, также не допускавших мысли об ином мироустройстве.

Сбежавшиеся мальчишки, кто с санками, сооруженными из гнутых труб, кто с пустой кошелкой, отложив поход в магазин, кто на лыжах, обрезанных по моде этого сезона чуть ли не до размера коньков, кое-кто даже полуодетый, на манер Богуславского, собрались смотреть, что будут делать взрослые, вышедшие на улицу с готовым к действию оружием. На

разные голоса, на разные интонации, со страхом, с восторгом, с надеждой, с ужасом произносилось слово «побег».

Для каждого из нас есть вещи, недоступные пониманию: для одних Бог, для других — безбожие, а Пете не дано было понять, что такое побег, впрочем, не одному Пете.

Побег относится к тем несчастным проблемам, по отношению к которым даже серьезным исследователям редко удавалось сохранить объективность и не впадать в крайности, подобно профанам и непосвященным.

Побегами зовут молодые ростки, подтверждение жизни...

Побег — это как второе рождение и даже лучше.

При первом своем рождении мы мало что соображаем, чувства есть, но нет памяти, а стало быть, нет начисто и понимания того, что с нами происходит. Первое наше рождение, оно как бы вынужденное, и от нас мало что зависит. А побег? Если загодя вы не затягивали, не закручивали в себе пружину, которая должна в нужный день и нужный час кинуть вас на запретку, а потом и дальше, за барказ, если нет у вас на это доброй воли, как не было ее у того сопляка, что выскочил сегодня вторым за проволоку, так лучше тихо сидеть от звонка до звонка.

Побег — это не жизнь, а эликсир жизни.

Рваните за проволоку, хоть на минуту, хоть на десять минут, и всем своим существом, а не только умом и глазами, вы поймете, что все, все, что видели раньше, когда вас водили по этим же самым улицам, среди этих же самых домов, было сплошным обманом воображения. И прольется свет, даже если вы подорвали ночью, мир откроет перед вами свое лицо, упадет завеса слепого безразличия, вот уже который год отделяющая вас от всего, что расположено по ту сторону. Все необъятное пространство земли, еще минуту назад не рассчитанное на ваше присутствие, становится в миг, в этот священный первый миг свободы твоим, с тобой, и для тебя, ради одного только этого мига, быть может, и стоит рискнуть. И в час, в эти священные минуты, когда не на кого положиться, не от кого ожидать помощи, вы увидите, как присутствие духа и решительность возрастают по мере увеличения опасности.

Болезненный задор, рожденный мыслью о побеге и не оставляющий ни на минуту, даже во сне, доводит душу до отчаяния, изболевшееся ваше нутро уже не спрашивает, можете вы бежать или нет, разумно это или нет, хватит ли сил, наглости, везенья; мозг оглушен всеми звуками, несущимися оттуда, где вас все еще нет, и глохнут все сомнения, а разум признает только те расчеты, что в пользу побега.

Я так скажу, побег — это болезнь, болезнь души, это жизнь в вас, несогласная с предписанным ей медленным умиранием, требует свое, и единственное исцеление от этой болезни — бежать.

В побег идут люди разные, поэтому разные у них не только походки, но и разные чувства, надежды, страсти и все остальное.

Тот, молоденький, что выскочил вторым, бежал по обязанности, из страха, а не для свободы, поэтому и рассчитывал свой побег до ближайших домов. Рассказывать про него нечего. Неинтересно. Короче, так, гражданин Дмитрий Филиппович С-кий, восемнадцатого года рождения, имевший четыре судимости и отбывавший в текущем году наказание по четырем статьям, играя на «три косточки», как говорится: «меж двух остался наголо»,— проиграл этого паренька в карты, проиграл на побег, если паренек не побежит, то Дмитрий Филиппович, как проигравший его, обязан будет его же и замочить, то есть зарезать ножом. Узнав об этом, Алексей Николаевич Бр-н, по кличке «Бобрик», 1921 года рождения, с тремя судимостями и двумя побегами, предложил тому пареньку бежать на пару, также пообещав его замочить, если только он кому-нибудь пикнет. Алексей Николаевич рассудил трезво: если бакланчик запутается, отстанет, даже если его подстрелят, то все равно — в масть, хоть на какое-то время, но преследование он на себя оттянет. Если же повезет, уйдут оба, то потом будет несравненно легче вдвоем, взять тот же сон, держать ким можно по очереди. Факт важный.

Побег для гражданина Бр-на был не то же самое, что для паренька, вывернувшего где-нибудь у себя в правлении колхоза две лампочки и пойманного с поличным каким-нибудь принципиальным парторгом МТС.

Ни чифир, ни водка, ни игра в карты, ни игра с девочкой, ни игра с ножом не позволяли испытать Алексею Николаевичу Бр-ну таких острых

и мгновенных чувств новизны жизни, обрушивающейся на человека разом, как вал морского прибоя на испекшегося в пустыне, умирающего в песках от жажды человека. Побег, как вышеназванный морской вал, освежит, сообщит новизну всем чувствам и обновление телу, только горько-соленая влага никогда не сможет утолить сжигающую душу жажду.

Уверяю, такой впечатлительности, что откроется в вас в эти первые невероятные мгновения свободы, вы в себе даже не подозревали. И как бы долго и сладострастно вы ни думали о свободе, в первый миг вы поймете и почувствуете, как смутно и туманно рисовало ваше воображение заветную цель. И действительно, одно дело мечтать о девушке, вертя на шконке невестку, подушку тонкую, как носовой платок,— или держать живую девушку в своих руках, покорную всем вашим желаниям.

Неволя мучительна и трагична, свобода тоже не сахар, но побег — это творчество.

Побег, как творчество, требует отчаянной самоуверенности.

И если согласиться с тем, что искусство не изображение, а преображение жизни, то побег, безусловно, произведение искусства: он преображает неволю в свободу, преображает и самого автора-исполнителя, и весь мир вокруг него.

Вы обратили внимание, заключенный контингент «горизонтом» называет верхнюю филенку в камере, потолок «небом», а лампочку «солнышком», это очень характерная подробность, подчеркивающая, что реальные горизонт и небо как бы не принадлежат им, находятся в совершенно другом мире; точно так же как и реальное солнце, судя по тому, что на зоне его зовут «блатной шарик», тоже светит только вольняшкам, только избранным счастливчикам. Все, решительно все, выглядит из рядов марширующей колонны не так, как в действительности. Вот пример. Заметив на бегу какую-нибудь совершенно бесполезную вещь, многажды в этот день виденную, ну ту же изморозь на проводах, вы непременно ей изумитесь как открытию.

Что пожелать бегущему?

Больше гибкости, больше чуткой восприимчивости к непредвиденному и неожиданному!

Этот лозунг вроде бы можно было адресовать и прозябающим в неволе, только, следуя ему, пришибленный человек и вовсе превратится в червя.

Если вас еще не довели до забвения самого себя и вы хотите и способны испытать упоение жизни — идите в побег! И не обязательно для этого змейкой перепиливать решетку, толкать купленного конвоира руками в кювет или подныривать под колючую проволоку, дождавшись хорошей пурги. Воля есть воля, и если уж Пушкин на склоне своей короткой жизни думал о побеге, если писатель Лев Толстой даже в преклонных годах, при не очень крепком здоровье все-таки в побег ушел, значит, воля чего-то стоит.

И говорится это все с единственным прицелом, на случай, если вам когда-нибудь придется целиться в бегущего человека, прежде чем нажать на спусковой крючок, подумайте о том, что бежать ему все равно некуда, любая жизнь, как ни крути, оборачивается неволей.

Бобрик уходил грамотно, то есть немного бегом, а потом переходил на быстрый шаг, во-первых, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания маячивших на улице теток и поселковых собак, но главным образом, экономя силы. Это новичок ломит первые десять минут на радостях, что ушел без раны, а потом хватает воздух, как карась, и удивляется, что легкие забиты ватой, а ноги с непривычки деревенеют.

— «Щас возьмем»,— коротко сказал Капустин (Яркин), как бы не чувствуя в эту минуту старшинства полковника в тапочках.

Со стороны караулки уже бежали два бойца с винтовками с примкнутыми штыками.

— «Сколько ушло?» — с глухой угрозой спросил Богуславский.

Имея такую молодую и такую красивую жену, как Ирина Константиновна, Богуславский чувствовал на себе обязанность быть bon vivant: следуя привычкам человека, всесторонне озабоченного счастливым устройством жизни, он держал парикмахера, которого привозили ему на квартиру; если собирались гости на именины или Октябрьские, привозили и поваров, мобилизованных среди отбывающих отсидку проворовавшихся кухмистеров: в шести лагерях, над которыми простер свою опеку Богуславский, собрались яркие представители молдавской, московской, кавказской и украинской кухни.

Челядь, вовлеченная Богуславским в его частную жизнь, удивляла его своей наивностью и простодушием. Награждая, например, парикмахера початой пачкой «Беломора», даже понимая, что в зоне она ценится ровно в сто раз дороже, чем в магазине, он считал совершенно не нужными слова восторженной благодарности. Впрочем, не обременявший себя излишними знаниями о жизни подопечных, полковник мог только догадываться, какие выгоды имели приглашенные к нему на стирку, уборку квартиры и другие службы лагерные умельцы благодаря хотя бы краткому, но льготному передвижению через поселок. Но знай, какие блага не в шутку сулили парикмахеру, если он полоснет своего клиента по горлу бритвой, то быть может, он предпочел бы бриться сам.

Если оперативная обстановка позволяла, Богуславский всегда обедал дома, заезжая в поликлинику за Ириной Константиновной или просто посылая за ней шофера, благо до больничного городка от дома было метров восемьсот пешком, если срезать угол у родильного отделения. Домой влекли Богуславского не только обеды, но и общество Ирины Константиновны, и возможность в спокойной обстановке отдохнуть после обеда.

Вот, как раз в конце обеда, как говорят французы, entre le poire et la fromage, то есть между грушей и сыром, полковник услышал глухие винтовочные выстрелы — один, второй — после чего и решил выскочить на улицу, хотя бы для того, чтобы на глазах Ирины Константиновны, деликатно второй год не замечающей, как на его широкой жирной груди образовались еще вдобавок маленькие сиськи, решительно выхватить всегда лежавший под матрацем пистолет, передернуть затворную накладку, обнажив на мгновение спрятанный в недра пистолета ствол и бросив, даже чуть резко: «Закройся и сиди!» — кинуться на ее защиту, хотя бы и в тапочках. Умение видеть себя со стороны подсказало ему правильное решение, нельзя было терять время на возню с сапогами, поступок терял эффект стремительности и молодцеватости, столь драгоценной в стареющих мужьях; хромовые голенища на повседневных сапогах, как и на парадно-выходных, полуглаковых, были специально заужены и натягивались на полноватые икры с большим усилием. Явившись в тапочках на улицу и несколько потеряв в глазах толпы, он, безусловно, выиграл в глазах Ирины Константиновны.

На вопрос «Сколько ушло?» Капустин (Яркин) бросил коротко: «Двое»,— не считая нужным ни оправдываться, ни трепетать перед начальником. От начальника конвоя нужна служба, а не обхождение. Это у тех, кто по линии снабжения, вот там почтение, уважение к начальству на первом месте, а конвойный повязал беглецов — молодец! а ушли, так мало, что битой мордой отделаешься, если не хуже, и никакая козыряловка тебя не спасет.

— «Где второй?» — рявкнул Богуславский.

— «И второго возьмем»,— сказал Капустин (Яркин) так, будто первый был уже заарканен и лежал у его ног.

Вольность такого разговора, на первый взгляд даже предосудительная, в известных коллизиях наблюдается едва ли не повсеместно.

Капустин (Яркин) отлично сознавал, что звание начальника конвоя не освобождает его от чинопослушания, но вместе с тем дозволяет некоторые хитрости в отношении к страдающим заносчивостью и склонным к помыкательству старшим чинам. Полковник же Богуславский, безусловно, и достойнейший своего места и звания, и отягощенный многими успехами по службе, был совершеннейшим школьником в таком деле, как организация погони, преследование и поимка беглецов. Да и сам Богуславский, в свою очередь, сознавал, что один листок лавра, столь проворно ухваченный Капустиным (Яркиным), еще не составил венка, и непременно будет нужен второй, и он верил в своего соратника, имея немало доказательств и примеров, как ради дела тот был всегда готов пойти на любой беззаконный подвиг.

В конечном счете преимущество Капустина (Яркина) состояло лишь в понимании того, что тот беспорядок, в котором происходит погоня, и есть **порядок**, необходимый для данного действия, в то время как начальст-

ву, насаждающему всюду устав, правила и закон, никак невозможно довериться стихии, то есть отнестись к поимке сбежавшего как к искусству. Замечено, что преувеличивающие организационный момент в этом требующем интуиции, азарта и опыта деле как раз и не преуспевают.

— «Сколько тебе нужно людей?» — Богуславский переменил тон, постепенно остывая в незастегнутом кителе.

— «Посмотрим, куда пошел»,— деловито сказал Капустин (Яркин), бросил окурок и, крикнув подбегавшим бойцам: «За мной!»,— легко побежал к дому, где, согласно детской наводке, укрылся один из беглецов.

Дальнейшие обстоятельства происходили так.

Дом, где спрятался сбежавший заключенный, был развернут торцом к дороге; устроенный на неровном месте, он имел дальнее крыльцо с деревянным навесом в семнадцать ступенек, а ближнее — только в шесть.

Капустин (Яркин) повел своих бойцов к дальнему крыльцу, а Богуславский, звезда которого в эту пору была в полном блеске и достигла зенита, словно нарочно не замечал Петю, а ведь вскоре начнется уже закат его звезды, и довольно быстрый, в середине лета. Петя даже специально несколько раз прошелся под носом полуодетого офицера, всего лишь год назад поименованного в полковники, при этом Петя мог рассмотреть Богуславского в подробностях. Росту в полковнике было меньше среднего, тело, не затянутое ремнями, не запрятанное в замкнутый на пуговицы и крючочки китель, обнаруживало очевиднейшую склонность к тучности, а лицо пухлое, с тяжелыми мешками под глазами было, напротив, не по возрасту розовое; словом, не только Петя, но и более наблюдательные люди не могли бы допустить, что видят перед собой человека, всю жизнь предполагавшего в себе склонность к тонким и возвышенным чувствам и даже романтизму, для которого, к сожалению, еще не настало время, зато он был наделен безусловным дарованием исполнительности и твердости и этот дар в полной мере в себе развил.

Богуславского же, напротив, Петя интересовал не больше, чем почерневший от дождей и морозов столб с фонарем на краю дороги, при том, что Петя молодцеватым жестом поправлял свою кубанку с эмблемой НКВД и убирал складки на ватнике за спину, за ремень, на котором упреком висела пустая кобура. Втайне Петя надеялся, что полковник, увидев, что сотрудник оказался безоружным, даст ему хотя бы на время свой ТТ или как-нибудь иначе поправит дело... Неисправимый мечтатель!

Прошла минута, вторая, третья. И Петя решил, что надо действовать самому, он метнулся к дальнему крыльцу, оскальзываясь на ступеньках, чистых от снега только посередине, взбежал наверх, но понял, что опоздал: отряд из трех человек уже скрылся в подъезде, с лестницы на него пахнуло теплым ароматом вареного мыла, где-то стирали и кипятили белье.

Петя вернулся на улицу, на тот случай, если кто-нибудь спрыгнет с крыши или выскочит из второго подъезда.

Опросить жильцов, не забегал ли кто посторонний, было для Капустина (Яркина) делом двух минут. Левая квартира на втором этаже была заперта, и бабка из квартиры напротив сказала, что соседи поехали на свадьбу в Оленью всей семьей с детишками, потому что у ребят все равно скоро каникулы.

Тут наступила самая деликатная часть операции. Люк на чердак был распахнут, на приставленной лестнице — мокрые следы, так что и собакой не надо быть, чтобы понять опасность, грозящую любому, кто высунет первым голову из люка на чердак. Вооружен сбежавший или нет, скорее всего можно будет узнать по дырке в голове. Капустин (Яркин), чтобы не нервировать бойца, даже как бы между прочим кивнув на приставленную лестницу, скомандовал: «Лагофет, вперед!»

Лагофет, успевший вспотеть, пока бежал от караулки к дому, завертел головой, словно собирался отыскать какого-то другого Лагофета, которому предстояло лезть наверх. Взгляд его натолкнулся на бабу, спрятавшуюся в квартире, но голову высунувшую на лестницу, при этом она держала руками дверь. «Что смотришь?!» — вдруг рявкнул Лагофет. Голова исчезла, дверь, обитая чем-то вроде ватного матраца, зашитого в мешковину, захлопнулась глухо и мягко. «Может, этого длинного позвать, он посмотрит».— В голосе бойца дрожала неуверенность и надежда, что во время разговора командир придумает что-нибудь спасительное или, как Чапаев, пойдет вперед сам.

— «Вперед, чувырло!» — не разжимая зубов, выдавил начальник конвоя, подкрепив команду увесистым матюком и жестом руки с наганом, указывавшей направление движения. «Люди смотрят...» — все так же, не разжимая зубов, прошипел Капустин (Яркин), имея в виду, быть может, скрывшуюся за дверью бабу и теперь наблюдавшую сквозь замочную скважину; или напоминание традиционно подразумевало народ, отечество и людей доброй воли. Как ни странно, последний довод как-то успокоил бойца, сработал, Лагофет припал к лестнице и медленно, на каждую ступеньку становясь двумя ногами, двинулся вверх, запрокинув голову, готовый в любую минуту слететь вниз.

Трехлинейная винтовка с примкнутым граненым длинным штыком для боя на чердаке вещь совершенно непригодная, но другого оружия у Лагофета не было. Дойдя до середины лестницы и понимая, что следующий шаг уже сделает его голову уязвимой, боец стал пихать в люк винтовку. Командир видел, что солдат нервничает, переживает, волнуется, делает нелепости, но останавливать его не стал, он ждал выстрела, главное было узнать, вооружен сбежавший или нет.

Винтовка не без труда была выпихнута наверх и лежала поперек люка. Окажись преступник рядом, ему ничего не стоило бы завладеть оружием, или, говоря их нелепым языком, задюкать этого дубака на хомут, то есть взять конвоира сзади за горло.

Прежде чем высунуть голову, Лагофет нажал на курок и шарахнул, после чего сразу же резко выскочил на чердак.

Чердак был засыпан между балками на полу шлаком, и хруст от собственных шагов мешал слушать, есть ли еще кто-нибудь на чердаке.

Приглядевшись к сумраку, Лагофет увидел рядом со вторым люком на вторую лестницу лежащего лицом вниз, распластанного человека, в сером ватнике, с раскинутыми ногами в кирзовых малоношеных сапогах.

«Готов!» — победно крикнул вниз Лагофет и закинул ненужную больше винтовку за спину. Как много чувств и мыслей было в этом торжественно-небрежном «Готов!» — и гордость победителя, и какой-то неясный упрек командиру, и благодарность судьбе, и похвальба меткого стрелка, и даже казалось, что в это короткое высказывание смог уместиться и усталый вздох человека, хорошо сделавшего важную и трудную работу.

— «Где?» — Капустин (Яркин) мигом влетел на чердак.

— «Да вон же...»

Командир и боец подошли к убитому.

— «Куда ты его?» — великодушно прощая прошлые ошибки и переходя на деловой товарищеский тон, поинтересовался офицер внутренних войск Капустин (Яркин).

— «А х... его знает»,— с небрежностью победителя бросил боец.

На чердак вскарабкался и второй конвойный, понимая, что придется тащить и лучше не ждать, пока позовут особо.

Капустину (Яркину) все-таки было по-человечески интересно «куда?», и он тронул носком сапога плечо лежавшего, чтобы перевернуть тело и как следует посмотреть.

Голова убитого поднялась: «Дяденька, не убивайте... Дяденька, не убивайте...»

Впечатление было таким неожиданным, что и речи не могло быть о том, чтобы добивать.

— «Куда тебя?» — спросил Капустин (Яркин), не утоливший любопытства и засомневавшийся в меткости своего бойца.

Паренек лет семнадцати, не поворачивая лица и все еще ожидая удара, встал на корточки, постоял, потом распрямился и поднял руки, как пленный немец в кино. Он смотрел куда-то мимо, на грубо сложенные печные трубы, неоштукатуренные, с выступающим между разномастными кирпичами раствором, смотрел на бельевые веревки, с двумя забытыми деревянными прищепками, и только боялся взглянуть на конвойных, будто знал, что если взглянет на них, то сразу и умрет. Он хорошо знал, что они вправе сейчас сделать.

— «Да он живой»,— сказал подошедший второй охранник, внося свою лепту в задержание. «Пошел вниз!» — по-командирски рявкнул ему Капустин (Яркин): «Живой... живой... Смотреть надо, а не о бабах думать на вышке, вот тогда и не будет живой».

Начальник конвоя легко обшмонал беглеца, убедился, что оружия при нем нет, и ударил наганом по поднятым рукам, чтобы опустил.

К полному удивлению Пети и остальных зрителей происшествия, без всяких предисловий с невысокого крыльца, расположенного ближе к дороге, а не с того, куда ушли бойцы, серым комком вылетел заключенный, словно им выстрелили из рогатки, и, прокатившись по снегу, мгновенно вскочил на ноги.

На крыльцо тут же вышли два бойца и командир. Опережая солдат, Капустин (Яркин) скатился с крыльца и, подбежав к пойманному беглецу, со всего маху лупанул его рукояткой нагана между лопаток.

Петя ждал, что после этого удара, от которого любая спина будет пробита насквозь, а уж на ногах не устоит даже конь, беглец растянется по снегу и больше не встанет. Но молоденький заключенный только вздрогнул, словно проглотил удар.

Капустин (Яркин) как-то очень быстро, еще на чердаке и на лестнице, пока спускались, пережил радость быстрой победы, даже успел испытать определенное удовлетворение от того, что Лагофет не подстрелил этого недоноска и теперь не надо его тащить, но уже на крыльце, при виде полковника, все еще стоящего перед домом, при мысли о трудной и долгой погоне за вторым, злость мгновенно вспыхнула у него в сердце и тут же опалила разум. Он еще пару раз вломил пойманному беглецу рукояткой между лопаток, а тот только вздрагивал и выл: «Дяденька, не убивайте...»

Собственно, крайнюю меру, можно сказать, подсказал сам виновник происшествия; этот тип, закрывавший почему-то ладонями лицо, хотя по лицу никто его бить не собирался, опять стал кричать: «Дяденька, не убивайте! Дяденька, не убивайте!» — и этими самыми криками скорее всего и подсказал Капустину (Яркину) мысль о бесплодности ударов по позвоночнику и о возможности кончить дело одним махом. Только одним махом не получилось.

Не помня уже себя, Капустин (Яркин) отпустил заключенного шагов на пять и шарахнул прямо в спину. Петя недоумевал, как же так, капитан внутренних войск — и промазал, зато шедший впереди конвоир только что не подпрыгнул, когда рядом с его ногами пуля выбила ледяной осколочек из твердо утоптанной дорожки.

Парнишка-заключенный, казалось, не слышал выстрела, потому что, когда грохнуло во второй раз, он так же, не оборачиваясь и не отнимая ладоней от лица, выкрикивал свое заклинание.

Промазав во второй раз, Капустин (Яркин) распалился еще больше, но тут конвой вышел на Кировскую аллею, от Чкаловской катила, весело гремя цепями на задних скатах, газогенераторка начальника Морского канала, так называлась отводящая деривация, участок от Лупчи до Кандалакшского залива. Машину эту Петя знал и уважал как последнюю газогенераторную во всем гараже.

Конвойным пришлось посторониться.

— «В амбар его!» — скомандовал Капустин (Яркин) шедшему сзади конвоиру. Петя, ступавший в двух шагах сзади от начальника конвоя, увидел, что командир сунул наган в кобуру и направился к полковнику Богуславскому, решил повернуть обратно.

— «Дурачок», — как о нашалившем школьнике, сказал Капустин (Яркин), будто и не палил только что из нагана: «Второй посерьезней будет, а этот так, баклан из валетных».

— «Дежурную смену подымай! Собак давай! Хоть сам носом по следу иди, а чтобы дотемна живого или мертвого! Не понял?!» — заорал вдруг Богуславский, будто рассчитывая, что его голос и рвение услышит вышестоящее начальство, которому сейчас надо доложить о побеге, если уже не доложили.

— «Кандалакша прикрыта. Уже дали знать, — совсем как на равных сказал Капустин (Яркин), не придавая крику никакого значения. — Через военный городок он тоже не попрет. Может за реку двинуть».

— «Чтоб под елкой околеть?» — злобно сказал Богуславский.

— «Да лыжи-то в каждом доме, товарищ полковник, — разумно заметил капитан. — Надо гарнизон поднимать».

— «Ладно. Давай, поднимай людей, поднимай собак. Околеешь тут с тобой», — во время этой уже примирительной речи Богуславский вынул обойму из рукоятки ТТ, потом оттянул затворную накладку и поймал в ладошку блеснувший латунью патрон с короткой толстенькой пулей, показавшейся Пете чем-то похожей на голову полковника.

Наблюдавшие эту сцену подошедшие взрослые и сбежавшиеся два десятка школьников, не отобранные специально, а выхваченные случаем из числа жителей поселка, дружно показывали удивительное, ни с чем не сравнимое бесчувствие.

Неужели старинная история о душе, проданной властителю тьмы, до недавних пор считавшаяся порождением дремучих суеверий и невежества, и есть чистейшая правда, а поэтическая фантазия, для смягчения этой правды, лишь преувеличила дары, полученные в обмен за отданную душу?

Трудно сказать, какие блага были предложены жителям поселка Нива-III. Судя по тому, что никакими несметными богатствами, помимо полярной надбавки к зарплате, они не располагали, никакими волшебными дарами не владели, даже продовольствием и промтоварами снабжались довольно скверно, надо думать, что на этих тайных торгах с существом, наделенным высшей властью, речь шла о жизни.

Самое же замечательное вовсе не в молчаливой созерцательности бездушной публики, а в том, что и сама жертва, пребывая на краю жизни, под огнем и ударами конвоирского нагана, видя перед собой толпу, не подумала взывать к ней и искать у нее защиты, связывая все свои слабые надежды на продолжение жизни только лишь с Капустиным (Яркиным), будто бы вся бездна добра и великодушия была сосредоточена в нем одном.

Где же пребывали в эти торжественные мгновения публичного покушения на убийство погнутые, порабощенные или похищенные души Петиных современников? Кто стал их всевластным хозяином? И на что они были ему нужны, эти души? Что он собирался с ними делать?

Нет ответа.

Так оно и бывает, когда речь идет об опасной болезни, назвать которую собственным именем никто не спешит.

Хотя первого поймали как-то наскоро, словно между прочим, и ничего замечательного не произошло, Петя соображал, что для него все складывается не так уж плохо. Первого поймали все-таки при его участии, и Богуславский это видел и, наверное, расскажет Ирине Константиновне; видели и женщины, стоящие здесь, и смогут подтвердить, что он был почти что в оцеплении. А вот в поимке второго сбежавшего он сможет проявить себя целиком, и тогда он уйдет из гаража, где работает автоинспектором, в отдел и станет сотрудником.

— «Тебя-то, Петенька, здесь только не хватало, — сказала одна женщина. — Смотри, что делается...»

— «Пете орден нужен», — хмыкнула вторая, вспомнив, наверное, как на 9 мая на Петю в гараже надели штук двадцать орденов и медалей, и он, счастливый, ходил и поздравлял всех с праздником. Одну медаль «За победу над Японией» он все-таки потерял, или мальчишки по-тихой сдернули, только пришлось виниться перед расстроенным пьяным хозяином, обещать заслужить и вернуть. «Петя, Петя, — сокрушался победитель Японии Подполякин. — Когда теперь с Японией воевать будем? Ты подумай?» После этого случая, когда не было в гараже других тем для разговоров с Петей, кто-нибудь спрашивал, как у нас дела с Японией, не назревает ли серьезный конфликт, и все смеялись: «Подполякин их хорошо поучил, теперь не скоро хвост поднимут!» В шутку, конечно, предлагали Пете на манер китайца записаться добровольцем в Корею, и когда он совсем уже собрался, то дружески объяснили, что Япония в военных действиях не участвует, хотя и сочувствует лисынмановский клике, но все равно с краю. Тем не менее Петя внимательно следил по газете, выставленной в витрине у почты, за событиями в Корее, чтобы не проморгать момент, когда он может понадобиться, а пока вел подсчет американским самолетам, сбитым зенитными частями Народной армии и стрелками-охотниками за вражескими самолетами. Вопрос был настолько привычен, что Петю запросто спрашивали: «Сколько сегодня?» «Два», «Три», — с готовностью отвечал Петя. Когда было сбито четыре и больше, Петю поздравляли. Его дружески журили за то, что позволяет американцам обстреливать из артиллерии в Паньмыньчжоне район, где проходит мирная конференция, и снаряды рвутся вблизи помещений, где ведутся переговоры. И хотя Петю иногда в гараже расспрашивали об американских бомбах-минах, которые занимали бывших фронтовиков: бомба не взрывается, когда падает, а вот если к ней подойти и тро-

нуть, бьет всех вокруг осколками, спрашивали, почему отдал Пусан, почему ушел из освобожденного Сеула, в общем, допекали и по внутренней, и по международной политике. Именно в гараже нужда и заботы скудного существования отлетали от Пети, и он жил полнокровной жизнью, даже в милиции он не чувствовал себя так хорошо, но понимал, что пока еще не заслужил и все впереди.

Петя появлялся в гараже произвольно, и никто не решался лишить его этого безвредного удовольствия.

С сокрушенным видом он осматривал машины, иногда ложился на фанерный лист и, как ремонтник, подолгу лежал под каким-нибудь изношенным самосвалом, решая какие-то непростые задачи. С удовольствием он проверял работу системы освещения, иногда шоферы разрешали ему самому включать и выключать фары, тогда он выходил из кабинки и, что-то ворча под нос, протирал стекла и фонарь освещения номерного знака, если таковой был цел. Любил Петя проверять работу тормозной системы, люфт руля и давление в скатах постукиванием носка валенка по колесу. Никто серьезней Пети не относился ни к машинам, ни ко всему, что с ними связано, и за это все его уважали. Иногда он мог полдня просидеть, проверял старые наряды, по которым уже были выплачены и частично прожиты и пропиты деньги, смотрел кипы старых путевок, накладных, прошлогодние диспетчерские журналы, делал сдержанные замечания. Как человек некурящий, он никогда не засиживался слишком долго в курилке, считая это для своего инспекторского звания непозволительным. Овеянный милыми запахами и звуками гаража, Петя делал подчас и строгие замечания, слышал, как правило, в ответ утешительные заверения в немедленном устранении неисправности, но никогда не делал замечания по одному и тому же вопросу дважды: то ли забывал, то ли боялся показаться чрезмерно докучливым, преследующим своими придирками кого-нибудь одного.

В курилке разговоры с Петей шли на самые разные темы, ответы всегда казались неожиданными.

Петя не знал, что он глуп, и поэтому не старался казаться умным.

— «Петя, а земля круглая?»

— «Я не знаю»,— серьезно говорил Петя и готов был услышать любые суждения на этот счет.

— «Петя, хочешь начальником милиции быть?»

— «Сначала надо походить сотрудником»,— со вздохом говорил Петя, но глаза его загорались.

Какая несчастная звезда заставила его испытать однажды восторг и трепет перед милицейской фуражкой, портупеей и кобурой, так и осталось невыясненным.

— «Петя, хочешь долго жить?»

На этот вопрос Петя никогда не отвечал, а только тихо улыбался и виновато смотрел на спрашивающего, словно знал о своей короткой жизни наперед и не хотел огорчать ответом или, как раз напротив, думал, что переживет всех, и тоже не хотел огорчать такой новостью близких ему людей. Впрочем, может быть, улыбался и потому, что не знал, зачем ему нужна жизнь и что с ней делать.

Не сидел Петя в курилке подолгу еще и потому, что ему нравилось уходить.

— «Петь, куда ты, посидел бы еще с нами»,— говорили ему, едва он начинал обеими ладошками похлопывать себя по коленям, верный признак готовности уйти.

— «Я-то посижу, да дела не стоят»,— к общему удовольствию произносил Петя в сотый раз где-то услышанную присказку, все смеялись, а он уходил решительно и поспешно, хотя шел и недалеко: в диспетчерскую или на ремзону и мог даже минут через пятнадцать — двадцать возвратиться, а мог уйти и на неделю...

Богуславский стремился немедленно развивать боевые действия, и вовсе не потому, что большая часть воинов, как заметил еще партизан Денис Давыдов, лучше воюет при зрителях, а просто потому, что вечером, при телефонном докладе в управление лагерей в Колу, он должен сказать, что

тревожное оповещение с транспорта, городской милиции и местных властей снято, бежавшие водворены на место и готовятся к пересуду за побег.

На отдаленных лагпунктах, как известно, существуют специальные дежурные наряды вроде тревожных групп на погранзаставе, только числом поменьше, два-три человека, имеющие легкое стрелковое вооружение, трехдневный, носимый на себе запас продовольствия и постоянную готовность преследовать бежавших. Держать такие группы в местности густонаселенной, предоставляющей беглецам множество маршрутов, нет смысла, и, хотя методики разработаны на основе изучения большого опыта и громадного количества разнообразных фактов, разумеется, никакого шаблона в таком деле быть не может и всегда надо исходить из конкретной обстановки.

На поимку типичного вешера вокзальной масти, краснушника, вооруженного спрятанной в сапог мытой, по-человечески говоря, половинкой безопасной бритвы и выдрой, то есть вагонным ключом, Богуславский получил от гарнизона целую роту пехоты неполного состава. В роте недавно произошел досадный случай, шло следствие, и чтобы представить к трибуналу командира роты и командира второго взвода в самом лучшем виде, командование предоставило им возможность отличиться в поимке особо опасного вооруженного преступника, как преподнес Богуславский своего байданщика, способного разве что вертать углы, то бишь красть ручную кладь у ожидающих поезда пассажиров.

Ситуация побега была подогрета многими фактами. Решение на побег оформилось окончательно, стало волнующей душу реальностью 23 февраля, когда в обед дали буру, припахивающую керосином. Тридцать два человека есть отказались, остальные жрали, хотя о припахивании говорили все, и даже событие, случившееся 5 марта, и порожденные им разговоры об амнистии уже не могли остановить раскрутившийся маховик.

Конечно, смотреть на побег, погоню и поимку беглеца со стороны, быть может, и занимательно, но участвовать во всей этой колбасне даже при том, что двух совершенно похожих случаев, как правило, не бывает, все равно не так интересно. Скорее всего и здесь Петя составлял исключение, первый и последний раз участвуя в таком неожиданном и увлекательном происшествии.

Участие в погоне роты, где командиром капитан Топольник, тоже в известном смысле связано с 23 февраля. Перед праздниками устраивались по ротам стрельбы с тем, чтобы победителей гарнизонного соцсоревнования поздравить в торжественной обстановке. В пулеметной стрельбе Топольник был уверен, потому что стрелять должен был от роты Федотов, пулемет любивший и стрелявший неплохо. На стрельбище обстановка, конечно, была скорее спортивная, чем боевая, этим и объясняется тот факт, что возвращавшийся после замены мишеней солдатик оказался перед пулеметом в тот самый момент, когда Федотов начал его заряжать. Вот тут как раз после подачи второй рукоятки пулемет начал произвольно стрелять, и тому солдатику, что возвращался от мишеней, перебило обе ноги. Вокруг происшествия было создано общественное мнение, рота Топольника снята с соцсоревнования, и началось расследование, по которому Топольник, как командир роты и непосредственный начальник Федотова, командира взвода, должен был идти под суд. А причина оказалась в стертости «шептала» нижнего спуска и изношенности боевого взвода «лодыжки» в замке пулемета, от этого и произошел произвольный спуск ударника с боевого взвода в момент опускания рукоятки на ролик. Что и подтвердилось в выводах комиссии. Все понимали, что ни Топольник, ни комвзвода, ни тем более Федотов здесь ни при чем, виноват был начарт, выдавший для соревновательных стрельб не новенький РПГ, как все просили, нет, он их в масле хранил, а эти старые самовары системы «максим».

Сочувственное отношение к пострадавшим позволило командованию оставить всех до суда при исполнении служебных обязанностей.

Воинство, вышедшее во главе с капитаном Топольником на поимку вертельщика и поступившее под непосредственное командование Капустина (Яркина), выглядело совсем не страшно. Пятьдесят два штыка и отделение автоматчиков вывел Топольник по боевой тревоге; во избежание возможных нареканий от начальства было приказано выйти в полном сна-

ряжении, то есть с саперными лопатками и противогазами. Глупость, конечно, но Топольника тоже можно понять, никто бы не хотел оказаться на его месте. Солдаты попытались роптать, но командир роты быстро нашел нужные слова, убедившие личный состав в необходимости беспрекословно выполнять приказ командира.

Ко времени прибытия роты в поселок Капустин (Яркин) уже имел кое-какую ориентировку: беглец был на водокачке, стоявшей на горке, на краю поселка, отобрал у дежурившей там Галины Павловны Шерстогоновой взятую на дежурство еду и финку, служившую для разных надобностей. Жрачку взял, а от лохматой кражи воздержался, хотя Шерстогонова и в прозодежде была, как говорят в зоне,— товар, то есть женщина полная и симпатичная. Прихватив стоявшие там же лыжи шерстогоновского сына, лыжи хорошие, с полужесткими креплениями, легко подгоняющимися по ноге, он двинулся вниз вдоль водовода, шедшего к железной дороге, а потом к реке.

Морщины, собравшиеся у переносицы Капустина (Яркина), мало-помалу разглаживались и даже исчезли совсем, когда он взял след, но собака довела только до водокачки. По лыжному следу собачка уже не вела.

Петя увидел растянувшуюся, шедшую на лыжах по обочине дороги цепочку солдат и пристроился к ним. Шинели, противогазы, винтовки, а главным образом лыжи, широкие, плоские, слегка закругленные в приподнятых носах, назывались у местных мальчишек «гробы» и покупались у солдат за пять — десять рублей только для изготовления санок и нарт, лыжи, конечно, повышали проходимость, но не способствовали быстроте передвижения роты; таким образом, Петя шагом вполне поспевал за неторопливо тянущейся цепочкой воинов. Крепления на солдатских лыжах были мягкими, из брезентовых ремешков с металлическими пряжками самой примитивной конструкции. Сапоги, всунутые в такие крепления, ходили ходуном, так что тормозить при спуске, делать на ходу развороты было решительно невозможно, тащиться же по ровному месту, по накатанной лыжне еще кое-как удавалось. Немудрено, что после спуска с двух горок начались небоевые потери; рядовой Урузбаев подвернул ногу и, так как двигаться мог с трудом, был вместе с рядовым Алимбековым отправлен обратно в часть. Петя попросил у Алимбекова лыжи, заверяя, что вернет их обязательно, тут же свои лыжи предложил и добрый Урузбаев, уверяя, что у него и крепления лучше, и носки более загнуты. Петя взял лыжи Урузбаева. Теперь он чувствовал себя вполне в строю, готовый, как и все, выполнить свой долг и обезвредить особо опасного преступника.

В шестнадцать часов десять минут рота перевалила через Кировскую железную дорогу и начала выдвижение к мосту через реку Нива, так как по телефону из охраны взрывскладов, единственных строений, расположенных в километре от моста на той стороне реки, сообщили, что видели человека, перешедшего мост и двинувшегося лесом вниз по течению реки, то есть в сторону Кандалакши.

Слева громоздились покрытые снегом сопки, огромные и чужие, а справа безумолчно ревела река, занятая собой, своим делом, словно спешила убежать от готовивших ей западню и смерть гидростроителей.

Клокочущую на камнях и не замерзающую даже в самые лютые морозы Ниву можно было перейти внизу только по мосту у тюрьмы в Кандалакше или выше по течению Нивы, километрах в семи, по замерзшему Плес-озеру. То, что беглец двинулся вниз по реке, значительно упрощало задачу: мост в Кандалакше, естественно, наблюдался, а до ближайшего жилья через лес и сопки было километров двадцать пять, такая уж тут была география.

Зимний лес, как и всякая медаль, имеет две стороны. Если вы полны сил и задора, бегите от шума и забот, вдохните полной грудью пьянящий свежестью и чистотой морозный воздух, уйдите в сказочные дебри, где, согнутые под тяжестью снега, образуют причудливые арки березы и ольха, где каждый пень украшен пышной белой боярской шапкой, а под невесомым снежным одеялом едва слышно шумит ручей, будто ведет какой-то разговор. А огромные ели, одетые в белые шубы, становятся стройными оттого, что под тяжестью снега даже самые толстые нижние ветки уже не топорщатся во все стороны, но по мере возможности прижаты, как прижимает руки по швам исправный солдат, и целое воинство белых великанов, одним своим видом и неколебимым стоянием готовых отвратить любое нашествие, внушают вам чувства самые поэтические и заставляют забыть, хотя бы и ненадолго, обыденную жизнь, где нет тайных речей, что несут под снежным покровом неугомонные ручьи к буйной, стремительной реке, не признающей ни зим, ни морозов и наполняющей все окрест жарким шумом кипучей воды.

Иное дело, если вас в зимний лес погнала нужда, а то и беда, что ж, вы на какие-то мгновения, быть может, и забудете вашу беду, потому что сам лес потребует такого напряжения, такого внимания и столько сил, что борьба эта поглотит вас, пусть и на короткий срок, но всецело. Стараясь двигаться скрытно, вы будете держаться ближе к деревьям, значит, там, где рыхлый снег будет затягивать чуть не по пояс, как в трясину, ненароком задетая ветка обрушит на вас целый сугроб, а то и не один, а разогнувшаяся березка, едва сбросив снежный горб, хлестнет голыми ветками и собьет шапку, но горе вам, если вы не услышали бульканье ручья под снегом, предательская снежная перина рассыплется под тяжестью лыж, и хорошо, если беда застала вас на неглубоком месте и в воде оказались одни только лыжи и ноги, на незамерзающих ручьях есть и ямы, где зимует форель, туда можно ухнуть и по пояс.

Капустин (Яркин) вместе с Топольником и нарядом из охраны лагеря, как стальная игла, прошивали пространство на своих легких и прочных лыжах и тащили за собой растянувшуюся чуть ли не на полкилометра ниточку вооруженных солдат.

На Пете не было тяжкой поклажи и оружия, да и лыжи Урузбаева оказались хорошо промазанными лыжной мазью, отчего, быть может, солдат так раскатился на спуске, что в конце горки действительно крепко растянулся, подвернув при падении правую ногу. На открытых местах, там, где можно было двигаться по насту, Петя обогнал тяжело передвигающихся солдат и все время приближался к головной группе, где шли командиры.

За мостом, направо, вдоль левого берега реки лыжных следов была пропасть, но свежих не так и много, а совсем свежих, сегодняшних всего пять-шесть; расставив солдат по каждой лыжне, Капустин (Яркин) уже через полкилометра взял след; отличить прогулочные мальчишеские следы от ровного бега взрослого мужчины, а такой след был только один, для полярного волкодава, каким был Капустин (Яркин), несмотря на свой небольшой рост, не составляло особого труда. Когда подошли к 14-му ручью, увидели беду, в которую попал беглец: не разглядев опасности, провалился сквозь коварный снежный пух, прикрывавший ручей, и намочил лыжи. Вот — пробовал идти, но снежно-ледяные наросты идти не давали. Ага! Вот здесь все-таки догадался, лыжи снял, вот они, сбитые с лыж снежные комья, вот здесь, стоя на одной лыже, вторую стал растирать снегом, протер и надел, а надо бы еще подержать на морозце, дать подсохнуть... ага, трет вторую. Ясно. Теперь он в этих лыжах далеко не уйдет.

— «Хорошо бы его слева верхом перехватить»,— сказал Капустин (Яркин), воткнув обе лыжные палки перед собой и почти повиснув на них плечами — привычная поза отдыхающего лыжника.

Петя, услышав это пожелание, незаметно стал отодвигаться от командной группы, забирая левей и левей. Желание выполнить обходной маневр в одиночку заставило его действовать решительно и смело.

Этот маневр и стоил, в сущности, Пете жизни.

Такого количества вооруженных людей для поимки одного, как говорят настоящие воры, фраера было чрезмерно много, поэтому когда Капустин (Яркин) приступил непосредственно к окружению и захвату, ему вполне было достаточно тех двадцати человек, что были под рукой. Ждать, пока подтянутся остальные, не было нужды и времени, начинало смеркаться. Брать решили живьем, потому что капитан Топольник, понимая, что преступник может оказаться под перекрестным огнем и стрельба чревата новыми неприятностями, разрешил стрелять только предупредительно вверх и, как последнюю крайность, в упор. Так и предупредил: «х... с ним, пусть живет, лишь бы друг друга не перестрелять». Указание это слышали только те двадцать бойцов и пятеро из охраны, кого собрал, не дожидаясь, пока подтянутся все, Капустин (Яркин). Поотстало народу много, кто-то умудрился сломать лыжи, двое хромали, не умея удержаться на спуске, налетели на красивые, с пышными шапками пни, семь человек,

как ни старались, все-таки намочили лыжи при переходе ручья и теперь составляли безнадежный арьергард.

Отставший от своего отделения автоматчиков солдатик Черемичный в отличие от других пытался догнать своих. Расспрашивая тех солдат, что шли вперед, пытался выяснить, где же могут быть автоматчики. Один из неопределенных взмахов руки направил его по свежему следу Пети. Черемичный, опасаясь очередной выволочки, прпналег.

Говорят, будто в XX веке, обогатившем человечество разными замечательными средствами и приспособлениями, изобрели нервно-паралитический газ, вырубающий у человека и разум, и способность к действию; это, надо думать, очень хороший газ, потому что под его воздействием человек никогда не совершит никакого безобразия, низости, подлости или преступления, а вот давным-давно изобретенные, непрерывно применяющиеся и постоянно совершенствующиеся средства морально-паралитические куда опасней. Парализуя совесть человека, они оставляют тем не менее за ним возможность совершения любых поступков, так сказать, по обстановке, в результате чего и происходят такие неожиданные и для самих граждан, и для их окружающих вещи, что в конечном счете грань между разумом и безумием становится абсолютно подвижной, гибкой и неопределенной.

Источники морально-паралитических средств усыпления совести бывают разные, но главным источником все-таки надо считать власть — это как бы ее постоянный побочный продукт, в большей или меньшей мере служащий для скрепления ее устоев.

Семимильные шаги науки приводят ученых к самым неожиданным наблюдениям. И надо думать, не за горами тот день, когда ученые захотят собрать исследования по теме «Психические изменения при моральной дистрофии власти», и вот тогда, быть может, и никчемная жизнь Пети послужит прогрессу науки.

Чем же интересен Петя в качестве homo insanus, человека безумного?

Да разве что тем, что он был верен своему помешательству, в то время как свидетельством высшего здравомыслия у его современников была способность постоянно менять «пункты помешательства», причем не без выгоды.

Сдается мне, что Петино безумие, в сущности, было не чем иным, как какой-нибудь разновидностью — даже не представляющей для науки интереса — «корсаковской болезни», поражающей в мозгу группу под названием гиппокамп, или попросту «морской конь». В этом случае больной, как известно, лишается долгосрочной памяти, что не мешает ему сохранить память оперативную, достаточную для решения ближайших задач, для достижения ближайших целей, быть может, и весьма сложных — победа в шахматной партии, например, или достижение власти. Вообще-то гиппокамп — это уже кора, но не лобных и затылочных долей, а то, что называется «знающим мозгом». Интересно отметить, что этот самый гиппокамп — одна из самых нужных вещей в мозгу, потому что по происхождению является деталью древнейшей, и будь она не самым нужным инструментом, давно бы отмерла, как хвост или клыки, не нужные homo sapiens для разгрызания костей и перепиливания сучьев. Недаром и расположился гиппокамп в мозгу как хозяин, со всеми удобствами, он одним концом заходит в глубину височной коры, а другим упирается в сердцевину мозга, в глубокую подкорку.

В условиях распространения острых инфекционных психозов, по моему убеждению, у людей отшибает память, то есть как раз и происходит поражение гиппокампа, и как следствие этого поражения расцветает покорная ограниченность и бессознательно рассчитанный отказ от саморазвития. Вот где демонстрирует свои неисчерпаемые возможности моральная пластичность человеческих душ: искусственно погашенные безусловные оборонительные рефлексы мгновенно или постепенно, но компенсируются оригинальным развитием условных ориентировочных рефлексов, обеспечивающих высокий уровень выживания, при условии бесстыдного выменивания у власти за лесть и неправду первых, еще незрелых плодов обещанного потомкам благоденствия.

Таким образом феномен Пети никак не подлежит рассмотрению в рамках традиционных психиатрических исследований, здесь нужна какая-нибудь наука вроде «Исторической психопатологии», и если такой науки еще не открыли, ее необходимо учредить немедленно.

Если на Петю взглянуть с другой стороны, то кое-кто может, конечно, спросить: есть ли отечество у этого человека и зачем оно ему дало эту судьбу? На это можно, конечно, ответить, что отечество это и есть наша судьба.

Власть — штука иррациональная. Петя этого не понимал, как не понимал этого и народ, в массе своей еще не охваченный успехами разума и даже пребывающий в бездне невежества, но душой уверовавший в возможность скорого несбыточного счастья, помня при этом только одно — нужны жертвы — и принося эти жертвы без счета, впрочем, счета у него как раз и не спрашивали.

Поскольку к возвышению личности ведет лишь точка зрения сверхличных ценностей, а торжество точки зрения личного блага приводит как бы к падению личности, надо признать, что Петя был идеальным воплощением искреннего служения этим самым сверхличным целям, не ставя личное благо ровным счетом ни во что.

Была, например, у Пети тайна, которую без особого труда разгадал бы любой доктор Ватсон, однако никто в эту тайну проникнуть не хотел, и она умерла вместе с Петей. А тайна была математического порядка; с цифрами отношения у Пети были особого рода, совсем не такие, как у большинства людей с крепким начальным образованием.

Зовут Петю поколоть дрова.

— «Петя, дров поколоть надо».

Когда к Пете обращалось человечество, он становился важным и умным до невозможности, как, впрочем, и все, сознающие вслух или про себя, что без них на свете никак не обойтись, и хочешь не хочешь — свои дела приходится откладывать.

— «Поколоть, говоришь?» — обязательно переспрашивал Петя.

— «Поколоть», — наслаждался деловой беседой проситель.

— «Дрова колоть?»

— «Свалили воз, к крыльцу не подойти».

— «Подойдем», — спокойно отклонял попытку увести разговор в сторону Петя и переходил прямо к делу: «Сколько дашь?»

— «Тридцать дам».

Глаз Пети сжимался в проницательном прищуре, и он смотрел на говорившего так, как смотрят люди, способные видеть насквозь все хитрости и уловки. И хотя у Пети никогда не было ни усов, ни бородки, в эту минуту он был убежден, что похож как две капли воды на портрет Дзержинского, висевший в дежурной комнате милиции и на почте.

— «Да-а...— протяжно заводил Петя и для убедительности тянулся поскрести затылок.— Ну и задал ты мне задачу на весь день... Тридцать, говоришь?»

— «Тридцать, как отдать».

Петя мотал головой, выжидающе смотрел на своего нанимателя, ожидая надбавки, а потом махал рукой от плеча, жестом лихим и решительным:

— «Двадцать пять! Ни по-твоему, ни по-моему!» — и выжидающе смотрел на обескураженного поселянина.

— «Эк ты, двадцать пять!» — чуть ли не возмущался наниматель.

— «А вот так! — твердо стоял на своем Петя.— Двадцать пять, и без трепотни!»

И сделка заключалась. Отступать было некуда.

Вообще-то Петю не обманывали, случалось, что при расчете накидывали пятерку-другую или подкармливали, даже давали еду с собой, и соленую тресковинку, и хлеба, а то и картошки.

Если бы кто-нибудь внимательно проследил математические упражнения Петра, то сразу бы заметил врезавшееся в его душу с первого класса недоверие к нулю. Узнав однажды, что нуль как бы ничего не значит, потом он уже провести себя не давал и все прочие объяснения считал человеческой хитростью и попыткой сбить его от истины в сторону. И не было на свете такой умственной силы, которая могла бы доказать Пете, что

тридцать больше, чем двадцать пять, а триста больше, чем сто сорок шесть, почти в два раза.

Мысленным взором Петя созерцал цифру, состоящую из ничего не значащих нулей, а рядом выстраивалась другая, из полноценных знаков, и выгоды своей не упускал. Добрейший Вася Басков, токарь из отдела главного механика, искренний любитель человечества, несколько раз и в чайной, и на демонстрации пытался помочь Пете сделать необходимые шаги в глубь математики, но совладать с простой Петиной логикой не смог. Петя разъяснил губастому Васе Баскову ход своих мыслей: чтобы проверить, какое число больше, он цифры этих чисел складывал. Вот и выходило: три да нуль — три, а два да пять — семь. Семь больше трех? Больше! Стало быть, тридцатка — пшик, а двадцать пять — деньги. Из особой симпатии к Васе Петя шепотом предлагал ему считать так же.

Петя также был в полной мере убежден, что и сам он, и его крохотная матушка, и обширное помещение клуба в поселке Лесном, так же как и сам поселок вместе с речкой и расположенными за речкой сопками принадлежат государству, и мыслил себя как человека государственного.

И если уж говорить совершенно строго, в представлении Пети даже нужда и отчаяние, в которые была ввергнута крохотная семья случайностями голодных, холодных и бесприютных странствий, также были государственной собственностью и подлежали охране и сбережению в неприкосновенности, пока не последует указание, как и куда употреблять эту государственную бедность. Здесь надо заметить, что сам клуб уже два года по своему прямому назначению не функционировал, за исключением избирательных кампаний, когда он все-таки употреблялся как агитпункт, оживая и на месяц прихорашиваясь. Нивагэсстрою этот барак с облупившейся штукатуркой уже был не нужен, а алюминиевому заводу, еще не развернувшемуся во всей полноте, еще не был нужен. Начальник коммунального отдела Тихомиров, на чьем балансе висело это печальное здание барачного типа, рассудил правильно, сохранив в нем проживающую комендантшу без права на площадь: необитаемые здания разрушаются почти мгновенно, а до этого проходят длительную пору превращения в общественный туалет. Таким образом, Тихомирову удалось в данном случае гармонизировать государственные и личные интересы граждан.

Семья Пети, надо сказать, принадлежала к той ступени человеческого развития, где дистанция между счастьем и несчастьем, с точки зрения лиц, достигших более высоких ступеней своих требований к жизни, казалась такой ничтожной, что даже была неразличима.

Так, в декабре 1947 года, во время денежной реформы, когда в ларьках и магазинах поселка были опустошены все полки, а там, где товары еще присутствовали, претенденты на них готовы были затоптать друг друга, Петя, сжимая в одной руке все материнские накопления «на черный день», пробился в хозмаг к прилавку с чрезвычайно уже ограниченным выбором товаров из трех-четырех наименований и приобрел чуть ли не на все деньги двадцать семь топорищ, купил бы еще пяток, но больше товара не было. До дому донес только двадцать три, частью растеряв на скользкой дороге, но был счастлив тем единственным счастьем, на которое не позарился бы никто другой не только в поселке Нива-III, но и на всем белом свете.

Женственная душа Пети постоянно искала обручения с властью, ощущая каким-то животным инстинктом, что только власть несет в себе истину, справедливость и порядок.

И потому, проходя мимо чертогов власти — постройкома, Управления строительством, даже домов, где жило начальство, не говоря уже о двухэтажных учреждениях под красным флагом в Кандалакше, он всегда втайне надеялся, что будет замечен и призван.

Живя в неведении относительно того, что делается вокруг, Петя полюбил власть поэтически, не задумываясь, желая не только обожать, почитать, восхищаться ее безграничным и повсеместным торжеством, но и желая ей служить.

То, что простому смертному дается обширными трудами и горьким опытом, блаженному открыто ясностью простых истин; нельзя сказать, что Петя знал, но он чувствовал всем своим существом, не знавшим иной жизни, кроме той, что его окружала, что не было в летописях прошлого, не было в примерах настоящего такой обширной и беспредельной власти, которая

заключала бы в себе без различия в климатах, языках и верах столь обширные пространства и неисчислимые народы. Принадлежать такой власти — значит делить с ней и честь, и славу, и геройство.

И немудрено, события как-никак происходили в ту пору, когда жизнь приобрела все более и более бессознательный характер, и в силу этого власть как бы утрачивала свои границы, и каждый, кто имел хоть капельку власти, мог убедиться, что хотя бы в одном каком-нибудь направлении, но и эта капелька может тяготеть к безграничности...

Черемичный был солдатом недалеким, он принял довольно неопределенный взмах руки, по которому можно было двигаться чуть не во все края света, за ясное указание и направился по следу Пети. Будь Черемичный посообразительнее, не так доверчив к чужому слову и жесту, он, конечно, не задумываясь, покатил бы по широкому, растоптанному нижнему следу, а почему его черт понес верхом, он и сам не мог объяснить, когда его упрекали за опрометчивый непоправимый поступок. Казалось бы, невозможно спутать след, по которому прошли два, от силы три человека, со следами, оставленными Капустиным (Яркиным), Топольником и авангардом отряда. Это финны пройдут по лесу, и не поймешь, то ли пять человек прошло, то ли сто пять. А наши двадцать человек проедут, а след оставят такой, будто двести прошло, да еще троих волоком протащили.

Как только роту подняли по тревоге и выдали боекомплект, Черемичного не оставлял страх, страх за то, что он может потерять рожковый магазин. Он знал, что это такое! Если после стрельбы из новых автоматов Калашникова приходилось ползать по стрельбищу, собирая и сдавая по счету стреляные гильзы «секретного» унитарного патрона, а зимой да при стрельбе с хода поиски гильз превращались в тяжелый ратный труд, то можно себе представить, что с тобой сделают, если потеряешь магазин с боевыми патронами, хотя бы и старого образца. Новых автоматов даже по боевой тревоге начарт, отвечавший за вооружение, выдавать не разрешил. В роте в ту пору было два комплекта оружия, и старое и новое. С новым выходили изредка на построение и смотры, маршировали перед гарнизонной трибуной, проводили показательные стрельбы, обычно же стреляли и ходили на полевые учения с трехлинейной винтовкой образца 91/30 гг. и автоматом ППШ, выпуск которых во время войны довольно легко наладил Кандалакшский заводик по ремонту судового оборудования.

Конечно, удобнее было бы автомат закинуть за спину, и будь он у Черемичного за спиной, быть может, пока он возился, перетягивая из-за спины на грудь, пока то да се, может быть, и разглядел, что Петя это Петя, а не страшный преступник, на поимку которого была брошена армия. Если бы Черемичный спрятал рожок куда-нибудь в загашник, тоже, быть может, не случилось несчастья, но Топольник, желая постоянно видеть, что все оружие в порядке, все рожки на месте, запрещал их отстегивать и прятать по карманам. А как же подсумки? А вот так: подсумки выдаются, как известно, тогда, когда боец получает полный боекомплект, три рожка в подсумок и один непосредственно в автомат, а выдавать подсумок на один рожок не положено. Черемичный хотел было спрятать рожок в карман шинели, но припомнив, что во время лыжных переходов, сопряженных с большим количеством падений в снег, рожок можно потерять, от этой идеи отказался, хотя и был далеко от глаз Топольника.

Таким образом, Черемичный держал автомат на груди, как партизан на известных монументальных полотнах, ствол и приклад мешали работать палками, но постукивание рожка по пряжке на ремне, напоминавшее звук треснувшего ботола, сообщало солдату покой и уверенность.

Двинувшись влево и наверх, Черемичный оказался как бы на третьей террасе, верхней из трех довольно четко просматриваемых ступеней, образовавшихся на левом берегу Нивы.

Бестолковый солдат вышел, как говорится, на финишную прямую, для Пети финишную, и хотя петляла эта «прямая», как и полагается лесной лыжне, другого пути у них уже не было.

Вообще понятие «прямой путь» люди давно не воспринимают прямолинейно, геометрически; прямой путь в ад, прямой путь в бездну, к гибели, к развалу семьи, в жизни бывает не столь простым, как линия на бумаге. В иные времена подлость души обеспечивает прямой путь к успеху, и это

тоже не значит, что хотя бы доказательство бескорыстия подлости не потребует путей извилистых, причудливых и вовсе не прямых.

Если вам говорят: «Идите прямо по тропинке»,— это тоже не значит, что тропинка будет прямой, это значит, что вам указали всего лишь кратчайший путь к вашей цели. Поэтому даже кривые пути, если они кратчайшие, в жизни принято называть «прямыми».

Между Черемичным и Петей всего с полкилометра расстояния, скоро будем прощаться, а не рассказано гораздо больше, чем удалось сказать.

Ну, хотя бы два слова о Третьей террасе, на которой разыграется трагедия. Эти террасы, особенно отчетливо читающиеся в устье Нивы, дают человеку, имеющему представление о геологическом развитии земли, возможность увидеть, как отступало море, как подымалась суша. А она поднимается и сейчас, вся Мурманская область в год вылезает из моря на 5—10 мм, скорость, прямо скажу, сумасшедшая, это 10 метров за тысячу лет! Чуть напрягите воображение, и сопки, бесконечной грядой стоящие от моря до Имандры вдоль берега Нивы, предстанут перед вами как острова, торчавшие еще недавно из холодного океана. Если двигаться вот так же вниз по реке по Третьей террасе, то в километре от устья Нивы можно было бы натолкнуться на стоянку первобытного человека, если б на этом месте перед войной не построили рыбоводный завод. Хотя особенно жалеть об этой потере не надо, с одной стороны, ученый Гурин все-таки успел собрать там черепки, скребки, каменные наконечники, почти все, что осталось нам в наследство от тех неведомых жителей, а с другой стороны, таких стоянок от Кандалакши до Умбы набирается что-то около пятнадцати. Кварцевые скребки и каменные топоры, конечно, невесть какое богатство, но здесь важен моральный фактор: они как бы вселяют в нас уверенность в том, что жить можно, обходясь только самым необходимым.

Отступление в столь далекие времена, быть может, смутит читателя, но ненадолго, пока не станет ясно, как близки нам эти первобытнообщинные времена на Кольской как раз земле.

Лапландский таракан или зубастая бабочка, которых вы без труда встретите в Монче-тундре, будь у них память и умение говорить по-человечески, рассказали бы, как первые позвоночные выходили из моря, где зародилась жизнь. Невероятная, трагическая птица гагара помнит ящеров, царивших на земле в меловой период, точно так же и людское сообщество сохранилось здесь до самого порога XX века в удивительной неприкосновенности. При всем богатстве истории Кольской земли, при всем авторитете имени «Кандалакша», поминаемом только письменно уже более полутысячи лет, все-таки надо признать, что большая история человечества касалась этой земли лишь самым краем.

Попутно надо рассеять широко бытующее мнение о том, что якобы название города Кандалакши произошло от слова «кандалы», и жизнь подневольная, тягостная, с элементами насилия всегда была уделом этой земли и ее жителей. Чтобы понять невеселое настоящее, хотелось, быть может, непременно откопать что-нибудь черное и мрачное в прошлом, поэтому даже название того же городка Кемь тоже пытались преподнести как неблагозвучную аббревиатуру. Нет, это только современному человеку кажется, что и климат, и земля, и все условия жизни здесь благоприятствуют для устройства каторги, а вот раньше, даже в пору самодержавия, никому это в голову не приходило; сколько памяти хватает, была эта земля и ее люди от века вольными: ни монгольское иго, ни крепостной полон, ни колониальное владычество не наложили печать ни на души обитателей заполярных тундр, ни на все их жизнеустройство. Ходили сюда и шведы, и финны с грабежом и выжиганием, жгли монастыри, солеварни, разоряли рыбные тони, душегубствовали; в один день 23 мая 1589 года в Кандалакше шведы 450 человек умертвили, а осенью снова шайка в 700 человек под водительством большого мастера погромов Свена Петерсона прошла огнем и мечом по Лопской земле, а уже в 1615-м Кандалакшский монастырь за себя постоял с честью, дав пример через века, и уже 23 сентября 1919 года дядя Ваня Лопинцев с пятью товарищами тоже встретил под Лувеньгой десант английских карателей огнем из пулемета и винтовок. Удар был такой силы и жертвы со стороны карателей так велики, что через несколько дней в Кандалакшский залив приполз английский авианосец в сопровождении миноноски, и партизан искали аж с гидросамолета. К этому времени Кольская земля покрылась каторжными тюрьмами и концлагерями,

были они и в Печенге, в Александровке, Мурманске, Кандалакше, Кеми, да где их только не было, а когда мест все равно не хватало, то устроили еще и плавучий застенок на военном корабле «Чесма». Начав свою историю в бурную пору борьбы за счастливую жизнь, многие тюрьмы и лагеря станут знаменитыми на долгие годы. Триумфальные шаги цивилизации, отмеченные прогрессом, обретавшим то формы рабовладения, то феодально-монархические, то всевластного воцарения торгово-промышленной аристократии, не несли в себе ничего привлекательного для обитателей самой древней на земле суши, приспособившихся жить небольшими общинами.

Цивилизация, ворвавшаяся сюда по железной дороге, построенной от Петрозаводска до Мурманска за двадцать месяцев, с марта 1915 по 3 ноября 1916-го, поставила край сразу же на рубеж двух эпох. Рыбацкое село Кандалакша, за пять веков своего существования накопившее едва-едва 410 жителей по переписи конца прошлого века, сразу же оказалось в пучине новейших политических тенденций. Меньшевик Тихомиров, эсер Кошелев, агитатор за Временное правительство Горский и большевистские лидеры, железнодорожный мастер Курасов и грузчик Лойко — все вместе жаловались на то, что местное население поражало их страшной общественной и политической отсталостью, духовной бедностью, полной неспособностью понять не только лозунги дня, но и такие простые слова, как «союз». Значения слова «союз» они не знали, и поэтому лишь с большим трудом удалось заложить основы местного рыбопромышленного Союза и избрать его комитет. Жизнь, что и говорить, была нелегкой, даже тяжелой, но человек все-таки больше зависел от умения работать и удачи, чем от политики. И даже само понятие «власть» на этой земле многие века носило несколько мифологический характер.

Уже написана диссертация о строительстве Мурманской железной дороги, строительстве, надо признать, и по масштабам, и темпам, и сложности уникальное даже с точки зрения окончания XX века, но, если когда-нибудь будет написана история отношений человека с властью на самой древней суше нашей планеты, хочется думать, что история Пети займет здесь свое скромное, но достойное место.

Большой светлый весенний день медленно сходил на нет.

Природа с глубоким безразличием к судьбе беглеца предоставила ему свои снега и просторы.

Три часа назад дернувший из рабочей зоны осужденный Бр-н Алексей Николаевич, сорока двух лет от роду, увидев на одном из подъемов, какое воинство двинулось за ним в погоню, думал теперь только об одном — как достойно сдаться, то есть сдаться так, чтобы остаться в живых, и он решил ждать, ждать в таком месте, в такой позиции, откуда можно будет беспрепятственно наблюдать поход преследователей. По опыту он знал, знал чутьем, что эта охота без добычи не вернется, стало быть, не надо вгонять в ожесточение, доводить до крайности.

Сумерки надвигались медленно, и до темноты надежно уйти, оторваться, спрятаться уже не удастся. В темноте же пристрелят, это точно, никто не будет ждать да разглядывать, есть у тебя оружие или нет.

Как он будет сдаваться, Бр-н не знал до самой последней минуты.

Если в первые минуты побега вся необъятность земного шара берет вас в свои истосковавшиеся объятия, если в первые минуты побега вы не можете напиться огромным чистым воздухом, обнимающим вас со всех сторон, вы глотаете его, втягиваете ртом, ноздрями, всем своим существом, и воздух свободы, хмельной как спирт, обжигает вам душу, то уже через час все пространство вокруг начинает сворачиваться и стягиваться в конус, на конце которого та единственная щель, тропа, дырка, через которую лежит путь на волю; ты уже один, должен решать все сам, первый раз за многие годы рядом нет никого, никто не вертит тобой, не крутит каждую минуту, но это еще не воля, ты все равно не можешь идти куда хочешь, делать то, что пожелает душа. Нет, неволя не осталась там, за проволокой, она сидит у тебя на плечах, ты тащишь ее на себе, не можешь сбросить, она погоняет тебя, вышибает в пот, сверлит мозг, а воздух, этот живительный напиток, которым час назад, казалось, никогда не насытишься, уже

застревает где-то чуть ниже горла, с трудом прорывается в легкие, забитые махорочной гарью, и разливается холодным ознобом по всему телу.

Если адресоваться к геологическим образованиям, определяющим рельеф правого берега, то осужденный Бр-н двигался как бы по второй террасе, поэтому шедший выше Петя довольно быстро обогнал его и ушел вперед. Там, наверху, был все-таки наст, всегда к концу зимы спекающийся на открытых местах и в мелколесье. В сущности, климат в Кандалакше сырой благодаря преимущественно юго-восточным ветрам, дующим чуть ли не круглый год. Сырой воздух на дорогах устраивает гололед, а на снежных равнинах чрезвычайно благоприятствует образованию наста. Вот по этому насту Петя и урвал чуть не на полкилометра вперед от беглеца и рвал бы, может быть, так и дальше, до Малой стороны, как называют в Кандалакше заречный берег. Однако событие совершенно пустяковое заставило его двинуться вспять и натолкнуться на огонь автомата Черемичного, в свою очередь, не перестававшего удивляться, что никак не может догнать ушедший вперед авангард отряда.

Но прежде чем приступить к последним мгновениям жизни Пети, надо покончить с осужденным Бр-ным.

Когда вы на кон ставите жизнь, не чью-нибудь, а свою, вот уж где сердце не в ладу с разумом. Голова четко варит — все делаю правильно, все идет путем: только так! а сердце прыгает, как праздничный раскидайчик на резинке, прыгает во все стороны и, кажется, хочет сбежать от бестолкового дуролома, который сам не знает, как себя спасти, да и его, трепещущее, подставляет под выстрел.

Осужденный Бр-н дал выкатиться Капустину (Яркину) и Топольнику по его следу на открытый проем между еловыми зарослями; здесь торчало десятка полтора обгорелых стволов, какие-то пни и несколько поваленных лесин.

Капустин (Яркин) шел легко,без напряжения, на своих офицерских лыжах, а легкие бамбуковые палки придавали ему вообще вид человека на лыжной прогулке. Следом за ним накатывал Топольник тоже в ватнике и с автоматом за спиной.

Сначала их надо было остановить. «Стой!», «Не спеши, начальник!..» Все это не годилось, сгодилось то, что вырвалось то ли из горла, то ли из взбудораженной памяти, то ли от великой тоски и желания охоту обернуть в игру:

— «Все! Станция Березай, кому надо — вылезай!» — истошно и неожиданно для самого себя и для преследователей заорал беглец, не показываясь еще на глаза.

Капустин (Яркин) действительно остановился, едва не налетев на него, затормозил Топольник.

— «Щас начнет», — бросил, чуть обернувшись, Капустин (Яркин) Топольнику, не желая отдавать роль хозяина положения, он даже отступил с лыжни, чтобы дать офицеру подвинуться.

Увидев, что Капустин (Яркин) не берется за оружие, не стал изготовляться к бою и Топольник.

— «Я твой — начальник! Я твой! Вот он я!» — все не появляясь, кричал беглец.

— «Ты окружен, Бр-н! Выходи!» — то ли осужденному, то ли для Топольника крикнул Капустин (Яркин).

— «Все правда, начальник! Окружен заботой, окружен вниманием! Тобой окружен, начальник! Выхожу с поднятыми руками! Без доразумений!»

— «Щас появится», — предсказал Капустин (Яркин), опершись на выставленные вперед палки, сзади уже подкатили и толпились бойцы авангарда, человек десять.

Точно по предсказанию Капустина (Яркина) из-за густых елей на лыжне в тридцати пяти метрах от поджидавшей охраны показался улыбающийся во все лицо осужденный с высоко поднятыми руками.

— «Все, начальник! Я сдаюсь. На твоих глазах кидаю заточку. Я чистый!» — И действительно, Бр-н взмахнул поднятой рукой, и в сероватом воздухе мелькнул какой-то металлический предмет, улетая в голые прутья кустов, наполовину засыпанных снегом. Финку, взятую у дежурной на водокачке, он выкинул минутой раньше, а теперь избавлялся от самой дорогой сердцу вещи, пронесенной сквозь такие шмоны, через такие досмотры, что и самому до сих пор не верится, это был вагонный ключ, гранка, вещь для вешера незаменимая.

Бр-н двигался не спеша, пытаясь угадать настроение гражданина начальника, чтобы мгновенно отреагировать, если что-нибудь покажется подозрительным, но главное, он улыбался, уверенный, что в улыбающегося человека стрелять не станут.

Столпившиеся сзади офицеров солдаты тоже невольно улыбались и удовлетворенно переглядывались; все кончилось легко, благополучно, участие в боевом походе не только внесло некоторое разнообразие в монотонную жизнь, но и освежило нервы, пробудив от полусна службы. Каждый чувствовал себя человеком, необходимым в задержании особо опасного вооруженного преступника, и поэтому вправе был сам считать себя немножко героем.

Капустину (Яркину) совсем не нужно было возвращение Бр-на в зону, надо было думать и о других, надо было думать и о том, что на побег настраиваются обычно к лету; зимой и даже весной, пока не сойдет снег, как правило, не бегут, вот и будет хороший пример к наступающему сезону. «За такое погон не снимают», — Капустин (Яркин) потянулся к оружию.

Когда Бр-н, мелко переступая на лыжах, приблизился шагов на двадцать, Капустин (Яркин), поймав за спиной автомат за ствол, легонько передвинул его вперед и, не снимая перчаток, щелкнул затвором.

— «Начальник! Не надо доразумений, я твой», — продолжал улыбаться беглец, уверенный, что стрелять в него не станут.

Топольник тоже снял автомат из-за спины, решив, что так надо, но взводить затвор не стал.

«Народу много, привяжут к лыжам, дотащат», — чувствуя за собой дыхание помощников, подумал Капустин (Яркин) и снял автомат с предохранителя.

— «Станция Березай, гражданин начальник, я приехал. Вылезаю».

И Петя и Черемичный на лыжах ходоки были аховые, и поэтому написать, как полагается в настоящей арктической повести или хорошем приключенческом романе с погонями: «их разделял час пути» или «их разделяли только двадцать минут бега на лыжах», — было бы в корне неверно, потому что движение на тяжелых, покрытых еще и толстым слоем масляной краски неуклюжих лыжах было для Черемичного опять же тяжелым ратным трудом, а у Пети то и дело развязывались и сваливались натянутые впопыхах на подшитые валенки мягкие крепления; остановки, вместе с падениями на спусках, были непредсказуемы по продолжительности. Расстояние между ними сокращалось лишь потому, что для Черемичного лыжня была понакатистей, вот он и приближался неудержимо к Пете.

Через полчаса неуклюжего скольжения по пустынной лыжне страх потерять рожок с патронами был вытеснен новым страхом — заблудиться, солдат начал соображать, что прет куда-то не туда. Впереди было тихо, хотя он останавливался и несколько раз прислушивался. А когда справа от лыжни из-под придавленных пухлым снегом еловых лап выпорхнули три белые куропатки, разбуженные, надо думать, Петей и настороженно выжидавшие новой опасности, Черемичный даже забыл, что вооружен и может защищаться; страх охватил бы и человека посмелей, взорвись в трех метрах от него снег и прошуми белыми шуршащими в воздухе крыльями какие-то существа, разглядеть которые и перевести дух удалось только на отлете. У Черемичного, пережившего страх, близкий к ужасу, хватило ума сообразить, что лыжня не очень-то ходовая, если он поднял пристроившихся на ночлег зверей. Вообще ни к чему героическому солдатик себя не готовил, о подвиге не думал, то есть в полной мере отвечал тому воспетому типу героя, который, не помышляя о славе, оказывается в нужной точке планеты и совершает, как он потом говорит, именно то, что на его месте совершил бы каждый.

А впереди ломил Петя в глубоком убеждении, что план Капустина (Яркина) выполняется точно, и в результате Петиного обходного маневра матерый преступник будет выгнан как раз под огонь движущейся низом армии.

Петя с трепетом и болезненным наслаждением, отчасти близким к страху, предвкушал торжество и победу.

Один из пологих подъемов, упиравшихся в ельник, заканчивался аркой, образованной согнутой в дугу тонкой березкой. Тот, что проложил лыж-

застревает где-то чуть ниже горла, с трудом прорывается в легкие, забитые махорочной гарью, и разливается холодным ознобом по всему телу.

Если адресоваться к геологическим образованиям, определяющим рельеф правого берега, то осужденный Бр-н двигался как бы по второй террасе, поэтому шедший выше Петя довольно быстро обогнал его и ушел вперед. Там, наверху, был все-таки наст, всегда к концу зимы спекающийся на открытых местах и в мелколесье. В сущности, климат в Кандалакше сырой благодаря преимущественно юго-восточным ветрам, дующим чуть ли не круглый год. Сырой воздух на дорогах устраивает гололед, а на снежных равнинах чрезвычайно благоприятствует образованию наста. Вот по этому насту Петя и урвал чуть не на полкилометра вперед от беглеца и рвал бы, может быть, так и дальше, до Малой стороны, как называют в Кандалакше заречный берег. Однако событие совершенно пустяковое заставило его двинуться вспять и натолкнуться на огонь автомата Черемичного, в свою очередь, не перестававшего удивляться, что никак не может догнать ушедший вперед авангард отряда.

Но прежде чем приступить к последним мгновениям жизни Пети, надо покончить с осужденным Бр-ным.

Когда вы на кон ставите жизнь, не чью-нибудь, а свою, вот уж где сердце не в ладу с разумом. Голова четко варит — все делаю правильно, все идет путем: только так! а сердце прыгает, как праздничный раскидайчик на резинке, прыгает во все стороны и, кажется, хочет сбежать от бестолкового дуролома, который сам не знает, как себя спасти, да и его, трепещущее, подставляет под выстрел.

Осужденный Бр-н дал выкатиться Капустину (Яркину) и Топольнику по его следу на открытый проем между еловыми зарослями; здесь торчало десятка полтора обгорелых стволов, какие-то пни и несколько поваленных лесин.

Капустин (Яркин) шел легко,без напряжения, на своих офицерских лыжах, а легкие бамбуковые палки придавали ему вообще вид человека на лыжной прогулке. Следом за ним накатывал Топольник тоже в ватнике и с автоматом за спиной.

Сначала их надо было остановить. «Стой!», «Не спеши, начальник!..» Все это не годилось, сгодилось то, что вырвалось то ли из горла, то ли из взбудораженной памяти, то ли от великой тоски и желания охоту обернуть в игру:

— «Все! Станция Березай, кому надо — вылезай!» — истошно и неожиданно для самого себя и для преследователей заорал беглец, не показываясь еще на глаза.

Капустин (Яркин) действительно остановился, едва не налетев на него, затормозил Топольник.

— «Щас начнет», — бросил, чуть обернувшись, Капустин (Яркин) Топольнику, не желая отдавать роль хозяина положения, он даже отступил с лыжни, чтобы дать офицеру подвинуться.

Увидев, что Капустин (Яркин) не берется за оружие, не стал изготовляться к бою и Топольник.

— «Я твой — начальник! Я твой! Вот он я!» — все не появляясь, кричал беглец.

— «Ты окружен, Бр-н! Выходи!» — то ли осужденному, то ли для Топольника крикнул Капустин (Яркин).

— «Все правда, начальник! Окружен заботой, окружен вниманием! Тобой окружен, начальник! Выхожу с поднятыми руками! Без доразумений!»

— «Щас появится», — предсказал Капустин (Яркин), оперщись на выставленные вперед палки, сзади уже подкатили и толпились бойцы авангарда, человек десять.

Точно по предсказанию Капустина (Яркина) из-за густых елей на лыжне в тридцати пяти метрах от поджидавшей охраны показался улыбающийся во все лицо осужденный с высоко поднятыми руками.

— «Все, начальник! Я сдаюсь. На твоих глазах кидаю заточку. Я чистый!» — И действительно, Бр-н взмахнул поднятой рукой, и в сероватом воздухе мелькнул какой-то металлический предмет, улетая в голые прутья кустов, наполовину засыпанных снегом. Финку, взятую у дежурной на водокачке, он выкинул минутой раньше, а теперь избавлялся от самой дорогой сердцу вещи, пронесенной сквозь такие шмоны, через такие досмотры, что и самому до сих пор не верится, это был вагонный ключ, гранка, вещь для вешера незаменимая.

Бр-н двигался не спеша, пытаясь угадать настроение гражданина начальника, чтобы мгновенно отреагировать, если что-нибудь покажется подозрительным, но главное, он улыбался, уверенный, что в улыбающегося человека стрелять не станут.

Столпившиеся сзади офицеров солдаты тоже невольно улыбались и удовлетворенно переглядывались; все кончилось легко, благополучно, участие в боевом походе не только внесло некоторое разнообразие в монотонную жизнь, но и освежило нервы, пробудив от полусна службы. Каждый чувствовал себя человеком, необходимым в задержании особо опасного вооруженного преступника, и поэтому вправе был сам считать себя немножко героем.

Капустину (Яркину) совсем не нужно было возвращение Бр-на в зону, надо было думать и о других, надо было думать и о том, что на побег настраиваются обычно к лету; зимой и даже весной, пока не сойдет снег, как правило, не бегут, вот и будет хороший пример к наступающему сезону. «За такое погон не снимают», — Капустин (Яркин) потянулся к оружию.

Когда Бр-н, мелко переступая на лыжах, приблизился шагов на двадцать, Капустин (Яркин), поймав за спиной автомат за ствол, легонько передвинул его вперед и, не снимая перчаток, щелкнул затвором.

— «Начальник! Не надо доразумений, я твой», — продолжал улыбаться беглец, уверенный, что стрелять в него не станут.

Топольник тоже снял автомат из-за спины, решив, что так надо, но взводить затвор не стал.

«Народу много, привяжут к лыжам, дотащат», — чувствуя за собой дыхание помощников, подумал Капустин (Яркин) и снял автомат с предохранителя.

— «Станция Березай, гражданин начальник, я приехал. Вылезаю».

И Петя и Черемичный на лыжах ходоки были аховые, и поэтому написать, как полагается в настоящей арктической повести или хорошем приключенческом романе с погонями: «их разделял час пути» или «их разделяли только двадцать минут бега на лыжах», — было бы в корне неверно, потому что движение на тяжелых, покрытых еще и толстым слоем масляной краски неуклюжих лыжах было для Черемичного опять же тяжелым ратным трудом, а у Пети то и дело развязывались и сваливались натянутые впопыхах на подшитые валенки мягкие крепления; остановки, вместе с падениями на спусках, были непредсказуемы по продолжительности. Расстояние между ними сокращалось лишь потому, что для Черемичного лыжня была понакатистей, вот он и приближался неудержимо к Пете.

Через полчаса неуклюжего скольжения по пустынной лыжне страх потерять рожок с патронами был вытеснен новым страхом — заблудиться, солдат начал соображать, что прет куда-то не туда. Впереди было тихо, хотя он останавливался и несколько раз прислушивался. А когда справа от лыжни из-под придавленных пухлым снегом еловых лап выпорхнули три белые куропатки, разбуженные, надо думать, Петей и настороженно выжидавшие новой опасности, Черемичный даже забыл, что вооружен и может защищаться; страх охватил бы и человека посмелей, взорвись в трех метрах от него снег и прошуми белыми шуршащими в воздухе крыльями какие-то существа, разглядеть которые и перевести дух удалось только на отлете. У Черемичного, пережившего страх, близкий к ужасу, хватило ума сообразить, что лыжня не очень-то ходовая, если он поднял пристроившихся на ночлег зверей. Вообще ни к чему героическому солдатик себя не готовил, о подвиге не думал, то есть в полной мере отвечал тому воспетому типу героя, который, не помышляя о славе, оказывается в нужной точке планеты и совершает, как он потом говорит, именно то, что на его месте совершил бы каждый.

А впереди ломил Петя в глубоком убеждении, что план Капустина (Яркина) выполняется точно, и в результате Петиного обходного маневра матерый преступник будет выгнан как раз под огонь движущейся низом армии.

Петя с трепетом и болезненным наслаждением, отчасти близким к страху, предвкушал торжество и победу.

Один из пологих подъемов, упиравшихся в ельник, заканчивался аркой, образованной согнутой в дугу тонкой березкой. Тот, что проложил лыж-

ню до Пети, видно, стукнул по этой арке или, подныривая, задел за нее, с березы упал высокий снежный гребень, оставив лишь небольшие куски намерзшего крупчатого снега, но ствол не распрямился, тощая гривка голых веток на вершине примерзла к еловым веткам. Все это очень важно представить как можно реальнее, поскольку Петя благодаря своему незаурядному росту хотя и пригнулся, но кубанкой задел за березовый ствол. Сдвинутая в пылу погони кубанка с тусклой эмблемой НКВД покатилась по насту вдоль лыжни вниз. Петя, оказавшийся по ту сторону арки, проводил глазами убегающий головной убор и замер в размышлении; спускаться вниз и подниматься снова это — потерянное время, матерый может уйти, с другой стороны, кроме эмблемы на круглой шапке, у Пети не было никаких знаков власти, а стало быть, и права преследовать и загонять преступника в нужное направление. Потоптавшись в раздумье, Петя стал неуклюже разворачиваться. В это время с другой стороны к открытой пологой впадинке приближался уже оправившийся от встречи с куропатками солдат Черемичный.

Капустин (Яркин) держал автомат за рукоятку и рожок и пристально смотрел на приближающегося осужденного Бр-на. Лицом тот, конечно, улыбался, а глаза смотрели тускло и тревожно.

Если бы в эту минуту можно было заглянуть под кубанку в череп Капустина (Яркина) и прочитать его мысли, то читать бы было особенно нечего. «Это надо сделать» — вот так примерно выглядело принятое решение, в пользу которого было огромное количество аргументов. И то, что не удалось прибить того, первого, тоже шло в подкрепление единственно правильного решения. А голоса солдат за спиной, переживавших встречу с матерым преступником, укрепляли уверенность, что понят будет правильно: «Да, не хотел бы один на один с таким встретиться...» — «Смотри-смотри, как идет...» — шипели кругом в уверенности, что Бр-н сейчас бросится на них и всех то ли загрызет, то ли задушит, а вовсе не рухнет на дрожащих в поджилках ногах.

Вина за побег всегда ложится на плечи конвоя, и, чтобы впредь не бегали, надо было, как любил говорить Капустин (Яркин), «провести гвоздем по нервам».

Капустин (Яркин) специально не решал, на каком шаге он это сделает, но ясно было, что ближе десяти шагов осужденный к нему не приблизится.

В это самое время где-то вверху и дальше просыпалась глухая дробь автоматной очереди, четко и раскатисто.

Капустин (Яркин) насторожился и в ту же минуту забыл о своем намерении.

Выстрелы прозвучали так, будто кто-то молоточком быстро-быстро простучал по доске, но привычное ухо Топольника отреагировало четко: «Кого туда занесло, мать... Кто там у тебя, Куховаренко, воюет??» — крикнул он командиру отделения автоматчиков.

Оттуда же издали, откуда донеслось такое нестрашное постукивание автомата, раздался крик, крик неясный. Все, не сговариваясь, замерли, прислушиваясь, и на выгоревшую поляну отчетливо вступил снизу шум реки, несущейся с водопадным грохотом и шипеньем.

— «...о-о-ов!» — донеслось снова.

— «Кричит — готов, гражданин начальник», — первым догадался уцелевший Бр-н, чей слух и зрение пребывали в величайшем напряжении.

— «Кто готов?!» — рявкнул Капустин (Яркин), будто Бр-н пересказывал ему не слышанный всеми крик, а полученное письмо или телеграмму.

— «Скричать вас хочет, свалил кого-то», — пояснил Бр-н.

Капустин (Яркин) поднял автомат и ударил очередью в воздух, обозначая для заблудившегося солдата место своего пребывания.

Бр-н не отрывал глаз от огненного язычка на дрожащем дульном срезе и проводил взглядом веером брызнувшие гильзы. «Мои», — мелькнуло в голове, сердце улыбнулось и успокоилось, не то чтобы совсем успокоилось, оно по-прежнему гулко ударяло изнутри, где-то рядом с левым соском, но уже не металось, стало биться ровней, признав все поступки этого дуролома разумными и правильными.

Дело между Черемичным и Петей сложилось так.

Перед пологим подъемом солдат раскатился, энергично работая палками и не отрывая глаз от рыхловатой лыжни, поэтому он увидел Петю только тогда, когда тот уже ринулся вниз ему навстречу.

— «Стой! Стой! Стрелять буду!» — пообещал Черемичный, силясь остановиться, потом бросил палки вместе с толстыми трехпалыми рукавицами, приспособленными вроде бы для стрельбы, хотя стрелять в них решительно невозможно.

На спуске морозный воздух обжег вспотевшую голову Пети, он слышал крик снизу, видел бойца, но разобрать слов не мог.

Черемичный видел, как на него сверху катится, раскинув руки с деревянными лыжными палками, жуткого вида фигура в ватнике, с открытым черным ртом и выпученными безумными глазами. Редкие, слипшиеся от пота волосы, стриженные под бокс, делали голову вполне зековской, а ватник с портупеей придавал фигуре нечто партизанское.

А может быть, виноваты всего лишь сумерки, превращающие людей в привидения?

Размышлять было некогда, преступник команде не подчинился и летел прямо на Черемичного. Солдат выставил левую ногу вперед, вскинул приклад к плечу и, замирая от страха, дал очередь.

Петя рухнул мгновенно, будто кто-то его ударил кулаком в грудь. Ноги с лыжами вывернулись вперед, а тело опрокинулось навзничь. Одна нога выскочила из крепления, и лыжа с легким шорохом покатилась по насту мимо лыжни, мимо Черемичного, куда-то вниз и вбок, вторая лыжина встала косо поперек лыжни.

— «Готов! Го-о-о-отов!» — истошно орал солдат, не отрывая глаз от поверженного злодея, готовый стрелять, если тот пошевелится и попробует потянуться рукой к кобуре.

Взбитый при падении снег таял на разгоряченном лице мертвого Пети, чистые прозрачные капли собирались у глазниц и, не нарушая лесной тишины, скатывались вниз к уху; казалось, что Петя плачет, уставясь широко открытыми изумленными глазами в бездонную пустоту сумеречного неба, где прямо над ним вспыхнула и задрожала первая крохотная звездочка, робко предвещая наступление ночи.

В этот день, 26 марта 1953 года, во всех газетах огромной страны была опубликована глубокая благодарность от имени руководства страны за соболезнования в связи с кончиной великого вождя. Соболезнования были выражены более чем в двухстах тысячах посланий, поступивших от глав и правительств иностранных государств, от советских и зарубежных государственных, партийных и общественных организаций, собраний, коллективов трудящихся и отдельных лиц. Поскольку послания продолжали поступать, благодарность выражалась и за те, что придут сегодня и будут получены позднее.

Но вот что примечательно. Уже после изъявления благодарности, 27 марта в пятницу, в передовой статье «Высокая ответственность работника» имя великого вождя не упоминалось ни разу, так же, как и в передовых статьях в последующих номерах: «Неотложные задачи орошаемого земледелия», «Неиссякаемый источник творческой энергии», «К новым успехам социалистической культуры», и так во все дни. Характерно, что в небольшом отчете, на четверть полосы, о ежегодном общем собрании Академии наук совсем недавно, 3 февраля, имя великого вождя поминалось четырнадцать раз, а 23 февраля читатель встречался с этим именем только на первой полосе газеты тридцать девять раз.

Историки непременно задумаются над сообщением о смерти лауреата международной Сталинской премии мира Ива Фаржа, возвращавшегося на автомашине ночью 28 марта из города Гори, куда он ездил, «чтобы ознакомиться с хозяйственным и культурным строительством Грузинской ССР», как сообщило телеграфное агентство Советского Союза, ни словом не помянув, чем дорог городок Гори всем борцам за мир на земле, а лауреатам Сталинской премии в особенности. В сообщении следовало краткое, но убедительное описание тяжелого черепно-мозгового повреждения, «вследствие чего развилось коматозное состояние с явлениями правосторонней гемиплегии и резким ухудшением функциональной деятельности сердечно-сосудистой системы». Во время этой тяжелой ночной аварии, как явствует из по-

ступивших сообщений, никто более из ездивших на автомобиле в Гори не пострадал, в том числе и супруга погибшего.

Не было имени вождя и в передовой статье от 28 марта «Сила советского строя», комментировавшей напечатанный на этой же полосе газеты Указ «Об амнистии». Тот дурачок, что бежал вторым и потом канючил «Дяденька, дяденька, не убивайте...», по этому Указу выходил вчистую, так как до восемнадцатилетнего возраста все амнистировались, так же как беременные женщины и женщины с малолетними детьми до десяти лет. Разгружали лагеря от стариков старше пятидесяти пяти и старух старше пятидесяти, ну, и от страдающих тяжкими неизлечимыми недугами. Шел год амнистию и этот вешер, поскольку срока имел семь лет, и хотя амнистировались все, кто имел до пяти, но остальным скостили на два, значит, от семи он имел три с полтиной, а как раз три с полтиной отметил в злосчастном феврале. Ну, естественно, ни на секунду не уменьшались сроки и не получали никакого послабления сидевшие за крупные хищения социалистической собственности, бандитизм, умышленное убийство и контрреволюционную деятельность. Здесь было четко сказано: «Не применять амнистию к лицам, осужденным за контрреволюционную деятельность». Для справедливости надо сказать, что вскоре, хотя в Указе об этом и не было сказано, повыпускали на волю тех, у кого срок за контрреволюционную деятельность уже истек, и они сидели как бы по инерции, без приговора. Вот таких, сидевших без объявленного приговора, было велено все-таки выпустить. Пожалуйста, выпустили.

И пацан, пойманный первым, и Бр-н, пойманный вторым за рекой Нивой, представьте себе, оба дожили до Указа. Морока и как-никак необходимость объяснить случившееся с Петей отвлекли Капустина (Яркина) от его решительных намерений, а через два дня после Указа обстановка в лагере стала резко иной, очень напряженной, и все силы были брошены на поддержание внутреннего порядка.

Более эти дни ничем примечательны не были.

Прошло время, величайшего властителя всех времен перестали называть великим, потом начали поговаривать, что и умер он как-то нелепо, ну что ж, еще одно свидетельство того, что властолюбие простирается за черты не только общей, но и личной пользы.

Ленинград
1990 г.

Мария Руденко

ПРЕКРАСНЫЕ СТАРЫЕ ДЕВЫ...

И счастья в личной жизни...

1

С промокшими ногами, усталая,
Таща съедобную добычу, (и руки уже болят),
Я забираюсь в темную норку на восьмом этаже.
Как хорошо, что я знаю, где выключатель,
И горячая вода в кране, и душистое мыло,
И красивое полотенце,
И газ помогает готовить заслуженный ужин.
Подлинное наслаждение от хрустящей простыни и мягкой подушки
Получает лишь тот, кто всегда в постели один,
Можно не ставить будильник,
И это счастье не пить в семь сорок пять
Растворимую гадость (ибо нет сил сварить настоящую)
С чуть прокисшим молоком,
И не извиняться в троллейбусе, и не...
Завтра воскресенье — единственный день,
Когда хоть изредка ощущаешь себя человеком.

2

Вы, которые полдня стоите за билетами в кино
И садитесь в первый ряд, ибо зрение испорчено одиночеством,
То есть чтением и телевизором,
А сзади — крепкие парни будут лапать смазливых и крепеньких же,
Прости господи, девушек,
А вы одни, и вам за тридцать и ваши очки,
Коричневая шуба из искусственного меха,
Колечко с фианитом, вязаные шапочка и шарф,
Юбка чуть ниже колен, напоминающая проживший долгую жизнь
мешок —
Образ великой интеллигенции...
...Ради эдакого «расцвета»
Ваша юность видела много счастья над дубовыми фолиантами
В читальном зале институтской библиотеки,
Желудок испорчен скверным кофе и сосисками
В перемену, чтобы успеть до звонка в аудиторию №...
(Вы хорошо учились, вам прочили «будущее», и вы не любили
опаздывать на занятия).
Как высокомерно и равнодушно у вас (или вы у себя сами?)
Отнимали единственное достояние человека —
Его семнадцать лет...
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Мария РУДЕНКО родилась в 1965 году в Москве. Закончила филологический факультет МГУ, учится в аспирантуре. Печататься начала с 18 лет, автор литературоведческих статей. Стихи публиковались в сборнике «Европейский дом» (1989 г.), альманахе «Поэзия» (1990 г.), «Московском комсомольце». Издавалась в Югославии.

4

Конфликты иссохли в быту
Над пламенем кухонных плит.
В мозгу — туман от таблеток.
И я — не Лариса, тем более что хранение личного оружия
запрещено по закону.
...Пальчиком помани, Сережа Паратов!..
Ну что ж. Это очень хорошо. Дай тебе Бог.
Я рада, что дальние страны съедят твой талант и закусят
веселым финалом.
Ведь будущее — область распространения именно таких, как ты,
И твоих голубоглазых, способных ублюдков.
Вот уже первенец, изрыгая сопли, мочу и понос,
Радует твой интеллект визгами «Папа, не надо!» и «Дай!».
Я ненавижу тебя. Ты, наверное, все-таки гений.
И у тебя действительно всё впереди, чтоб ты сдох.
У тебя и в мыслях не было обернуться, но всего тебе доброго.
К сожалению, я бессильна сломать тебе жизнь.
Я люблю тебя. Можешь мне верить, ибо ты никогда,
Даже когда бил по морде, этих слов от меня не слыхал.
Кланяйся своей милой жене. Если б она так вовремя не залетела,
Все было б, возможно, иначе.
...Пальчиком помани, Сережа Паратов!..

1987

Вариант конца

Ничего страшного. Всё одолимо.
Всё хорошо, что хорошо ко...
Только забудь, что ты — женщина или мужчина,
Что существуют всякие вещи и люди, и среди них много
лакомых объектов,
Что жизнь, увы, существует в единственном экземпляре,
И тебе никогда не дадут его на руки, не говоря уж о компенсации
В виде гармонии и красоты.
Пусть расцветает, как пена на пиве, черемуха в неизвестном
саду,
Туман укрывает морщины реки от дождя.
В церкви вдали от судьбы на скромной вершине холма отходит
обедня,
И где-то есть монастырь, которого нет для тебя, ибо поздно.
Утренний кофе остыл (он не нужен, ты выспался),
В чашке — жасминовый чай из старых запасов, и на стуле —
книга как белая роза.
И лес.
И дорога в глухую провинцию, к морю. (Цитата.)
И города.
— Работай, и все одолеешь.
...Пальчиком помани, Сережа Паратов,
Мне не нужна моя жизнь, вернее конечно, нужна,
И ты не поманишь.
Любить и хотеть — разные вещи, ведь правда?
Романы, романсы... Зачем, слишком поздно
В актрисы.
И в жизнь.
Когда они идут по улице, кажется, что у других — всё не так.
— Только работай, а там все приложится...
— Дура.
— Конечно, конечно. Да-да... В моей жизни
Прошу никого не винить.

День удач

1

Ненавижу проклятый месяц май, когда всем хорошо,
И косяки девочек становятся похожими на клумбочки
Дешевых цветков-однолеток у входа в места общественного
пользования.
Мужчины приобретают особенно уверенную осанку,
Справедливо ощущая себя единственными носителями счастья.
Люблю грозу в начале мая,
Холодную, с градом из серого неба,
Которая смывает краску с блинчиков девичьих лиц
И делает их розовые штанишки неспособными обольстить
Даже похотливого бегемота.
Тогда те, кто побыстрей и поденежней в нынешний вечер,
Набиваются в бары и варятся в музыке, что была в моде
пять сезонов назад,
Как зеленые помидорчики в собственном соку,
Они оставляют улицу мне, и моему зонтику, и нелепым ботинкам,
И городским скоропостижно уставшим деревьям, и мыслям
О «Конце прекрасной эпохи».

2

Теперь немного поспи... А после —
Бессмысленно-мило выслушай очередной отказ
По причине твоей вероятной бездарности... Поле
Усеяно кучей цветов, но зачем сообщать,
Что были они белые, розовые и голубые,
Небо — ясным, но очередной июль уже знал, что все кончено,
И даже оптимистка-осень больна ослепительным гепатитом.
«Изобилие плодов земных» гниет в необорудованных
овощехранилищах,
И ты уезжаешь, снова потеряв умение не ревновать. «Сердце,
Тебе не хочется покоя», а корвалола, но лучше — валокордина.
А еще лучше — пару таблеток снотворного,
Чтобы на время лишиться прекрасного дара — памяти
И умения искать выход из создавшегося положения...
...Поле, то самое, что когда-то заросло
Ромашкой, гвоздикой, персиковидным колокольчиком, а также
другими цветками и травками,
Острижено, как новобранец в Афган, и перепахано под люцерну.
Борозды, словно шершавый язык заболевшей коровы,
Дерут ноги в попытке найти сочувствие своему состоянию.
Крысы счастливы тем, что они есть. Страх перед ними мешает
Их эффективно уничтожать даже во время войны.
Они не поддаются полезной переработке и уж, во всяком случае,
Никогда не издохнут от голода или тоски.

3

Створки автоматического лифта хлопают как крылья горлицы,
Встревоженные мировыми несоответствиями.
Он хочет вырваться в небо и полететь,
А как минимум — увидеть сон,
Что обладает логикой и красотой,
В отличие от суррогата, который мы ежедневно потребляем
С раннего утра и до позднего вечера безо всякого перерыва.
А может быть (думает он), лечь однажды в могилу лифтовой ямы,
Свить уютное гнездо из перетертых тросов,

При помощи коих еще так недавно елозил народ с верху до низу иллюзий
И аккуратно разлагаться, питая надежду
Разложиться совершенно.

1985

Ода

Простор рождает желание стать безмозглым животным с длинными ногами.
Синие незабудки ничего не знают о нейтронной бомбе и безработице в Штатах.
Впрочем, они завтра умрут, а один из людей,
Тот, который их видел и ничего не подумал,
Кроме: «Растут незабудки»,
Возможно, будет жить, и работать, и приносить пользу.
Он в свое время исправно сидел на лекциях и семинарах,
И черепашья голова преподавателя умиленно косилась
На аккуратно испорченные его почерком листы бывшей белой бумаги.
И он, кляня (или даже не охнув, ибо охать принято хором)
Систему высшего образования
И уже не пытаясь найти альтернативу осуществленной мечте...
А завтра люди в городе шли, обладая привычным
Насморком, кошельком, путем на работу и в магазин, и изредка в гости,
Где будут потчевать курицами, еще полгода назад говорившими цыпочке: «Ко...»
Салатом и чем-нибудь сладким, если у хозяйки не было срочной работы.
Потом, вечером, морщась, мусор выносит мужчина (наверное, муж),
И это вполне справедливо, ведь именно он и приносит его
И портит им жизнь ни в чем не повинных, умных и тонких созданий.
Из чувства неотвратимого долга они клубятся под ним.
И делают вид, что не могут прожить (далее формулировка).
Эти, с руками, обезображенными семейным счастьем —
Приготовить, убрать, постирать и не мешать,
Если мужу звонят молоденькие любовницы, называющие его по имени-отчеству,
Они иногда завидуют старым девам с профессорской ставкой,
У которых остались силы возмущаться невежеством и не мечтать о любви.
А те мужественно ласкают детей своих бывших подруг
И даже кокетничают с сотрудниками, намекая, что именно зрелая женщина
Способна на необременительные взаимоотношения.
Бедные... У них — новые портфели и модная обувь,
Тонкая щиколотка и отменный вкус,
Умные глаза, нежная кожа, хорошие волосы, но они всегда ждали «принца»,
И в этом была их единственная ошибка...
Бедные, храбрые, прекрасные старые девы...

1986

Фридрих Горенштейн

КОЙКО-МЕСТО

РОМАН

* * *

Райком партии располагался неподалеку от школы милиции, и от нашего общежития до него было минут двадцать ходу пешком. Неоднократно, идя пешком к центру, я проходил мимо райкома и запомнил его месторасположение (может, это и было одной из причин, почему я, исчерпав все возможности, решил обратиться в райком).

Здание райкома построено в пятьдесят втором году, о чем свидетельствовала надпись на фронтоне и стиль того времени: с квадратными колоннами, с лепными звездами и гербами. Обычно я в моей неправедной борьбе, основанной на связях, знакомстве и покровительстве, подобных учреждений избегал, но это не было моим жизненным кредо, и я знал, что сложись моя жизнь по-другому, я был бы преотличным патриотом, ибо моя, склонная к поэтическим преувеличениям натура гораздо более удовлетворения получила бы в официальном существовании, вплоть даже до героической смерти, на которую я, очевидно, был способен, чем в пустопорожних личных мечтах, главным образом, в ночное время, то есть не имеющих выхода в реальность и вынужденных прикрывать мои убогие материальные потребности... Не лишне также здесь напомнить, что я, почти тридцатилетний, оставался в душе юношей, однако не потому, что сумел сохранить свежесть душевных порывов, а потому, что порывы эти остались недозрелыми и не приобрели соответствия моему возрасту, а также времени. Вот почему, войдя в вестибюль райкома, я испытал молодое волнение и свою значительность в общем строю... Материальные невзгоды как-то оттеснили меня от происходящих в обществе процессов и, хотя я к ним стремился при всякой возможности, таких возможностей было немного... Я человек сложный, то есть во мне есть много противоположностей, однако при обычных обстоятельствах, если душа моя не чрезмерно взбаламучена, во мне проступает какое-то одно чувство, остальные же словно на это время пропадают, и я сам о них начисто забываю. Поэтому, когда в приемной второго секретаря райкома партии Николая Марковича Моторнюка (написано на табличке) меня спросила одна из райкомовских женщин лет сорока, достаточно полная, с высокой грудью и в полумужском приталенном женском партийном костюме:

— Вы по какому вопросу, товарищ?

Я ответил:

— По личному, — так, точно мой личный вопрос не упирался в койко-место, а соответствовал интересам общего дела.

Николай Маркович Моторнюк сидел в большом кабинете с портретом Ленина, Хрущева и Ворошилова. Принял он меня приветливо, и это могло погубить меня. Следует помнить мое крайнее положение, беспрерывные провалы, тупики, разочарования в неправедных путях... Хороший прием, который оказал мне человек совсем иного направления, мог окончательно убедить меня в бесполезности тех построений, которые до сих пор помогали мне жить... У каждого человека, а у отщепенца в особенности, имеется

Окончание. Начало см. «Знамя» № 1 за 1991 г.

система мышления, в которую укладывается, перерабатывается все его мироощущение... Разумеется, выход из строя конкретной для данного человека системы образов и мыслей не приводит к немедленной физической смерти, как гибель системы кровообращения или дыхания, но она ведет к серьезному жизненному кризису... К счастью, разговаривая с Моторнюком, секретарем райкома, человеком, положение которого и, наверное, жизнь отвергали эту мою систему, к тому же изношенную, не помогающую мне более, я все-таки невольно еще находился внутри этой системы поисков покровителей, хоть одновременно и жаждал честной молодой комсомольской откровенности. Наверное, на стыке столь противоположных тенденций и родился контакт между мной и Николаем Марковичем. А до контакта родился мой рассказ, удивительно сильный, искренний по чувствам, но для воздействия требующий хорошего человека (каким был, безусловно, Моторнюк) и в то же время удивительно точный, логичный и, невзирая на самые искренние излияния о страданиях в детстве, смерти родителей, в то же время направленный к одной материальной цели — к оставлению за мной койко-места на три месяца (там начнется осень, зима и вообще видно будет).

Помню свое состояние, когда я вышел из райкома. Так просыпаются после ночного кошмара, глядя в прекрасное, полное солнца окно. Я шел и смеялся. Я смеялся над своими страхами, над собой и над неверием в свою судьбу... У меня в глубине души всегда существовала уверенность, что пропасть я не могу, и когда становится очень плохо, значит, надо ждать избавления... Но по глупости я ждал избавления через третьи руки и не надеялся на себя... Придя в общежитие, я прежде всего нашел комендантшу Софью Ивановну и сообщил ей о моей беседе в райкоме, поскольку ныне, выйдя из паутины хитросплетений, просто испытал потребность в подобном открытом заявлении.

— Нам недавно звонили из райкома, Цвибышев, — сказала мне Софья Ивановна.

Пока я шел, Николай Маркович позвонил. Приятно все-таки быть полноправным гражданином своей страны, с умилением подумал я... Вообще после этого звонка из райкома я впал в некое восторженное состояние, которое бывает в юности во время парадов.

— Значит, все в порядке, Софья Ивановна? — дружелюбно спросил я.

— Кое-какие формальности еще нужны, — сказала Софья Ивановна, — но поговорим потом.

А потом, то есть всего через час с лишним, в дело было введено со стороны комендантши Софьи Ивановны новое лицо, а именно жилец из двадцать первой комнаты, семейный, занимавший эту комнату самостоятельно и, как оказалось, работающий инструктором того самого райкома. Фамилия его была Колесник.

Ко мне в комнату (я с наслаждением лежал на отвоеванной койке) постучала уборщица Люба и сообщила, что меня вызывают в Ленинский уголок. Думая, что это пошутил Юра Корш, воспитатель, я пошел, надеясь рассказать ему о своей удаче, особенно ценной, поскольку достиг я ее своими руками, да и вообще о том, как приобрел в райкоме своего человека (мечтая о новой законной жизни, я невольно продолжал жить в системе старых хитросплетений и покровителей).

В Ленинском уголке никого не было, лишь за столом над подшивкой газет сидел один из жильцов, года два уже мелькавший мимо меня, но поскольку сталкиваться с ним не приходилось, то знакомый лишь в лицо. Я хотел было уйти, но он окликнул меня.

— Вы Цвибышев?

— Да...

— Нам надо поговорить, садитесь, пожалуйста.

Не понимая еще, куда все это направлено, я сел.

— Цвибышев, — сказал мне жилец, — расскажите мне, на каком основании вы занимаете койко-место...

Жилец был в обычной одежде, какую носят внутри общежития, то есть в майке, и создавалось такое ощущение, будто он только что вышел из общей кухни, поскольку руки его были измазаны каким-то жиром (что соответствовало действительности и вскоре подтвердилось. На кухне у него жарилась картошка). Весь этот неавторитетный вид плюс поддержка

райкома, подтвержденная оперативным звонком Моторнюка в жилконтору, заставили меня среагировать на этот вопрос определенным образом, а именно встать и небрежно махнуть рукой.

— Садитесь, — сказал жилец неожиданно твердо и резко, но главное было не в этом, а в том, что голос его заставил меня приглядеться внимательней и увидеть, что лицо моего собеседника отличается от лиц обычных жильцов отсутствием бытовой измотанности и есть на нем некий, может, не для всех уловимый элемент вкусной жизни, той жизни, из среды которой бывают особенно ценные покровители и особенно опасные враги. К счастью, моя ничтожная жизнь не давала мне возможность иметь постоянных опасных врагов из той среды, ибо незаконным делам моим и потребностям моим соответствовали гонители из низшей администрации: дворники, комендантши, управдомы и т. д. В то же время покровителей я искал сам, естественно, повыше. На этом несоответствии между положением моих покровителей из высших сфер и положением моих гонителей из низших инстанций и обосновывалось мое благополучие. Иногда, впрочем, возникали и гонители рангом повыше (например, Сичкин из военкомата), однако это экспромтом и ненадолго. Вот почему столь продолжительное время я ухитрялся пользоваться не принадлежащими мне правами, в общем-то не имея устойчивых покровителей. Просто в силу ничтожного моего положения покровителям не приходилось преодолевать серьезного сопротивления.

— Я инструктор райкома партии Колесник, — меж тем сказал жилец, предупредив мой вопрос, — я пригласил вас поговорить по душам... Вы комсомолец?

— Да, — сказал я, чувствуя внезапный холодок внизу живота, невольно вспомнив, что некая неприятная, правда, забытая сейчас ситуация начиналась именно так (напоминаю: Сичкин из военкомата). Но одновременно, глядя недоверчиво на майку-футболку, измазанную жиром, я добавил, — однако уже выбыл по возрасту...

— Так, — сказал Колесник, — вы, кажется, техник? Я пока бегло ознакомился с вашей анкетой в жилконторе.

— Да, — сказал я, соображая, как вести себя далее и в какой степени он мне опасен после звонка секретаря райкома в мою поддержку... Знает ли он об этом звонке... Я решил вести себя хитро и осторожно, выложив этот свой главный козырь в конце, после того как станет понятна позиция Колесника.

— Я считаю, — сказал Колесник, — что вас просто упустили из виду. Вы мне благодарны потом будете. Мы когда отправляли людей на периферию, многие тоже возражали, а теперь благодарны... Минутку, я сейчас. — он вдруг вскочил и вышел.

Тут я окончательно сообразил: вот он куда клонит. Что б он теперь ни говорил, я знал, что его цель лишить меня койко-места... Я был растерян и не мог понять, почему вдруг и от чьего имени он действует. Находясь в более спокойном душевном состоянии, я вспомнил бы о своем разговоре с Софьей Ивановной. Я понял бы, что, привлекая к делу о койко-месте райком, я вынуждал своих гонителей к обороне, а потом и контрнаступлению на том же уровне...

Посидев некоторое время в одиночестве над подшивками газет, я решил, что Колесник ушел вовсе, разговор окончился ничем и вообще все это ерунда. Я вышел в коридор, решив одеться и пойти в библиотеку... Однако Колесник стоял на кухне среди женщин и, о чем-то весело разговаривая, ворочал шипящую на сковороде картошку.

— Куда же вы, — заметив меня, сказал он. — Мы еще не закончили.

Этот окрик, ломающий мои планы, и нелепый вид инструктора райкома партии, жарящего среди баб картошку, с одной стороны, меня озлобил, а с другой стороны — внушил мне неуважение. К тому ж я не знал истории Колесника и, что еще хуже, не понимал вовсе духа времени, будучи задавлен материальными нуждами. Поэтому в дальнейшем я повел себя неумно и неточно.

— Вам известно, — сказал я Колеснику, желая одним ударом освободиться от него, — что секретарь райкома товарищ Моторнюк звонил в жилконтору.

— Известно, — невозмутимо ответил Колесник, — он попросту не разобрался.

Это прозвучало для меня дико.

— Секретарь райкома не разобрался?

— Да, — улыбнувшись чему-то, сказал Колесник. — Вот мы его и поправим.

Я, безусловный антисталинист по духу, будучи огражден материальными невзгодами от общественных веяний, внутренне жил по твердым прежним сталинским законам авторитетов. Колесник же, безусловный сталинист по духу, жил, тем не менее, по новым антисталинским веяниям, дающим свободу внутрипартийным звеньям, если не откровенную, прямо вступающую в пререкания с высшими звеньями, то во всяком случае внутреннюю, ищущую самостоятельности в ориентации не на авторитет непосредственно высшей инстанции, а на общую структуру всего аппарата в целом, не зависящую от личных вкусов и личного произвола...

Колесник понял, что если личная симпатия секретаря райкома, носящая характер личного произвола, была направлена в мою пользу, то общая структура была направлена против меня, явного отщепенца. Значит, решил он, с личным произволом Моторнюка, желающего мне помочь, можно и нужно бороться...

Николай Маркович Моторнюк в войну был в партизанском соединении Ковпака. Кончил он войну инвалидом, из-за ранения ноги ходил, опираясь на палку. Был он человек сталинской школы, но, являясь человеком добрым и хорошим, он часто направлял свои волевые методы в сторону, противоположную личному мировосприятию... Колесник же рождался как работник нового типа... Я именно застал его в момент рождения. У него была короткая и ясная биография, которую я позднее узнал от Григоренко. Производственная деятельность Колесника, правда, по иным, наверное, причинам, напоминает мою. Он был плохой прораб, а затем плохой диспетчер. Ему поручили должность секретаря комсомольской организации, поскольку в строительном управлении была эта организация текучей, беспрерывно сменяемой, никто ею заниматься не хотел, а Колесник при всех своих отрицательных производственных качествах не пил и, как выяснилось, в техникуме занимался комсомольской работой. И действительно он начал выпускать регулярно стенгазету, аккуратно собирал членские взносы и, поскольку как раз к тому времени началась кампания по выдвижению в райком комсомола людей с производства, Колесников внезапно был вознесен туда и отпущен со стройки без сожаления. С этого момента и начался его рост... Он женился на продавщице универмага (миловидной женщине, которая до моего столкновения с ее мужем очень вежливо и постоянно со мной раскланивалась, встретив в коридоре). В общежитии он получил комнату на две семьи, разделенную занавеской. Проработав год в райкоме комсомола и оправдав себя, он был выдвинут в райком партии. Он ожидал получения квартиры, а до того Софья Ивановна устроила ему отдельную комнату (правда, их стало трое, поскольку родился сын). Вот это-то я и не знал.

Моторнюк любил Сталина, как свою молодость, веру и идею, за которую он пролил кровь. Колесник видел в модернизированном сталинизме источник личного благополучия и в общем-то в период личного роста ему нынешний Сталин и нужен был, то есть Сталин с ошибками; модернизация, собственно, в том и состояла, в не вычеркивании Сталина, а в прибавлении к Сталину его ошибок, то есть из прежнего, любимого народом символа, скрепляющего общество, и в то же время из ошибок, оставляющих зазор для роста в определенном государственном направлении... Вот этого то я и не понимал... Из незнания Колесника и непонимания исторических процессов в стране и назрела эта последняя катастрофа с моим койко-местом в общежитии жилстроя.

Мои отношения с Колесником перешли вскоре на самый неприятный уровень, чуть ли не скандала, причем по моей инициативе, поскольку так называемый «разговор по душам» перешел в форменный допрос, и помимо возмущения я пошел на скандал еще из хитрости, чтоб не допустить опасных для меня вопросов относительно моих родителей. Ряд дальнейших моих шагов носил еще более непродуманный и поспешный характер. Так, вместо того, чтобы всю свою защиту сосредоточить вокруг телефонного

звонка секретаря райкома в мою пользу, состоявшегося, пусть экспромтом, на основании личного произвола, но тем не менее состоявшегося, являющегося для администрации непреложным фактом, я, возбужденный разговором с Колесником, вновь пошел к Моторнюку с жалобой на действия Колесника, при этом передав и пренебрежительные слова Колесника о том, что «Моторнюк не разобрался». Не явись я вторично, Колеснику пришлось бы самостоятельно заводить разговор с секретарем райкома о некоем жильце общежития и судьбе его койко-места, а это звучало бы нелепо, мелко, и Колесник вряд ли бы избрал подобный путь. Он скорее стал бы копаться в моем личном деле в жилконторе (что он и делал) и искать компрометирующие меня факты (что, к сожалению, я недооценил). Конечно, и одни лишь эти действия без вторичного моего посещения Моторнюка привели бы меня к катастрофе. Я был обречен, поскольку впервые моим активным гонителем стал представитель той среды, откуда до сих пор я черпал лишь покровителей (Саливоненко моим гонителем не стал. Разобравшись во мне, он просто бросил меня на произвол судьбы, в дополнение зачем-то оклеветав, может быть, затем, чтобы оправдать свои действия перед самим собой, ибо, помогая мне ранее, он не мог так просто от меня отмахнуться). Однако телефонный звонок секретаря райкома в мою пользу оставался бы некоторое время серьезным фактором и помог бы мне договориться о компромиссном решении, например, оставить за мной койку на месяц, другой, пока я не найду какой-либо иной ночлег.

Первоначально Моторнюк принял меня приветливо, но едва я сказал ему о Колеснике, особенно о пренебрежительном отношении Колесника к нему, Моторнюку, как он тут же помрачнел. Я обрадовался, думая, что попал в точку и, как в таких случаях со мной случается, потерял самоконтроль. Кажется, я даже сказал Моторнюку, что Колесник явно метит на должность секретаря райкома. Подобный вывод с определенной натяжкой, конечно, можно было сделать (неприятная улыбка Колесника и слова «мы его, то есть Моторнюка, поправим»), но делать это следовало не мне и не вокруг ничтожного дела о койко-месте в общежитии. К тому же именно в тот момент, когда я это говорил, раздался стук в дверь кабинета и вошел сам Колесник. Судя по его смиренному виду, он, конечно, преувеличивал свои возможности и был в полном подчинении у Моторнюка. Но я не учитывал, что соединенные вместе они становились уже частью налаженного и талантливо налаженного партийного аппарата. Сила этого аппарата состояла в его кажущейся ненужности. Но это была ненужность символа, которая придавала ему особую прочность. Впервые удалось создать сочетание символа и учреждения, спаянных воедино. Это сочетание брало из того и другого лишь лучшее. Из символа — его святость, но не отстраненность от живой жизни; из учреждения — его активную деятельность, но не ответственность за неизбежные при всякой деятельности ошибки. Если цель всякого учреждения направлена главным образом вне, на материальные нужды, то цель этого символа-учреждения направлена прежде всего на внутреннее самосохранение, на внутреннюю четкость звеньев, вокруг которых можно было бы объединить многочисленные меняющиеся, распадающиеся, неизбежно ошибающиеся в процессе материальной деятельности практические учреждения. Новые веяния, пришедшие со смертью Сталина (ошибка Сталина состояла в том, что он чрезмерно усилил значение символа, в то время как учреждение начало ветшать, бюрократия была подавлена личной волей), новые веяния усилили это внутреннее самоусовершенствование, наверстывая упущенное, и личные порывы — дурные ли, хорошие ли — сводились постепенно к минимуму. Поэтому Моторнюк лично мог бы мне помочь, но вместе с Колесником они уже могли действовать лишь в направлении внутреннего самоусовершенствования учреждения. И надо сказать, что первоначально Колесник, которому, как инструктору, Моторнюк поручил разобраться (вот результат второго посещения), Колесник, несмотря на мои заявления в его адрес (он явно подслушивал за дверьми, уверен), действовал строго в пределах закона (который, конечно, был против меня). Лишь позднее, дойдя до определенной точки, доведя дело до законного конца, Колесник вышел за рамки закона и по личной инициативе допустил перегибы, всячески унижая меня. Но, во-первых, уже не в качестве инструктора, а в качестве частного лица. А во-вторых, я сам в тех унижениях виноват, и будучи окончательно сломлен и раздавлен, сам

пошел этим унижениям навстречу, причем не без задних мыслей, надеясь найти в них спасение.

Первоначально Колесник пригласил меня в свой кабинет в райкоме. Конечно, это не был просторный роскошный кабинет Моторнюка. Был он маленький, узкий, в одно окно. Дверь была не обита кожей, а крашена белой масляной краской, однако, на двери этой висела табличка с надписью «А. Т. Колесник». В кабинете стоял стол, книжный шкаф, и сам Колесник сел в кресло под портретом Карла Маркса, а мне предложил сесть на стул. На Колеснике был голубой однобортный костюм и в петличке наподобие ордена значок, на котором изображен был голубь мира и надпись на нескольких языках «Мир»... Очевидно, он провел уже определенную работу и подготовился к разговору, поскольку из ящика письменного стола достал бумажную папку, на которой была написана моя фамилия. Причем у Моторнюка он, в отличие от меня, не выложил ни единого козыря. Просто вошел скромно и сел, одним своим молчаливым присутствием добившись передачи вопроса обо мне ему и придав этому вопросу о койкоместе характер дела. Лишь глянув на папку с надписью, я понял, что пришла погибель. Нет, это не полуграмотная зав. камерой хранения Тэтьяна. Все три года моих хитросплетений лежали в этой бумажной папке, я был в этом уверен. Я рассчитывал лишь на то, что живу неправедно на столь низком уровне (с помощью хитростей и знакомств незаконно имел ночлег и кусок хлеба с карамелью и кипятком), что вряд ли из серьезных сфер к этому протянут руку. Все хитрости были сработаны грубо, неприкрыто, делались либо с помощью телефонных звонков, либо личных записок.

— Так,— сказал Колесник, открывая папку,— вы знаете, что Маргулису объявлен выговор, его, очевидно, уволят... Не только, конечно, из-за махинаций с вами, но и по другим причинам. Три года вы по сути занимали чужое место в общежитии, в то время как простые честные парни, которые хотят работать на стройке, не имеют такой возможности из-за отсутствия жилья... Фактически, извините меня, вы жили паразитом на чужом месте...

Если в случае удачи, подлинной ли, кажущейся ли, я теряю самоконтроль и веду себя неумно, то в критическом безвыходном положении мысль моя подсознательно ищет малейших нюансов, малейших поворотов, чтоб нащупать лучшее, что можно сделать в мою пользу в данной ситуации. Обвинения Колесника в мой адрес имели оттенок нотации, и я приготовился слушать, опустив глаза, видом своим пытаясь смягчить антагонизм, в котором был и сам виновен. Однако Колесник неожиданно сломал ритм, к которому я было начал приспосабливаться и (очевидно, неслучайно) резко спросил:

— Кто такой Михайлов?

Мысль моя лихорадочно метнулась в разные стороны и не нашла ничего лучшего, чем сказать:

— Знакомый.

— Значит, по знакомству занимаете чужое,— сказал Колесник.— А парни, у которых нет знакомств, что должны делать? Софья Ивановна предоставила мне данные. Мы не сумели принять двести парней и девчат, в которых испытываем острую нужду, только из-за отсутствия мест в общежитии... А вы на записочках себе веселую жизнь строите, чужое присваиваете... Вы работали в Строймеханизации, не предоставившей вам общежитие... Там вас один дядя устроил, здесь другой...

И я увидел в руках Колесника прошлогоднюю записку Михайлова к Маргулису с просьбой оставить койко-место за мной. Зачем Маргулис сохранил ее? Может, для того, чтобы в свою очередь, требуя что-то от Михайлова, иметь возможность предъявить записку, как напоминание о своем одолжении... Ведь как-то жена Михайлова в сердцах сказала мне, что из-за меня Михаил Данилович вынужден общаться с разного рода вымогателями... Да, это ужасно... Но ведь я не виноват, что нуждаюсь в ночлеге и не имею возможности получить его... В этом виноваты мои родители, а расплачиваюсь я... Сказать о том Колеснику? Нет, опасно... В период удачи, может быть, и выпалил бы, а сейчас надо только наверняка...

— Где этот Михайлов работает?—спросил Колесник.

Конечно, думал я, Михайлов унижал меня, а в этом году и вовсе оставил без поддержки, но все же он мне делал добро, было бы подло его подводить.

— Он не местный,—сказал я,—просто давно знаком с Маргулисом. Был проездом, попросил мне помочь.

— Это точно?

Я глянул на Колесника и понял, что он знает, где работает Михайлов.

— Он работает в тресте Жилстрой,—тихо сказал я.

— А почему вы врете?—спросил Колесник.

— Я пошутил...

После этого я уже не мог сосредоточиться, мысль моя потеряла обычную, свойственную ей в критических ситуациях цепкость.

— На какие средства вы живете?—спросил Колесник.

— Я работаю...

— Где?

— В Строймеханизации, ведь вы сами сказали... Но общежития мне там не предоставили, отсюда вся беда...

Колесник зашелестел бумагами в папке. Лишь спустя несколько дней я понял, что он подложил лишние посторонние бумаги, чтоб придать делу бóльшую толщину и солидность.

— Это ваша справка? — невозмутимо спросил Колесник.

Вот почему Колесник вел себя так уверенно. Сейчас, когда уже поздно что-либо предпринять, все становилось ясно. Безусловно, он и дело-то завел не ранее, чем обнаружил эту фальшивую справку, сработанную Витькой Григоренко, которую я опрометчиво передал Софье Ивановне. Это единственное реальное обвинение против меня, но обвинение подлинное и опасное. Интересно, что, поняв опасность подлинного обвинения против меня, я тотчас же понял смехотворность и мелкость всех прежних обвинений, которые навели на меня чрезмерную панику... Михайлов слишком крупная фигура, которая не по зубам Колеснику, и напрасно я вилял и отнекивался от близкого знакомства с ним... Не будь в руках Колесника поддельной фальшивой справки с места работы, личная записка Михайлова обо мне, пожалуй, возымела бы обратное воздействие, именно в мою пользу, ибо Колесник лучше комендантши знал о положении Михайлова, кстати, одного из консультантов плановой комиссии республиканского Верховного Совета. И в то же время он не знал, что Михайлов меня поддерживает постольку-поскольку и последнее время с неохотой. Впрочем, с самого начала он стремился устроить меня не в свой трест, а в посторонний, через третьи руки... Фальшивая же справка позволяла Колеснику взяться за меня, как следует, косвенно показав свою власть не столько мне, сколько самому себе в отношении Михайлова, отвергнув его авторитет, и косвенно же, через меня лягнув и Михайлова.

— Михайлов знает об этой фальшивой справке?—спросил меня Колесник.

— Нет,—едва слышно ответил я.

— Ты же совсем изоврался,— переходя на «ты», повысив на меня голос, застучал кулаком по столу Колесник,—мне тридцать лет, а я ни разу не врал, а ты только на вранье и держишься. Потому что я все делал своими руками, а ты, сукин сын, на дядю рассчитываешь (это был уже перегиб. После того, как я признался в фальшивой справке, Колеснику достаточно было написать заключение, и я, безусловно, лишился бы немедленно койко-места, а также нес ответственность за подделку документов). Испытывая ко мне личную неприязнь, Колесник не пошел на опасную для меня сухую концовку, а начал стучать кулаком по столу, обзывать меня и вообще перегнул, шагнув далее своих обязанностей. Видно, теперь, когда я был полностью в его власти, он захотел вдоволь натешиться надо мной, и, должен сказать, это меня обрадовало, ибо выйдя (или будучи выведен перегибом Колесника) за пределы закона, я начал чувствовать себя свободнее и не так скованным... Никогда моей судьбе не угрожала бóльшая опасность и никогда я не унижался столь вдохновенно, спасаясь. Я пошел на смелый, дерзкий шаг, назвав Колесника по имени, и он молчаливо разрешил это. Очень скоро наши отношения стали не должностными, а уличными, и я понимал, что Колеснику они были более по душе, вот почему он пропустил даже «Сашу» в свой адрес (его звали Алек-

сандр Тарасович). Видно, Колесник так ненавидел нашего брата, отщепенца-интеллигента, что должностные отношения, ограниченные законом, хоть и находящимся на его стороне, мешали ему, и он хотел отношений улицы, отношений сильного и слабого почти в физическом смысле, отношений избивающего и избиваемого, способного лишь просить о снисхождении, но не сопротивляться...

Колесник глянул на часы и сказал небрежно:

— Ладно... Мне сейчас некогда с тобой... Можешь быть свободен до вечера... Вечером встретимся в общежитии...

Я вышел из райкома полный надежд... Да и, как ни странно, в лучшем состоянии, чем вошел туда... Я вошел весь напряженный, чувствуя за собой поддержку секретаря райкома, благодаря чему находился в нервном напряжении, готовясь к борьбе... А вышел морально раздавленный, полностью разоблаченный, освободившись от нервного напряжения. Тем более, что в последнее мгновение в столь безысходной ситуации блеснул луч надежды, выразившийся в том, что Колесник перегнул и вышел за рамки закона, творя надо мной расправу личного порядка. Тут следует заметить, едва ощутив личную злобу и силу Колесника в отношении меня, полностью им разоблаченного и беззащитного, я стал искать в этом Колеснике покровителя, ибо, как я думал, разоблачение с поддельной справкой лишило меня возможности искать поддержки со стороны и Колесник мне теперь был бог и судьба...

Бродя по небольшому садику неподалеку от общежития в одиночестве, я испытывал приподнято-взволнованное состояние, ожидая Колесника. У меня не было сейчас тяжело на душе, наоборот, я испытывал легкость, даже какую-то нервную веселость падшей души. В садике я Колесника не дождался, но часов в девять вечера он сам постучал в дверь нашей комнаты. Он был по-домашнему в майке-футболке, и на кухне у него опять что-то жарилось, поэтому мы ходили с ним по коридору из конца в конец, тихо беседуя, а время от времени он отлучался на кухню. Перво-наперво я пожаловался Колеснику на комендантшу, что звучало нелепо, поскольку именно комендантша привлекла Колесника к борьбе против меня... Вообще, в последней стадии этой борьбы комендантша Софья Ивановна, которая ранее относилась ко мне сравнительно терпимо, перещеголяла Тэтьяну, которая в свою очередь притихла и, может, в противовес комендантше начала относиться ко мне если не терпимо, то нейтрально... Так вот Софья Ивановна в мое отсутствие ворвалась в комнату (это со слов Саламова), перерыла зачем-то мою постель и забрала из тумбочки мой паспорт.

— Ну, на такое она не имеет права, — сказал Колесник, — правда, ты же ее в райкоме опозорил фактически... Я поговорю с ней насчет паспорта. Но ты вот что мне скажи, на что ты живешь, ты ведь с марта не работаешь, шутишь, три месяца, ты мне на эту сумму отчитайся, будь добр... Если денежные переводы получаешь, корешки мне давай... Ты одет, обут, три раза в день ешь по крайней мере... Завтрак, обед, ужин (я уже месяц питался хлебом, карамелью и кипятком). Ты мне по крайней мере на такую-то сумму отчитайся, — и он назвал сумму, на которую я прожил бы не менее года, будь она у меня.

— Саша, — сказал я мягко, просительно, — что мне вообще делать, посоветуй, ты бы помог мне куда-нибудь устроиться... Я маляром немного работал.

Это был необдуманный шаг. Колесник вдруг ожесточился.

— Падло ты, — сказал он, правда, негромко, чтоб не привлекать внимания, — какой из тебя маляр, какой из тебя работяга...

— Это верно, — поспешно согласился я, — у меня ноги отморожены, долго не выстою на холоде зимой.

— Другие пусть, значит, стоят, — сказал Колесник. — Именно на холод и пойдешь, в высылку... Судить тебя будут за подделку документов.

Мимо прошел Митька-слесарь.

— Привет, Гоша, — сказал он, — Привет, Саша.

Со стороны мы напоминали друзей.

— Саша, — сказал я, невольно прижав руки к груди, — но зачем это тебе надо, ломать мне совсем жизнь?

— А так, — сказал он вдруг по-уличному грубо и нехорошо улыбнулся.

— Но у меня была такая трудная жизнь, — заговорил я, утратив даже расчет разжалобить и отдавшись искренней печали. — Я рос один... Я голодал, если что не так, так это от нужды, но это урок, я его надолго запомню — навсегда.

— Так я тебе и поверил, — сказал Колесник. — Я месяц без работы бы не прожил, а ты три месяца и ничего, не помираешь... Знаем мы вашего брата... — он хотел еще что-то добавить, но сдержался.

Подошла его жена, продавщица универмага, которая ранее вежливо здоровалась со мной, ныне же, очевидно, узнав от мужа мою подноготную, лишь бросила на меня мимоходом презрительный взгляд.

— Саша, — сказал она, — ужин стынет.

— Сейчас, Катенька, я освобожусь, — сказал Колесник, — сейчас я приду...

Жена ушла. Мы молча еще раз прошли по коридору из конца в конец.

— Ладно, — сказал Колесник, — черт с тобой... Только чтоб через три дня духу твоего в общежитии не было.

— Спасибо, Саша, — сказал я.

Нелепость сложившихся обстоятельств была очевидна. Ныне удачу и спасение я видел в том, против чего боролся три года с помощью хитросплетений и покровителей и из-за чего попал во власть Колесника.

— Может, ты посоветуешь куда мне деться? — спросил я Колесника.

Он посмотрел на меня внимательно и серьезно, уже без злобы.

— А куда б ты хотел?

— Не знаю, — сказал я, — в университет хотел, на филологический факультет.

— Да какое ты право имеешь к идеологической работе стремиться! — вновь обозлился Колесник.

— Уже не стремлюсь, — поспешно успокоил я его.

— А в Индию ты не согласился б поехать? — спросил вдруг Колесник.

— Куда? — удивленно переспросил я.

— В Индию, — серьезно сказал Колесник, — на строительство... Там, правда, малярия...

— Да это ерунда, — не веря своим ушам, крикнул я.

— Тише, — сказал Колесник, — и вообще не шуми и не болтай... Поработаешь за границей, может, действительно человеком станешь, там тебя марку советского гражданина держать научат... А не научат, так заставят... Завтра с утра прямо езжай по адресу: Тоньяковский тупик, четыре... Это восемнадцатый трамвай... Все...

Он повернулся и пошел в свою комнату... Я остался стоять в коридоре... Индия... Кто мог ожидать такое сказочное разрешение моей судьбы?.. Кто мог ожидать, что все то ужасное, постылое, что произошло со мной за последние два дня, окончится вот так?.. От покорного спокойствия не осталось и следа, я был в самом приподнятом, растрепанном состоянии чувств... Я едва дождался утра, лишь перед рассветом забывшись в легком сне.

Утро было совершенно осенним, шел сильный дождь, небо вплошную обложило. Ветер был так силен, что сбивал с деревьев сочную летнюю листву, точно она была уже пожелтевшей и мертвой. Я не стал завтракать (забыл с вечера купить хлеба), а выпил лишь из чайника холодного кипятку, от которого заныл желудок, и, наскоро одевшись, натянул старый плащ в желтых пятнах. Когда-то рядом с плащом я положил в чемодан мешочек яблок, присланных теткой, дабы растянуть их надолго, завтракая и ужиная, и не делиться с жильцами. Но яблоки сгнили от чемоданова тепла и долгого хранения, оставив на плаще след, несколько напоминающий пятна, которые оставляют на предметах младенцы, не умеющие проситься... Поэтому плащ этот я надевал в крайнем случае, а когда надевал, то шел, заложив руки за спину, чтоб скрыть особенно густое пятно на спине. Однако при встречном дожде и пронизывающем ветре подобная поза была крайне неудобна. Правда, и прохожих на улице было мало, и они бе-

жали, пригнув голову, так что вряд ли могли обратить внимание на мои пятна.

Перед выходом в вестибюле меня окликнула Тэтьяна.

— Цвибышев, возьми, — сказала она и, впервые глядя с некоторым даже сочувствием, протянула мне мой паспорт.

Значит, Колесник сдержал слово и поговорил с комендантшей. Это меня совсем обрадовало и вселило лишнюю уверенность, так что даже дождь и холод не могли мне в первое время испортить настроение. Однако постепенно я начал уставать. Ехал я долго. Тоньяковский тупик находился в противоположном конце города, и до восемнадцатого трамвая надо было добираться сперва троллейбусом номер два, потом седьмым трамваем. Затем долго пришлось ждать восемнадцатого... С полчаса ехал восемнадцатым... Остановки Тоньяковский тупик, как мне объяснили, не было, была остановка «Машинопрокатная база», а тут надо было либо ждать автобуса, который ходил редко, либо две остановки идти пешком... Я пошел пешком в гору по размытой грязной дороге, по обе стороны которой видны были наполненные водой строительные котлованы... Шел я очень долго, так что у меня заныла сильно спина и весь я взмок, несмотря на хлюпающую в туфлях воду. Местность была совершенно безлюдная и спросить не у кого было. Я шел и злился на себя, тем более, что меня вскоре обогнал автобус, которого я не захотел ждать. Наконец, навстречу мне попался усатый мужчина в прочном брезентовом плаще с капюшоном и крепких яловых сапогах, я невольно в душе позавидовал его одежде и обуви, хорошо защищающих от дождя. Усатый объяснил мне, что выходить надо было не на «Машинопрокатной базе», а на остановку раньше, на Кожемяцкой и там проехать на трамвае до Ярной... Тоньяковский тупик как раз от Ярной начинается... Либо сойти за две остановки на Первом Тоньяковском переулке. Правда, там надо идти пешком минут пятнадцать.

Я плохо понял его объяснение, но повернулся и пошел назад к восемнадцатому трамваю. Идти было несколько легче, поскольку ветер и дождь хлестали теперь в спину. Дождавшись восемнадцатого, я поехал назад, но не до Кожемяцкой, а уж до Первого Тоньяковского переулка, более надеясь на свои ноги, да и желая, откровенно говоря, сэкономить на транспорте, так как от Кожемяцкой надо было делать пересадку и ехать до Ярной...

Тоньяковский тупик, четыре, который наконец увидя я обрадовался, словно здесь меня ждал родной теплый угол, отдых и уют, был двухэтажным деревянным домом, покосившимся, но действительно крайне уютным, с резными наличниками, резным крыльцом и занавесками на окнах, где стояли совершенно одинаково всюду бутылки с наливкой, и, что самое странное, во всех окнах сидели кошки разной масти, которых непогода загнала в дом... Я вошел в коридор, полутемный, уютный и теплый, с опьяняющим запахом жареного мяса... Я был в некоторой растерянности, не зная, как спросить о нужном мне учреждении, которое, как я понял со слов Колесника, не рекламировалось, а может, даже не имело вывески.

— Кого вам надо? — окликнула меня одна из жилиц, приоткрыв дверь.

— Понимаете, — замялся я, — мне, в общем, где на работу...

— Это выйдете во двор и в подвал... Под арку выйдете...

Я вышел и действительно под аркой обнаружил табличку о наборе рабочей силы. Я спустился на три ступеньки вниз. В полуподвале, довольно сыром, увешанном плакатами с улыбающимися лесорубами и шахтерами, сидел уполномоченный по оргнабору, мужчина с красным лицом в кителе, который носит военизированная железнодорожная охрана, с желтыми кантами, но знаков отличия и погон на кителе не было.

— Вам чего? — спросил он меня, глянув с безразличием и углубившись вновь в какой-то отчет, который писал.

— Я к вам, — дипломатично сказал я и уселся на стул, — здесь вербуют?

— Да, — кивнул уполномоченный.

— Куда?

— Дальстрой, Магадан, Казахстан...

— А мне порекомендовали, — понизив голос, сказал я, — узнать насчет Индии.

Уполномоченный поднял на меня глаза. Я был крайне уставшим, измотанным, промок насквозь и, кажется, простудился. Наверное, это было заметно.

— В Индию мы не вербуем, — сухо сказал мне уполномоченный.

— А кто вербует?

— Не знаю.

— А здесь поблизости нет другой организации? — спросил я, — которая вербует...

— Не знаю, — сказал уполномоченный, — не слышал.

Я извинился и пошел к выходу.

Конечно, Колеснику удалось так просто и легко обмануть меня и посмеяться надо мной, человеком весьма критического ума, только ввиду моего крайнего положения. Это опять, в который раз, пресловутая соломинка. Тот, кто жаждет спасения, хватается за нее с такой же и ни в коем случае с не меньшей искренностью и верой, с какой он ухватился бы и за прочное бревно...

* * *

Плохо помню, как я добрался назад, но помню, что сразу же разделся и лег. Мне было настолько нехорошо и я был так слаб, что чувствовал свою зависимость от всех и нужду абсолютно во всех, кто был здоров, ходил и мог мне помочь. И я стал в тот вечер, когда мне было особенно нехорошо, ко всем моим сожителям добр и забыл злобу на них.

— Паша, — сказал я Береговому, с которым давно не разговаривал и был в контрах, — подай мне, пожалуйста, кипятку, пить хочу.

Береговой глянул молча, налил в кружку кипятку и подал мне. Я выпил с наслаждением мелкими глотками, и трясти стало меньше. Затем Береговой с Петровым уселись играть в шахматы, дымя папиросами.

— Вы б, друзья, не курили, — сказал Жуков и кивнул на меня, которого от простуды душил кашель.

— А чего, — сказал Береговой и небрежно махнул рукой, — вон форточка открыта.

— Витя, — сказал я Жукову, будучи крайне благодарен ему за заботу обо мне, когда он сказал о том, чтоб не курили, — ты бы сходил к Григоренко, скажи ему, что я приболел, пусть мне поесть что-нибудь купит.

Жуков вышел и вернулся минут через двадцать мокрый, ибо попрежнему вторые сутки подряд лил дождь... Он начал выкладывать вареную колбасу двух сортов, ливерную колбасу, хлеб, сливочное масло, банку резаных кабачков в томате, банку баклажанной икры, банку мясных консервов и банку «щука в масле»... А вот карамели не купил. Да и вообще своей непродуманной покупкой нанес серьезный удар моему бюджету, истратив сумму, на которую я планировал держаться по крайней мере полмесяца... Если я отдам ему, то останусь вовсе без копейки, а через два дня, ну, через три дня мне надо куда-то деваться из общежития...

С трудом повернув голову, ибо у меня сильно болел затылок, я смотрел на все эти соблазнительные богатства, стоящие передо мной на стуле, глотал голодную слюну, морщась, поскольку болело горло, и мучился, что делать... Я так давно питался одним хлебом и кипятком, что у меня не хватило сил честно сказать Жукову о том, что нет денег оплатить все это, и я решил воспользоваться своим правом больного и пока забыть о долге... Хоть и мучила меня совесть, поскольку я знал, что Жуков получил получку и должен выслать деньги матери, однако я не мог преодолеть соблазна.

— А где Григоренко? — единственно, что спросил я Жукова.

— Его дома не было, — ответил Жуков, поднимая голову от учебника физики за седьмой класс, который он учил почти что наизусть, как стихи.

Вот о том, что не было Григоренко, я искренне пожалел. Тот купил бы более сообразно моему бюджету: хлеб, карамель, может быть, масло, ибо был мне друг и точнее разбирался в моих финансовых возможностях. Но такие уж мы друзья: и я и он подчас неделями не заглядываем друг к другу. И вот из-за того я вынужден был воспользоваться услугами Жукова, который ввел меня в соблазн своими непродуманными покупками.

Организм мой был крайне истощен, и я не в силах был сейчас, во время болезни, отказать ему в питании. Решив не думать ни о чем, я набросился жадно на еду. Я полноценно и много поел с вечера, запив кипятком, который подал мне самый тихий, пожилой и незаметный наш жилец Кулинич... Ночью я метался, мне было жарко и тяжело, пытался сам себя укачивать, но это не помогало и усиливало даже головную боль, однако к утру я почувствовал себя лучше, а полноценно позавтракав (кипяток подал мне Саламов), вовсе как будто пришел в себя, хоть горло по-прежнему болело...

Меж тем Жуков ждал, что я верну ему долг, поскольку всегда после получки высылал деньги матери... Я ощущал это по взглядам, которые он на меня бросал, однако некая совестливая стыдливость (уверен, ему было стыдно за меня, и потому он сам стыдился начать прямо неприятный разговор), совестливая стыдливость мешала ему открыто требовать долг. Мы оба мучались, и отношения между нами вновь стали самые напряженные, я это ощутил, когда вскоре произошло мое столкновение с Береговым из-за форточки.

На второй день болезни мне стало лучше, но душил кашель, ночью вовсе мешая мне спать, а днем не давая вздремнуть после ночной бессонницы. Поэтому, воспользовавшись отсутствием жильцов, я встал и захлопнул форточку, откуда прямо на меня дуло сырым ветром, захлопнул форточку, после чего кашлять стал меньше и вздремнул. Проснулся я от крика.

— Едри его мать, — кричал Береговой, распахивая форточку настежь, так что даже брызги дождя, казалось, касаются моего воспаленного лба, — ты что... Чтоб мы из-за тебя одного все задыхались...

— Я болен, — сказал я, — кашляю... А на меня дует... И вообще, — не выдержав, добавил я, — пошел вон, дерьмо...

— Сам дерьмо, сука, — крикнул Береговой, — болен, иди в больницу... на хрен ты тут нужен со своим смердежом...

Я уже пожалел, что зацепился с ним, поскольку от крика его у меня болела голова.

— Не надо, ребята, ругаться, — сказал Кулинич.

— Ладно, Паша, брось, — добавил даже друг Берегового Петров, — прикрой форточку, но не плотно, чтоб и вашим и нашим, — он улыбнулся мне.

И вдруг Жуков, обычно совестливый парень, поддержал Берегового. Безусловно, это произошло из-за денежного долга, который я не отдавал, так что Жуков лишен был возможности выслать матери полноценную сумму.

— А действительно, — сказал он, — Пашка прав. Мы пятеро должны страдать из-за его болезни. Пусть в изолятор убирается... Никто никому не обязан... За спасибо каждый умеет на чужом горбу выезжать...

Это уже был прямой намек, и я едва сдержал себя, чтоб не швырнуть ему деньги, оставшись без единой копейки в момент, когда мне грозила перспектива оказаться на улице...

Не знаю, спал ли я или просто лежал, забывшись, но очнулся оттого, что кто-то теребил меня за плечо. Саламов, только вошедший с улицы, это чувствовалось по его холодным рукам, протягивал мне бумажку.

— Уже третий день на тумбочке внизу лежит, — сказал он, — где почту оставляют.

Это вновь была повестка из военной прокуратуры, и в уголке стояла надпись «вторично». Судьба била меня со всех сторон, однако каждое новое волнение и опасность отвлекали меня от предыдущего и показывали его ничтожность. Теперь в свете повестки из военной прокуратуры вся история с Колесником, с фальшивой справкой и койко-местом казалась мне смешной и ничтожной... Едва справившись с первым приступом тревоги, я приступил к анализу повестки. В ней значилось: «Гр. Цвибышев Г. М. предлагаем вам явиться в военную прокуратуру... ского военного округа по адресу ул. Чкалова дом №... ком. 49 4 июня 195... года к 12 часам дня. Старший следователь военной прокуратуры подполковник Бодунов».

В дверь постучали. Вошел Колесник в прозрачном хлорвиниловом плаще поверх голубого костюма со значком голубя мира в лацкане пиджака.

— Привет, ребята, — сказал он жильцам.

— Здоров, Саша, — улыбнулся в ответ Береговой, и они, инструктор райкома и слесарь, крепко по-братски, по-трудовому хлопнули ладонь об ладонь.

— Ну ты чего, — спросил меня Колесник, — когда ехать собираешься?

— Приболел немного, — тихо сказал я.

— Ты смотри, — сказал Колесник, — на твое место уже парень назначен... Ты ж обещал, через три дня уезжаешь... Обманешь, опять тебе же хуже будет. Я тебе и паспорт у комендантши добыл, все для тебя делаю...

— А чего, — заинтересовался Береговой.

— Да вот, — улыбнулся Колесник, — Цвибышев от вас уезжает, надоели вы ему... Рыкун теперь тут жить будет.

— Да я его знаю, — обрадовался Береговой, — Володька Рыкун, сантехник, — обратился он к Петрову, — толковый парень... Если Володька сюда переедет, мы сразу тумбочки вместе соединим, койки поближе подвинем и пространство оставим, чтоб зарядочкой можно было заниматься...

И они начали оживленно обсуждать с Петровым, как, избавившись от меня, начнут здесь все перестраивать, словно при живом человеке говорили, что будет после его смерти... Но я менее всего думал сейчас о них, я лежал и анализировал повестку... Возможно, это связано с злоупотреблениями при строительстве учебного аэродрома... Впрочем, если это со старой работой связано, то они б знали точно мой адрес... А в повестке имеется деталь, которая свидетельствует, что разыскивали меня вслепую через адресный стол и допустили неточность. Помимо адреса, указывалось общежитие железнодорожников. Меж тем это было общежитие строителей. Очевидно, просто спутали с районом. Район города называется «Железнодорожный». А может быть... Словно сверкнуло в мозгу моем, так что заныл затылок, отец... Но почему военная прокуратура?

— Ну, в Индию ты поедешь? — спросил меня Колесник, подмигнув Береговому. — Я его в Индию порекомендовал, так он отказывается... Ну ты смотри, Цвибышев, послезавтра сюда новый жилец перебирается, вещи перенесет. Так что койку, будь добр, освобождай. Смотри у меня, индус, — он засмеялся, — всего, ребята, — и вышел.

Я менее всего сейчас думал о Колеснике и о предстоящей потере ночлега... Почему меня к себе вызывает следователь Бодунов... Новые мысли, впечатления и болезнь так измучили меня, что сам того не замечая, я внезапно и крепко заснул, невзирая на громкие разговоры жильцов и крик радио.

Следующий день не принес ничего нового, разве что начала улучшаться погода. Я лежал или сидел на постели, и никто из жильцов, даже нейтральные Саламов и Кулинич, меня не замечали. Может, Жуков сообщил им о долге, который я до сих пор не отдал. А погода за окном становилась все более июньской, несколько раз заглядывало солнце, ветер утих. И к вечеру на пятачке перед нашим корпусом состоялись танцы под аккордеон, которые шумели до глубокой ночи, пока их не разогнал участковый.

Утром четвертого июня я встал рано, чувствуя себя совершенно здоровым, лишь слегка кружилась голова, чуть-чуть пошатывало и царапало горло. Позавтракав остатками продуктов, купленных Жуковым, я надел новую рубашку, вельветовый пиджак, парусиновые летние брюки, сандалии и вышел. Начинали зацветать липы, и их сладковатый медовый запах был так силен, что я даже сглотнул слюну, хоть и не был голоден. Свободные от работы жильцы разных корпусов шли в сторону Рыбного озера, соскучившись за дни ненастья по солнцу и воде. Я поехал в центр...

Улица Чкалова находилась в центре, но в стороне от шумных магистралей, зеленая и тихая. В принципе такие улочки облюбовывают пенсионеры и особенно пенсионерки, заполняя все скамейки. Однако улица Чкалова и в этом смысле составляла исключение, поскольку была крута и людям преклонного возраста трудно было подниматься по ней вверх. Так что даже в разгар дня улица эта выглядела малолюдной. Здание, куда меня вызывали, занимало почти целый квартал, вместе с улицей сбегая под гору и все более и более увеличиваясь в высоту. Так в начале крутизны оно было, кажется, в три этажа, а под горой чуть ли не в семь, или даже в восемь... Я спустился в самый низ, где находился центральный

вход и стоял солдат. У входа с левой стороны было написано. «Военный трибунал ...ского военного округа», а с правой: «Военная прокуратура ...ского военного округа». Было еще рано. Я некоторое время погулял и точно в двенадцать подошел к солдату, протянул ему повестку.

— В бюро пропусков, — не глядя, сказал мне солдат.

— Это где? — спросил я.

— Выше поднимитесь и налево.

Я вновь пошел в гору и вскоре увидел небольшую площадку, на которой стояли автомашины. Подъехала какая-то «Победа» кремового цвета. Из нее вышел мужчина роскошного заграничного вида в мягкой шапочке с противосолнечным козырьком из голубого прозрачного материала. Вместе с ним вышел мальчик лет восьми, тоже по-заграничному одетый и сытенький. Они пошли к массивным дверям, и я поспешил за ними. В приемной на стульях сидели человек десять, но роскошный мужчина, тихо сказав мальчику «садись», подошел прямо к окошку, вынул красную книжечку и сказал дежурному офицеру:

— Здравствуйте... Я корреспондент журнала «Советский Союз»... У меня был предварительный телефонный разговор с товарищем, — он назвал фамилию, которую я не расслышал.

Я набрался смелости, тоже подошел и протянул офицеру повестку. Он прочел.

— Дайте ваш паспорт, — сказал он.

Роскошный мужчина полез было за паспортом, но офицер сказал:

— Нет, я не вам, подождите... Вот товарища оформить надо...

Это было что-то новое, чего я еще никогда в жизни не испытывал, но с чем как-то сразу освоился, протиснувшись вперед и даже более, чем это было необходимо, потеснив мужчину.

— Через центральный вход, — протягивая паспорт, повестку и пропуск, сказал вежливо офицер, кажется, чуть улыбнувшись мне.

Я взял и небрежно глянул на мужчину, который смотрел в сторону со скучающим видом, явно скрывая обиду от того, что им пренебрегли, отдав предпочтение мне, столь внешне неказистому. Я пошел к центральному входу и показал пропуск часовому. Он пропустил меня в вестибюль... В вестибюле прогуливался дежурный с красной нарукавной повязкой, и в ожидании лифта стояли два полковника и очень толстый майор.

— Мне товарища Бодунова, — сказал я дежурному.

— Вашу повестку, — коротко сказал дежурный. Он взял, прочел и сухо сказал. — Сорок девятая комната, четвертый этаж, левый блок.

После того, как офицер бюро пропусков отнесся ко мне с уважением и даже мне улыбнулся, сухие, четкие, как команда, слова дежурного в вестибюле несколько меня напугали и привели в растерянность.

Поднявшись на четвертый этаж, я пошел коридором мимо множества дверей. Коридорные окна здесь были зарешечены, а на лестничных площадках прогуливались патрульные солдаты. Подойдя к сорок девятой двери, я постучал.

— Войдите, — откликнулись изнутри.

Я несмело нажал дверную ручку и едва не упал, поскольку порог был чрезмерно высок.

— Двери за собой закрывайте, — резко сказали мне.

Я вздрогнул и закрыл. В комнате также были зарешечены окна, стояли три стола, за которыми сидели три подполковника. Не зная, который из них Бодунов, я подошел к самому молодому черноволосому и протянул повестку.

— Мне товарища Бодунова, — тихо сказал я.

— Давайте сюда, — крикнули у меня за спиной.

Бодунов был блондин, слегка лысеющий с глубокой ложбинкой на подбородке.

— Повестка вам послана вторично, — разглядывая мой паспорт, сказал Бодунов. — Почему вы не явились своевременно?

— Я был в отъезде, — дал я первые в своей жизни ложные показания следователю.

— Ждите...

Я уселся на стул.

— Нет, вы в коридоре ждите, — добавил Бодунов.

Я вышел и сел на деревянную скамью. Невдалеке от меня на лестничной площадке видна была фигура часового, а прямо передо мной зарешеченное окно, сквозь которое било солнце. Здесь в эти минуты ожидания, причем не чувствуя за собой никакой вины, даже наоборот, имея в активе улыбку офицера отдела пропусков и находясь лишь под впечатлением обстановки и отдельных, ничего не выражающих реплик следователя, я, натерпевшийся страха в своей жизни, понял, что такое настоящий страх. На беду, мимо меня провели арестанта с заложенными за спину руками, с бледным лицом и в давно не стиранной рубашке... Впоследствии я часто бывал в этом доме и узнал от Веры Петровны (будущей моей знакомой), что левый блок целиком отведен под реабилитацию... Так что арестанта провели здесь случайно, очевидно, конвоиры были молодые и подобно мне заплутали в коридорах, разыскивая нужную комнату... И этот арестант еще более усилил страх (напоминаю, я человек впечатлительный). Я устал сидеть на скамейке (хоть, как впоследствии выяснилось, сидел не более двадцати минут) и хотел подойти к зарешеченному окну, глянуть на улицу, но не зная, можно ли это, поскольку часовой на лестничной площадке видел меня. Наконец, дверь комнаты сорок девять приоткрылась.

— Цвибышев, заходите, — сказал Бодунов, и фамилия моя ударила меня изнутри черепа, так что вновь заболели затылок и глаза (такое со мной случалось при серьезном волнении, но столь сильно никогда).

Я вошел и сел. На краю стола следователя лежали горкой несколько старых папок из желтого картона, удивительно похожих друг на друга. А одна точно такая папка лежала отдельно в центре стола между следователем и мной.

— Цвибышев Григорий Михайлович, — сказал следователь. — Так?

— Так, — едва слышно подтвердил я.

— Расскажите о себе, — сказал следователь, — где ваши родители?

Что-то толкнуло меня в сердце, и я разом понял, что, наконец, сбылись лучшие мои надежды, а не худшие сомнения. И, наконец, можно открыто, свободно говорить правду... И я начал говорить. По мере слов моих уши мои наполнил звон, так что я ничего не слышал и лишь по лицу следователя, потеплевшему и смотревшему на меня с пониманием, понял, что говорю необходимое следователю и говорю хорошо... Следует заметить, что когда года три назад пошли первые слухи о несправедливых осуждениях, о пересмотре дел, о благах и льготах, которые получают признанные невиновными либо их семьи, я начал и сам подумывать подать заявление. Но, во-первых, я был не уверен, признают ли отца невиновным, а во-вторых, втайне меня трогали и страхи тетки, над которыми в то же время я публично смеялся. Тетка считала, что лучше молчать, потому что «не перевернется ли снова все наоборот». Я смеялся над этим нелепым выражением и над этими страхами, но втайне подумывал: а что, если действительно опять все «наоборот»? Не нагорит ли мне за обман, за придуманные в течение многих лет биографии, за то, что выдал отца своего, врага народа, за погибшего на войне героя... Однако сейчас, когда военная прокуратура разыскала меня по собственной инициативе, я был рад, что мне помогли покончить со всеми сомнениями и опасениями. И я с наслаждением, с радостным восторгом отбросил напрочь все, что меня смущало и тянуло к лживому и ничтожному, с вдохновением бросился к святой правде, которой, наконец, одарила меня жизнь... А правда эта была сказочно хороша... Тетка моя, возле которой я воспитывался в детстве, будучи напуганной, не очень-то посвящала меня в подробности прошлого, а может, и не очень в тех подробностях разбиралась... Лишь случайно и обрывками она говорила, вернее, оговаривалась, тут же замолкая, что отец мой был «большой человек». Однако я это воспринимал не всерьез, поскольку для тетки и управдом был крупной фигурой... Поэтому-то я подлинного отца своего, ничего не давшего мне, кроме необходимости скрывать свой позор, поэтому я отца своего невзлюбил еще с детства и выдумал себе другого отца, версия о котором настолько укрепилась во мне и с которой я настолько сжился, что даже сам с собой в мечтах искреине думал о своей версии, как о подлинной, например, мечтая, что отец мой не погиб на фронте (с годами версия эта претерпела лишь то изменение, что я выдумал конкретный участок фронта, причем не именитый и распространенный: Сталинград, Курская дуга, а скромный Волховский, для при-

дания версии, как я думал, большей правдивости и конкретности), а жив, но обстоятельства не давали ему возможности отыскать меня. Ныне же оказалось, что действительность превзошла все мои мечты и построения... Я был сын комкора Цвибышева, то есть в переводе на современные чины сын генерал-лейтенанта... Но если во сне любую, самую фантастическую перемену воспринимаешь естественно, то наяву к ней все ж надо привыкнуть, и поэтому первые минуты после того, как я узнал о столь разительных видоизменениях в своем общественном положении, ничего нового, ни внутри себя, ни в восприятии окружающей жизни я не испытал. Я так же сидел на стуле и отвечал на вопросы следователя, который задавал их мягко, вежливо и с явным расположением ко мне. Он спросил об имени-отчестве и годе рождения моей матери и где она, поскольку и ее пытались разыскать через адресный стол, но безуспешно. Узнав, что она умерла, он спросил когда, от чего и в какой местности, и все это тщательно записал.

— Вы не могли бы,— все так же мягко глядя на меня, спросил следователь,— назвать трех человек, которые знали отца... Конечно, это формальность, но желательно ее соблюсти. Трибунал по этим делам заседает у нас раз в неделю и хотелось бы в ваших интересах подготовить все и быстрее оформить, чтоб вы смогли заняться организационными вопросами.

Я назвал фамилию Михайлова и пообещал узнать остальных двух, рассчитывая в этом опять же на Михайлова.

— Вот и прекрасно,— сказал следователь.— Возьмите мой телефон,— он надписал и подал мне бумажку,— сообщите фамилии свидетелей... Впрочем, поскольку речь идет о комкоре Цвибышеве, займитесь оргвопросами уже сейчас, до формального решения о реабилитации... Пройдете по коридору налево в пятьдесят восьмую комнату, там сидит такая милая женщина Вера Петровна, я ей позвоню, она вам все объяснит... Ну, всего вам.

Он подписал пропуск, встал, улыбнулся и пожал мне руку. Это рукопожатие и вежливая улыбка чуть ли не на грани почтения, причем крупного должностного лица, подполковника, окончательно помогла мне понять мое новое положение, и вышел я в коридор другим человеком, сыном генерала (комкор не звучало и потому я себя мысленно назвал и всюду впоследствии представлялся, как сын генерала Цвибышева, что действительно соответствовало при переводе армейских чинов тридцатых годов на современное звучание). В пятьдесят восьмой комнате сидела молоденькая девушка-машинистка, довольно миловидная, на которую я впервые посмотрел без заискивания (здесь в том смысле, что на красивых женщин и девушек ранее я смотрел с некоторым почтением и заискиванием, как на высокое начальство, ввиду их недоступности для меня).

— Мне Веру Петровну,— сказал я просто и с достоинством.

— По какому поводу? — спросила девушка.

— Я сын генерала Цвибышева (признаюсь, это словосочетание было настолько мне сладко, что я сам вслушивался в него, как в некую музыку, и при этом едва сдерживался, чтоб не засмеяться от радости или не подпрыгнуть).

— Ах, сейчас,— сказала девушка и ушла в открытую дверь.

Вскоре оттуда появилась женщина лет сорока пяти с не очень красивым, но действительно приятным и добрым лицом.

— Вера Петровна,— сказала она мне, протягивая руку и улыбаясь (для меня наступил период большого числа улыбок, я это понял несколько позднее).

— Сергей Сергеевич (это, вероятно, Бодунов) звонил мне... Простите, как ваше имя-отчество?

— Григорий Матвеевич,— сказал я.

— Садитесь, пожалуйста, Григорий Матвеевич. Я вам дам следующие адреса, запишите, пожалуйста,— она дала мне бумагу и самопишущую ручку.— улица... Это Комитет государственной безопасности... Туда вы должны написать заявление о поисках вашего имущества, либо о компенсации его в деньгах... Они этим занимаются... Затем, улица... Управление внутренних дел... Там вам смогут сообщить,— Вера Петровна на мгновение замолкла и опустила глаза,— сообщить о судьбе вашего отца.

Интересно, что ее скорбные ноты совершенно не тронули меня в том смысле, что не смогли поколебать моего праздничного настроения, ибо, наслаждаясь первыми минутами новой жизни, полной официальной силы и официального права, я целиком был погружен в себя настолько, что сам генерал Цвибышев стал лишь приложением ко мне — его сыну, с которым жизнь начинала, как я тогда понимал, расплачиваться.

— К сожалению,— сказала Вера Петровна,— до официального решения трибунала мы не можем заняться полагающейся вам денежной компенсацией в размере двухмесячного заработка отца... А также жильем, если вы в нем нуждаетесь... У вас было сколько комнат?

— Три,— сказал я,— это я помню. Но дело вот в чем... Сейчас я временно, разумеется, проживаю (я не то что не хотел, я не мог допустить, чтоб в новом моем положении тяжба за почлег даже сформулирована была по-прежнему). Я занимаю площадь ведомства, где не работаю, ибо готовлюсь в университет... Вопрос стоит так, чтобы до получения причитающегося мне жилья, я мог бы спокойно жить там.

— Мы всем возможным будем вам помогать,— сказала Вера Петровна.— Что надо сделать?

— Вот,— сказал я, написав ей номер телефона,— некий Маргулис там руководит.

— Сейчас,— сказала Вера Петровна и вышла.

Как просто все разрешилось, подумал я. Три года борьбы, ухищрений, унижений. И когда я попал в ловушку, когда все покровители отвернулись от меня и враги мои совершенно взяли надо мной верх, появился мертвый отец и спас меня. Тот, которого я стыдился и не любил.

Вернулась Вера Петровна.

— С ними поговорили,— сказала она,— там, правда, не Маргулис, а какой-то другой товарищ вместо него, мы ему все сказали, он просил, чтобы вы тоже зашли в жилконтору.

— Очень хорошо,— сказал я,— зайду, когда будет время...

— Всего вам доброго,— сказала Вера Петровна.

Миловидная машинистка тоже улыбнулась мне...

Покинув военную прокуратуру, я несколько часов ходил по городу, привыкая к своему нынешнему положению сына генерала Цвибышева. Я шел, не испытывая усталости, большими шагами, сильно выпрямившись и совершенно по-новому дыша, глубоко и шумно. На прохожих, а также на происходящие бытовые события: движение транспорта, очереди к киоскам газводы и т. д. я смотрел с радостной добротой и мягкосердечием, но мягкосердечием сильного, прощающего и любящего из великодушия, в котором невольно, однако, сквозила и снисходительность, и во всем, что происходило вокруг: в прохожих, в городском транспорте, в деревьях — было чувство вины передо мной и глубокое раскаяние, которое я великодушно принимал. Именно в этот восторженный период мной был совершен поступок, как бы положивший начало дальнейшим событиям. Ожесточение в этом поступке отсутствовало, а лишь заинтересованность хозяина, каковым я себя ощутил, заинтересованность нынешними делами страны. Так, проходя по одной из улиц, я заметил вывеску районной прокуратуры и вошел туда. То ли был уже конец работы, то ли обеденный перерыв (я не ориентировался тогда во времени), но в комнатах прокуратуры никого не было и в кабинетах орудовали уборщицы. Лишь в одном кабинете стояла какая-то женщина, перебирая папки бумаг, скрепленных скоросшивателем, и какой-то мужчина что-то измерял в углу столярным метром. Я вошел никем не остановленный и, глянув на присутствующих мельком, начал осматривать помещение... На видном месте висел портрет Сталина в фуражке генералиссимуса.

— А почему,— сказал я не зло, а скорей снисходительно, словно журя, а не ругая,— почему Сталин еще висит у вас?.. Вы ведь газеты читаете... Это устарело,— пошутил я, чтоб не рассердиться, что сделало бы меня мельче в собственных глазах.

— А мы вообще старые люди,— сказала женщина (ей было не больше сорока), и я вдруг встретил ее явно враждебный, железный, оппозиционный официальной политике взгляд.

Поспешно подошел мужчина со столярным метром и взял меня об руку.

— Понимаете, — мягко, но твердо ведя меня к выходу говорил мужчина, — портрет ведь числится в качестве инвентаря, пока не спишут официально, я не могу себе позволить снять, хотя, конечно, вам сочувствую...

Впоследствии, анализируя (не сейчас, а недели через две), я понял, что эти люди не удивились моему приходу и приняли меня именно за того, кем я был, то есть за реабилитированного... То, что я считал лишь собственным чувством, тогда было распространено, и ряд реабилитированных в разных состояниях и с разными целями частенько входили или врывались в государственные учреждения карательного порядка, откуда их вежливо, мягко, но твердо выводили.

* * *

Далее помню день четвертого июня обрывками. Я по-прежнему бессистемно шел по улице большими шагами, не уставая, но зато постепенно во мне начали проявляться признаки самого настоящего опьянения. Сродни алкогольному опьянению. Я пел, смеялся по ничтожному поводу или вовсе без повода, размахивал руками и, главное, осознавал, что делаю не то, однако мне было приятно отдаться на волю радостных разнузданных чувств. К вечеру пошел сильный дождь, но это не был тот холодный злой дождь, когда я «ехал в Индию». Это был теплый южный дождь, в который, как в южные волны, приятно окунулось тело. Я снял тяжелый намокший пиджак и, шагая под дождем, изо всех сил ударял этим пиджаком о заборы, стены домов и деревья... Добравшись до общежития (не помню, как), я вошел в комнату, широко рывком распахнув дверь и глянув на жильцов, рассмеялся. Я сказал Береговому:

— Передай своему другу Колеснику, что он будет стонать и плакать хуже, чем Ярославна в Путивле...

После чего я ушел в туалет, и меня стошнило. Умывшись, я лег на койку прямо с мокрым лицом, не утираясь, и крепко заснул. Проснулся я утром с ясной легкой головой и хорошим самочувствием. Прежде всего я отдал Жукову долг. В кармане у меня остались после этого считанные рубли, однако в ближайшее время я должен был получить за отца его двухмесячное жалованье (а у генерал-лейтенанта хорошее жалованье). В дальнейшем же я должен был получить компенсацию за конфискованное имущество. Зайдя в двадцать шестую к Григоренко, я застал его завтракающим с Рахутиным и сел с ними завтракать со спокойной совестью, поскольку теперь жизненной нужды в этих чужих завтраках не испытывал, а значит, воспринимал их проще и спокойнее, без заприходования их и занесения в свой бюджет в качестве дохода.

— Что случилось, — спросил Рахутин, — Колесник вроде справку раскопал, которую вы с Витькой соорудили... Тэтьяна говорит, выселяют тебя.

— Это еще посмотрим, — сказал Григоренко. — Сволочь Колесник, в райком залез. Забыл, как ободранный по объектам бегал... Ничего, я с ним поговорю. Я думал, хороший парень, он со мной всегда на васьвась... Скотина... Комендантше угодить старается... Она же ему отдельную комнату организовала... У кого из семейных отдельная комната?.. А вообще черта бы и Колесник обнаружил... Яйца я не доварил, вот и смазала пленочка печать...

Я сидел, с радостной какой-то снисходительностью слушая Витькину болтовню. Они и не подозревают, что все изменилось. Передо мной совсем другие проблемы, другие перспективы, другая жизнь. Я рассмеялся.

— Ты чего? — удивился Рахутин.

— Вот им всем! — сказал я и, крепко сложив кукиш, ткнул в сторону распахнутого окна, — я сын генерал-лейтенанта...

— Да врешь! — с искренней радостью воскликнул Григоренко.

— Точно, — сказал я, — реабилитированного генерал-лейтенанта.

— Тогда вообще все нормально, — сказал Рахутин. — Я вчера Хрущева слушал... Реабилитированным теперь особое внимание... Я даже слыхал кое от кого, что реабилитированные теперь будут в отдельной кассе билеты получать наряду с Героями Советского Союза, лауреатами и депутатами.

Рахутин странный парень. Он читает газеты, ходит в библиотеку, знает стихи и в то же время часто бывает удивительно глуп в суждениях. Но одновременно в нем иногда проскальзывают и нотки юмора. Так что непонятно, сказал ли он свою последнюю фразу по глупости или из чувства юмора. Я вспомнил об этой фразе позднее, анализируя, сейчас же, пребывая в некоем нелепом состоянии счастливчика и именинника, принимающего поздравления, отнесся к этой фразе естественно и не задумываясь...

На улице, неподалеку от троллейбусной остановки встретился мне воспитатель общежития Юрий Корш с красивой молоденькой девушкой. Корш обращался с ней достаточно вольно, хватал, выкручивал руки, и оба они смеялись. Я не знал, подойти ли мне к ним. С одной стороны, поскольку передо мной открывались перспективы, я должен привыкать к обществу подобных девушек, но, с другой стороны, я опасался, что Корш при этой девушке затеет со мной мелкий бытовой разговор о моем койко-месте, а перед такими девушками я вовсе не хотел предстать в качестве жильца общежития. Пока я раздумывал, мои опасения подтвердились. Заметив меня, Корш подошел и сказал:

— Я хочу помочь тебе, но не могу. Теперь уже не Тэтьяна, а комендантша на тебя главный зуб имеет... Софья Ивановна... Ты что-то в райком на них нажаловался. Надо было хоть со мной посоветоваться. Тебя ж сегодня из общежития выбросят...

Девушка посмотрела на меня презрительно (красивые не любят несчастненьких), посмотрела и отвернулась. Мне стало неловко и досадно, ибо перед этой девушкой я предстал в самом невыгодном и нищем виде.

— Я сын генерал-лейтенанта, — сказал я Коршу, — у меня скоро три комнаты будут.

— В каком смысле? — удивился Корш.

— А вот так, — обращаясь не столько к нему, сколько к этой девушке, сказал я, — по реабилитации...

— Значит, порядок, — сказал Корш, — а я за тебя попросту волновался.

— У меня двоюродная сестра тоже пострадала в период культа, — неожиданно низким, несмотря на хрупкость, но приятно волнующим голосом сказала девушка, — полгода назад они с матерью квартиру получили... Правда, одну комнату...

— А Гоше больше и не надо, — сказал Корш, — слышал анекдот о молодоженах, у которых было пять комнат? — и, отведя меня в сторону, рассказал мне анекдот, рассказал с аппетитом, как опытный кулинар, знающий, что его кушанья придутся по вкусу.

Анекдот рассеял досаду и приправил мое состояние остреньким душком чувственного волнения. Даже приехав к обнесенному забором зданию управления внутренних дел, я все еще испытывал это чувственное волнение, весьма приятное, когда все идет удачно, но которое в то же время при неблагоприятных обстоятельствах, даже незначительных, может перейти в резкое раздражение.

В проходной стоял высокий старшина внутренней службы, который беседовал с сидящей в окошке бюро пропусков женщиной с перманентом согласно моде сороковых годов.

— Простите, — благодушно сказал я, разумеется, по аналогии с военной прокуратурой ожидая самого хорошего приема, — мне надо выяснить...

— Подожди, — резко оборвала меня женщина и, главное, на «ты».

В глазах у меня помутилось и впервые родился тот самый звенящий крик, к которому я часто прибегал впоследствии, повелительный от ненависти и полный душевной боли от отчаяния.

— С кем разговариваешь, — крикнул я, — сталинская сволочь!..

Женщина подняла на меня голову и посмотрела растерянно и испуганно. Старшина первый сориентировался в обстановке.

— Что вам надо? — спросил он. — Скажите толком.

То, что эти люди из управления внутренних дел растерялись, как мне показалось, и не ответили на мое оскорбление, придало мне какое-то состояние капризной обиды.

— Мне надо управление лагерей, где всякая сволочь угробила моего отца генерал-лейтенанта Цвибышева, — крикнул я.

Хоть выразился я достаточно туманно, но старшина понял и сказал примирительно:

— Позвоните по телефону десять сорок один.

Я подошел к настенному телефону и резко снял трубку. Ответил мягкий мужской голос. Как я понял впоследствии, низшие инстанции еще не сориентировались и не могли усвоить новый стиль, который ко всему они внутренне отвергали. Средние же инстанции действовали достаточно согласованно с высшими.

— С вами говорит сын генерал-лейтенанта Цвибышева,— резко сказал я в трубку.

— Простите пожалуйста, повторите фамилию,— сказал мужской голос.

— По-моему, фамилия вполне ясная,— вспылил я.— Цвибышев,— и вдруг, сорвавшись, вовсе добавил,— вы что, оглохли там...

В трубке послышался щелчок. Затем тот же ровный мягкий голос сказал:

— Цвибышев.. Я правильно записал?

— Да,— ответил я, несколько поостыв и даже испытывая неловкость.

— Напишите, пожалуйста, заявление,— сказал мне голос,— и оставьте его дежурной на проходной, укажите свой адрес.

— Какое заявление?

— О том, что вы, такой-то и такой-то, просите разыскать отца или указать место и дату, если он умер. Адресуйте в управление тюрем и лагерей.

— Ну спасибо,— сказал я,— до свидания.

— Привет,— ответил мне мужской голос.

— Дайте мне бумаги,— сказал я дежурной.

Она протянула мне двойной лист. Здесь же на подоконнике в проходной я быстро и без помарок написал:

«В Управление тюрем и лагерей МВД.

Заявление.

Прошу сообщить мне о судьбе моего отца генерал-лейтенанта Цвибышева, ставшего жертвой преступных репрессий кровавых сталинских палачей. Это был выдающийся советский военачальник. Жизнь его окончилась трагически».

Последние две фразы я добавил уже в качестве собственного домысла. Что он был выдающимся военачальником, я быстро уверил себя и в том не сомневался. Не сомневался я также и в том, что он мертв, и должен признаться, что это меня вполне устраивало, ибо в глубине души побаивался такого оборота, при котором этот незнакомый окажется чудом жив и необходимо будет вступать с ним в какие-то родственные отношения. Страх этот, безусловно, безнравственен, но вполне объясним и получил еще большее подтверждение и укрепил меня в правоте подобного чувства позднее, когда я широко начал сталкиваться с реабилитированными.

Из управления МВД я поехал прямо к генеральному прокурору республики. Если в районную прокуратуру я зашел случайно, просто проходя мимо, то поездка к генеральному прокурору была уже продуманным и целенаправленным шагом.

Генеральный прокурор располагался в небольшом старинном особняке, случайно уцелевшем в самом центре города (центр во время войны был начисто разрушен и построен заново в стиле конца сороковых— начала пятидесятых годов с завитушками, лепными украшениями и колоннами). В приемной я застал довольно большую очередь людей самого разного типа. Были здесь и крестьяне, и городские, но все люди безликие, каких можно встретить при любом скоплении народа, например, на вокзалах... Видно было по позам и по спертости воздуха, несмотря на распахнутое окно, что люди эти сидят давно и очередь движется медленно... Психология подобных скопищ мне достаточно хорошо известна, и, разумеется, я не собирался вступать с ними в долгие пререкания и объяснения. Каждый из них принес сюда личные свои интересы, меня же привел сюда вопрос общественный... По сему я стал в дальнем углу, стараясь не попадаться очереди на глаза, ибо она в каждом новеньком видела ущемление своих интересов. На пользу мне могло пойти и то, что это были

люди, почти сплошь чувствующие себя виноватыми, то есть просители, судя по их тихим позам, еще недавно так знакомым мне. Я же, наоборот, был заявитель, и потому мог не обращать внимание на личное впечатление, какое произведу... И точно, едва раскрылась дверь и вышла молодая женщина с красными заплаканными глазами, как я, быстро покинув свое убежище у вешалки, рванулся к входу... Следующим была очередь какого-то пожилого крестьянина в хлопчато-бумажном, очевидно, выходном костюме. Он принялся торопливо и неловко собирать бумаги, которые до того давал смотреть соседу из городских. Вина этого крестьянина, вернее того, за кого он ходатайствовал, была настолько сильна, что крестьянин не осмелился даже остановить меня, и за него это сделал сосед.

— Вы куда,— сказал сосед,— здесь очередь... Товарищ милиционер, обратите, пожалуйста, внимание...

Читавший в центре зала газету милиционер поднял голову.

— Мне не по личному, а по общественному вопросу, ясно,— не давая опомниться очереди, резко высказался я.

Но столь резкие и смелые звуки (не содержание, а именно тон) произвели впечатление не только на очередь, но и на милиционера, привыкшего во время дежурств в приемной лишь к просьбам. Поэтому я, согласно намеченному плану, беспрепятственно вошел в комнату прокурора. Правда, едва оглядевшись, я понял, что передо мной не генеральный прокурор, а работник юстиции средней руки, очевидно, заведующий приемной, и это к нему очередь, а не непосредственно к генеральному прокурору. Заведующий приемной был старый седой человек в коричневом форменном кителе министерства юстиции с зелеными кантами и крупными гербовыми пуговицами. Старческий румянец играл на его тщательно выбритом лице, в то время, как пальцы были бледны и вяло перебирали лежащие перед ним бумаги.

— Слушаю вас,— не поднимая глаз, механически сказал он, впрочем достаточно усталым голосом.

Я взял стул, подвинул его с чрезмерным, независимым грохотом, уселся, закинув ногу на ногу.

— Я хотел бы узнать,— спросил я требовательно,— какие меры принимаются по отношению к тем, кто в годы сталинских зверств повинен был в расправе над невиновными?

Старик-прокурор поднял на меня глаза. Это были выцветшие от времени голубые глаза, и я не смог прочесть в них ничего, даже любопытства.

— Не могу вам сказать,— ответил старик.— Это не в сфере нашей деятельности.

— То есть как,— сказал я,— генеральная прокуратура обязана заниматься восстановлением справедливости.

В движениях старого прокурора появилась некоторая суетливость, правда, не надолго.

— Меры принимаются,— сказал он мне.

— Я бы всех этих преступников— Ежова и Берия— к эсэсовцам приравнял,— сказал я, ощутив нахлынувшую злобу,— и атаманов, и рядовых... Сгноить их всех... Чтоб света белого не видели... Сколько прекрасных людей погибло ни за что... Сколько пользы они могли принести стране...

— Не стану с вами спорить,— ответил прокурор,— наверно...

Наступила пауза. Я не знал, о чем говорить далее. В принципе я был удовлетворен ответом и успокоен своим независимым поведением. Прокурор тоже молчал. Потом он позвонил. Вошел милиционер.

— Много там еще? — спросил прокурор.

— Семнадцать человек,— ответил милиционер.

— Ох ты, господи,— сказал прокурор, и старческими своими бледными пальцами устало провел по глазам,— скажите, я три человека приму, остальных на завтра после обеда...

Милиционер вышел. Мы еще некоторое время посидели в молчании. Наконец я встал, протянул руку и сказал.

— Ну, до свидания.

Очевидно, это было не принято. Прокурор замешкался, но потом все-таки сунул мне, также встав, бледные свои пальцы. Я вышел широ-

кими шагами, сильно выпрямившись и, проходя через приемную, снисходительно скользнул взглядом по просителям. Также широкими шагами и, идя посреди тротуара, как бы грудью разбивая встречный людской поток и не уступая никому дороги, пошел я в трест к Михайлову. В последние дни походка и осанка у меня изменились совершенно. К тому ж я редко пользовался транспортом, не уставая, и редко обедал, не испытывая голода.

В тресте у Михайлова я был минут через пятнадцать, хотя расстояние от генеральной прокуратуры до треста немалое и часть пути по крутой улице в гору. Однако я не только не устал, а наоборот, чувствовал себя совершенно бодрым, ощущал силу своих мышц и ритмичную работу молодого своего сердца. Вероника Онисимовна сразу обратила на то внимание.

— Что-то вы сегодня необычный,— сказала она мне...

Когда я приходил как проситель, измученный и робкий, она сразу замечала и говорила мне «ты». В то же время первоначально после долгих перерывов в моих посещениях либо когда я преодолевал кризис, удерживал койко-место и являлся радостный, она переходила на «вы». Так и сейчас.

— Я вижу у вас все хорошо,— добавила она.

Я посмотрел на нее. Она была в пан-бархатном вишневого цвета платье с блестками на высокой груди. Сам того не ожидая, я крепко, по-мужски, не опасаясь сальностей Михайлова, ибо значение его для меня ныне свелось до минимума, особенно после этого года, когда он от меня отступился,— итак, я крепко, по-мужски взял руку Вероники Онисимовны и поцеловал ее пальцы (надо было бы повыше, у запястья). Она покраснела, я же совершенно не растерялся. Какие-то новые процессы происходили во мне, и юношеская робость исчезла напрочь.

— Мой отец генерал-лейтенант,— сказал я ей,— он реабилитирован, у меня теперь все права.

Вероника Онисимовна по-бабьи всплеснула руками. Эта добрая женщина радовалась искренне, я увидел у нее в глазах слезы.

— Слава Богу,— сказала она,— кончились ваши мучения, пора уже жить по-человечески, пора, пора в вашем возрасте... Зайдите к Михаилу Даниловичу, он у себя...

Когда я вошел, Михайлов разговаривал по телефону. Он поздоровался со мной весьма небрежно, было непонятно—то ли он поздоровался, то ли мотнул головой, чтоб я не мешал. В прежнее время я бы робко стоял в стороне, ожидая конца телефонного разговора. Теперь же я вновь применил жест независимости, инстинктивно мной найденный у прокурора (этим жестом я позднее пользовался часто в кабинетах людей, перед которыми я ранее робко вел себя или вел бы робко, если б столкнулся), то есть я взял стул, подвинул его с чрезмерным грохотом и сел так же, как у прокурора, заложив ногу на ногу по-демократически. Прокурор меня не знал, и к тому ж, как я теперь понимаю, ему приходилось частенько сталкиваться с нелепыми поступками реабилитированных, которые вызывали у него не столько неприязнь, сколько профессиональное понимание. Кроме того, в этом смысле, очевидно, существовал негласный циркуляр о терпимости и обхождении, поскольку, приступая к реабилитации, государственные органы предполагали издержки и эксцессы. С Михайловым же у меня были иные отношения. Он знал меня как человека зависимого, ничтожного и недостаточно благодарного за добро. А о реабилитации не подозревал. Но если б я не применил свой жест независимости, то есть не грохнул стулом, он, пожалуй, бы начал разговор мягче. Все-таки в этом году он отступился от меня, изменил своему обещанию и поверил клевете Саливоненко, так же бросившего меня на произвол судьбы. Саливоненко я был совершенно безразличен, Михайлов же был другом моего отца, и ныне его, наверно, мучила совесть. Хотя должен признаться, что за три года я весьма нераспорядительно пользовался его помощью и, как считал Михайлов, проявил личную бесталанность, рассчитывая лишь на покровительство.

— Где ты живешь теперь? — спросил Михайлов довольно резко.

— Мне помог мой мертвый отец,— также резко ответил я, вложив в эти слова злобный упрек человеку, который все-таки устроил меня в этом городе и два года подряд помогал. Мысль эта о несправедливости моей к Михайлову мелькнула как-то стороной, ибо прежнее положение мое сейчас предстало во всей ясности и жгучее желание расплатиться за проклятый даровой хлеб справедливым камнем стало особенно сильным...

— Мой отец реабилитирован,— сказал я,— теперь у меня права... Квартиру получу, компенсацию за имущество, двухмесячную зарплату генерала...

Лишь по этому напору, именно напору слов Михайлов увидел во мне нечто новое, так привык он к моему ничтожеству.

— Ты хочешь сделать на этом деле бизнес,— сказал он после некоторой паузы.

— При чем тут бизнес,— взорвался я,— все вы даете своим детям поддержку... Они еще не родились, а у них уже есть дом, ночлег... Ужин, завтрак, обед... И это не считается добром... За это не надо платить благодарностью...

В течение одной-двух секунд наши трехлетние отношения изменились коренным образом. Он увидел меня в новом свете, полном напора и энергии, и в эти мгновения я впервые был даже лицом похож на отца. Так он сказал неожиданно тихо.

— Ты сейчас впервые очень похож на Матвея,— сказал Михайлов.

И в этих словах вновь явилась теплота, утраченная после первых месяцев нашего знакомства, когда я уже начал его разочаровывать. Я тоже притих, почувствовал к бывшему моему покровителю человеческую теплоту, которая была невозможна ранее при ощущении презрительного превосходства Михайлова по отношению ко мне и корысти моей по отношению к Михайлову. Такое было разве что в первые дни знакомства по приезде моем в этот город. Но ныне оно обозначилось яснее и резче, ибо мы были теперь хорошо знакомы и ощутили взаимную теплоту, не взирая на дурные качества друг друга, известные каждому из нас. Старый товарищ отца сидел передо мной, сыном своего друга, угадывая во мне знакомые черты, начавшие обозначаться лишь ныне, в период обретения мною прав.

— Значит, умер папа? — спросил тихо Михайлов.

— Я подал о розыске,— ответил я,— в управление МВД... В военной прокуратуре я назвал вас в качестве свидетеля... Для реабилитации нужно бы еще двоих...

— Конечно, я пойду,— сказал Михайлов,— вторым может быть Бительмахер... Конечно, между нами, лучше если свидетели не из реабилитированных... Но что делать, кроме меня, все товарищи отца либо погибли, либо сидели... Запиши адрес: Мало-Подвальная, три.— Михайлов написал адрес,— это бывший директор завода... Теперь он работает в конструкторском бюро местной промышленности... Можешь к нему на работу подойти... Хотя лучше домой... Я ему позвоню... Он в прошлом году вернулся, спрашивал и о Матвее и о тебе.

Второй раз при мне Михайлов называл моего отца просто Матвей. Никогда ранее он этого не позволял при мне, оберегая это дорогое ему имя из своей молодости от меня, человека этому имени чуждого и даже внешним видом своим позорящего Матвея Цвибышева, украшавшего собой жизнь, шумно хозяйничавшего в этой жизни и распространявшего красоту и уважение на тех, кто был рядом с ним.

— В прошлом году я о тебе умолчал,— сказал Михайлов,— некстати это было, как раз с ночлегом твоим очередной скандал... Да и сам Моисей Аронович выглядел тогда ужасно, жил где-то временно, чуть ли не в общежитии... Сейчас он получил квартиру, комнату, это в центре.

— Знаю,— сказал я,— знаю, где Мало-Подвальная.

— Передай ему привет,— сказал Михайлов.— Мы давно не виделись, впрочем, я по телефону...

Михайлов был чрезвычайно беспокоен, и это также было для него необычайно. Уже на улице меня догнала Вероника Онисимовна.

— Вы уже уходите? — спросила она.

— Да,— ответил я,— дел по горло.

— Я специально ходила узнавать у нашего юриста... Вы должны добиваться квартиры... Вам должны вернуть мебель... Ничего им не дарите...

— Спасибо, мне все это известно...

— Ну, поздравляю вас еще раз... Видно, Бог есть, раз он помог сироте.

— Спасибо, — сказал я.

Я был тронут искренностью переживаний за меня этой женщины, хоть немного и покороблен «сиротой», ибо такой ракурс делал меня слабым и не по-мужски зависимым в представлении Вероники Онисимовны, что было несправедливо и не соответствовало моему мужскому действию, когда я крепко взял ее руку и по-мужски поцеловал. Поэтому я решительно повернулся, чтоб не утратить нужной мне душевной твердости, и, вновь взяв ее крепко за руку, поцеловал полное ее предплечье у локтя. На этот раз она вовсе растерялась, я же, довольный собой, улыбнулся ей ободряюще и пошел своей новой, становящейся традиционной походкой, а именно, широко шагая и сильно выпрямившись...

Пошел я на улицу, где находился третий из адресов, данных мне в военной прокуратуре Верой Петровной. Улицу я знал хорошо, а мимо Комитета государственной безопасности проходил частенько, ибо располагался он неподалеку от бывшего монастырского здания, где ныне был газетный архив.

Комитет государственной безопасности находился в двух зданиях, стоящих друг против друга через дорогу. Улица, на которой он находился, мне нравилась, пожалуй, более других в городе. Почти не пострадавшая в войну, сплошь уставленная редкими старыми домами, с булыжной мостовой, среди которой поблескивала трамвайная колея, и двумя зелеными шеренгами каштанов на тротуарах с обеих сторон улицы. Одно из зданий Комитета государственной безопасности было в четыре этажа, второе более приземистое, одноэтажное, очевидно, подсобное. Там и находилось бюро пропусков. Я вошел. Как водится, здесь также было окошко и сидел сержант. Я протянул ему выписку из военной прокуратуры о том, что дело о реабилитации моего отца находится на рассмотрении.

— Ждите, — сказал мне сержант, — к вам выйдут.

В приемной бюро пропусков стояло несколько столов и чернильницы с ручками, как на почте. По стенам развешены были образцы анкет для отъезжающих за границу как в соцстраны, так и в капиталистические. Это было новшество, которое тогда еще широкое распространение не получило, а оформление происходило непосредственно в Комитете государственной безопасности. И действительно, несколько человек, находящихся в приемной, по виду сытых и состоятельных, занимались оформлением, читали образцы, заполняли анкеты и часто о том, о сем справлялись у дежурного сержанта. Я сел на стул и приготовился ждать, но уже минут через десять в приемную вошел невысокий мужчина в потертом пиджаке с зачесанными назад волосами. Я не обратил на него внимания, ожидая должностное лицо в форме. Он же сразу узнал меня и подошел ко мне, хотя в приемной находилось еще человек шесть-семь.

— Цвибышев? — спросил он негромко.

— Да, — ответил я, удивленно подняв на него глаза.

— Пойдемте со мной.

Я встал, и мы вышли в коридор. Тут же в коридоре у приемной бюро пропусков находилась еще одна дверь, и сотрудник открыл ее своим ключом. Мы вошли в маленькую комнатушку, где ничего не было, кроме канцелярского стола и трех стульев. Уселись. Сотрудник вынул какую-то старую бумагу.

— Значит, ваш старый адрес: улица Новая, дом восемь, квартира сорок четыре, так?

— Да, — сказал я, — мы жили по улице Новая... Дом сохранился?

— Это надо проверить, — сказал сотрудник КГБ, — значит, у нас указаны члены семьи арестованного... Анна Эдмундовна Цвибышева двадцати девяти лет и сын Григорий трех лет, это вы?

— Да, — ответил я.

— Тут странность, — сказал сотрудник, — обычно арестовывали вместе с мужем жену... Конечно, это безобразие и беззаконие, — добавил он, — но вот ваша мать арестована не была... Почему это так, не пойму... Она жива?

— Нет, она умерла.

— Действительно трагедия, — сказал сотрудник госбезопасности, — но у вас еще вся жизнь впереди. Напишите заявление о розыске конфискованного имущества...

Он открыл ящик канцелярского стола и подал мне лист бумаги. Я заполнил свое второе за этот день заявление: «Прошу вернуть либо компенсировать стоимость имущества, незаконно конфискованного кровавыми сталинскими палачами и т. д.».

Сердце мое билось сильными толчками.

— Вот что еще, — сказал я глухо, — я никогда не видел отца, если у вас сохранилась фотография, прошу мне вернуть.

— Хорошо, — сказал сотрудник, — напомните мне по телефону. Придете через неделю.

Я записал телефон и вышел на улицу. Внезапно странная усталость овладела мной, а также я почувствовал и голод. Скорбь и печаль, отнявшие у меня прямую осанку и широкий шаг, согласно логике должны бы были овладеть мною утром, когда я писал заявление в Управление тюрем и лагерей, однако они вдруг овладели мною сейчас, при решении бытовых вопросов, связанных с арестом отца... Анна Эдмундовна двадцати девяти лет и сын Григорий трех лет... И вдруг картинка, осколочек... Нет, это не воспоминание, поскольку впервые в жизни, скорее видение... Любое воспоминание из трехлетнего возраста, это чудо, видение, словно из другой жизни... И размеры даже свои чувствую... И рубашонку... И все так броско, словно одним взглядом... Меня вырывают из приятного теплого сна... Меня тормошат... Мне так нехорошо, что я догадываюсь почему... Сейчас ночь... Утром я просыпаюсь сам, и мне это приятно, а сейчас меня безжалостно подымают из-под теплого одеяла... Я недоволен, сопротивляюсь и плачу... Кто-то прижимает меня к себе твердо и больно... Это отец... Какие-то общие черты... Неприятный, твердый подбородок... За спиной его плачет мать... Это менее общие черты, знакомые...

— Прощайся с папой, Гришутка, папа уезжает...

Эту фразу слышу ясно, точно она произнесена только что... Эта фраза самая ясная из вспыхнувшей вдруг передо мной картинки... Помню вдруг облик двух чужих людей на диване... Смотрят на меня... Самое общее впечатление... Алгебра... Отсутствие конкретных черт... Но, кажется, взгляд их не то что сочувствующий, а несколько встревоженный моим плачем... Не лица их помню, а взгляд... И все... И далее ничего нового не могу набрать для себя сегодняшнего из этой картинки-озарения... Возможно, я тут же заснул тогда...

Я стоял, прислонившись к стволу каштана, среди молодой, еще по-июньски чистой листвы, лишь слегка тронутой городской пылью. Мимо меня с грохотом проносились летние горячие трамваи... От голода уже сильно и больно потягивало живот. Я вошел в расположенную неподалеку столовую самообслуживания. Собственно, я к ней и шел, но остановился у дерева, пораженный ясностью нахлынувшего видения. В столовой сильно пахло грушевой эссенцией и тушеной капустой... Я стал в очередь, беря блюдо средней стоимости, что было оправдано психологически, ибо в кармане оставались считанные рубли, но в то же время я вскоре рассчитывал на крупные суммы компенсаций по реабилитации...

Двигаясь мимо подносов с нарезанными кусками хлеба, я взял три куска черного и два куска белого, но затем раздумал, один кусок отложил обратно. Наверное, это было негигиенично, признаюсь, но один из очереди так осатанел, что можно было понять: общественный кусок хлеба, который я тронул своей рукой, был лишь поводом для выхода наружу его нервной ненависти, давно заготовленной.

— Что вы лапаете, — крикнул он мне, — что вы все время лапаете!.. Хлеб лапаете, и после ваших вонючих рук его должны люди есть... Дусту на вас нет (дуст — вещество, которым травят клопов).

Мужчина был высокого роста, одутловатый, может, любитель выпить, а может, просто по болезни страдающий ожирением. Очевидно, мой угнетенный измученный вид после нахлынувшего видения обманул мужчину и представил меня как легкую добычу для него, явно чувствующего себя в этой стране уверенно и по-хозяйски. И действительно, попробуй я вступить с ним в обычную перепалку, он забил бы меня и сломал напором и уверенностью, при поддержке части очереди и нейтралитете остальных...

Однако направление чувств моих было сейчас совсем иное, и то, что мужчина принял за слабость, было в действительности накоплением, ищущим выхода, причем не в обычном бытовом скандале, а в политической ненависти.

— Сталинская сволочь,— крикнул я мужчине найденную мной сегодня фразу, но прозвучавшую теперь не как случайная находка, а как испытанное оружие,— заявления писал в тридцать седьмом, законность нарушал, сволочь...

Перелом наступил мгновенный то ли от неожиданности моих контраргументов, то ли от природной боязни лояльных граждан (каковым являлся жирный) политических обвинений, частично взятых мной из текущей периодической печати и выступлений Хрущева. Мужчина замолк сразу, но теперь уж я не мог успокоиться... Я так разволновался, что у меня тряслись руки и кофе из стакана на моем подносе несколько раз плеснуло в рассольник.

— Жилы бы вам перерезать,— говорил я, дрожа от ненависти, словно в лихорадке,— морда жирная, на чужой крови разжирел...

— Ладно,— сказал мне примирительно кто-то из очереди,— не надо нервничать,— и пропустил меня вперед.

Все стоящие впереди меня расступились, как бы сторонясь меня. Кассирша осторожно как-то назвала сумму и мягко положила мне на поднос сдачу. Усевшись, я стал есть, и первый приступ раздражения, по обыкновению особенно сильный, постепенно рассосался, но осталась досада не на суть, а на пластику поведения: на дрожащие руки, на захлебывающийся голос и т. д. В этом было недостаточно силы и соответствия моему новому положению. Поэтому в качестве компенсации, доказывающей, что я не уязвлен и всю эту шушеру презираю, я прибег к кривой, несколько циничной улыбке, с которой и отобедал... Но перед уходом, проходя мимо, я все-таки сильно толкнул столик, за которым сидел мой одутловатый враг, так что борщ его расплескался и намочил хлеб... Он глянул на меня со злобой, но промолчал, однако за него вступилась женщина из простых, уборщица, которая замахнулась на меня тряпкой, которой она вытирала столики.

— Ишь хулиган,— злобно крикнула она,— бандит!.. В милицию захотел...

— Не надо, Егоровна,— сказала женщина иного, полуинтеллигентного вида в чистом халате, наверное, заведующая столовой, явившаяся на скандал,— пусть его... Пусть идет...

Повторяю, время тогда было странное, путаное, и лишь представители низов находили в себе силы противиться нелепым завихрениям Хрущева, пытающегося, как казалось, уравнять в правах и развязать инициативу элементов, устраненных Сталиным из созданного им при поддержке масс сильного ясного общества с простой структурой, понятной даже малограмотному.

* * *

В тот момент, когда я впервые за долгие годы спокойно и с легкой душой был занят бытовыми подробностями моего плана, произошло событие, которое по своему масштабу я сравниваю с получением повестки из военной прокуратуры, сделавшей меня сыном генерал-лейтенанта. Собственно, случилось то же, но наоборот, и я лишен был своего титула.

Началом события также было письмо со штампом военной прокуратуры. Правда, теперь сам вид письма не поверг меня в беспокойство, ибо я это письмо ждал. Еще даже не распечатав письмо, я с удовлетворением подумал, что заседание трибунала по моему вопросу состоялось, Михайлов и Бительмахер, как было условлено, вовремя явились к следователю в качестве свидетелей, все прошло беспрепятственно и приняло официальную форму. Действительно, разорвав конверт, я обнаружил напечатанную на казенной бумаге с красной армейской звездой посредине выписку из протокола заседания военного трибунала от шестнадцатого июня 195... г. «Военный трибунал ...ского округа, рассмотрев дело Цвибышева Матвея Орестовича, начальника планового отдела стекольно-термосного завода...» Вот в этой фразе и была пресловутая «ложка дегтя». Что та-

кое? Я перечитал опять... Причем тут стекольно-термосный завод, если отец мой генерал-лейтенант... Это какая-то нелепость...» «...начальника планового отдела стекольно-термосного завода Цвибышева Матвея Орестовича пришел к выводу, что Цвибышев М. О. арестован неправильно. Настоящим постановлением решение военного трибунала ...ского военного округа от третьего апреля 1938 года отменяется...»

Я вошел в будку телефона-автомата и набрал номер Веры Петровны.

— Здравствуйте,— сказала она мне приветливо,— ну, вот видите, мы сдержали слово. Теперь можете заняться денежной компенсацией.

— Вера Петровна,— сказал я пока еще с легким волнением в голосе,— в выписке имеется ошибка. Мой отец генерал-лейтенант, а там он назван, извините, черт знает как,— не сдержав волнение и обиду, закричал я довольно грубовато.

— Вы не нервничайте,— сказала мне Вера Петровна,— хотите, приезжайте, я закажу вам пропуск, поговорите с Сергеем Сергеевичем.

Бодунов также встретил меня приветливо.

— Понимаете, какая штука,— сказал он мне,— ваш отец последнее время действительно работал на термосном заводе.

— Но ведь он был генерал-лейтенант,— лихорадочно заговорил я,— вы сами подтвердили... Он сражался... Он крупный военачальник.

— Никто не собирается умалять заслуги вашего отца,— сказал Бодунов,— но у нас инструкция указывать должность реабилитированного именно в момент ареста... Кстати, этот факт только подтверждает полную невиновность вашего отца... Из целой группы, привлеченных по тому делу, только Цвибышева и еще одного полковника сочли возможным не арестовать, а просто уволить из армии и исключить из партии. Ведь в те времена это была редкость. Впоследствии ваш отец получил всего пять лет.

— Вы отлично знаете, что это липа,— выкрикнул я.— Какие еще пять лет... Он был расстрелян... Черт возьми... Черт бы вас всех подрал... Значит, если бы он был расстрелян немедленно, то он остался бы в своем чине... Значит, его невиновность ему во вред и мне во вред... Да... Ведь когда он был разжалован, это репрессия, ваша задача полная реабилитация, а вы вступаете фактически в контакт со сталинскими палачами...

— Не шумите здесь,— вдруг совершенно по-новому сказал, вернее, скомандовал Бодунов, и лицо его сразу преобразилось, стало жестким.

Я сильно разволновался, но этот окрик несколько подействовал и дал мне возможность придти в себя. Очевидно, подобные сцены не были здесь чрезвычайным происшествием, поскольку два других следователя-подполковника продолжали спокойно заниматься своими делами, даже не обращая на нас внимания. И для Бодунова, по-видимому, это было весьма привычно, поскольку очень скоро он вновь вернулся к прежнему своему благодушному, приветливому виду и поведению.

— Поймите,— сказал он мне доверительно,— я ведь не свои деньги вкладываю, но инструкция есть инструкция.

Я был так взволнован, что первоначально даже не осознал, помимо морального удара, серьезнейшие материальные потери, ожидающие меня, поскольку двухмесячная компенсация жалования генерал-лейтенанта намного, конечно, превышает двухмесячную компенсацию жалования плановика... Вот оно что... Именно так понимал мое поведение и следователь Бодунов, и Вера Петровна... Какая ерунда... В конце концов главные мои материальные надежды связаны с компенсацией за конфискованное имущество... Здесь же важна идея. Мое положение было так ничтожно, что мне попросту необходим сильный взлет. Тем более теперь, когда я почувствовал себя сыном генерал-лейтенанта.

— Я не возьму эту бумагу,— сказал я, протягивая выписку,— я с ней не согласен.

— По этому вопросу обратитесь к Вере Петровне,— сказал Бодунов,— впрочем, попробуйте подать заявление, может быть, в порядке исключения... Зайдите к Вере Петровне, она вам что-нибудь посоветует... Поймите, я с радостью, но не могу... Инструкция.

— Хорошо,— сказала Вера Петровна,— верните бумагу, напишите официально, что вы не согласны. Но это может продлиться и три месяца, и пять, и год, причем я не уверена в успехе.

— У меня сейчас плохо с деньгами, — сказал я (это не то слово. В связи с ожиданием крупных компенсаций, я несколько ослабил узду и два последних дня мне пришлось питаться одним хлебом, ие покупая карамель к кипятку. В то же время я понимал, что крупные суммы за имущество требуют длительного расследования и оформления и, может быть, вопрос о них отнимет не менее полугода. Об этом мне сказали в КГБ. Мне же срочно — сегодня, завтра, не далее необходима была небольшая, но живая, немедленно полученная сумма).

— Я вам советую, — сказала Вера Петровна, — поехать на термосный завод, это Стекольный переулок, двадцать три, и получить деньги... Оформите дела, получите комнату, устроитесь, начнете работать, все будет хорошо... И не нервничайте, вы для этого слишком молоды, — она улыбнулась мне.

Я встал и молча пошел к дверям. Остановившись на пороге, я выкрикнул.

— Мой отец был генерал-лейтенантом и останется им.

Вышло несколько театрально, неумно, и я мучился этим всю дорогу к Стекольному переулку. А когда у меня начинаются подобные мучения, то они принимают самые нелепые направления. Так вдруг пришло в голову, что я продал достоинство отца из-за денег, поскольку если бы мне не требовались немедленно деньги, я мог бы не взять бумагу, где он назван был плановиком термосного завода, а мог добиться официального восстановления его в прежнем чине. Но жизнь на грани, без материальных запасов не оставляла мне права на строптивость. В таком состоянии прибыл я на стекольно-термосный завод. Я предъявил в проходной паспорт пожилой женщине с милицейским револьвером у пояса и вошел во двор. Это был небольшой старый заводик, и он мало, пожалуй, изменился с тех пор, как разжалованный и исключенный из партии мой отец работал тут плановиком полгода до своего ареста... Здесь были почерневшие от времени приземистые цеха и сложенное из красного казарменного кирпича двухэтажное административное здание. Прямо во дворе, среди древесных опилок была сложена побочная продукция термосного завода: двух- и трехлитровые банки для натуральных соков, маринадов, засолки овощей. Несмотря на различие в производстве, в смысле административном обстановка здесь была несколько родственна управлению строймеханизации, где я работал, но более стационарная, устоявшаяся и потому более солидная.

В тот момент, когда я вошел в административное здание, там был какой-то аврал. По коридору прошли несколько молодых людей с кальками и какой-то старичок, явно бухгалтер, с ведомостью. Секретарша, похожая на Ирину Николаевну, но посолиднее, покрасивее искала какого-то Петрицкого, заглядывая в разные двери. Ей ответили, что он в цехе.

— Его срочно Фрол Егорович вызывает, — взволнованно сказала секретарша, — немедленно разыщите.

Я вошел в приемную, где сидело много людей. Обстоятельства складывались так, что я невольно превращался в некоего просителя для получения тех нелепых крох, того ничтожного выкупа, который причитался мне за смерть отца... Это меня разозлило.

— Мне нужен директор, — жестко сказал я.

— Директор занят, — даже не глядя на меня, ответила секретарша.

— А когда он освободится?

— Приходите в конце недели.

— Нет, я зайду сейчас.

Секретарша подняла на меня глаза.

— Вы кто такой, — сразу обрушилась она на меня, очевидно, весьма низко оценив мою внешность, — вы чего здесь хулиганите, как бы не пожалели.

Я хотел рассмеяться презрительно, но рассмеялся злобно и рывком открыл обитую кожей дверь, шагнул в табачный дым. Была знакомая атмосфера планерки, в которой не раз унижали меня прежде, в бытность мою прорабом стройуправления. У стола директора сидели те, кто посолидней, у стен на стульях те, кто помельче. Директор чем-то напоминал Брацлавского, но с некоторым налетом интеллигентности и утонченности. Я сразу определил, что это человек с крутым административным правом,

и потому шагнув прямо к нему, не дав опомниться, с удовольствием перебил его на полуслове и положил перед ним бумагу. Он оторопел.

— Что такое? — не понял он, возможно впервые представ перед подчиненными растерянным от неслыханной наглости.

— Деньги мне выплатите, — сказал я.

Тут директор пришел в себя.

— Микаэла Андриановна, — крикнул он бледной, стоявшей на пороге кабинета секретарше, — почему врываются, зачем вы там посажены, зарплату получать?..

— Подпишите, — сказал я, ударив пальцем по казенной, выданной мне Верой Петровной бумаге трибунала для получения денег.

— Нам неизвестен такой закон, — сказал директор, — пусть они выплачивают из своих фондов, — он протянул бумагу мужчине, сидевшему от него справа, очевидно, какому-нибудь местному Юницкому.

— Надо посоветоваться с юристом, — сказал местный Юницкий.

В последнее время при наличии препятствия, я действовал просто, крича об отце генерал-лейтенанте. Ныне эта возможность была отнята у меня, в то время как внутри я уже был полностью раскован и утратил способность добиваться успеха покорностью и просьбами. В этом и была причина продолжительных, я бы сказал, бессильных, скандалов, которые ожесточили мое сердце и расшатали мои нервы и в период которых я вступал. Я даже сам не заметил, как такой бессильный скандал забушевал в кабинете директора термосного завода. Вызвали сторожа, и меня вывели в коридор чуть ли не принудительно. Рядом шел старичок в нарукавниках, бухгалтер или плановик, явно относящийся ко мне хорошо.

— Вы не волнуйтесь, — нашептывал мне старичок, — надо было предварительно ко мне, а не к директору... Положено — выплатим... Правда, у нас сейчас с фондом зарплаты тяжело, может, через месяц выплатим...

Если раньше со мной расправлялись просто и грубо, то теперь появился новый мягкий, но непреклонный стиль пресечения моих притязаний. Благодаря моим личным качествам и обстановке, борьбу мне приходилось вести даже за те бесспорные мелочи, которые должны были совершиться сами и механически. Должен сказать, что в таком сложном процессе, как реабилитация, были свои счастливчики и свои неудачники, к коим отношусь и я... Если б я получил компенсацию по крупной должности генерал-лейтенанта, а не по мелкой — плановика, то выплата прошла бы проще, почетней и без излишней нервной затраты...

Устраненный силой из кабинета директора, я вышел на заводской дворик и из автомата опять позвонил Вере Петровне.

— Мне отказываются выплачивать, — сказал я ей нервно.

— Подождите там и не волнуйтесь, — ответила мне эта добрая женщина, — сейчас мы их призовем к порядку.

Я сел на скамейку у клумбы, где несколько рабочих пили из бутылок казенное молоко (производство было вредное). Я решил думать о том, что когда-то здесь ходил мой отец и глаза его смотрели на эти красные казарменные здания, но из этого ничего не вышло, вернее, получилось надуманно и мало интересно. Возникли еще мысли, но все не туда. Единственно, о чем я подумал естественно и искренне, это о нелепости ситуации пребывания моего на термосном заводе, о котором еще утром я и понятия не имел... И о нелепом столкновении моем с людьми, которых я еще утром не знал и никогда б не знал, если б отца моего, разжалованного из крупных чинов, не направили сюда, дав ему до ареста вкусить унижение на свободе. И вот тут-то пришло то, чего я настойчиво добивался с самого начала, едва выйдя во двор и усевшись на скамейку. Впервые я ощутил неразрывность связи с моим отцом через личное, бытовое ощущение того унижения, которое он претерпел здесь... Есть дети, которые являются продолжением величия своих отцов, есть же которые являются продолжением унижения своих отцов. С этим новым поворотом в мыслях я встал и опять вошел в административное здание. В коридоре меня встретила заплаканная секретарша.

— Молодой человек, — сказала она, — как вас зовут?

— Григорий Матвеевич, — ответил я довольно враждебно.

— У меня к вам большая просьба, Георгий Матвеевич (от волнения она спутала мое имя, что, впрочем, часто случается и даже домашние

зовут меня не Гриша, а Гоша). — Георгий Матвеевич, у меня к вам большая просьба, — повторила она и взяла меня неожиданно об руку, отведя в сторону и несколько раз, может быть, случайно, коснувшись упругой секретарской грудью. — Георгий Матвеевич, — третий раз повторила она покорным тоном, каким привыкла говорить с начальством и с помощью которого добивалась себе благ в жизни (этот метод я отлично знал и чувствовал, хоть ныне он был мне чужд и недоступен). — Григорий Матвеевич, — сказала она в четвертый раз, теперь правильно уже назвав меня по имени (я столь дотошно отмечал каждую мелочь, ибо мозг мой теперь был недоверчив, холоден, мелочен и остр, ища путей к борьбе и скандалу) — я прошу вас, — сказала секретарша, — извинитесь перед Фролом Егорычем.

— Что? — оторопело вскричал я.

— Вы человек случайный, пришли и ушли, — секретарша всхлипнула, — и именно потому, что вы ему недоступны, он расправится со мной за то, что я вас пропустила.

Я посмотрел на секретаршу. У нее были густо, не по летам намазаны губы и вообще вид женщины, которая добывает себе благосостояние любыми средствами, не чураясь самых крайних, женских... И вспомнил я, как встретила она меня, когда приехал я подавленный несправедливостью по отношению к моему отцу, несправедливостью, настолько вопиющей, что она носила даже несколько шутливый, каламбурный характер, то есть несправедливостью при восстановлении справедливости... Не встреть меня секретарша так грубо, я не ворвался бы в сердцах к их наполеончику термосного завода, не устроил бы скандал, не истрепал бы нервы и, вообще, обычное финансово-бухгалтерское мероприятие не приняло бы характер политического противостояния (а в том, что их наполеончик сталинист и недоволен действиями Хрущева, я даже ныне не сомневался, коротко проанализировав на скамейке его поведение).

— Вы с ума сошли, — сказал я грубо, и искреннее возмущение дало мне силы избавиться от ее женских прикосновений. — Чтоб я извинился перед этим сталинистом...

— У меня дети, — всхлипнула секретарша, — он уволит меня... У меня родной дядя реабилитированный, — произнесла она почти шепотом и с оглядкой.

Этот жест ее мне особенно не понравился и я, как говорится, перегнул палку, будучи уже сильно взбешен.

— Ничего, — сказал я, — я уйду, и он меня забудет... А ты (я сказал «ты»), а ты переспишь с ним, и он простит.

Секретарша как-то пискнула по женскому стандарту, положив на рот ладонь, а я пошел в приемную и, открыв дверь, беспрепятственно вошел к директору. Этот самый наполеончик, Фрол Егорыч, сидел, разглядывая какую-то бумагу. Рядом с ним не сидел, а стоял сотрудник в полупоклоне, то есть так же разглядывая бумагу, но придав своему телу позу, которая не только помогала давать пояснения, но и указывала на разницу в административном положении. Когда я вошел, сотрудник глянул на меня испуганно и умоляюще. Фрол же Егорыч сделал вид, что не заметил меня. В отличие от Брацлавского, который, будучи грубым кузнецом, выдвинувшимся в директоры, пользовался властью местного хозяйчика для наведения порядка и удержания за собой должности, Фрол Егорыч, тронутый налетом интеллигентности, научился еще и наслаждаться властью. Все это я понял разом, стоя посреди кабинета розовощекого (у него были розовые щечки) наполеончика и возрадовался своему независимому положению. Именно эта приятная мысль, как ни странно, помешала мне использовать найденный мной и успешно применяемый в кабинетах жест независимости, то есть самостоятельно, без приглашения взять стул и сесть с грохотом, закинув ногу на ногу. Я понимал, что наполеончик отомстит сотруднику, сотрудник этот, который не сделал мне ничего дурного, смотрел на меня умоляюще, прося взглядом не скандалить при нем. Поэтому я остался молча стоять посреди кабинета, лишь широко расставив ноги (мне подобная стойка почему-то показалась проявлением независимости). Прошло не менее десяти минут. Жужжал вентилятор. Фрол Егорыч наливал из сифона газводу, пил, давал указания. Сотрудник, не разгибая спины, поддакивал. Оба не замечали меня (сотрудник лишь раз глянул вначале). Наконец, Фрол Егорович совершенно неожиданно и по-прежнему совершенно не глядя на меня, между двумя указаниями сотруднику, бросил как бы мимоходом:

— Идите в бухгалтерию получать.

— Спасибо, — сказал я.

Причина этой благодарности была двоякого рода. С одной стороны, быстрое решение дела в мою пользу с помощью звонка из военной прокуратуры, конечно, успокоило мое самолюбие и несколько размягчило сердце. Но я б никогда, даже в таком состоянии, не поблагодарил бы этого сталиниста, если б размягченное сердце мое не испытывало раскаяния по отношению к секретарше, которая ждала, и я видел это, у щели в приоткрытых дверях. Когда я вышел, она успела отскочить и сидела уже за секретарским столиком.

— Я не извинился, но поблагодарил его, — сказал я в качестве ответа на ее просьбу.

— Подождите секундочку, — сказала секретарша, — посидите. — Она быстро встала, прошла по коридору и минут через пять вернулась. — Можете получить деньги прямо сейчас, я договорилась с бухгалтером и кассиршей.

Я знал, что могу получить и без ее содействия, но понимал язык внутренних административно-бытовых взаимоотношений. Это значило: кое-что для меня сделать. И так как меня по-прежнему немного мучила сказанная в ее адрес сальность, я дал ей возможность помочь мне. Все в короткий срок запутавшиеся и принявшие угрожающий характер мои взаимоотношения с работниками термосного завода также в короткий срок пришли в норму и исчерпали себя... Я получил деньги, хоть и не генеральскую, но серьезную и крупную при моих финансовых масштабах сумму, и, как бы там ни было, в конечном итоге уехал в неплохом настроении и даже ободренный.

* * *

Последующая неделя была удачна, и поступки мои были достаточно точны и успешны, кроме одного, а именно посещения мной жилищной комиссии исполкома. К сожалению, это случается со мной не впервые, когда ряд удач заставляет меня забыть о чувстве меры и неосмотрительно, без подготовки совершать шаги либо чересчур смелые, либо чересчур поспешные...

Прежде всего, получив деньги, тугую пачку, которую, войдя в общественный туалет и запершись, еще раз тщательно пересчитал, я тут же, стоя в тесной дощатой кабине, принялся распределять по фондам. Должен сказать, что ныне, когда первый восторг от реабилитации прошел, начал формироваться некий компромиссный характер моего поведения, в который вновь вошли и некоторые элементы из прежней жизни, например, осмотрительность и расчет. В частности, мной предусмотрены были ассигнования на покупку недорогого импортного костюма. Соблазн был весьма велик. Я знаю, что красивая одежда мне к лицу и совершенно меня преображает. После того, как стало известно о возможности получения мною серьезных сумм, я начал посещать магазины, разглядывая и прицениваясь. Наконец, после тщательных поисков, мной на улице Октябрьской революции найден был небольшой магазин готового платья, где я обратил внимание на три костюма из социалистических стран, причем по весьма доступным ценам. Один был темно-кофейного цвета, с едва заметной светлой ниткой, придающей ему своеобразный оттенок; второй был цвета обыкновенного, синего, но главную цену ему придавали брюки, сшитые по последней моде — узкие, с широким манжетом; к третьему, сказать откровенно, привлекала баснословно дешевая цена, чуть ли не на уровне хлопчатобумажного, а между тем он был весьма приличен и даже не лишен своеобразия, благодаря светлым линиям на сером фоне. Конечно, из трех этих кандидатов я отдавал предпочтение темно-кофейному, но это еще следовало взвесить и обдумать непосредственно при покупке. Получая деньги и расписываясь в ведомости, я думал именно о кофейном, намереваясь тут же отправиться за покупкой. Поэтому я вошел в туалет сразу же во дворе термосного завода, хоть в этом и был некоторый риск, но

я хотел отсчитать сумму, которую смогу прямо вынуть в магазине, без необходимости вытаскивать всю пачку. Однако, начав отсчитывать, я решил заодно и распределить деньги по фондам, поскольку в шестикоечной комнате общежития у меня для этого возможности не было и все равно пришлось бы запереться в туалете общежития. Прежде всего несколько бумажек покрупней я решил тут же положить на сберкнижку, значительную сумму выделил непосредственно на трехразовое питание, самую малость на транспорт (в основном я ездил без билета), приличную сумму на текущие бытовые расходы (оплата койко-места, покупка носков, блокноты, карандаши и прочие непредвиденные траты) и, кроме того, я не смог преодолеть соблазн и выделил довольно серьезный фонд на удовольствия (кино, стадион, мороженое, конфеты... Не карамель к чаю, трата на которую была предусмотрена трехразовым питанием, а настоящие конфеты, иногда даже шоколадные, средней стоимости). Но когда все это было распределено, обнаружилось, что без суммы, отложенной для костюма, концы явно не сходятся с концами. Благоразумие и внутренняя интуиция не позволили мне утешить и обмануть себя расчетами на крупную компенсацию за конфискованное имущество, дело о котором находилось еще в самой ранней стадии. И благоразумие же помогло мне отложить покупку костюма на будущее. Правда, единственное, что я себе позволил, это выделить из денег, ранее предназначенных для костюма, немного на покупку летней обуви с мягкой удобной подошвой (в жаркие дни осенние башмаки из твердой кожи терзали мне ноги, натирая волдыри). Летние туфли были куплены тут же в магазине против термосного завода. Они ласково прикасались к моим намученным осенними башмаками ногам (башмаки я завернул в газету), и я совершенно удовлетворился своим поступком и убедился в его правильности. Походка моя стала более легкой и, хоть я уже не ходил, сильно выпрямившись, как в первые дни реабилитации, тем не менее вполне осознавал свои права если не на выдающееся, то на прочное место в обществе. Посмертное восстановление в партии моего отца, происшедшее вскоре, обрадовало меня, начавшего испытывать некоторое сомнение и беспокойство, и еще больше убедило в том, что положение отщепенца навсегда кануло в прошлое. Заявление о восстановлении в партии моих родителей я подал сразу же после посещения мной Бительмахера, и ответ прибыл довольно скоро, через день после получения мной посмертного двухмесячного заработка отца. Меня вызвали в обком партии.

Это было большое серое здание с колоннами и с полукруглым фасадом, выходящим на широкую, залитую асфальтом площадь. И здесь, конечно, имелось бюро пропусков. Старшина тщательно (тщательней, чем в иных государственных учреждениях) осмотрел мой паспорт, выдал пропуск и велел пройти через боковой подъезд. Комната, куда меня вызывали, находилась на первом этаже, даже несколько в полуподвале. Четыре старика и одна старушка сидели за столами. Видно, дело посмертного восстановления в партии поручили старым большевикам. Бительмахера, например, то есть человека живого и лично для себя добивающегося восстановления в партии, вызывал к себе действующий молодой инструктор по оргвопросам. Жалоба его после того, как ему отказали, оставлена была без внимания самыми высшими инстанциями. Посмертное же восстановление в партии было проще. Старичок с бородкой клинышком, чем-то похожий на Михаила Ивановича Калинина, достав из папки, тщательно перечитал мое заявление, которое я сочинил, повинуясь вдохновению, и где сказано было о сыновьем долге моем добиться восстановления родителей в партии, которой они отдали силы, молодость и жизнь и откуда были несправедливо исключены сталинскими палачами.

— Ну что ж, — сказал мне старичок, — из военного трибунала мы выписку получили... Отец ваш был репрессирован и исключен из партии, мать же ваша репрессирована не была, но тем не менее, из партии исключена. Это создает определенную неясность, и потому с восстановлением ее сложно. Что же касается вашего отца, то тут все ясно, — он похлопал по желтой старой папке, похожей на ту, какую видел я в трибунале, и являющейся, очевидно, партийным делом отца, — итак, — сказал старичок, — ваш отец посмертно восстановлен в партии... Поздравляю вас, — и, встав, он пожал мне ладонь холодными от старости пальцами.

— Спасибо, — ответил я.

Процедура была окончена благополучно, и, попрощавшись, я вышел на залитую солнцем широкую площадь в довольно хорошем настроении. (Выражение так часто употребляемое, но соответствующее действительности. Отщепенец гораздо более оптимист, чем человек обычного порядка. Умение приводить разные факторы в равновесие и ориентироваться на пойманную в выгодный момент равнодействующую является защитным свойством, и нельзя строго спрашивать с отщепенца, если он тяжелые потери и обиды умеет смягчать даже мятными лепешками или чужим, пусть формально и мимоходом брошенным добрым словом.)

После реабилитации отца начали реагировать довольно быстро все инстанции, куда я подал заявление. Вскоре (через два дня) мне прибыла повестка из управления тюрем и лагерей МВД, но вызывали меня не в управление МВД, а указывался адрес, показавшийся мне знакомым. И действительно, по странному совпадению учреждение это находилось совсем рядом с общежитием, в здании школы милиции, но вход со двора. Здесь бюро пропусков не было. Я просто вошел во двор (как мне объяснил дежурный школы милиции, куда я прежде, конечно, сунулся через главный вход), пошел со двора в подъезд, поднялся на второй этаж в комнату пятьдесят и протянул повестку пожилому майору в погонах с синими кантами.

— Садитесь, — сказал он мне.

— Спасибо, — ответил я.

— Жарко на улице? — спросил меня майор.

— Не очень, — ответил я.

— Пожалуй, дождь пойдет, — сказал майор, глянув в окно. — Как футбол, так дождь идет, — сказал он мне, явно пытаясь не дать умолкнуть бытовому разговору.

Я же, если ничем не озлоблен и не огорчен и если человек со мной доброжелательно говорит, не могу его оборвать и всегда иду ему в подобном пустопорожнем бытовом разговоре навстречу, хоть ощущаю натужность, неловкость, и выражается это в том, что я не смотрю человеку в глаза. Наоборот, если я ощущаю открытую вражду, то смотрю прямо и с ненавистью. В подобной же ситуации, когда человек мне неинтересен, явно чужд, но не враждебен, я всячески стараюсь говорить с ним мягко и по-доброму, однако при этом смотрю мимо его лица в сторону, словно стесняюсь своей лицемерной вежливости. Ныне, поддержав разговор о футболе, я даже взял инициативу на себя, высказав свои соображения по поводу игры известного форварда, что было уже излишним, рассказав какой-то анекдот, правда, не политического плана, и услышал, как майор рассмеялся (услышал, а не увидел. Оживленно говоря, я смотрел в стену, на майора лишь изредка мельком, причем вниз на сапоги).

В это время в комнату вошел кряжистый, широкоплечий подполковник.

— Это Цвибышев, — сказал ему майор, как-то быстро глянув на подполковника и вложив в этот взгляд некий смысл.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал подполковник (я встал, разглядывая футбольный график, который обнаружил на стене, и подполковник застал меня на ногах). — Так живете вы все время здесь, в этом городе? — спросил меня подполковник.

— Да, — ответил я, стараясь угадать, куда он клонит.

— А в войну где были?

— На Северном Кавказе, — ответил я, стараясь понять смысл его вопроса (смысла не было никакого, это стало ясно не далее, чем через минуту-другую. Просто подполковник создавал атмосферу непринужденности и отсутствия напряжения, прежде чем сообщить мне известие, но создавал, по-моему, не совсем правильно, поскольку его вопросы меня настораживали).

— Был на Северном Кавказе, — повторил я, — до немецкого наступления в сорок втором.

— Знаменитое немецкое наступление, — улыбнулся зачем-то подполковник.

Впоследствии анализируя, я пришел к выводу, что подполковник был новичок в секторе розыска реабилитированных и вел себя неточно.

Своим неточным поведением он и меня привел в состояние неловкости. Наступила пауза.

— Ну, приступим, — сказал наконец подполковник, — на ваш запрос мы получили ответ из места заключения... Согласно архивным данным, ваш отец, к сожалению, умер, — он быстро посмотрел на меня, не станет ли мне дурно и не вскрикну ли я от горя...

Человек, равнодушный к чужой беде, всегда умозрительно преувеличенно воспринимает чужие страдания... В данном же случае ситуация носила вовсе нелепый характер, ибо никакого страдания с моей стороны не было и быть не могло. В сущности, он сообщил мне о смерти чужого человека, которого я не помнил и не знал. Более того, я никогда и не мыслил своего отца живым и, как уже говорил, опасался этого... Встречи с реабилитированными укрепили меня в этом опасении. Чувство неловкости, которое вызвал во мне подполковник, топорно и грубо готовя меня к скорбной вести, после сообщения этой вести еще более усилилось. Неловкость и за подполковника, и за себя, за то, что мы оба стоим, опустив глаза, будучи пустыми в душе. Более того, самостоятельно я не стал бы подавать заявления в эту инстанцию и подал лишь потому, что в военной прокуратуре мне на нее указали. Был лишь один человек, который за эту инстанцию ухватился бы в первую очередь, который не стал бы ждать ответа, а выехал бы туда, на место заключения немедленно. Но этот человек сам давно был мертв, этим человеком была моя мать... Только эти два человека нужны были друг другу просто так, без всякого повода и в любом виде... Но оба они были мертвы, и потому оба в подлинном смысле и забыты... Навек исчезли их привычки, их слабости, их духовные и телесные подробности.

Впрочем, нельзя сказать, что я вышел из здания школы милиции совсем уж прежним и ничуть не изменившимся в душе... Нет, что-то осталось, что-то застряло внутри, однако, снова приняв привычные формы личного, своекорыстного, и от всего сохранился осадок личной неудовлетворенности и даже раздражения, ибо все это, как мне показалось, приобретало характер некой несерьезной игры. То, что люди в чинах, в специально созданных учреждениях занимаются этой игрой, и то, как подполковник готовил меня к скорбной вести, которая не могла меня взволновать, поскольку давно была известна и несомненна и поскольку покойный отец мой был мне чужим и незнакомым. И то, как я сам вынужден был, выслушав о смерти моего отца, вести себя, как на чужих похоронах, все это теперь, когда я вышел на жаркую улицу (день был жарким), показалось мне стыдным и оскорбительным. Чувство стыда и личного оскорбления особенно усилилось оттого, что я получил направление в загс, где мне должны были выдать удостоверение о смерти отца. Еще в детстве мне сказала мать, что отец мой умер, и вот теперь, в тридцать лет, мне сообщают это как новость и даже удостоверяют документом...

Меня направили в один из районных загсов неподалеку (буквально за три дома) от КГБ (очевидно, в том была какая-то связь, и родственникам погибших в разных местах заключения выдавали документы именно здесь). Вообще мое представление старого холостяка о загсе имело весьма специфическую окраску, с некоторым даже налетом юношеской неловкости, стыдливости и страха перед неизведанным. О загсе я никогда и не думал в связи со смертью, но именно в этой связи мне и пришлось впервые переступить его порог. Очевидно, этот жаркий полдень (было не менее тридцати градусов, асфальт стал мягким, а неподвижная листва, как чехлами, была покрыта горячей пылью), очевидно, этот полдень не способствовал свадьбам, и в загсе было пусто и тихо. Впрочем, несколько человек в вокзальных позах сидели в большой комнате, но не по-праздничному одеты, видно, для предварительной подачи заявлений. Я увидел это в открытую дверь, но туда не пошел, поскольку тут же в коридоре я узнал, что регистрация умерших у входа за боковой дверью. В комнате сидела за столом молодая женщина. Я протянул ей направление, и при этом мной овладело вновь крайнее чувство неловкости, в котором раздражение если и присутствовало, то нельзя сказать в малом, скорее в сжатом состоянии, как пружина.

— Вот, — сказал я тихо, — пришел приятную весть получать (вышло какое-то подобие глупой шутки).

— М-да, — коротко выразилась женщина, то ли по долгу службы сочувствуя мне, то ли просто находя неприличным оставить без ответа любое высказывание посетителя.

Вряд ли она мне действительно сочувствовала. Лица, обслуживающие подобные учреждения, относятся к скорби посетителей естественно и профессионально. Правда, перебирая картотеку, женщина несколько раз бросала на меня встревоженно-заинтересованный взгляд. Я отношу это к тому, что как раз на лице моем не было подобающей данному случаю скорби, а была скорее некая нервная неловкость и даже стыдливость. Наконец, женщина нашла карточку моего отца, вынула ее и принялась, заглядывая туда, писать на гербовом бланке свидетельство о смерти, заполняя стандартные графы: фамилия — Цвибышев, имя, отчество — Матвей Орестович... Графы национальность в свидетельстве о смерти не было. Было место смерти, дата смерти и причина смерти... Город Магадан, писала она, седьмого марта 1938 года. Причина смерти — паралич сердца. Она расписалась и поставила дату, приложила печать. Все дальнейшее происходило в полной тишине, лишь слышно было, как скрипит перо да за окном проносятся трамваи. Женщина промакнула написанное канцелярским пресс-папье и протянула мне свидетельство. Я взял, поднялся и, не прощаясь, вышел...

Итак, итог последних событий: отец достаточно легко и просто посмертно восстановлен в партии. Мать в партии не восстановили, поскольку она не была подвергнута прямым репрессиям, смерть ее у властей не могла вызвать чувства ответственности, и потому ее посмертное положение для меня было менее важно. Отец же был легко восстановлен посмертно в партии, и это вновь вселило в меня чувство уверенности и капризного какого-то утверждения своих прав, когда любое извинение за причиненные мне унижения кажется мне недостаточным и за свои унижения хочется тиранить постоянно власть (я говорю вновь, ибо подобное чувство уже возникало вначале, но после того, как военная прокуратура отказалась подтвердить документально генеральский чин отца и после окрика следователя Бодунова в мой адрес представление мое о собственных правах приобрело более скромный вид и нервы мои, расшалившиеся от капризного сознания невозможности извиниться передо мной, нервы мои даже успокоились). Однако посмертное восстановление отца в партии и сообщение о смерти отца (вернее, форма сообщения), которым, как мне показалось, представители МВД делают все, чтоб уменьшить мое негодование по поводу совершенных против меня несправедливостей, все это вновь расшатало мои нервы и привело меня в деятельное состояние, как вначале, при посещении мной районной и генеральной прокуратуры. Правда, тогда в состоянии моем было более детской радости, восторженности и благодушия, связанных с переходом от полного бесправия к правам, обеспечивающим мне (так я думал) блага и прямую дорогу в общество. Ныне же от полного бесправия я успел отвыкнуть и к тому же ожесточился, с одной стороны, препятствиями на пути к восстановлению прав, с другой стороны, ставшими мне известными некоторыми подробностями ареста отца, его разжалования, его смерти (формулировка «паралич сердца» меня особенно ожесточила). Поэтому на втором этапе самоутверждения мне требовалось не столько даже удовлетворения моих прав и нужд, сколько постоянного удовлетворения моего капризного ожесточения; требовались беспрерывные извинения передо мной, которые бы я отвергал. Именно в таком состоянии я и пошел в жилищную комиссию исполкома...

Исполком помещался в центре города на главной улице. Ранее, будучи бесправным, я проходил мимо него с невольной опаской. Сейчас же я поднялся по его широким ступеням, опять, как в первые дни, широко шагая и выпрямившись. Несколько сбили мне спесь (смешно сказать) обычные вращающиеся двери, с которыми я столкнулся впервые и в которых застрял, стараясь не приноравливаться к суетящимся вокруг людям, а держа свой темп и осанку... Наконец, несколько раз споткнувшись, очутившись в вестибюле и придя в себя (представьте, такая мелочь и неловкость может меня расстроить), я разузнал, где находится жилкомиссия (третий этаж). Тут я увидел большое число людей. Все складывалось совершенно не так, как я предполагал. Вряд ли это было похоже на место, где передо мной будут извиняться за искалеченную жизнь мою и моих

родителей. Слишком здесь было не по-либеральному делово. Тем не менее я не совсем потерял капризное свое ожесточение, которое старался поддержать и подкрепить нервной прямой размашистой походкой. Подойдя к деревянным перегородкам, у которых толпился народ, я протянул какой-то женщине (перед ней было посвободнее) мои бумаги.

— В чем дело? — спросила она, подняв на меня глаза.

— Куда мне обратиться, — сухо, чтоб показать себя не просителем, а человеком с правами, сказал я, — мне надо узнать насчет порядка возвращения жилплощади реабилитированным.

— Ничего вам не вернут, — сказала она, разглядывая меня с насмешливой неприязнью и не беря бумаги, — и нечего вам здесь делать (замечу, это она перегибала, выказывала не точку зрения учреждения, которую не знала, будучи мелким канцеляристом, а собственную личную ненависть к людям подобного рода).

— Как так, — крикнул я, — моего отца арестовали и угробили!

— Я его не арестовывала, — сказала женщина с неприязнью, в которой против моего ожесточения сквозило контр-ожесточение.

Эта женщина, судя по всему, была, как я уже заметил, низкооплачиваемый кадровый работник исполкома, конечно, любящая Сталина совершенно бескорыстно (она и при Сталине занимала, очевидно, эту низкооплачиваемую должность). Именно благодаря своему низовому положению она не видела необходимости скрывать свои чувства к новым веяниям... Я ее обругал, она мне ответила, ничуть не уступая. На нас начали обращать внимание. Я отошел, но, как ни странно, капризное мое ожесточение уменьшилось после этой перепалки, ибо этот род нервной энергии растет как раз по мере отсутствия сопротивления.

В двери непосредственно жилищной комиссии мне вряд ли удалось бы прорваться, я это понимал и потому, пойдя по коридору, просто открыл одну из дверей, на которой было написано: А. Ф. Корнева. В светлом кабинете с шелковыми шторами на окнах сидела женщина административно-руководящего вида с наличием в одежде мужского элемента: в синем с белой полосой костюме, сшитом наподобие мужского пиджака, но приталенном и с выпущенным поверх костюма отложным воротником. Лицо женщины было миловидно, похоже она лишь недавно начала полнеть и находилась в той стадии, когда полнота еще не уродует черты, а наоборот, подчеркивает мягкость и женственность. На полном пальце женщины (А. Ф. Корневой) было толстое, консервативное обручальное кольцо. Женское начало, которое еще более подчеркивалось попытками скрыть его мужским элементом и тем самым придать себе государственный вид, женское начало вселило в меня вновь надежду найти удовлетворение своему капризному ожесточению и предъявлять требования, слыша в ответ утоворы и мягкие советы.

— Садитесь, товарищ, — сказала мне А. Ф. Корнева, — вы по какому вопросу?

Я протянул ей бумаги, которые она начала внимательно читать.

— До ареста отца, — сказал я с капризным своим озлоблением, — мы жили по улице Новой.

— Ну что ж, — сказала мне А. Ф. Корнева, — а теперь там живут другие советские люди... Вам сколько лет? — не дав мне опомниться, размашисто и резко перевела она разговор в другую плоскость.

— Скоро тридцать, — растерянно ответил я.

— Вот видите, — сказала Корнева, — как бы там ни было, вы живы, здоровы, одеты... Конечно, учились, государство затрачивало на вас средства, а вы приходите с какими-то требованиями...

Я собрал бумаги и вышел, не сказав ей ни слова. Прежней своей бесправной походкой торопливо покинул я это учреждение. Я понял, что лишь рядом с карательными органами, принимавшими непосредственное участие в расправе над родителями, я имею сегодня какие-то права и, лишь общаясь с ними, могу что-то требовать. Далее за этой тонкой перегородкой простирается плотная масса государственных учреждений и частных лиц, перед которыми мое положение отщепенца осталось неизменным, которые не считают себя ничем мне обязанными, отвергают мои притязания и не желают расплачиваться даже условно с помощью добрых слов и бумажек, как платят карательные органы. И я понял, что должен

бороться за свое бытовое устройство и за возмещение мне морального ущерба путем постоянных требований исключительно в сфере карательных органов, с которыми связан чем-то вроде семейных уз в результате непосредственного участия их по долгу службы в расправе над нашей семьей. То есть с карательными органами я был связан их непосредственными действиями по отношению к нашей семье, и потому исключительно в среде этих органов имею право на своего рода семейные скандалы. Все же остальные учреждения не считают себя передо мной виноватыми, ни в чем мне не обязанными, и потому я перед ними по-прежнему бесправен. Так, проанализировав свои ошибки, я определил дальнейший план действий.

На следующий же день я явился в Комитет Государственной Безопасности. На сей раз сотрудник, занимающийся моим делом, где-то отсутствовал (следовало предварительно созвониться, чего я не сделал). Итак сотрудник отсутствовал, за него ответила женщина и, узнав мою фамилию, после паузы, очевидно, куда-то заглянув или у кого-то справившись, велела мне подождать. Пришлось сидеть довольно долго, почти сорок минут, снова среди сытых, устроенных людей, хлопотавших о поездке за границу. Я пытался было ждать сотрудника на улице, поскольку ныне знал его в лицо и знал, что он должен выйти из противоположного, стоящего через дорогу здания. Но по сравнению со вчерашним жарким днем погода резко переменилась. Уже с утра небо было обложено тучами, теперь же, к полудню, пошел дождь, подул ветер и похолодало. Если осенью и весной я воспринимаю дождь и холод естественно и спокойно, была б только хорошая теплая одежда и непромокаемая обувь, то летнее ненастье я всегда воспринимаю с раздражением и обидой как вопиющую несправедливость, особенно для человека, ограниченного в средствах, поскольку летнее тепло дает возможность, помимо всего прочего, поправить внешний вид загаром, покрыв бледность от плохого питания, да плюс недорогая, но яркой расцветки ковбойка с закатанными рукавами. В ненастье же надо носить что-либо поплотней, а что поплотней, то и подороже. Потому тут меньше возможностей на обновку, приходится носить старое, и в ненастье я всегда хуже выгляжу, чем в теплую погоду... Вот почему летнее ненастье я особенно не люблю, и у меня всегда портится при этом настроение. Причем раздражение мое, я сам это осознаю, нелепо и бессильно, а потому особенно ядовито... В Бога я не верю, но в такие дни начинаю его в душе проклинать и, не имея точки приложения своему раздражению, начинаю себя тиранить, вспоминаю свои проступки и просчеты, а к окружающим отношусь со злостью. Дело доходило до того, что даже при прежнем моем бесправии, если летнее ненастье удерживалось долго, то раздражение мое иногда достигало такой силы, что создавало какую-то иллюзию права и собственного достоинства. Был случай, когда я надерзил и крикнул на начальника производственного отдела Юницкого, причем в ответ на какую-то совсем незначительную обиду (весь август тогда был холодным и дождливым, прямо перейдя в осень). Правда, крикнув, я тут же испугался лишиться места (дело происходило год назад, когда отношения с Михайловым уже были натянуты). Но, к счастью, Юницкий воспринял мой крик не всерьез, и тогда все обошлось... Ныне же я, с одной стороны, ощутил права, с другой же стороны, не далее, чем вчера, понял, что права эти весьма локальны и распространяются лишь в пределах учреждений карательных органов, где я имею возможность требовать и раздражаться и потому могу освободиться от напора нервной энергии. Совокупность и совпадение всех этих чувств и понятий привели меня сейчас в особо возбужденное и капризное состояние. Так что в дальнейших моих взаимоотношениях с сотрудником КГБ никакого особого перелома в моем состоянии не произошло, поскольку оно и до того было достаточно взвинченным. Произошло лишь усиление этого моего состояния, получившего конкретное направление и точку приложения.

Сотрудник явился в плаще, в фетровой шляпе и с портфелем. Для начала я хотел съязвить что-либо о моем долгом ожидании и что во время ареста отца они действовали проворнее (острота глупая). Я это осознал, поскольку предварительно не созвонился и сам же был виноват. Мы опять прошли в комнатушку при приемной бюро пропусков, которую сотрудник открыл своим ключом и пропустил меня вперед. Пока он снимал плащ

и шляпу, пока вешал на один из обыкновенных гвоздей, вбитых в стену (вешалки здесь не было и вообще ничего, кроме стола и двух стульев), пока сотрудник раздевался, я применил мой жест независимости, чтоб именно с этих позиций начать разговор: то есть самостоятельно, без приглашения взял стул, с грохотом передвинул его и сел, развалившись, положив нога на ногу. Сотрудник, не обратив на это внимания (или сделав вид, что не обращает на это внимания), также уселся к столу, но потише и не с таким грохотом, затем раскрыл портфель, вытер носовым платком мокрые от дождя пальцы и вынул из портфеля папку.

— Значит так, Цвибышев, — сказал он, — приступим... Мы внимательно ознакомились с документами, касающимися ареста вашего отца. Реестр конфискованного имущества мы не обнаружили. Более того, в приговоре суда нет формулировки: «С конфискацией имущества»... А лишь это и реестр может служить основанием для выплаты компенсации.

— То есть как это не указано, — крикнул я, от такого неожиданно быстрого и делового итога теряя на время капризное свое озлобление и приходя в растерянность, — то есть как нет реестра?.. А куда же девалось наше имущество?..

— Не знаю, — сказал сотрудник, — могу лишь предположить, что ваш отец, поскольку он занимал государственный пост, имел государственное имущество... Тем более, что в наш город он прибыл из Москвы в 1929 году и поселился в доме ответработников по улице Новая... А там, как правило, квартиры были меблированы.

— Какие квартиры, — крикнул я, — я вчера был в исполкоме насчет нашей квартиры... Со мной разговаривали грубо... Да... (не дело говорил я. Не по существу и не дело, но интересно, что, осознавая нелепость своих слов, я продолжал вести разговор именно в ложном направлении, может, для того, чтоб выиграть время, прийти в себя и обдумать, как поступить дальше при подобном повороте событий). Какая-то женщина, — говорил я, — сказала мне, что там теперь живут другие советские люди, а я ничего не должен требовать, поскольку одет, обут и жив...

— А что ж, вы должны были помереть, что ли, — сказал, принимая в этом вопросе мою сторону сотрудник КГБ, впрочем, возможно, чтоб меня утихомирить, — она не права...

— Ее фамилия Корнева, я запомнил, — крикнул я, тут же замолкнув, поскольку, учитывая характер учреждения, жалоба моя была похожа на донос, но то, что сотрудник КГБ мне посочувствовал, вновь возбудило капризное мое озлобление, и я сказал, — вот вы называете моего отца ответработником... А справку мне выдали, что он плановик термосного завода. И денежную компенсацию я получил таким образом... Но ведь это несправедливо...

— Это дело военной прокуратуры, — сказал сотрудник, — но, действительно, отец ваш был комкор... Вы помните, при первой нашей встрече я спросил вас о матери... Меня удивило, что она не была арестована вместе с мужем, как в те времена поступали... Конечно, несправедливо, — добавил он. — Скажите, Цвибышев, после ареста отца вы с матерью продолжали жить в этом городе?

Я задумался. Дальнейшие события мне были известны. Мать моя, бросив квартиру и все имущество на произвол судьбы, взяв с собой только самое необходимое, просто вместе со мной скрылась, причем с чужим паспортом, который ей удалось раздобыть, не знаю, каким путем. Будучи опытным конспиратором, имея за спиной несколько лет подполья во время петлюровщины и польской пилсудчины, она фактически на нелегальном положении провела два года, пока царило полное беззаконие. Когда был снят Ежов, кое-кто из второстепенных лиц был выпущен из тюрем, появились несколько статей, где, наряду с требованием бдительности и борьбы с врагами, критиковались и перегибы. Более того, говорилось, что в органы НКВД удалось проникнуть кучке врагов народа, которые вершили расправу над честными патриотами. Было приведено в подтверждение этого несколько конкретных примеров и названы фамилии. Был, например, указан случай, когда некоего учителя истории арестовали только за то, что он заявил, будто не все русские цари были деспотами, а имелись среди них и прогрессивные в историческом смысле личности... Историка этого не только выпустили, но и восстановили в партии.

Именно в этой обстановке мать моя решила ехать к Сталину. Сталин мать не принял, но наложил резолюцию, на основании которой ее принял лично Берия. Надежды матери на снисхождение не оправдались (отец к тому времени был уже мертв более года, это я знаю теперь, но мать моя тогда этого не знала). Ей сообщили, что он был вторично судим и получил еще десять лет к прежним пяти... Кстати, эти сведения о вторичной судимости при реабилитации нигде не упоминались и напрочь отсутствовали. Хоть документально они ничем не были подтверждены, матери сообщены устно и потом переданы мне теткой, я решил попробовать именно за них и уцепиться. Честно говоря, подавая заявление о компенсации, я знал о возможности возникновения подобной ситуации, поскольку мне было известно о бегстве моей матери и оставлении квартиры на произвол судьбы. Поэтому я так тщательно распределял, зайдя в туалет, средства, полученные мной на термосном заводе, словно богатой компенсации за имущество и не существует, либо существует в отдаленном будущем после долгой борьбы. Я решил взять напором, писанием бумаг в разные инстанции, расчетом на чувство вины передо мной, которую попытаются хоть частично компенсировать, избежав формальностей и изыскав средства. Но я ошибался и был наивен. Причем дело не в каких-то моих отдельных срывах и неумных высказываниях. Как раз далее я вел себя достаточно точно, изложив версию отъезда матери, как и следует, умолчав о ненужном либо невыгодном, и вторичный суд над отцом также подав своевременно и умело, придав ему характер весьма убедительного правдоподобия, хоть и не подтвержденного с моей стороны документами. Но чем убедительней я говорил, тем яснее понимал сам, что аргументы мои годятся в лучшем случае для выражения мне сочувствия, но не для выплаты серьезной денежной суммы. Сотрудник КГБ так и сказал.

— Я сам могу посочувствовать от себя лично, но у меня нет абсолютно никаких оснований, при всем желании, помочь вам... Министерство финансов попросту вернет нам такой документ.

Семья наша была разорена, имущество безвозмездно расхищено, я лишен собственного угла... Это был факт... Но был также и факт, что мать моя сама ночью сбежала вместе со мной, бросив квартиру и имущество на произвол судьбы... Если б она не сбежала и была бы арестована, то невзирая на отсутствие формулировки суда «с конфискацией имущества», поскольку я был несовершеннолетним и других членов семьи не имелось, был бы составлен реестр описи имущества, который ныне послужил бы основанием для компенсации. Такова логика событий в прошлом и мыслей моих на стуле перед сотрудником.

— Хорошо, — сказал я, глядя исподлобья, — по этому вопросу я напишу в самые высшие инстанции.

— Буду искренне рад, если вам удастся чего-либо добиться, — сказал сотрудник КГБ, — но сомневаюсь...

— Хорошо, — повторил я, — а в смысле квартиры... Через кого и как мне действовать?.. Через вас или через МВД?

— Получают через нас, — сказал сотрудник, — мы даем направление в исполком... Но в данном случае для такого направления также нет оснований.

— То есть как! — вскричал я.

— Право на получение жилплощади, — говорил сотрудник, — имеют либо сами реабилитированные, либо те из членов их семьи, которые в момент ареста были взрослыми и находились на их иждивении... Например, жена, родители... Вот ваша мать имела бы право, вы же были ребенком... Ведь вас кто-то воспитывал... Фактически вы перешли на иждивение других людей...

— Значит, — крикнул я, — вина моя в том, что мать моя умерла... Ваши законы построены так, что сироты имеют меньше прав, чем те, у кого есть родители... Если б жива была моя мать, я бы получил квартиру, а так я должен валяться без места... Палачи, — крикнул я, — во времена Сталина вы пили нашу кровь!.. Что изменилось!.. Вы дали мне кучу лицемерных бумажек... Заплатили за смерть отца двухмесячной зарплатой плановика... Что это за срок такой и кто его придумал?.. Душить вас надо, вот что... Убийцы...

Со мной сделалось что-то вроде припадка и главным образом не столько от сознания несправедливости, сколько от сознания того, что я опять возвращаюсь к проблеме койко-места. Меня трясло как в лихорадке, лоб покрыт был холодной испариной. Я сжал кулаки и крикнул:

— Всех вас на ж... сажать, как вы нас сажали...

Меня жгло и терзало под сердцем, и мне нужна была какая-то необычная резкость, чтоб как-то успокоить себя, тем более, что сотрудник КГБ молчал, спокойно, но твердо, по-новому твердо глядя на меня, молчал он, очевидно, и потому, что ему не впервой были припадки реабилитированных. Должен сказать, что этим «сажанием» я не успокоился. Может, оборви меня сотрудник какой-нибудь репликой, я бы пришел в себя, но он молчал (теперь я понимаю, что специально, тогда же думал, что от растерянности), и это молчание, понимаемое мной как его растерянность и слабость, довело мое озлобление до такого состояния, что я полностью потерял над собой контроль, высказал несколько антиправительственных и антисоветских мыслей и показал сотруднику КГБ кукиш. Кукиш чуть поправил положение, поскольку перевел мои антисоветские высказывания в плоскость нервно-истерическую, а не идейно целенаправленную. Тем не менее после этих прямых антисоветских высказываний я обмяк, притих, расшалившиеся нервы мои успокоились, и я пошел на попятную... Как я понимаю теперь, сделать это даже после всего случившегося можно было просто и достойно, добившись того же результата, то есть молча закрыть глаза ладонью и, посидев так, сказать хрипло (тут мне не надо было притворяться, ибо я криком сорвал горло), сказать хрипло, что я устал и в нервном припадке говорил какую-то ерунду... Я же не нашел ничего лучшего, чем для того, чтоб перекрыть свои антисоветские высказывания, заявить о своей гордости и радости по поводу восстановления посмертно отца в партии. Получилось не совсем логично и совсем уж нелепо... Сотрудник КГБ встал, подошел к окну, достал за шторой графин, налил воды в стакан и подал мне. Я жадно выпил, даже не поблагодарив. В пустой этой комнатенке графин со стаканом находились, наверно, специально для подобных случаев. У меня сильно болела голова, мучила жажда. Я встал и, сам подойдя, налил себе второй стакан, а затем, выпив, подряд третий.

— Вы просили фотографию отца,— сказал сотрудник (твердый взгляд его несколько смягчился),— возьмите,— он протянул мне красную книжечку...

Это был старый пропуск в здание республиканского ЦК партии, очевидно, конфискованный еще до ареста, при разжаловании... Датирован он был тридцать шестым годом. Я глянул мельком на фотографию незнакомого светловолосого человека в гимнастерке, перетянутой ремнями, но совершенно не ощутил, что это мой отец... Как я уже говорил, в каждом деле есть свои удачники и свои неудачники. То, что отца моего первоначально сочли виновным не по самой серьезной статье и не сразу расстреляли, а лишь разжаловали первоначально, послужило поводом оставить это разжалование в силе. То, что моей матери удалось скрыться и спастись от ареста, послужило поводом к тому, чтоб не компенсировать наше пропавшее имущество, а то, что мать умерла, послужило поводом, чтоб не предоставить мне жилплощадь. Так думал я, идя по улице без цели, не замечая ненастья... Мутно у меня было внутри, но в тот же вечер этого ужасного дня впервые произошло событие, которое во многом определило мои дальнейшие действия, и в том опасном для моей жизни хаосе, в коем я пребывал, даже наметились новые пути.

В тот вечер я впервые избил человека... Если вспомнить, у меня и ранее были подобные поползновения, когда становилось невмоготу терпеть обиды. Однако оканчивалось это тем, что били меня... И надо сказать, каковы бы ни были срывы и разочарования, в общем реабилитация не прошла даром. Человек, которого я избил, был каким-то мелким пьянчужкой, который пристал ко мне в безлюдном сквере, возможно, первоначально не с агрессивными, а с благодушными намерениями. Я вступил было с ним в разговор, чтоб не разозлить и постепенно отделаться. Обычно говорить с такими людьми трудно, почти как с животными, не известно, что у него щелкнет в мозгу и как он среагирует. И точно, вдруг совершенно без повода он схватил меня одной рукой сзади за штаны, другой за ворот, пытаясь поволочь таким образом и говоря, что так водит милиция... Я вырвался и, не сдержавшись, толкнул его в грудь. Он радостно как-то взмахнул кулаком, целя мне в лицо. Я увернулся умело, но главным образом от испуга. От испуга же, отмахнувшись, я попал ему в глаз. Пьянчуга, видно, был опытный боец в пивных и подворотнях, но в этот раз ничего у него не получалось. Любой его удар шел мимо меня, мои же достигали цели. Удача в этот раз сопутствовала мне полностью, а когда я увидел, что он уже меня боится, то радостное какое-то вдохновение овладело мной, много раз битым. Это было похоже на творчество. Я применял приемы, о которых ранее не имел представления, и они удавались мне вполне. Так я нанес удар ему коленом в лицо снизу в тот момент, когда он пытался ударить меня головой в солнечное сплетение, то есть лишить меня сознания, и в бессознательном состоянии избить ногами (так били одного возле общежития). Но я удачно нашел противоядие и, удерживая врага своего за плечи, вторично припечатал его нос и губы коленом. Он упал, прикрывая голову руками, ожидая в таком бессильном передо мной положении новых ударов, как нечто само собой разумеющееся. Я не стал его больше бить (о чем через некоторое время пожалел. Надо было еще раза два ударить его ногой). Я не стал его больше бить, а лишь сказал, то ли утверждая, то ли делая для себя открытие:

— Вот как, оказывается, с вами жить надо... Сталинские твари... (последняя реплика, чтоб укрупнить событие).

И эти, сказанные экспромтом, в сердцах фразы, фактически были формулировкой моей новой идеологии... Из сквера я вышел широким шагом, сильно выпрямившись и с той особой твердостью во взгляде, какую заметил у сотрудника КГБ.

* * *

Во время реабилитации жизнь общежития, деятельность администрации и взаимоотношения жильцов между собой, а также жильцов со мной совершенно для меня поблекли и потеряли интерес, ибо и ранее они воспринимались мной исключительно с точки зрения койко-места, то есть как то или иное событие, тот или иной представитель администрации, или тот или иной жилец способствуют, либо препятствуют закреплению за мной моего койко-места. Реабилитация пробудила во мне, человеке впечатлительном и в то же время расчетливом, весьма значительные надежды, в свете которых я даже с другом своим Григоренко видеться перестал (он заходил справляться обо мне, это сообщил мне Саламов). Правда, реабилитация отнимала у меня всю эмоциональную энергию, всю мою душу и все время (я уходил утром и приходил поздно ночью). Ныне, когда реабилитация кончилась, не выведя меня отсюда и не придав моему бытовому существованию прочности, я снова оказался на своем койко-месте и перед лицом прежних проблем. Но суть нынешнего положения состояла в том, что реабилитация не изменила моих даже самых насущных проблем, но совершенно изменила меня. Вот причина, по которой организм мой, потеряв совершенно прежнюю приспособляемость к обстоятельствам и среде (грубо говоря, расчетливую покорность), приспособляемость, разрушенную реабилитацией и надеждами и совершенно новым чувством (грубо говоря, человеческим достоинством, идущим часто вразрез с телесной устойчивостью), организм мой начал существовать за счет огромных нервных затрат (последнее, что может предложить человеку инстинкт самосохранения). Если в период реабилитации натура моя претерпела множество изменений, взлетов, завихрений, падений, то в новый свой период я вступал с однозначным и душевно цельным состоянием, как человек, нечто для себя решивший. Я говорю «нечто», ибо если бы меня спросили, что именно я для себя решил, то, думаю, затруднился бы ответить. Всякий раз, когда человек разбужен и возбужден чрезмерными надеждами, он, дабы неизбежные разочарования не разрушили его жизнь, в конечном итоге тяготеет к простоте, то есть к крайности. Крайность же всегда лишена логики и несет в себе мифологическое начало. Впервые сильно и умело избив человека, я утратил беспричинный страх перед обществом, который постоянно надо мной тяготел (именно этот беспричинный страх перед обществом лежал в самой основе и являлся толчком ко всякому страху.

имеющему причины: перед начальством, перед покровителем, перед улицей и т. д.). Я вступил на путь, старый, как мир, но всякий раз новый для каждой конкретной судьбы (подобно чувству любви). К тому ж личные мои качества и личные обстоятельства моей жизни придали этому моему пути особую неповторимость...

Итак, придя в тот вечер после избиения мной человека и по-новому как-то сидя на своем койко-месте, осмотрев свою комнату и ее жильцов (жильцы этого нового во мне явно не заметили, что стало ясно из дальнейшего), осмотрев все это минут в десять, не более, я вскоре улегся спать и спал спокойно и хорошо, но утром проснулся в ярости. Ничего такого особенно дурного мне не снилось и ничего дурного не произошло, наоборот, судя по солнцу, залившему комнату, ненастье кончилось и вновь воцарилось лето. Тем не менее (а может, именно потому, впоследствии подобная ярость нередко посещала меня, именно когда я видел нечто приятное, даже приятные природные виды и явления), тем не менее какая-то ярость застыла как аршин в моем теле, сжимая виски, горло и давя на грудь. Ранее, в период реабилитации и надежд, моя капризная озлобленность искала контакта с человеческим участием, с чьей-то душевной мягкостью, с чьим-то раскаянием по поводу нанесенных мне обид. Ныне, когда общество (в лице следователя военной прокуратуры Бодунова, сотрудника КГБ, работника исполкома А. Ф. Корневой и т. д.) отвергло мои притязания судьи, признав их необоснованными, я не искал более контакта, а моя капризная ярость искала удовлетворения лишь в постоянной расплате. У меня постоянно торчала в груди, как игла, капризная ярость, но иногда она поднималась до предела, до приступа, голова становилась горячей, затруднялось дыхание и после долго болели виски, а ночью я вдруг просыпался от сердечной боли... Очень скоро такое состояние сказалось и в действиях... Проведя весь следующий день на улице, в движении (благо установилась хорошая погода), я уже по своей инициативе (напоминаю, избитый мной пьянчужка пристал ко мне первый), я уже сам сцепился с несколькими прохожими, употребляя в перебранке политические обвинения («сталинские палачи», «вонючие сталинисты», «все вы пили нашу кровь», «подохнете, как подох ваш вождь» и т. д.). В первой половине дня, когда приступ ярости был особенно силен, я действовал довольно бессистемно, наскакивая на первых встречных, большей частью людей случайных. Однако несколько успокоившись, посидев на скамейке, затем перекусив в кафе сосисками с макаронами, стаканом кефира, я начал действовать более изобретательно, и в моих действиях наметились первые элементы организации: так, перед воротами районной теплоэлектроцентрали я заметил человека в гимнастерке из военизированной охраны, явно из бывших сталинских палачей, ушедших в тень на теплые местечки... Я подошел и нарочно, войдя за ограду, где было написано «посторонним вход воспрещен», запрокинув голову, принялся рассматривать высокие башни-отстойники, с которых с шумом стекала вода, так что если прикрыть глаза, несмотря на жару, создавалось впечатление дождя и становилось прохладнее. Я увлекся и едва не забыл о своих политических намерениях. К счастью, меня окликнул стрелок военизированной охраны (на что я первоначально и рассчитывал).

— Вы что здесь делаете, молодой человек? — спросил он.

— Стою, — с радостью рыбака, у которого клюнуло, ответил я, — я живу в свободной стране и согласно конституции имею право стоять где угодно.

— А ну-ка пройдем, — сказал мне стрелок, у которого до этих моих высказываний было явное желание просто меня выругать и прогнать.

— Пожалуйста, — сказал я, — можно и пройти.

— Документы у тебя есть какие-нибудь?

— Никаких... Паспорт есть и все...

— Так паспорт это ведь хороший документ, — явно наслаждаясь властью, говорил стрелок (я умышленно давал ему возможность, чтоб нанести удар повнезапней).

Стрелок подвел меня к человеку в гимнастерке, тому самому «сталинскому палачу».

— Вот, — сказал он, — Петр Петрович, этот хотел через забор перелезть, — и протянул ему мой паспорт.

Но сталинист этот, в гимнастерке, глянув на мой паспорт, сказал стрелку, пренебрежительно махнув рукой:

— Отдайте ему паспорт и пусть идет.

— Бериевская порода, — раздосадованно крикнул я ему. — Это тебе не прошлые времена...

Меня вытолкали. Вступать в драку с вооруженной охраной было глупо, но все-таки через несколько кварталов я пожалел, что не кинулся с кулаками. Как ненавидел я все вокруг, можно судить по тому, что когда какой-то пожилой гражданин, споткнувшись о камень, упал, я искренне обрадовался. Впрочем, пример недостаточно точен, поскольку невольные улыбки были на лицах многих прохожих. Зато другой пример, пусть менее заметен, но более удачен. Какая-то старушка выронила из кармана носовой платок. Платок грошовый, и прежде я не преминул бы окликнуть старушку, чтоб получить удовольствие от своей честности (кошельки я в таких случаях, по бедности, не возвращал. За три года мне дважды удалось подобрать оброненные бесхозные кошельки, правда, с незначительными суммами, а третий раз мне удалось просто найти у прилавка в магазине также с мелкой суммой. Из этого я заключил, что богатые люди кошельков не теряют). Итак, в прежние времена я обязательно окликнул бы старушку и подал бы ей платок. Ныне же я, наоборот, как бы невзначай наступил на платок ногой и отбросил его в канаву...

Позднее в больнице со мной лежал один старичок. Старичок этот много и часто плакал по любому почти поводу, вызывая смех в палате и у обслуживающего персонала. Слушая меня, он расстраивался совершенно (причем большинство из того, что мне было неприятно, я ведь утаивал).

— Бедненький ты грешный Георгий (его тоже ввело в заблуждение имя, поскольку я отрекомендовался «Гоша»), горечь ты божья, — говорил старичок и все порывался меня по лицу погладить своими холодными руками (от него, разумеется, несло мертвечиной, запахом, меня преследующим последнее время).

Я всячески отстранялся и даже обещал себе с ним более не заговаривать, однако скука была безумная, а этот старичок, единственный в палате, ко мне льнул, и мне кажется, чуть ли не полюбил. Я выбирал из воспоминаний места не тяжелые, действительно страшные, случившиеся позднее. Выбирал я места просто бытовые, даже веселые — разумеется, кажущиеся веселыми по прошествии времени, тогда же, в момент свершения, они отняли у меня немало нервов и сил. Например, рассказал я старичку о моей драке с Береговым, случившейся, кстати, именно в первый же вечер того дня, когда я проснулся в новом качестве, с застывшей капризной яростью в груди... Пашка Береговой, бывший мой приятель, а позднее главный мой гонитель в комнате, был парень довольно сильный и насчет того, чтоб по морде, долго не раздумывал и не колебался. Совсем недавно он на глазах всей комнаты побил Саламова за то, что тот в комнатной жестяной кружке для питья, во-первых, топил свиное сало, а во-вторых, оставил ее грязной с застывшими, обуглившимися шкварками и закопченной... Оттянули Берегового Жуков с Петровым после того, как Саламову здорово досталось, и Саламов от Пашкиного удара закричал по-заячьи, точно так, как кричал Николка, когда Пашка его порол. Я не стал вмешиваться, поскольку до того Саламов, по наущению Жукова, которому как раз тогда я не отдавал долг, перестал со мной разговаривать, и вообще поскольку положение мое в комнате было сложное... Так вот Береговой после расправы над Саламовым настолько почувствовал себя хозяином положения, настолько вознесся, что проглядел те изменения, которые произошли во мне за период реабилитации. А между тем они были заметны в чисто внешнем поведении, хотя бы даже в том, как я вхожу в комнату, широко и резко распахнув дверь. В тот вечер, будучи уже раздетым (из этого следует, что к драке я все ж не готовился, и запланирована она мной не была, иначе б не разделся. Без штанов и, особенно, без обуви я чувствую себя намного физически слабее и беспомощнее. Я рассчитывал поставить на место Берегового, особенно теперь, поверив в свои силы после избиения пьянчужки, но думал это сделать не сегодня, ибо за день, полный нервной траты и столкновений, здорово устал)... Итак, будучи разде-

тым, я подошел и выключил радио. У нас в комнате существовал негласный компромиссный договор: всю неделю я терплю радио, засыпаю глубокой ночью, поскольку Береговой мотивирует это необходимостью рано вставать. Радио ему требуется для побудки. Но под воскресенья я радио выключал. Так оно и было. Сейчас же вдруг Береговой взъерепенился. Может, оттого, что я выключил чересчур демонстративно, что уязвило его поползновение быть хозяином комнаты.

— А ну включи, — сказал он жестко.

Получилось характер на характер... Мы сцепились как-то совершенно неожиданно, причем по моей инициативе, и дрались среди коек в майках и трусах... И снова у меня все получалось... Я уклонился от ударов Пашкиных тяжелых кулаков (чуть-чуть он зацепил меня по руке), к Пашке же я применил экспромтом найденный мной прием, который, очевидно, становился моим традиционным (на этом, недавно избранном поприще у меня уже появились традиции). Традиция же была — коленом в лицо... Причем голым моим костлявым коленом получилось еще эффективней, ибо материя моих брюк не смягчала удар в Пашкино лицо. Береговой упал в промежуток между койками, залитый кровью из его разбитого носа и губ и дополнительно ударившись головой о тумбочку. Правда, он тут же вскочил с криком: «Я тебя зарежу, сука», но Жуков с Петровым схватили Берегового за руки, Саламов стал передо мной, а пожилой жилец Кулинич сказал рассудительно:

— Ладно вам, ребята, драться... Помиритесь, и завтра пол-литра раздавите...

Берегового увели в умывальник. Я с гордостью видел, что его шатает. Вскоре Береговой вернулся умытый и притихший, с ваткой в носу... Я не ложился долго, ожидая броска с его стороны. Лишь когда он захрапел, я тоже улегся, предварительно положив под подушку старый замок от тумбочки, чтобы при необходимости усилить им ответный удар. Спал я плохо, беспрерывно просыпался и лишь сунув руку под подушку, нащупав замок с довольно острыми краями, успокаивался.

Когда я рассказывал нечто подобное (у меня было несколько подобных комических случаев), когда я рассказывал, старичок, мой сосед по больничной палате, так сильно плакал, что в конце концов другие больные мной возмущались и вызывали медсестру, которая делала старичку укол... Меня же старичок все жалел и хотел погладить по лицу (вот где беда). У старичка этого под матрацем были какие-то бумаги, старые и засаленные, которые он часто читал про себя, шевеля губами. Бумаги эти он никому не показывал, очевидно, боясь насмешки, да я и не стремился, не сомневаясь, что это какая-то дрянь и глупость. Но однажды, долго раздумывая и пребывая в молчании, он все-таки протянул мне несколько листков, попросив прочитать. Как я и предполагал, это были написанные печатными буквами безграмотные вирши религиозного содержания (между прочим, говорят, ранее старичок этот был дурным человеком. Хоть и не пил, но избивал старуху свою страшно и чуть ли не по его вине она умерла. Откуда это стало известно больным нашей палаты, не знаю. Может, старичок сам как-то и поделился в раскаянии). Так вот, это были религиозные вирши... Вообще отношение мое к религии всегда было самое насмешливое. В церкви я бывал несколько раз из любопытства. Ощущение осталось двоякое... Откровенно говоря, мне в церкви немного страшновато от позолоты икон и свечей... И одновременно почему-то смешно, как бывает, когда человека всерьез обманывают и верят, что обманули, а он сам знает, что это обман и только делает вид, что обманут. Но главное, почему я в церкви даже из любопытства более не захожу — это запах. Уже даже не засушенной мертвечиной несет, не кладбищем, а просто сладковатыми трупами недавно умерших... Прочитав безграмотные вирши старичка, я еще раз в том убедился, но от больничной скуки и для того, чтобы себя потешить, я эти вирши запомнил... Люблю читать стихи графоманов. Отсутствие мастерства придает им неповторимость, и в каждой строке живые черты автора, как в гениальных сочинениях... В то же время опьяняющий элемент творчества не дает благоразумию и рассудку скрыть неповторимую человеческую свою глупость. В данном же случае удовольствие еще более усилилось религиозным содержанием, которое само по себе достойно насмешки. Вот эти стихи старичка, приведенные мной с исправлением множества грамматических ошибок: «Вам племена, языки и народы ход всех событий Господь предсказал. Время назначив и точные годы и чрез пророков своих написав. Солнца, луны уж затмение было. Также падение сильное звезд. Все и в природе поникло уныло, как предсказал нам об этом Христос. Сильно болезни повсюду развились. Бедствия, ужас всех в мире страшат. Грозные бури морей участились. Страшный день гнева Господня спешит. Дверь благовестья повсюду открыта. Запечатление спешно идет. Род не пройдет сей, как все совершится. И наш Спаситель во славе придет. Грешники, к Богу скорей поспешите. Скоро он дверь благодати запрет. Милость и славу его вы примите. Он ведь все это вам даром дает. Божие дети, главы вы склоните. День избавления скоро грядет. Дело Господне окончить спешите, он вам за это награду несет».

Взаимоотношения мои со старичком происходили гораздо позже, когда я находился уже в душевно размягченном состоянии и был способен получать удовлетворение от созерцания чужих глупостей и несовершенств. Но тогда, после драки с Береговым, душа моя окончательно окаменела, лишена была юмора и могла существовать, лишь действуя, причем действуя непосредственно и прямо во вред моим гонителям и врагам. Первым моим шагом после ночи, которую я провел в повышенной боеготовности с металлическим острым замком в кулаке, было посещение райисполкома в понедельник. Здесь следует не путать мои намерения при посещении жилищной комиссии горисполкома несколько дней назад и в нынешнее мое посещение райисполкома. Тогда я шел полный надежд, не сомневаясь, что мне, сыну реабилитированного, хоть что-то вернут, хоть комнатушку под лестницей или даже в подвале, куда можно было бы втиснуть раскладушку (многих переселяли из подвалов, и я такой отдельный освободившийся подвал занял бы с удовольствием). Теперь же посещение мое было запланировано совсем с иной целью. Я не сомневался в отказе, да и шел не по адресу (райисполком лишь брал на учет местных жителей района), но райисполком, во-первых, располагался неподалеку от общежития и добираться к нему было не хлопотно, во-вторых, я знал теперь, что разговаривать со мной будут грубо, а значит, можно будет в государственном учреждении подобного рода устроить публичный скандал, применяя политические обвинения. Поэтому решил я не скандалить заранее, пробиваясь вне очереди, чтоб не перевести все в бытовую плоскость и не тратить энергию и напор, а занял сидячую (на стульях) очередь среди людей с сонными, терпеливыми лицами, как во всех присутственных местах подобного рода. Более того, я человек нервный и нетерпеливый, — рассуждал я, — и пока дойдет моя очередь в этой сонной тупой одури, я окончательно в эмоциональном смысле созрею именно до того состояния, какое мне и надобно. План мой почти удался. Я говорю «почти», потому что в конце произошла досадная заминка и эмоциональный срыв. А в основном он даже превзошел мои ожидания. Во-первых, еще в очереди, в самом начале я обратил внимание на принимающего сегодня члена жилищной комиссии, женщину, поскольку она несколько раз, прекращая прием, выходила из кабинета и подолгу отсутствовала, вызвав ропот даже у терпеливых лояльных граждан. Это была плоскогрудая женщина с злым поджатым ртом, то есть как раз то, что мне требовалось. Во-вторых, время ожидания превзошло все мои представления, и, заняв очередь с восьми утра, я зашел в кабинет далеко за полдень, находясь буквально на нервном пределе да плюс еще и голодный. Плоскогрудая глянула на меня быстро и цепко и сразу, как я понял, определила «отказать» еще до вопроса. Я так же скользнул по плоскогрудой: «сталинистка», подумал я. Так, еще не открыв оба рта, мы уже в одну секунду выяснили наши отношения до конца. Женственность А. Ф. Корневой в горисполкоме, которую она, очевидно, чувствуя, пыталась приглушить перед посетителями мужскими элементами в одежде, женственность Корневой, помимо всего прочего, помимо отсутствия у меня еще тогда убежденности в возможности с моей стороны лишь методов прямого воздействия и непримиримости, эта женственность А. Ф. Корневой мешала мне грубить и заставила промолчать в ответ на ее обидные, несправедливые замечания. Сейчас же такого препятствия не существовало.

— Что у вас? — наконец спросила плоскогрудая после паузы, во время которой она, уверен, наложила на меня мысленно резолюцию «отказать». — Ваш адрес?

Я применил мой метод самоутверждения в подобных кабинетах... С грохотом подвинул стул, сел нога на ногу... Лишь сев, назвал адрес... После моего метода плоскогрудую перекосило, как от зубной боли, но она, морщась, продолжала задавать вопросы, видно, применив навыки и выдержку опытной канцеляристки.

— Состав семьи?

— Я один...

— Как один? — подняла она на меня глаза, довольно большие, карие и с темными кругами болезненного вида. — Вы что, на улучшение один подаете? Это подвал, что ли? У вас есть акт обследования?

— Никакого у меня акта нету, — сказал я, — и подвала нету... Я живу в общежитии...

— Что вы мне морочите голову, — в сердцах бросив ручку на стол, так что перо оставило на бумаге кляксу, сказала плоскогрудая, — у меня очередь, а вы здесь... — она помолчала, видно, несколько овладев собой и отыскивая слово помягче, — а вы здесь суетесь, — сказала она.

Но как бы она ни подыскивала помягче, «суетесь» вполне меня устраивало и могло служить хорошим поводом.

— Кто суется! — крикнул я тем новым петушиным звонким голосом, который впоследствии часто из меня исторгался. — Кто?! А?! У меня семью разорили... Я с трех лет по чужим углам валяюсь... — в коридоре за дверьми ожидающие приема притихли, видно прислушиваясь, — сталинская... — крикнул я (не знаю, каким чудом окончательно не потерял голову и не выпалил следом грязное ругательство), — сталинская... сталинская... сталинская...

Из-за того, что усилием воли я отсек второе слово, у меня в голове образовался некий вакуум, промежуток, который я не мог миновать на пути дальнейшего логического изложения мысли. Поэтому я все время повторял: «сталинская... сталинская... сталинская...» и вскоре уже не говорил это слово, а как бы искал его...

Плоскогрудая побледнела от испуга и злости. Дверь из коридора приоткрылась, и оттуда заглядывали очнувшиеся от сонной одури посетители. Открылась и дверь с противоположного конца кабинета, и оттуда вышла женщина, которую я даже первоначально принял за Корневу. Должен сказать, что, во-первых, в подобных учреждениях служит большое количество женщин, а во-вторых, типы этих женщин не отличаются разнообразием. Это либо плоскогрудые, мужеподобные личности, либо женщины типа А. Ф. Корневой, обладающие не утонченной, но народной женственностью, которую они, возможно, не без легкого кокетства (приталенный пиджак лишь подчеркивает бедра), итак, не без кокетства пытаются прикрыть мужскими элементами в одежде. Вошедшая женщина была постарше А. Ф. Корневой, однако, несмотря на это, пожалуй, помиловидней, причем эту миловидиость придавала ей как раз легкая полнота ответработника... В частности, у нее была очень мягкая красивая шея, именно за счет легкой полноты.

— Вот, Ирина Алексеевна, — сказала плоскогрудая, — ворвался, морочит голову... Оказывается, он живет в общежитии, а требует улучшения условий... Да еще нагло оскорбляет...

— Во-первых, я не ворвался, — повернувшись к плоскогрудой и глядя на нее с ненавистью, сказал я. — Я сидел в очереди... У меня очередь, — я говорил это, уже стоя посреди кабинета, вскочив со стула.

— Мы, миленький, — мягко сказала мне Ирина Алексеевна, — мы живущих в общежитии на учет не берем... А вообще, кто вы такой?

— Вот, — сказал я, и в ответ на ее вопрос, кто я такой, почему-то вытащил полученный в КГБ старый пропуск с фотографией отца, — вот... (так получилось, что словно схитрил я, подменив и выставив отца вместо себя).

Ирина Алексеевна взяла пропуск, прочла, глянула на фотографию.

— Надо таких учить, — зло сказала плоскогрудая, — ничего не стоит ворваться со своими наглостями в государственное учреждение...

— Оставьте, — резко сказала плоскогрудой Ирина Алексеевна, — не трогайте его... Закройте дверь! — так же резко сказала она посетителям, заглядывающим из коридора. Лица исчезли, дверь в испуге захлопнулась.

— Мой отец был генерал-лейтенант, — тихо сказал я.

— Красивый какой парень был ваш отец, — с какими-то искренними нотками сказала Ирина Алексеевна.

Тут-то и произошел эмоциональный срыв, причем как-то внезапно и неподготовленно. Я вдруг выхватил пропуск из пальцев Ирины Алексеевны, пронзительно звонко, с полной отдачей сил зарыдал и выбежал из кабинета. Помню, когда я пробегал по коридору райисполкома, двери в разных концах открывались, находящиеся же в коридоре от меня в страхе шарахались... Позднее, после ряда эксцессов и припадков, я привык, что от меня шарахаются, тогда же это меня покоробило... Я долго петлял по переулкам, точно за мной гнались и, лишь оказавшись далеко от райисполкома, оглядевшись и увидев, что вокруг люди не обращают на меня никакого внимания, я успокоился, вытер насухо носовым платком лицо, выпил несколько стаканов газированной воды и поехал в управление строймеханизации творить суд и расправу над гонителями своими, три года безответно унижавшими и оскорблявшими меня.

Летом двор управления строймеханизации выглядел еще более неопрятно. Во-первых, на линии летом работает больше механизмов, а следовательно, больше их и стоит здесь в порченом виде. Кроме того, если зимой или ранней весной, когда я был здесь последний раз, копоть впитывалась в снег, лужи мазутной воды вылизывал мороз, а запахи пережженного металла уносил ветер, то ныне копоть оседала на лицах и одежде вместе с пылью, мазутные лужи закисали и застаивались в выбоинах, а душные запахи пережженного металла висели в воздухе неподвижно... Во дворе меня встретил какой-то темный от мазута человек, отчего зубы при улыбке у него сверкали белизной.

— Здравствуйте, Григорий Матвеевич, — сказал он мне.

Это было несколько неожиданно и удивило меня. Лишь приглядевшись, я узнал одного из экскаваторщиков, даже вспомнил фамилию: Гагич.

— Где вы сейчас? — спросил Гагич.

— Работаю, — высокомерно ответил я, — свет клином не сошелся на этой шараге.

— Это верно, — сказал Гагич, — многие ребята считают, что вас уволили несправедливо, — он понизил голос и огляделся.

— Отчего ж вы боитесь, — сказал я раздраженно и в повышенном тоне.

Гагич посмотрел на меня пристально и понял, очевидно, что дела мои плохи и что пришел я не по делу, а ругаться.

— Ничего вы им не докажете, — сказал он тихо, — что вас, они вон Мукало уволили.

— Мукало, — крикнул я. — Мукало главная сука! Это он меня спровоцировал.

— Ну, тут уж вы не правы, — сказал Гагич. — Мукало был толковый мужик. Он меня обещал посадить на новый экскаватор и посадил бы... А я ему кто? Я ему никто... Вот Юницкий свояка посадил...

— Да брось ты, Гагич, — сказал какой-то рабочий (на нас уже обращали внимание, и ходивший по двору главный механик Тищенко смотрел в нашу сторону).

— Брось, Гагич, — продолжал рабочий, — у тебя хорош тот, кто тебе хорошо делает, — он сказал это громко, чтоб слышал Тищенко.

— Вот-вот, — сказал я с раздражением и сарказмом, — вы, Гагич, отойдите от меня... Постоите еще со мной рядом, не то что новый, старый экскаватор отберут... Переведут в разнорабочие, — и, криво улыбнувшись, я пошел к конторе.

По дороге мимо меня мелькнул Райков, но не поздоровался, просто остановился и посмотрел. В коридоре я рывком открывал двери кабинетов и, ничего не говоря, осматривал всех там находящихся, криво улыбаясь. В бухгалтерии на меня посмотрели в недоумении, видно не узнав, в производственном отделе находилась одна Коновалова, которая, увидав меня, улыбнулась. Но тут я, правда, высказался.

— А где ж твой братец? В рожу ему плюнуть хочу, — и захлопнул дверь.

Открыл я дверь отдела кадров, поглядел на Назарова, но ничего ему не сказал, это была личность нейтральная, хоть и бывший прокурор, но

мне ничего дурного не сделавший. Наконец, открывая по пути двери, я добрался к секретарской, где сидела все та же Ирина Николаевна, бывшая моя покровительница. Ни слова ей не говоря, я прошел мимо прямо в кабинет к Брацлавскому. Иван Тимофеевич был на месте и по какому-то поводу рылся в ящиках стола, что-то искал. Увидев меня, он не удивился, а лишь грубо спросил.

— Тебе чего надо?

Я с радостью применил прием самоутверждения, грохнул стулом и сел нога на ногу. С радостью, ибо, откровенно говоря, боялся, что, повинуясь инстинкту прежних лет, сробею. Но получилось все удачно. Несмотря на двадцать лет работы в качестве выдвиженца, Брацлавский не был кабинетный работник и, если надо, действовал грубо, по-уличному, как старый кузнец. Он покрыл меня матом в три погибели. Я с радостью ответил ему тем же. Так мы препирались некоторое время, упражняясь в матерщине, пока в кабинет осторожно, по-лисьи, краснея от стыда (шокированная нашим словоблудием), вошла Ирина Николаевна.

— Гоша,— сказала она, неожиданно назвав меня по имени,— пойдемте, я хочу с вами поговорить... Иван Тимофеевич,—повернула она голову к Брацлавскому,—зачем вы сердце свое тратите?.. Потом будете валидол сосать...

— Я ему морду сейчас набью,—грубо и откровенно сказал Брацлавский.

— Гоша,— снова обратилась Ирина Николаевна ко мне,— пойдемте,—она взяла меня об руку.

Я хотел освободиться, но получилось так, что Ирина Николаевна от моего резкого движения пошатнулась и, едва не упав, взвизгнула.

— Ах ты падло!—по-рабочему просто крикнул начальник управления Брацлавский и схватил меня за ворот. Руки у него были большие, но уже мягкие, ибо возраст и руководящая должность давали себя знать. Успешно борясь, я крикнул в лицо Брацлавскому.

— Мой отец генерал-лейтенант... А ты сталинская шкура... Понял ты!..

Таким образом, я все укрупнял и переводил на политический уровень, но слишком поздно, с этого надо было начинать, а я мельчил и бранился по-бытовому. В это время в кабинет ворвался Лойко. Откуда он взялся, не знаю, видно, только что приехал, и Ирина Николаевна ввиду крайнего положения и зная его ненависть ко мне, сразу этого негодяя позвала. Хоть у Лойко сквозь зачесанные назад волосы уже заметно проглядывала лысина, был он физически силен и широкоплеч (среди моих врагов вообще много физически сильных личностей, я на это обратил внимание как на определенную закономерность).

— Иван Тимофеевич,—крикнул Лойко,—не надо вам тратиться, не надо, я сам его,—он легко оторвал меня от начальника, выволок в секретарскую, оттуда в коридор, но поскольку в коридоре было много встревоженных сотрудников, он проволок меня в кабинет производственно-технического отдела и заперся со мной на крючок, захлопнув дверь перед носом Коноваловой, очевидно, пытавшейся мне помочь. И все это, держа меня одной рукой за грудь. Мне трудно было сразу оказать сопротивление, ибо Лойко несколько раз успел ударить меня мимоходом головой о стену, вымазав при этом мне голову штукатуркой, и передо мной все кружилось, а уши совершенно заложило. Поэтому первоначально я не слышал, что кричал Лойко, а видел его не столько злое, сколько радостное лицо. Взаимной драки никакой не было. Запершись со мной в кабинете, он бил меня минут десять, как ему нравилось, и бросая на пол, и ногами. А после этого я его избил. То есть мы друг друга били поочередно. Когда, насытившись палачеством надо мной и устав, Лойко хотел было уже прекратить и выйти, может, несколько испугавшись (у меня все лицо было в крови), испугавшись и таким образом расслабившись, я неожиданно даже для себя нанес ему удивительно точный удар ногой в живот, а когда он упал (и откуда только силы взялись во мне, избитом), начал его бить, как никогда ранее не бил (избиение случайного пьянчужки и Берегового — школьная драчка по сравнению с этой моей расправой). Бессчетное число раз я ударял Лойко, лежавшего на полу, коленом в лицо своим излюбленным приемом и всякий раз получалось

удачно, согласно традиции... Я разорвал на нем пиджак, я вырвал у него на голове клок волос... Ситуация складывалась довольно комичная. Я бил Лойко, а в дверь стучали Коновалова и Ирина Николаевна и нервно говорили.

— Лойко, прекратите, немедленно откройте... Слышите, прекратите, вы попадете под суд, а у вас семья...

Наконец постучал даже сам Брацлавский.

— Николай,— сказал он,— это Иван Тимофеевич... открой...

О, какое это было счастье. Никогда позже не удавалось мне так полно и до конца насладиться расплатой и ненавистью. На левой щеке у меня текла кровь из рассеченной скулы, и, схватив со стола обыкновенную канцелярскую кнопку, крепко зажав ее меж пальцев, я разодрал Лойко щеку в том же месте.

— Ломайте дверь,—услышал я голос Юницкого, но прежде чем они успели это сделать, я встал с Лойко (я сидел на нем верхом) и откинул крючок.

Коридор был полон (было время съезда прорабов с объектов, и многие успели подъехать). Здесь стояли и Брацлавский, и Юницкий, и Коновалов, и Литвинов и т. д. Все три года унижения и насмешек толпились передо мной в коридоре, а главный мой враг лежал у меня за спиной окровавленный, на полу.

— Что смотрите?—спросил я и засмеялся клейкими от крови губами.

Но это были, видно, последние мои усилия, и силы разом настолько покинули меня, что уборщица, старая женщина (кажется, ее звали Гарпина), легко взяв меня за шиворот, вывела из конторы. Рядом, взяв меня об руку, шел неизвестно откуда взявшийся Шлафштейн (в том смысле, что я его в коридоре не видел, и мне показалось, что он подошел ко мне во дворе).

— Степа,— сказал он Гагичу,— у вас тут аптечка, кажется, в цехе есть. Вот парня надо в порядок привести.

— Я ж ему говорил, ничего он им не докажет,—вздохнув, сказал Гагич. Мы пришли в цех, где закопченные окна подрагивали от работы станков.

— Прикройся полой пиджака,—сказал мне Гагич (ранее он говорил мне «вы», как бывшему прорабу, но после того, как я был избит, он перешел на «ты»).—Прикройся, а то сбегутся...

Мы прошли за перегородку, где находилась аптечка и сидела женщина в халате медсестры.

— Вот, Варвара,— сказал Гагич.— упал парень, помочь надо.

Медсестра глянула на меня.

— Что вы мне голову морочите,— сказала она.— Это побои, надо акт составить, его, может, в больницу...

— Не надо акта,— тихо сказал Шлафштейн,— помоги ему, и он уйдет... Ты сможешь уйти?

— Смогу,—сказал я, ибо действительно чувствовал себя хорошо (в тот день я нашел в себе силы избить еще двоих и лишь ночью почувствовал себя плохо... Болело все и всюду, снаружи и изнутри).

— Степа,— сказал я Гагичу (медсестра обработала мне раны, заклеила их пластырем, и мы с Гагичем вышли во двор).—Степа, нельзя в цехе выточить кастет, я заплачу.

— А это что такое?—спросил Гагич.

— Ну на пальцы надевается, чтоб уж если дашь в зубы, так ни одного не останется.

— Ах, рукоятка,—понял Гагич,—не надо это тебе... Брось, в тюрягу попадешь.

— Степа,— сказал я,— но ведь они меня лицом в дерьмо три года подряд...

Мы стояли посреди двора. Шлафштейн ушел еще раньше, едва медсестра начала мне обрабатывать раны. Во-первых, он торопился на планерку, а во-вторых, как бы там ни было, я оценил его поступок, ибо в сложившихся обстоятельствах он, находившийся в зависимости от моих врагов, все-таки не оставил меня одного, увидев, что никого из моих доброжелателей нет рядом (Свечков и Сидерский еще не приехали. Они

обязательно приняли бы мою сторону, причем Свечков, может, даже открыто).

— Меня три года...— повторил я,— в дерьмо мордой, да каких три года, всю жизнь... А мой отец генерал-лейтенант...

— Чего ж он тебе не помогает,— удивился Гагич,— побочный ты, что ли?.. Бросил он тебя?

— Да нет,— невольно даже в моем положении улыбнулся я наивности и нелепости мышления Гагича.— Ты вот как к Сталину относишься?— спросил я неожиданно.

— А что,— удивился Гагич,— Сталин есть Сталин... Что б там ни сочинял Хрущев... Ты новый анекдот про Хрущева слышал?

— Анекдот! — выкрикнул я.— А знаешь, сколько он людей угробил, Сталин ваш...

Разговор становился скользким, напряженным и, главное, глупым и несвоевременным.

— Я понимаю, куда ты клонишь,— помолчав, ответил Гагич,— твоего отца посадили, это я понял... У меня дядька тоже десять лет отсидел... Вышел на волю и через месяц помер... Но что б там ни было, а Сталин есть Сталин...

И эта ясная, простая, искренняя, затверженная формулировка настолько полно и всесторонне выразила суть сталинизма, особенно конца сороковых — начала пятидесятых годов, когда Сталина не сравнивали уже ни с солнцем, ни с горным орлом, а только лишь с самим Сталиным, и в этой формулировке настолько полно и искренне выразилась мифологическая народная любовь к своему кумиру, которую невозможно уничтожить никакой логикой и правдой, по крайней мере в период нынешних, современных Сталину и освященных им поколений, что я испытал перед этой твердостью растерянность, не дав себе даже передышки, необходимой для восстановления сил.

— Тупой ты! — крикнул я Гагичу, человеку, который в общем-то мне помог,— все вы тупые, как кирпичный забор... Ух, стрелять вас надо... вот что... Из пулеметов... Вот оно что... Сталинские гады...

В конце концов все снова приняло закономерную этому времени политическую окраску, однако, и это также закономерно, в основе своей направленную не по адресу. Глянув еще раз со злостью на Гагича, я плюнул наземь и покинул двор стройуправления.

* * *

Итак, как сказано выше, невзирая на крайнее истощение сил, в тот день я избил еще двоих. Один был случайный прохожий, и я не помню, по какому поводу я к нему придрался (именно к нему придрался). Второй был инструктор райкома Колесник (впоследствии, как мне стало известно, из райкома уволенный по настоянию секретаря райкома Моторнюка, против которого Колесник интриговал, но не рассчитал своих сил). Интересно, что не только случайный прохожий (какая-то ничтожная личность в кепочке. Кажется, эта кепочка меня и разозлила, теперь смутно вспоминаю), не только случайный прохожий, но и Колесник, который еще недавно меня унижал, как хотел, ныне бежал, не оказав сопротивления. Правда, надо сказать, вид мой был действительно страшен (я понял это, глянув на себя потом в зеркало), волосы давно немытые и жесткие, в нескольких местах стояли торчком. Глаза, обрамленные черными кругами, блестели, а лицо было сплошь покрыто кровоподтеками и заклеено пластырями. Случайного прохожего я избил тотчас же, выйдя из ворот строймеханизации. Впрочем, избил — сильно сказано. Я успел лишь ударить его в спину меж лопаток, он оглянулся на меня и сразу же побежал вместе со своей кепочкой (именно «кепочка» — теперь вспоминаю точно), побежал через дорогу на противоположную сторону улицы, даже не позвав милиционера, на что я рассчитывал (я не терял надежды на громкий политический процесс, где смог бы превратить многолетнее страдание мое в живое обличение и оказаться в центре общества).

Колесника я перехватил вечером в коридоре. Он снова жарил картошку на общественной кухне, и я, выскочив из комнаты, откуда,

приоткрыв дверь, подсматривал, сразу же схватил Колесника пальцами за лицо. Интересно, что все время реабилитации, пока живы были надежды, что реабилитация принесет для меня реальные положительные изменения, я о Колеснике и прочих даже не вспоминал. Теперь же пришел их черед. Колесник выпрыгнул (именно выпрыгнул) из моих пальцев, сделав вращательное движение головой, а затем, прыгнув спиной назад от меня, повернулся и побежал. Он заперся в своей комнате. Я уперся коленом и ладонью левой руки в стену коридора, правую же руку положил на дверную ручку и сильно рванул. Звякнув, полетел крючок, заплакал ребенок Колесника трех лет, закричала его жена, продавщица универмага, но меня увели Григоренко и Рахутин, обняв за плечи. И снова, невзирая на явное буйство, милицию не вызвали, не знаю почему. Может, вследствие слухов о моем отце генерал-лейтенанте, может, также и потому, что как-то прослышали о насмешках и издевательстве надо мной Колесника, не удержавшегося на уровне служебных обязанностей и допустившего в мой адрес перегибы. Так что и комендантша, по своей инициативе привлекшая Колесника к борьбе против меня, теперь, возможно, жалела и опасалась для себя неприятных последствий. К тому ж пугал мой внешний вид. За несколько дней я сильно изменился, и в облике моем проступило воспаление, заставлявшее людей держаться от меня подальше и бороться со мной непосредственно никто лично не хотел (как я ныне понимаю, считали меня свихнувшимся. А таких опасаются и одновременно ими брезгуют). Даже Григоренко и Рахутин, мои друзья, подошли ко мне не сразу, предварительно пошептавшись в конце коридора, причем подошли, когда случай был крайний и следовало спасать меня от роковых и эмоциональных шагов в отношении Колесника, которые я намеревался предпринять.

В общем, тогда мне просто помогли улечься в постель мои друзья. Я хотел выпить перед сном чаю с карамелью, но сами они (друзья мои) не догадались, спеша явно уйти и считая свою миссию выполненной. Впрочем, попроси я, они бы, конечно, согрели и принесли чай, но отныне я решил никогда и ничего не просить. Ночь, проведенная мной, была тяжела, но частые бессонницы, приступы печени и прочие болезни, нередко обострявшиеся у меня ночью ранее, приучили мой организм приспосабливаться и бороться. Интересно, что вынужденный ночью среди храпа жильцов оказывать себе помощь, я несколько успокоился душой. У меня сильно горело под пластырями лицо (главную массу ударов Лойко обрушил именно на мое лицо, которое он особенно ненавидел, я это чувствовал), а также болела грудь (Лойко ударил меня несколько раз ногой и по груди, когда я лежал). В общем, болело все тело, казалось, нет на нем живого места, однако лицо и грудь были центрами и им прежде всего следовало уделить внимание, я знал, что стоит мне успокоить боль здесь, как она успокоится во всем теле. Осторожно встав и неслышно ступая (не потому, чтоб не нарушить сон жильцов, плевать мне на них, а потому, чтоб, проснувшись, они не увидели моих мучений), осторожно ступая, я на ощупь нашел в тумбочке тройной одеколон и также на ощупь, содрогаясь от боли, сдирал пластыри, смазывал раны тройным одеколоном и снова их заклеивал. Лицо сперва пекло и мучило сильней, но затем, полностью так обработанное, начало успокаиваться. Сложней было с грудью. Мне трудно было дышать, но ничего, прямо воздействующего на грудь (типа тройного одеколона для лица), я придумать не мог (попытка приложить теплый шарф для согревания груди ничего не дала). Однако я нашел положение тела, облегчающее боль в груди, именно сидя и опираясь о койку рукой. В таком положении боль утихала, когда же я вставал и прислонялся спиной к шкафу, то она вовсе пропадала, и, стоя у шкафа, я ухитрился даже вздремнуть. Так, изыскивая всевозможные способы оказания себе помощи, провел я хоть и тяжело, но довольно деятельно ночь. Ранний июльский рассвет (было, между прочим, уже начало июля и прошел почти месяц с начала реабилитации), ранний рассвет застал меня более свежим, чем вечером, хоть я почти не закрыл глаз (за исключением отдельных моментов, когда я дремал, прислонившись к шкафу). Но свежесть эта была деятельная, дневная и требовала движений. Я оделся (боль в груди миновала совершенно, лицо же несколько щемило), я оделся, вышел на улицу, погулял на свежем воздухе до вре-

мени начала работы министерств и главков и после этого позвонил в главк Саливоненко. Разговор с ним (явно не догадывающимся о произошедших со мной изменениях), разговор с ним приведен мной в одной из предыдущих глав. Решение же внести Саливоненко в список моих врагов и избить его возникло именно тогда, но должен добавить, что никаких подобных списков еще не существовало, и как раз данный разговор натолкнул меня на мысль об этих списках и вообще о более серьезной и разумной тактике. Этот телефонный разговор с Саливоненко я считаю переломным, то есть переходом от анархической бесплановой ненависти к планомерным и продуманным действиям. Тут уже чувствовались зачатки подпольной организации, к необходимости которой я впоследствии пришел. Действительно, сразу же после разговора с Саливоненко, вернувшись в общежитие и усевшись у своей тумбочки, я принялся составлять список своих врагов, прикрывая бумагу локтем. В противоположном конце комнаты сидел Жуков и, также прикрывая от меня бумагу локтем, что-то по обыкновению вычерчивал, заглядывая в учебник физики седьмого класса. Таким образом, в конечном итоге техническая графомания Жукова, над которой я ранее насмехался, ныне пошла мне на пользу, ибо я не выделялся в своих действиях и мог конспиративно маскировать их хотя бы под стихотворчество...

Список лиц, враждебно ко мне настроенных (первоначально я так его наименовал, однако вскоре нашел это название рыхлым, перечеркнул и просто коротко написал — врагов), список этот, даже в его первоначальном варианте, ибо впоследствии он вырос чрезмерно, был весьма пестр. Кроме одноплановых Лойко и Колесника, сюда входил Саливоненко, некогда оказавший мне услугу и покровительство, входили Брацлавский, Юницкий, Коновалов (эти, правда, близки к типу Лойко—Колесник), входили комендантша Софья Ивановна, зав. камерой хранения Тэтьяна, несмотря на некоторые неожиданные послабления с ее стороны ко мне. Входил полузабытый и зафиксированный в списке лишь после раздумий работник военкомата Сичкин. Неожиданно вошла семья Чертогов, некогда предоставившая мне ночлег, но впоследствии попросту выгнавшая меня... Это были те самые щепки, которые летят, когда рубят лес... Вообще бюрократия в террористической деятельности (а именно к ней я приближался) вопрос необходимый, но нелегкий... В прямой борьбе, когда физическое противостояние довлеет над идейным, чрезвычайную роль играет эмоция момента, и это влечет за собой ряд неизбежных ошибок и в ту и в другую сторону... Впрочем, в первоначальном черновом варианте списка вообще сильно еще было анархическое начало, то есть лица вносились на основе их личных поступков в мой адрес, политические же их воззрения учитывались во вторую очередь и каждый раз механически... Кстати, в данном случае весьма наглядно сработал закон политической физиологии (термин мой), то есть люди физически крепкие, высокого роста, простые в своих жизненных отправлениях, не любящие евреев (даже тех евреев, которые любят Сталина, например, Маргулис), эти люди, как правило, сталинисты (бывают и исключения). Когда впоследствии я попытался придать моему списку политическую окраску, то оказалось, что большинство лиц, внесенных экспромтом, под воздействием момента, были сталинистами (я заключил это аналитически, ибо ни с кем из них, кроме разве Колесника, на политическую тему не говорил, но думаю, что не ошибся)...

Первым в списке был Саливоненко, ответственный работник главка, еще недавно находящийся не только административно (это сохранилось), но и морально высоко надо мной. Подобная ситуация, когда административная высота сохранена, а моральная уничтожена, объясняет суть и форму моих действий... Нападение и месть за обиды (моральная высота уничтожена), причем по возможности в уединенном месте (административная высота сохранена). Да, в дело с моей стороны вступили уже не анархические всплески эмоции, а продуманный расчет, пристрастие к которому я, кстати, если вспомнить, питал и ранее и на основании корыстных расчетов строил свои отношения с людьми, ища среди них лишь полезных мне лиц и покровителей. Так вот, в новой своей деятельности я чрезвычайно обязан был прежним навыкам, и в переходный период беспланового озлобления, случайных уличных драк и бесконтрольных

вспышек эмоций я терпел бесконечные беды, довел себя чуть ли не до безумия и выглядел чрезвычайно неприятно со стороны (я это чувствовал, и это меня, дорожащего мнением окружающих, особенно женщин, очень угнетало). Итак, я довел себя до безумия в переходный период именно благодаря забвению, вернее, неумению применить в новых условиях прежние навыки и расчеты... Короче, в моих действиях против Евсея Евсеевича Саливоненко (уверен, сталинист, хоть и дружащий с Михайловым), в моих действиях уже присутствовал элемент некой организации, в которой, однако, пока был лишь один член — именно я.

Прежде всего я организовал слежку за зданием республиканского Совета Министров. На это ушла неделя, если придерживаться по-прежнему для простоты принципов, календарной организации событий, а в общем, ушло больше недели дня на два, на три... Утром встав, наскоро позавтракав, я садился на троллейбус, потом пересаживался на трамвай и так добирался к зданию Совета Министров. Здание это было огромно (я его уже в свое время описывал), с множеством подъездов, через которые входили и выходили многочисленные работники главков и министерств, здесь расположенных. Выследить Саливоненко, самому оставшись незамеченным, дело нелегкое. Но проблема состоит не только в том, чтоб выследить, но и в том, чтоб терпеливо дождаться ситуации, пригодной для действия... Выследил я его на пятый день работы, он входил обычно через седьмой подъезд где-то около одиннадцати и покидал здание через него же в основном между шестью и семью...

Должен сказать, что несмотря на то, что работал я много (а вернее, благодаря этому), сон у меня улучшился и душе стало спокойней. К тому ж июль выдался на редкость по-июльски (термин далеко не ироничный. Как часто в июле случается октябрь или даже ноябрь, портящий настроение и угнетающий), итак, по-июльски теплый, но не знойный, с легкими освежающими дождиками, и я оправился, окреп, проводя постоянно время в хорошо озелененном районе Совета Министров, на свежем воздухе и все-таки при деле. С питанием также улучшилось. Днем я обедал в расположенной неподалеку от Совета Министров довольно приличной столовой, куда ходили даже некоторые низовые работники этого учреждения и работники охраны (однажды я обедал за одним столиком с сержантом из охраны). Так проходили дни, но терпение мое не истощалось, даже, наоборот, я втянулся в ритм. Поэтому, когда однажды Саливоненко вышел один и направился в сторону парка (я внимательно обследовал весь район и нашел, что для меня это наиболее пригодный участок, но, к сожалению, Саливоненко либо уезжал на автомобиле, либо шел с группой сослуживцев, а случалось, даже и один, но вниз по шумным и людным улицам), итак, когда Саливоненко вышел один, направившись в сторону парка, я даже испытал легкое разочарование, свойственное концу всякой интересной работы.

Саливоненко жил неподалеку (я проследил), и к дому его (великолепному пятиэтажному красавцу) можно было выйти и через парк (я не бездумно отметил парк, а именно поэтому). Однако Саливоненко ни разу этой дорогой не пользовался, не знаю почему, я даже начал подозревать, не заметил ли он чего-либо, но сразу же подобное отверг, поскольку вел себя весьма конспиративно, чтоб не бросаться в глаза, каждый день в меру своих скромных возможностей одевался по-разному, меняя рубахи, благо было тепло. Пиджака у меня всего два, и то один драный, в котором в этот район города ходить неприлично, так что будь похолодней, мне пришлось бы все время ходить в выходном вельветовом, что весьма могло бы меня подвести. В вельветовом пиджаке я вообще выделяюсь, и на меня обращают внимание даже такие красивые женщины, которые редко кого одаряют взглядом.

Вечер (был уже вечер. Саливоненко задержался, и я подумал, не проморгал ли его, но он вдруг вышел из совершенно другого подъезда), вечер, в который мне предстояло действовать, был удивительно хорош (наверно, потому Саливоненко и избрал путь через парк). Правда, в июле время где-то около восьми назвать вечером можно лишь весьма условно... Солнце опустилось и стало совершенно мягким, бархатным на ощупь, а по виду придало воздуху кремовый уютный цвет... В парке вольно, полесному пахло грибами, свежей травой, мокрыми стволами деревьев после

легкого дождика (сырая древесина обладает запахом спирта, и именно она придает лесному воздуху веселящий сердце аромат, это я узнал позже). Саливоненко шел, глубоко дыша, держа шляпу в руке, красивый мужчина (славянский профиль и восточные глаза), красивый мужчина с серебряной мягкой шевелюрой. Я осторожно крался сзади между деревьев, но, очевидно, красота природы подействовала и на меня, так что я упустил благоприятный для нападения момент, пока Саливоненко находился в глухой части парка у забора... Далее уже были довольно многолюдные аллеи, по которым, я знал, ему следовало идти, чтобы пересечь парк и выйти к своему дому. Однако в тот день (такие дни бывают), в тот день словно судьба и обстоятельства шли мне навстречу и не усугубляли, а исправляли все мои упущения. Дойдя до поворота, Саливоненко не вышел на людную аллею, а наоборот, начал забирать вправо, в места вовсе ныне глухие. Я говорю ныне, ибо ранее тут были места весьма шумные и располагался эстрадный театр миниатюр... Однако еще с весны (я бывал здесь весной раза два или три, чтоб смотреть на девушек, когда получил передышку в борьбе за койко-место), еще с весны тут начата была перестройка, потом заброшена, театр стоял в разобранном виде без крыши и окон, валялся вокруг кирпич, кучи известки, прочий строительный хлам, были какие-то кучи земли, недорытые траншеи, и место вовсе стало безлюдным. Вот сюда-то и направлялся почему-то Саливоненко. Я следовал не сзади уже, а параллельным курсом, обойдя с фланга и отрезая дорогу Саливоненко к людным местам. Саливоненко обошел стройку с тыла, и в тот момент, когда он находился между стройкой и глухим забором парка, я и выскочил. Я хотел начать издевательски цинично, попав ему в тон и словно продолжая прерванный телефонный разговор, но в новой ситуации, когда уже диктовал бы я, а он бы нервничал... Однако вместо этого, сам не справившись с нервами и возбуждением (в решительной, завершающей стадии я вновь перешел на примитивный уровень неорганизованных эмоций), не справившись, я крикнул звонко:

— Значит, я выдавал себя за специалиста по небьющемуся стеклу?! Сталинский клеветник... Сталинская шкура...

Саливоненко ахнул, быстро огляделся и побежал от меня вниз по склону. Я выхватил из кармана замок от тумбочки с острыми краями и, зажав его в кулаке, кинулся следом...

Здесь необходимо прерваться для объяснений. То, что крупный работник главка побежал от меня, отщепенца, снова, в который раз свидетельствует об удивительной неразберихе, которая на короткое время, непосредственно после публичных хрущевских разоблачений сталинских ужасов и преступлений, воцарилась в государственных и общественных отношениях. Деятельность карательных органов оказалась публично опороченной настолько, что даже число молодых людей, желающих посвятить себя этого рода работе, то есть пополнить органы охраны, существенно сократилось, а в училищах подобного профиля оказался недобор, в то время как еще недавно они пользовались популярностью, да и спустя некоторый срок они вновь были переполнены. В этой государственной обстановке Саливоненко сразу понял, увидев меня в определенном состоянии, свойственном тогда главным образом людям реабилитированным, Саливоненко сразу понял, что публичный скандал с привлечением органов охраны, не имеющих в тот период четких инструкций, запутанных окончательно дикими полулегальными обличительными речами главы государства Хрущева и потому занимающихся несвойственными им и неприятными мероприятиями, так называемыми исправлениями прежних несправедливостей, массовыми извинениями перед бывшими заключенными, а также перед членами их семей, что в какой-то степени парализовало на время их активную деятельность, в такой обстановке, понял Саливоненко, публичный скандал будет выгоден скорей мне, отщепенцу, чем ему, ответработнику. Тем более, что с первых же слов я придал этому скандалу политический характер. Но все это я понял и осмыслил лишь впоследствии, тогда же бегство Саливоненко отнес исключительно на свой счет. Саливоненко мне настичь не удалось. Я был намного моложе его, однако, несмотря на то, что в последнюю неделю слежки за Саливоненко несколько окреп, все ж сказывалось систематическое недоедание, нервные потрясения и побои. В частности, во время бега у меня снова закололо в груди, как тогда ночью, и я начал задыхаться. Потому, остановившись, я изо всех сил метнул замок и попал им Саливоненко между лопаток. Саливоненко вздрогнул, пригнул голову, но бега не замедлил и вскоре скрылся за кустами. Искать замок, чтоб вновь им вооружиться, было бессмысленно, он покатился куда-то вниз по склону. Я побрел зачем-то назад, к верхнему выходу из парка (скорей по привычке), хоть спокойно мог так же спуститься и выйти через нижние ворота на улицу, откуда, кстати, шел к общежитию прямой трамвай. Устало переставляя ноги, перегорев, я медленно поднимался по тропке. Вдруг нечаянно подняв голову, я остановился потрясенный. Молоденькая девушка небесной красоты стояла здесь, в этом захламленном уединенном месте, среди куч битого кирпича... Такого совершенства я не мог вообразить даже в самых счастливых снах. Ее стройные ножки с аккуратными икрами (мне очень хотелось поцеловать именно икры на ее ножках), ее стройные ножки были покрыты ровным бронзовым загаром. Цыганская юбка, раздутая колоколом (по моде сезона), нависала над круглыми коленками и закреплена была поясом, охватывающим тонкую талию... Две игрушечные точеные груденочки грациозно оттягивали прозрачную блузку, под которой виднелось умопомрачительное тело и не менее умопомрачительная, отделанная кружевами, розовая комбинация. Точеная шейка подымалась из выреза блузки, а на шее этой росло самое прекрасное в этом прекрасном существе, именно головка, лишенная даже малейших недостатков. Здесь все было на месте и дополняло друг друга: густые русые волосы, которые хотелось понюхать, маленький носик, вызывающий радостное восхищение, и пунцовые губки, вызывающие прилив ласковой тоски... Такая девушка может привести в восторг и растерянность даже более удачливых людей, чем я...

Я старался не шелохнуться и не дышать (хоть после бега мне хотелось громко отдышаться и откашляться, ибо грудь покалывало). Я старался не дышать, чтоб не напугать девушку, радостно сознавая, что здесь, в уединенном месте, она совершенно беззащитна, и единственный человек, способный защитить ее от грубого посягательства и уже защищает своим присутствием, это я, незаметно стоящий за кустами. Мысль эта умилила меня до слез, и я осторожно вытер глаза мизинцем. Грудь у меня покалывало, однако сердце мое, горячее от ненависти, остыло до уровня приятного и милосердного. В то короткое мгновение я любил всех и готов был со слезами мириться со всеми (даже со сталинистами) и говорить со всеми по душам.

Уже потемнело. В здании республиканского Совета Министров, виднеющемся за забором, были освещены большие красивые окна, какая-то редкая в городе, очевидно, лесная птица, перелетая с дерева на дерево, шурша листвой, издавала свистящие звуки, со стороны танцплощадки слышалась мелодия непритязательного, может быть, даже безвкусного вальсишки. У меня сильно и по-новому билось сердце и очень хотелось долгого полного счастья... Как никогда ранее хотелось... Меж тем девушка все не уходила, поглядывая на маленькие часики у запястья (я, кажется, еще не описывал ее руки. Мне кажется, именно такими должны были бы быть утраченные руки Венеры Милосской. Стройные, но не худые, обнаженные, покрытые тем же, что и ножки, ровным загаром). Подумав о ее обнаженных руках, я тут же подумал, что после того, как солнце зашло, стало прохладнее и девушке, пожалуй, холодно. На мне пиджака не было, но, поскольку с утра небо хмурилось, я надел легкую курточку, купленную недавно на деньги, полученные за смерть отца, то есть двухмесячную компенсацию на уровне его последней должности плановика. Курточка эта мне чрезвычайно понравилась, стоила она недорого, и я решил ее приобрести, несколько урезав фонд на развлечения и сладости... Эту курточку я и смогу теперь в крайнем случае предложить девушке. Она все не уходила, но уже начала кусать губки... Надо было прийти ей на помощь, но с чего начать, чтоб не напугать и не вызвать неприятных подозрений? Прежде всего я рассудил, что если сразу выйти из засады, это будет и неприлично и страшно. Девушка должна быть подготовлена к моему присутствию. Поэтому, неслышно ступая с носка на пятку (такой способ мне известен давно), стараясь не зацепить куст или наступить на сухую ветку, я отошел подальше, а потом пошел размашисто в направлении девушки, так чтоб она услышала еще издали мои шаги. И точно, девушка ждала моего появ-

ления с радостью и надеждой, повернув в сторону шагов свое личико... Увидев меня, она лишь испытала разочарование, но не испугалась. Она ждала кого-то другого. И вдруг, как молния сверкнула в мозгу, и я понял, кого она ждала. Она ждала Саливоненко... Собственно, чтоб о том догадаться, можно не быть пророком, особенно учитывая мою склонность к анализу и сопоставлению. Но надо помнить мое чувственное состояние, близкое к мгновенной, на уровне помешательства влюбленности, чтоб понять, почему эта догадка пришла ко мне с таким запозданием... Она, великолепная и юная, ждала седого Саливоненко, еще эффектно выглядевшего, занимавшего высокую должность со служебным автомобилем, но все-таки годящегося этой девушке в отцы. Вот почему Саливоненко сразу же кинулся в сторону, пытаясь увести меня с этого места. Он не хотел, чтоб я стал свидетелем его предосудительного свидания, и боялся, что наш политический скандал напугает и травмирует его юную возлюбленную. Что же касается второй причины, уменьшения на тот короткий период авторитета карательных органов, как причины его бегства от меня, отщепенца, то я понял и осмыслил это, повторяю, лишь впоследствии... Теперь же я понял одно: девушка любила другого, именно Саливоненко... Хмельная ревность волной ударила мне в голову, и милосердие покинуло мое сердце.

— Между прочим,— сказал я, обращаясь к девушке,— я пришел сюда, чтоб открыть вам глаза на подноготную человека, которому вы чересчур доверяете и которым явно увлечены...

Это «между прочим» погубило фразу, я понял тотчас же, как произнес. Оно сделало фразу провинциальной, неискренней и лишенной благородства. Насколько лучше звучало бы просто: «я пришел сюда» и т. д. Неудачным было и слово «подноготную», но это уже следствие волнения от неумного начала. Я ожидал, что угодно, начиная говорить. Я понимал, что это рискованно, я ожидал, что девушка испугается, заплачет, растеряется, но я не ожидал, что это юное прекрасное существо может так разъяриться и сразу закричать на меня, употребляя грубые, грязные слова.

— Я знаю, кто тебя подослал,— кричала она,— ты брат его жены, этой стервозы, у которой воняет изо рта, как из помойки... У которой тело покрыто волосами и липкое от пота... Евсея тянет на тошноту, когда он ложится с ней в постель... Он сам мне в этом признался,— она громко нервно захохотала.

Я был ошеломлен. Правда, в свои двадцать девять лет я был девственником по причине своей материальной и моральной ущемленности, но все-таки я вращался в грубой среде рабочего люда, говорившего об интимных отношениях мужчины и женщины довольно прямо и неинтеллигентно. И все-таки многие вещи, касающиеся этих интимных сторон, я слышал впервые так откровенно, с такой по-медицински циничной правдивостью (возможно, девушка была медичкой, я подумал о том после). Правда, в конце этих нецензурных в большинстве своем воплей (иначе не назовешь) она несколько если не оправдала, то объяснила причину случившейся с ней мгновенной истерики (это, конечно, была истерика).

— Вы следите за нами,— крикнула девушка.— Вы не даете нам любить... Скоты, ничего у вас не выйдет. Мы с Евсеем будем любить друг друга пока живы... Вы мучаете нас только за то, что мы красивы, а вы уродливы и противны,— и она заплакала.

В последних этих фразах почти уже не было грубых выражений, а наоборот, некоторая глупая трогательность и отчаяние, которое подчас так украшает слабость, а значит, и красоту женщины и которое я ждал от нее с самого начала, когда решился говорить. Отчаяние и слабость женщины делают любовь мужчины сильней и безумней, то есть он сразу забывает о всем дурном в женщине и помнит лишь о своей природной обязанности защитить слабость, обязанности, которая для влюбленного наиболее сладка. Шагнув к этой слабой, плачущей девушке, я широким жестом снял со своих плеч новую из сурового полотна летнюю курточку и набросил девушке поверх прозрачной кофточки на ее плечики. Но она не приняла моей защиты, и это, может быть, самое оскорбительное, что возможно для влюбленного мужчины... Она сбросила курточку с плечиков на землю, причем каким-то брезгливым жестом, пнула ее стройной ножкой и крикнула:

— Чего ты суешься со своим вшивым пиджаком, чего ты трогаешь меня со своим рылом уродливым... Сестре своей передай: плюю я на нее... Евсей будет со мной...

И она убежала. Я остался стоять, опустив голову. Так меня никогда еще не оскорбляли, даже если учесть, что она меня с кем-то путала, ибо оскорбление в конце концов касалось непосредственно моего лица...

* * *

Не прошло и двух дней, как я отомстил этой юной богине, именно богине, ибо, как говорил уже, красивая женщина являлась для меня существом святым и великим, которое заставляло молиться мою душу атеиста. В облике русоголовой, голубоглазой девушки святое для меня существо достигло предела, но потрясения, испытанные мной, побудили к бунту против созданного мной божества красоты и любви... Робость, пылкое воодушевление, стыд являлись обрядами той религии... Это была единственная религия, которой я верил и которую исповедовал. Однако, горько разочаровавшись, глубоко обманутый, я становился и здесь воинствующим атеистом. И русоголовой девушке я отомстил не так, как мстил до сего времени своим обидчикам, не так, как мстят человеку, а так, как мстят высшему существу, то есть мстят тому святому, что имеется в собственной душе. Главным из обрядов любви является стыд, и стоит надсмеяться над этим обрядом, как рушатся и остальные: мечта, робость, воодушевление... Самое священное, прочел я впоследствии у Мережковского, есть самое стыдливое, потому что стыд есть чувство телесной святости. Вот это чувство телесной святости, которое прежде скупо берег для любви, я и отбросил через два дня с рябой уборщицей Надей...

Едва Надя с Колечкой вошли в комнату, где я был один, как я встал, накинул крючок и положил на край стола три рубля... Она поставила веник в угол, посадила Колечку на дальнюю кровать, сама взяла в моей тумбочке пригоршню карамели и положила сыну в ручонку... После чего она начала расстегивать блузку... Жестокость я испытывал первоначально, когда накинул крючок, положил три рубля и Надя начала расстегивать блузку... Потом, когда все началось, я не испытывал ничего, кроме тошноты, гадливости и ужаса перед тем, что происходит со мной. Позднее, когда такие случаи повторялись, я перестал испытывать тошноту, даже научился получать удовольствие, пусть не такое сильное, как испытывал в снах либо в мечтах, кстати, с того момента навсегда исчезнувших... Тогда же я в ужасе и отвращении отворачивал свое лицо от потного рябого лица Нади, метавшегося по подушке, стонущего, пытающегося поймать своим ртом мой рот... Все-таки я нашел в себе силы в самый тошный момент вообразить и представить себе в подробностях прекрасное лицо юной надменной красавицы, дабы она вместе со мной разделила ужас и позор... Но потом, отворачивая все дальше свое лицо от Надиных поцелуев, я увидел мельком Колечку, сидящего на койке и сосущего свой кулачок, полный размякшей карамели. Мне стало так нехорошо, что, забыв обо всем, я вскочил, стыдливо отворачиваясь и наглухо застегиваясь, даже ворот рубахи под самый ворот застегнув. Надя же продолжала лежать на койке в бесстыдстве разметавшись, однако, глянув несколько раз, я вдруг ощутил, что это было уже не уличное продажное бесстыдство, а какое-то женское спокойное, чуть ли не доверчивое... Я, новичок, не знал еще, что так лежат усталые от искренней страсти женщины. Лицо ее также стало мягче, порок исчез с него и появились даже миловидность и тишина. Ошеломленный новым поворотомм, я стоял в растерянности посреди комнаты. Так продолжалась минута, другая. Надя встала, натянула юбку, застегнула блузку и тихо сказала:

— Приходи ко мне, я тебе адрес оставлю...

Это было уже слишком. Разом вспомнилось отвращение и тошнота, которые я испытывал, когда Надя ртом своим ловила мой рот, и я понял, что на ее глупое предложение следует ответить какой-нибудь грубостью... Мгновенно перебрав в уме несколько, я остановился на трех рублях, которые по-прежнему лежали с края стола.

— Не забудь,— сказал я, криво улыбнувшись и щелчком подвинув три рубля к Наде.

После чего вышел из комнаты, где Надя приступила к уборке.

А к вечеру, вернувшись в комнату после долгой прогулки, во время которой заметил, что поглядываю на встречных женщин по-новому, вернувшись в комнату, я обнаружил, что свершилось то, чего я опасался все три года моей бесправной жизни здесь и чего мне до сих пор удавалось избегать с помощью покровителей. Койка моя стояла голой и с обнаженной панцирной сеткой приобрела тощий нежилой вид. У меня отобрали постель на этот раз без всяких предупреждений, как было прежде во время моего бесправия... Но в чем я был уверен, это в том, что Надя непосредственно в данном случае к отбору постели непричастна. Возможно, за ней следили. Мне вспоминается теперь, что кто-то дергал двери в самый разгар наших взаимоотношений. И все ж, если в прошлый раз у меня пытались отобрать постель именно благодаря скандалу с Надей, когда я толкнул в отвращении ее Колечку, перелапавшего и испортившего мои продукты из тумбочки, то ныне это, конечно, были интриги Колесника вместе с комендантшей Софьей Ивановной... Именно новое мое положение равноправного гражданина, лишившее их возможности к грубому произволу в мой адрес, толкнуло этих людей на интриги и козни, которые бывают весьма даже эффективней грубого произвола, когда в руках у интриганов имеется административная власть.

Я бросился в жилконтору. За столом Маргулиса сидел новый начальник, молодой, но рано полысевший. Лишь увидав начальника, я понял, что мой мгновенный порыв в жилконтору был нелеп, ибо давно уже рабочий день окончен. Побежал я под воздействием не разума, а порыва, однако в данном случае мне повезло и случайно начальник задержался по какому-то делу.

— Я Цвибышев,— крикнул я начальнику чуть ли не с порога.

— Так,— ответил начальник с таким видом, будто он подтверждает действительность моей фамилии.

— Кто дал право отбирать у меня постель?

— Но что можно сделать, дорогой,— сказал мне начальник.— У нас ведомственное общежитие... Мы обязаны предоставлять койко-место лишь рабочим-строителям, в которых испытываем нужду.

То, что этот начальник говорил мягко, ввело меня в заблуждение. Подсознательно я никак не мог еще освободиться от своего прошлого бесправия и от примитивного унизительного стиля, с которым ранее со мной общались должностные лица. И я не понял, что передо мной работник новой эпохи и нового послесталинского стиля. Потому, приняв его мягкий стиль за податливость, я решил, что его легко сразу и без разведки можно запугать... И вновь, который раз, я сразу выложил козыри.

— Я сын генерал-лейтенанта,— крикнул я.— Ясно?.. Вам звонили по моему поводу из военной прокуратуры.

— Звонили,— вежливо ответил начальник.— Мы пошли им навстречу, поскольку речь шла о вашем временном пребывании... Но где же предел? Если они так хорошо к вам относятся, то пусть дадут вам жилье...

Он попал в самую точку, в самое мое больное место и, кажется, почувствовал это, ибо слегка, вежливо, правда, улыбнулся... Эта ядовитая вежливая улыбка и толкнула меня на новую глупость.

— Вы не указывайте военной прокуратуре, что она должна делать... Ясно? Я буду здесь находиться и занимать койко-место сколько потребуется... Ясно?.. Военная прокуратура укажет вам и не пикнете... Ясно?

Фраза вышла нелепая и какая-то военная с многочисленными «ясно». Это я понял, как всегда, тотчас, едва произнес. Смысл фразы получался таков, будто я занимаю койко-место в этом общежитии не от безвыходности и отсутствия иного ночлега, а чуть ли не по заданию военной прокуратуры.

— Уж нет, молодой человек,— сказал начальник,— времена беззакония и произвола кончились... Военная прокуратура не имеет права нарушать закон и поселять посторонних в ведомственное общежитие.

И тут не знаю, что получилось. Может, от отчаяния, от ощущения того, что все, чего я боялся и против чего боролся три года, свершилось

ныне так просто, причем нынешнее мое положение лишает меня возможности просить, унижаться и искать повод действовать на начальника через покровителей, может, оттого я как-то потерял ориентиры и, яростно, сломя голову вступив в противоборство, вынужден был, поскольку мой враг взял на вооружение новые, послесталинские веяния, использовать старое, консервативное сталинское начало.

— Нет уж,— сказал я, размахивая угрожающе пальцем,— военная прокуратура прикажет и ты (я сказал со злости «ты»), и ты со своим законом знаешь, куда пойдешь?.. Прикажут лошадей в комнаты поселить — поселишь (об этом сравнении можно сказать, что оно не очень удачно. Однако назавтра в общежитии его приводили, как пример моей психической болезни. Я сам слыхал, как о том шептались на кухне жены семейных).

— Вот что, молодой человек,— сказал начальник,— я думал, у вас хватит такта не вынуждать меня объявить и вторую, главную, может быть, причину изъятия у вас постели... Понимаете, живут у нас молодые ребята, холостяки...— он усмехнулся.— Вы человек уже немолодой, под тридцать... Но устраивать в комнатах разврат мы не позволим... Это плохо влияет на молодежь... Так мы и скажем, если позвонят из военной прокуратуры. Если вам это выгодно, так что ж...

Вот когда этот новый, мягкий, послесталинский стиль показал свои коготки... Я был убит, раздавлен и обезоружен, ибо просьбы и унижения даже во имя сохранения ночлега были невозможны из-за возвращенного мне реабилитацией достоинства, а противоборство невозможно также, ибо не только положение мое до конца не было мне ясно, но даже и позиция моя по поводу этого положения была путанна по крайней мере в той части, где я пытался запугать начальника прежними методами произвола, которые чуть ли не применят карательные органы, дабы сохранить за мной койко-место. Вот тут-то начальник и выложил свой козырь, прибереженный под самый конец, именно насчет моей связи с уборщицей Надей, причем меня даже в жар бросило, поскольку я представил, что за нами подглядывали в замочную скважину, куда по неопытности я не вставил ключ.

— Что же делать,— сказал я чуть ли не вслух,— что делать... Вы думаете, взяли меня за горло... А докажите... Да... Пусть кто-нибудь подойдет к моим вещам в шкафу или тумбочке, глаза выбью... Попробуйте не вернуть постель, сталинские морды...

Я защищался, как мог, отбросив щепетильность и душевную сложность... В общем, если вспомнить, положение мое начало налаживаться именно за счет простоты и крайних понятий, во время слежки за Саливоненко я даже окреп. И наоборот, душевные сложности, размышления и любовь привели меня, в который уже раз, на грань катастрофы...

Пнув ногой стул и сильно хлопнув дверью, дабы хоть частично растратить накопившуюся нервную энергию, я вышел от начальника и, придя в комнату, не глядя на жильцов, которые при моем появлении замолкли, стараясь не встречаться со мной глазами, не глядя ни на кого, я начал готовиться к ночлегу... Если б койка моя была обычна, то есть с обычной, а не панцирной сеткой, то положение мое вовсе было бы плачевно. Но в период дружбы моей с Береговым, он раздобыл себе и мне койки с панцирной сеткой, более мягкой, пружинистой и густой, не имеющей в соединениях металлических звеньев острых жестких крючков... Вместо матраца я положил несколько пар белья, которое собирался отдать в стирку, однако ныне задержу до получения назад постели. Конечно, они заняли лишь часть панцирной сетки, и я выложил чуть ли не все содержимое чемодана: рубашки, майки, даже носки. В дело пошло и несколько старых газет, обнаруженных мной в тумбочке. В резерве у меня оставались главные, так называемые, основные вещи, которые можно было использовать вместо постели: пиджак на каждый день, пальто и плащ... Выходной вельветовый пиджак, новую летнюю курточку и брюки я использовать не решился, дабы не измять и лишить себя возможности в исключительных случаях иметь приличный вид. Надо было распределить, что под голову, а что в качестве одеяла. Лучшим изголовьем было, конечно, пальто, особенно учитывая металлическую полосу, скрепляющую в конце сетку, полоса эта ощущалась даже сквозь

втрое сложенный пиджак. Но, использовав таким образом пальто, я лишился бы хорошего одеяла, каким оно являлось и каким не могли явиться ни плащ, ни пиджак, вместе взятые... Постояв так и подумав, я вынужден был, сокрушенно вздохнув, присовокупить в качестве постельной принадлежности также и выходной вельветовый пиджак, использовав его в изголовье и стараясь сложить, как можно аккуратнее, — рукав в рукав. Таким образом, оба пиджака были в изголовье, пальто в качестве одеяла, а плащом я укутал ноги. Пока я стелил, все жильцы, кроме Берегового, который с невозмутимым видом читал, лежа на своей постели, юмористические рассказы Остапа Вишни, все жильцы следили за мной с каким-то хмурым сочувствием и жалостью, которые меня раздражали... Жуков перемигивался с Петровым, они вышли, позвали Саламова, Саламов вернулся и предложил мне две простыни... Во-первых, что мне две тонкие простыни, разве защитят они от жесткой сетки или холода (ночи, особенно перед рассветом, все ж были холодные, хоть был июль, поскольку Береговой настежь распахивал окно), итак, что мне две простыни? Во-вторых, терпеть не могу этой мышиной возни и помощи со стороны людей, которые даже и не разговаривали со мной и помощь предложили через посредника. Поэтому я не только в достаточно обидной форме отказался от простыней, взяв их из рук Саламова и молча бросив назад, — одну на постель Петрова, вторую на постель Жукова, но чтоб продемонстрировать свою твердость и права в комнате, несмотря на отобранную постель, подошел широким шагом к радио и выключил его. Береговой поднял голову, однако промолчал. Я лег. Первоначально было, конечно, непривычно, но потом я приспособился, подобрал ноги, дабы не лежали они на металлической полосе, нашел удобное положение почти на спине, но чуть повернувшись на правый бок, и таким образом даже вздремнул. Однако ночью, проснувшись от холода, с затекшими ногами, я начал ворочаться, распрямил ноющие колени и при этом угодил пятками на холодную металлическую полосу. Чем более я пытался улечься удобнее, тем более все из-под меня и с меня расползалось, шелестели и рвались газеты, и тут-то я понял подлинную цену мягкому матрацу, подушке и одеялу, в ночные часы доставляющим такое удовольствие телу, что большее удовольствие, чем сон на мягкой постели, даже трудно было придумать...

Юрий Балабанов

ШТУЧКИ

Вернувшись вечером с работы домой, Сергей Сергеевич Тихонький почитал на сон грядущий Александра Дюма и в полночь спокойно уснул. Однако часа в четыре ночи разбудил его телефонный звонок. Звонила Стелла Львовна Коктебельская — секретарша нашего уважаемого директора.

— Простите, Сергей Сергеевич, что звоню вам так поздно, но мы в этот момент решаем с товарищем директором горящий вопрос: мы утверждаем список кандидатов для поездки в Париж, и нам хотелось бы знать, можем ли мы на вас рассчитывать.

— В каком плане? — осторожно спросил Сергей Сергеевич, затрепетав от волнения.

— В плане поработать в Париже недельки две, а то и три.

Вот тут-то Сергей Сергеевич вздохнул и понял, что он спит и видит сон: про совещание в четыре часа ночи, про телефонный звонок и, увы, про Париж!

Он сделал над собою усилие и проснулся.

Было действительно четыре часа ночи. Сергей Сергеевич лежал в постели, а телефон стоял в коридоре. Стоял и молчал.

«Вот как бывает», — улыбнулся сам себе Сергей Сергеевич и побрел в кухню — попить сырой воды.

...Но стоило ему немного приоткрыть кран, как из крана вместо сырой воды появилось облако пара, а из пара возник Джинн.

Джинн сказал:

— Я знаю твое желание, Сергей Сергеевич. Ты страсть как хочешь поехать в Париж.

— Не хочу я в Париж, — раздраженно ответил Сергей Сергеевич, — потому что я все равно сплю. А во сне поехать в Париж — это все равно, что на пьяной вечеринке хлебать пустую воду.

Умный был человек Сергей Сергеевич — сразу понял, что все еще лежит в кровати и спит.

— Нет, ты не прав, — отвечал тем временем Джинн, — это не сон. И стоит тебе захотеть, как ты на самом деле окажешься в Париже.

— Ничего я не хочу, — сказал Сергей Сергеевич Джинну, — кроме того, чтобы ты исчез, а я наконец-то проснулся.

И стоило ему это сказать, как облако пара всосалось обратно в кран с холодной водою, а вместе с ним засосало и Джинна. Сергей Сергеевич же проснулся от звонка будильника, весь в холодном поту, и очень удивился, что уже утро и пора собираться на работу.

В трамвае Сергей Сергеевич удивился также тому, что все граждане ему улыбаются и уступают место поудобнее, рядом с окошком.

Сел он на то место и видит, что летит трамвай без остановок, аж трясется весь — так быстро летит.

И спрашивает Сергей Сергеевич: «А куда мы так быстро едем?»

А пассажиры ему мило так улыбаются, говоря: «В Париж, Сергей Сергеевич, в Париж».

Юрий БАЛАБАНОВ (р. 1960) живет в Москве. Окончил факультет музыкального театра (курс Б. А. Покровского) в ГИТИСе. Певец. Пишет прозу, стихи, песни. Публикуется впервые.

И вновь холодным потом облился Сергей Сергеевич и проснулся во влажных простынях в постели, которая, однако, тряслась и шаталась из стороны в сторону.

И увидел Сергей Сергеевич, что стоит его постель не дома, в Трущобном переулке, 26-б, а в купе первого класса скорого поезда, а за окном мелькают уютные домики предместья Сен-Жермен.

Диким голосом закричал Сергей Сергеевич со всем отчаянием, на которое только был способен, и проснулся, который раз, в холодном поту...

Господа! Если вам доведется встретить Сергея Сергеевича Тихонького на его трудном, полном переживаний пути из Москвы в Париж, будьте так добры, скажите ему, пусть он не морочит людям голову и либо едет туда, куда зовет его фортуна, либо просыпается наконец и идет на работу, потому что работа без него стоит уже целую неделю.

«Военная тайна». Посвящается Аркадию Гайдару

Когда я был еще совсем маленьким ребенком, я сказал такое, что мои родители, опасаясь, как бы нас всех после этого не арестовали, вынули меня из колясочки, переложили в плетеную ивовую корзинку и отправили вниз по реке, в другой район, где еще не было Советской власти. А сами пошли пешком вдоль берега в надежде выловить меня на другой, более счастливой и свободной земле. Но на границе их схватили, долго допрашивали, а потом посадили на четыре года в тюрьму. Так что, когда через четыре года их выпустили, меня уже вынесло в Тихий океан, и я бороздил его просторы. Родители же об этом ничего не знали и, решив, что их сын утонул, оформили заграничный паспорт и отправились в Америку.

Случилось так, что корабль, на котором они плыли, потерял управление, попав в мощные потоки Гольфстрима, в то время, как моя корзиночка, привыкшая за три года плавать по океанским волнам, этот самый Гольфстрим пересекала — причем уже в третий раз.

Тут-то и произошла наша встреча, которая, правда, длилась недолго, потому что когда меня подняли на палубу, я сказал такое, что родителей моих тут же арестовали, а меня накормили клубничным мороженым со взбитыми сливками и уложили спать в каюте первого класса.

Корзиночку мою подвергли тщательному ремонту и, по моей просьбе, снабдили маленьким дизельным моторчиком.

Провожала меня вся команда корабля, и мама махала мне синим платочком, просунув руку сквозь железную решетку, которой было схвачено окно каюты (чтобы она не прыгнула в воду и не сбежала). Папа мой платочком не махал, потому что ему предусмотрительно связали руки.

Когда дно моей корзиночки коснулось глади океана, я завел мотор и со слезами на глазах устремился к родным берегам, которых никогда не видел, зато любил всем сердцем, потому что Родина дана человеку для того, чтобы ее любить.

Родных берегов я достиг раньше, чем матросы на корабле, увозившем моих папу и маму, увидели Статую Свободы.

Когда меня встретили представители Советской власти, я сказал им такое, что на корабль тут же была послана радиограмма, и мою маму вместе с папой вывели из каюты и повели на расстрел со связанными руками.

Перед самым выстрелом папа перегнулся за борт и выплюнул в воду маленькую бутылочку, в которую была вложена маленькая записочка, в которой было подробно рассказано о том, каким я вырос нехорошим ребеночком. Матросы с корабля пробовали поймать эту бутылочку, но она, видимо, попала в теплое течение Гольфстрим, и догнать ее не было никакой возможности.

Узнав про этот случай, я поступил на работу в экспедицию, занимавшуюся изучением погоды в Тихом океане, и вот уже много лет наш научный корабль, забыв про розу ветров, гоняется за той самой бутылочкой.

Недавно с материка была послана на корабль радиограмма, в которой спрашивалось, почему мы не занимаемся изучением погоды, но я им сказал такое, что гидрометцентр вместо солнца предсказал град со снегом.

Три года назад я женился, и у меня родился мальчик. Свое первое слово он произнес среди облаков и небесного простора, ибо, как только он открыл рот, я, опасаясь дурной наследственности, посадил его в корзиночку, а к корзиночке привязал огромный голубой воздушный шарик для изучения розы ветров.

Не знаю, что мой сыночек сказал там на небесах, но как только воздушный шарик скрылся за тучами, началась такая гроза, что наш корабль едва не потонул.

И вот уже три года мой непослушный сын-хулиган преследует нашу экспедицию и мешает нам заниматься серьезными исследованиями.

Как только над нами появляется голубой воздушный шарик с привязанной к нему корзиночкой, мы задраиваем все люки и ложимся в дрейф.

На случай девятого вала я держу при себе бутылочку «бренди». «Бренди» я давно уже выпил, а в бутылочку вложил записочку, в которой подробно рассказал, каким неблагодарным вырос мой единственный ребенок.

Я в детстве мечтал водить трамвай. Захожу я тут как-то в трамвай и говорю вагоновожатой: «А я в детстве мечтал водить трамвай», — а она говорит: «А я в детстве ни о чем не мечтала, как только поскорее выйти замуж, а когда эта моя мечта сбылась, муж послал меня водить трамвай».

А вот моя соседка Анна Павловна работает дворничихой, а с детства мечтала быть балериной. Она бы и стала балериной, если бы однажды, подметая улицу, не поскользнулась на арбузной корке и не выбила себе разом все зубы. Пошла она к платному врачу, что у Казанского вокзала, и он вставил ей большие, красивые, но золотые. А с золотыми зубами в балет не принимают: внимания они много на себя берут и тем самым от действия отвлекают.

А я, сказала балерина, когда была маленькой, мечтала работать дворничихой на Красной площади, на Лобном месте. Знаете ли вы, сколько за ту ограду денег за день бросают?!

А вот одна дама мечтала быть великой актрисой и играла даже в театре. Она приходила в театр за три часа до начала спектакля и красилась негритянкой. Потом выходила в финальной сцене и говорила: «Госпожа, не хотите ли кофе со льдом?». А госпожа ей отвечала: «Ничего я не хочу, убирайся прочь». Тогда эта дама шла со своим подносом в гримерную и целый час мокрой тряпкой смывала с себя грим негритянки. Так что когда она из театра уходила, все остальные артисты уже дома сидели и кушали макароны.

А потом как-то на спектакль приехал негритянский принц и сказал: «Подайте мне ту негритянку, я женюсь на ней». И не успела она отмыться после спектакля, как принц тот — бац! — и увез ее в Африку. Теперь она снова каждый вечер выходит с подносом и говорит: «Господин, не хотите ли кофе со льдом?»...

А один старик в детстве очень мечтал быть тюремщиком — охранять общество от преступных элементов. Но после школы в тюремщики его не взяли — сказали, что для этого нужно высшее образование иметь. А когда он институт закончил, то уже очень мечтал быть вышибалой в театре — выгонять всех, кто кашляет и разговаривает во время действия и громко бумажками шелестит. А в театре на него обиделись и сказали, что здесь бумажками никто не шелестит (так, мол, у них интересно), и посоветовали пойти в ресторан. Он так и сделал: пошел в ресторан, напился, побил всю посуду, и его посадили в тюрьму. Теперь он сидит в тюрьме и пишет мемуары.

А один писатель всю жизнь писал мемуары, а потом сдал их в макулатуру и купил своей жене французские духи. А жена флакон духов уронила, он — хлоп! — и разбился. Теперь оказалось, что писатель жизнь

свою прожил зря... Да! Как изменчива жизнь, господа, и сколь далеки наши мечтания от всего того, что встречается нам в суровом океане повседневности!

Мария Гавриловна Адельсон-Вельская приехала в Москву для того, чтобы стать звездой экрана. Звездой она не стала, зато встретила меня, а я пообещал написать про нее рассказ, который будет начинаться словами: «Мария Гавриловна Адельсон-Вельская приехала в Москву для того, чтобы стать звездой экрана». Правда, на этом рассказ должен был и закончиться, потому что больше писать про Марию Гавриловну нечего, потому что нет у нее ни достоинств, ни недостатков.

Короче, ничего не было у Марии Гавриловны, кроме денег, и мы решили пойти в ресторан.

В ресторане Мария Гавриловна напилась, заплакала и призналась мне, что зовут ее вовсе не Мария Гавриловна Адельсон-Вельская, а Наташа Голобородько и живет она не в Пензе, а в деревне Большие Бугорки, а деньги ей дали родители для того, чтобы она поехала на ярмарку и купила там корову.

А потом к нам подсел очень симпатичный молодой человек, и мы выпили за Наташу, за ее родителей, за Большие Бугорки, за корову и за киноактрису Людмилу Гурченко.

Потом я уснул, а Наташа напилась, заплакала и призналась симпатичному молодому человеку, что она вовсе не Наташа Голобородько, а Мария Гавриловна Адельсон-Вельская и что приехала она в Москву для того, чтобы стать звездой экрана. А молодой человек сказал, что он известный писатель и что завтра он обязательно напишет про Марию Гавриловну рассказ, который будет начинаться словами: «Мария Гавриловна Адельсон-Вельская приехала в Москву для того, чтобы стать звездой экрана». Он заверил свое обещание поцелуем и пригласил Марию Гавриловну к приятелю на квартиру.

Когда они уехали, к моему столику подсел очень симпатичный милиционер, мы с ним немножко поболтали, а потом поехали ко мне домой, за сто двадцатью рублями, чтобы заплатить по счету в ресторане.

Паша Толубеев принадлежал к миру творческой интеллигенции. Каждый день он выезжал с этюдником и красками на природу, где рисовал зеленые насаждения, получая за это неплохие деньги. И вот однажды Паша Толубеев, охваченный творческим вдохновением, забрел со своим этюдником и красками так далеко в лес, что даже сам испугался. И не успел он испугаться, как из-за деревьев появился здоровенный детина с дубиной в руке и с финским ножом за пазухой. Детину этого тоже звали Паша Толубеев, но он не принадлежал к миру творческой интеллигенции, а потому не способен был понять тонкую и ранимую душу художника.

— А ну, гони сюда свои вонючие краски, — предложил Паша Толубеев, доставая из-за пазухи финский нож.

— Прошу вас, не убивайте меня, — взмолился Паша Толубеев, — я принадлежу к миру творческой интеллигенции. Я каждый день выезжаю на природу с этюдником и красками и рисую зеленые насаждения, получая за это неплохие деньги!

— И деньги тоже давай, — согласился Паша Толубеев, занося над Пашей Толубеевым свою дубину.

Дрожа всем телом и покрываясь холодным потом, Паша Толубеев высыпал на траву к ногам грабителя все свои деньги, прикарманив себе лишь пять копеек на метро, и бросился бежать куда глаза глядят, оставив в темном лесу свою палитру с красками и этюдник с незаконченным шедевром. Перелетая через кочки и рытвины, он поклялся сам себе, что если уйдет из этого страшного леса живым, то больше никогда не взглянет на злосчастную природу и переквалифицируется на голых женщин; и рисовать их будет исключительно у себя дома — лучше на кухне, потому что на кухне у него идеальное освещение.

А Паша Толубеев тем временем разворотил дубинкой этюдник Паши Толубеева; разрезал на куски незаконченную картину; а красками написал на стволе дерева неприличное слово и нарисовал соответствующий рисунок. Причем слово он вывел красным, обведя буквы понизу фиолетовой каймою и пустив сверху зеленые прожилки; а сам рисунок, подтверждающий написанное, сделал, смешав цинковые белила с темной охрой. Отдавая своему занятию всю душу и даже вспотев от напряжения, Паша Толубеев, сам о том не ведая, впервые в жизни присоединился к миру творческой интеллигенции.

Воистину, господа, блажен тот лев, которого съест человек, ибо лев войдет в человека, и проклят тот человек, которого пожрет лев, ибо лев станет человеком. Аминь.

Старушке, видите ли, было скучно, и она сидела на подоконнике с пульверизатором в руке и от нечего делать поливала прохожих средством для травли тараканов.

Введенные в заблуждение граждане, решив, что с неба падают ядовитые отходы местной консервной фабрики, написали в газету гневные письма.

Через три дня на консервной фабрике полностью сменилось руководство. Новый директор бросил все средства на защиту граждан от падающего с неба яда, но очистительные сооружения оказались бессильны.

Возмущенные граждане вновь написали в газету гневные письма, в которых задавали один и тот же весьма конкретный вопрос: «Почему очистительные сооружения не спасают их от ядовитых отходов?» — на что получили весьма конкретный ответ: «А вы спросите у той старушки, что с утра до ночи сидит, задрав ноги, на подоконнике».

Автор столь остроумного ответа подписался моим именем; а вредная та старушка — моя бабуля, Прасковья Федоровна Эпилептич.

Между прочим, банку с дустом ей подарил на семидесятипяти-с-половинойлетний юбилей мой зять, Иван Филаретович Синий, которого я недавно, пользуясь правом директора консервной фабрики, назначил на должность главного начальника очистительных сооружений.

Леночка Шелковичная отправилась с утра в парк культурного отдыха, чтобы познакомиться там с каким-нибудь молодым и красивым мужчиной.

Добравшись до песчаного пляжика, Леночка постелила на раскаленный от солнца песочек полотенчико и, разложив на него ручки, ножки, попочку, животик, бюстик и головку, томно прикрыла глазки темными очками, в ожидании появления прекрасного принца.

Но принц не появился. Вместо принца Леночку разбудила маленькая девочка.

— Вставай, тетя, — прошепелявила малышка, — ты мешаешь.

— Чем это я тебе мешаю? — не открывая глáзок, поинтересовалась Леночка.

— Здесь у нас развернутся военные действия и пройдут танки, и ты, тетя, можешь стать невинной жертвой. Лучше убирайся, пока тебя не размазали по песочку.

Леночка Шелковичная опустила темные очечки и подняла глазки на девочку.

На девочке был бронежилет, военные сапоги и автомат через плечо, как у настоящего бойца-красноармейца. А каска на голове большая-пребольшая и зеленая-презеленая.

«Какой милый ребенок», — подумала Леночка, а вслух сказала:

— Ты похожа на хилую сыроежку, дитя!

Из-за холма вынырнул большой зеленый танк. Прогромыхав гусеницами, танк остановился в пяти сантиметрах от полотенчика, на котором лежала Леночка. Из танка выросла голова мальчика, лет восьми.

— В чем проблема, товарищи? — весело спросил мальчик.

— По приказу начальника танковой колонны освобождаю поле боя от посторонних предметов, — отрапортовала малышка, вытянувшись по стойке «смирно» и став похожей на бледную поганку.

— Поторопитесь, танковая колонна на подходе, — предупредил мальчик, хлопнул бронированным люком и отъехал, пустив в нос Леночке тучу пыли.

— А ну, убирайся отсюда, женщина! — зашипела девочка, побелев и надувшись так, что стала похожа на гриб-дождевик.

Леночка улыбнулась девочке и достала из пляжной сумочки пилку для ногтей.

И когда с малышкой в очередной раз случилась метаморфоза и она, позеленев от нахальства, превратилась в довольно приличный подосиновик, Леночка Шелковичная срезала его пилкой для ногтей, положила в пляжную сумочку и дома из того подосиновика сварила вкусный-превкусный супчик.

Вот, дети, что случается со злыми девочками, которые гуляют по пляжику без папы и мамы и грубят взрослым тетям.

Семен пришел к Управдому за советом.

— Я отремонтировал коровник, постелил там свежую солому и заготовил на зиму корма, но Корова не хочет залезать в лифт и подниматься на одиннадцатый этаж.

— Печально, — сказал Управдом, — очень печально, что зря пропадает полезная жилая площадь, — и посоветовал Семену не мешкать и побыстрее обратиться к Психиатру.

Психиатр ничем существенным помочь не обещал, но за двадцать два рубля сорок копеек согласился провести три с половиной гипнотических сеанса.

Поймав такси, они поехали к Семену во двор, захватив с собою двух Санитаров.

Целых три с половиной сеанса Санитары держали Корову за рога, а Психиатр внушал, что бояться лифта не надо, что лифт для того и создан, чтобы кататься вверх-вниз, вниз-вверх, но ничего не помогало.

В обеденный перерыв все четверо сгоняли в булочную-кондитерскую и встретили в очереди за карамелью Мясника. После долгих уговоров за полкило сахарной ваты Мясник помог Семену грамотно разрубить Корову на части и погрузить ее в лифт безо всякого гипноза.

Через пять минут Корова уже была доставлена на одиннадцатый этаж в свой коровник.

— Дерьмо твой Психиатр, — сказал Мясник Семену, — то, что у него не получилось за три с половиной сеанса, я сделал за три с половиной минуты!

Господа! Если вам когда-нибудь будет нужно уговорить корову сесть в лифт и поехать наверх, в новый коровник, не советую обращаться к психиатру — он ничем вам не поможет.

Андрей Сахаров

ВОСПОМИНАНИЯ

Через неделю после подписания Устава мы объявили о создании Комитета настолько широко, насколько это было в наших силах. Торжественное объявление состоялось у Чалидзе 11 ноября. Я уже описывал экстравагантную обстановку его комнаты. В этот день там собралось много приглашенных Чалидзе инакомыслящих, многих я уже знал, но многих видел впервые. В числе последних — Петра Якира с женой. Якир в то время был одним из самых известных диссидентов. Сразу после нашего заявления оно было передано иностранным корреспондентам.

Эффект превзошел все ожидания. Целую неделю добрая половина передач «Голоса Америки», Би-би-си и «Немецкой волны» были посвящены Комитету. По существу, наибольшее значение имел именно самый факт создания и объявления независимой от властей группы, которая по возможности объективно изучает (пытается это делать) отдельные стороны вопроса о правах человека в СССР и публикует результаты своего исследования после коллективного обсуждения и утверждения.

Заседания Комитета проходили раз в неделю по четвергам, тоже у Чалидзе. Я потом расскажу о принятых Комитетом документах. Одновременно на мое имя начали поступать многочисленные письма, на которые мне нечего было ответить (как я и опасался), стали приходить посетители. Невозможность помочь всем этим людям, то, что я как бы обманывал их надежды, очень меня мучили, это стало моей бедой на протяжении многих лет... Я не очень разбирался в юридических аспектах рассматривавшихся на Комитете проблем (хотя, в отличие от Солженицына, не считаю их изучение бессмысленной тратой времени). Конечно, я не во всем был согласен с Чалидзе и Твердохлебовым, а они всегда занимали общую позицию, казавшуюся мне слишком умозрительной и недопустимо парадоксальной; это вызывало у меня сильное раздражение. Но, повторяю, мне тогда (как и сейчас) главными представлялись не детали, а общая направленность работы Комитета в защиту важнейших прав человека. Сами же заседания Комитета были некоей формой дружеского общения.

После Люся придумала для этих встреч шуточное название «ВЧК», что расшифровывалось не «Всероссийская чрезвычайная комиссия», а — «Вольпин (непременный и очень ценный участник), Чай, Кекс». Для меня, не избалованного дружбой, может, именно эта сторона была самой важной. Люся еще тогда это хорошо подметила.

Одно из организационных изобретений Валерия, однако, оказалось совсем неудачным, даже бестактным (не по отношению ко мне). Чалидзе ввел в Устав Комитета почетное звание члена-корреспондента, оно должно было присуждаться людям, имеющим большие заслуги в деле защиты прав человека. Конечно, тут все было плохо придумано, начиная от названия, заимствованного из Устава Академии наук, где оно означает нечто совсем другое. Еще хуже, что были выбраны Александр Галич и Александр Солженицын; каждый из них был очень плохо информирован о намечавшемся избрании (Галич по телефону, к Солженицыну ездил с какой-то беседой

Продолжение. Начало см. «Знамя» №№ 10, 11, 12 за 1990 г. и № 1 за 1991 г.

я), в результате они были поставлены в очень неловкое и ложное (а Галич — даже опасное) положение. Фактически получалось, что Комитет, еще ничего не сделав по существу, уже вовлекает для саморекламы в свою шумиху заслуженных людей. Раио нам было «раздавать» почетные звания. Вероятно, именно эта несолидная история (в которой и я, конечно, по недомыслию виноват) вызвала уже первоначально столь отрицательное отношение Солженицына к Чалидзе, во многом несправедливое.

В ноябре 1970 года состоялся вслед за Пименовым и Вайлем еще один примечательный суд — в Свердловске судили молодого историка Андрея Амальрика и инженера Льва Убожко. Амальрик был известен как автор острого и остроумного, хотя и спорного памфлета «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» Автор считал что деградация советского общества, вызванная косностью и догматизмом, центробежные силы национальных окраин и другие причины настолько ослабят советскую империю, что она окажется легкой добычей для многомиллионных армий Китая, спаянных воедино еще не потускневшей идеологией и национальным подъемом. Амальрик был не одинок в таких предсказаниях и опасениях. В другом аспекте та же проблема китайской экспансии волнует Солженицына. Я в «Памятной записке» тоже отдал некоторую дань этим опасениям, но уже в период написания «Послесловия» (лето 1972 года) стал отходить от них. Амальрик до своего ареста написал и некоторые другие интересные статьи: «Иностранные журналисты в Москве», «Нежелательное путешествие в Сибирь» — описание высылки его как «тунеядца». В СССР действует закон, позволяющий высылать в отдаленные места граждан, не выполнивших указания административных органов о трудоустройстве и ведущих «паразитический» образ жизни (т. е. живущих не на «трудовые доходы» — очень неопределенная формулировка). Этот закон, вообще представляющий собой юридического монстра, открывает огромные возможности для всякого рода злоупотреблений и беззаконий. Он часто используется против диссидентов, верующих, лиц свободных профессий, кустарей, просто для сведения личных, например, квартирных счетов. Дело ленинградского поэта Бродского, о котором я уже упоминал, и Амальрика — в числе первых ставших мне известными примеров. (Добавление 1988 г. Фактически, кажется, Бродский и Амальрик были высланы еще до принятия указа.) В эти дни, предшествующие суду, я познакомился с близким другом покойного отца Андрея Амальрика, археологом Монгайтом. Он много рассказал мне об Андрее, его отце (фронтовые эпизоды из жизни отца, историю исключения Андрея из университета с исторического факультета — Амальрик в курсовой работе защищал «еретическую» с точки зрения советской историографии, «германистскую» версию создания русской государственности, и другие эпизоды).

Подельник Амальрика — инженер Лев Убожко обвинялся в том, что показал квартирной хозяйке номер «Хроники» и хранил один экземпляр памфлета Амальрика. Убожко (житель Свердловска) был вовлечен в это дело явно ради того, чтобы иметь предлог провести суд над москвичом Амальриком подальше от иностранных корреспондентов. Я собирался поехать в Свердловск, но не осуществил этого намерения, опасаясь по неопытности в этих делах, что не найду место суда — которое, действительно, было перенесено на какую-то окраину, да и просто — не собрался вовремя. Убожко не было в зале суда — психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, и суд направил его в специальную психиатрическую больницу. Об Амальрике я еще буду писать. Судьба Убожко — предельно трагическая. После трех лет ужасов спецпсихбольницы он был переведен в больницу общего типа (это обычно означает скорую выписку). Но он не дождался выписки, бежал, вновь задержан и вновь, уже бессрочно, помещен в специальную психиатрическую больницу.

После Калуги я вновь увидел Люсю на дне рождения Валерия Чалидзе. Там было очень тесно, большинству просто негде было сесть, но из уважения ко мне и моему академическому званию для меня место нашли, причем публика весело шутила: «Надо Сахарова посадить». Следующий раз я увидел Люсю в связи с «самолетным делом», это была уже очень серьезная встреча.

Я уже несколько раз упоминал об этом деле, теперь расскажу о нем. 15 июня 1970 года в Ленинграде на аэродроме местного сообщения у трапа самолета и в лесу около маленького городка Приозерска были арестованы две группы людей, которые хотели захватить самолет, чтобы бежать из СССР в Израиль. Таким образом, это дело в своей основе являлось еще одним трагическим следствием отсутствия в СССР свободы выбора страны проживания, свободы эмиграции. Первоначальный план побега — другой, более многочисленной группы, в которую входил среди прочих инженер Бутман и бывший пилот гражданской авиации Марк Дымшиц, заключался в закупке всех билетов на большой пассажирский самолет и его захвате; о плане стало известно в Израиле, МИД Израиля (через каких-то посредников, кажется, туристов) прислал категорический запрет операции, компрометирующей идею легальной эмиграции. План был отменен, Бутман и большинство участников отказалось от него, но Дымшиц все же решил предпринять попытку осуществить побег, хотя и с другим, меньшим составом участников. По новому плану предполагалось закупить билеты на небольшой самолет местной авиалинии, вылетающий из Ленинграда, при посадке самолета в Приозерске связать летчиков и оставить их на летном поле. После этого к находящимся в самолете должны были присоединиться несколько участников, проведших ночь в лесу под Приозерском, и все вместе должны были лететь в Швецию и там сдаться властям.

Несомненно, весь этот план был авантюрой и нарушением закона, за которое его участники должны были понести уголовное наказание. Однако все же их планы были не столь тяжелым преступлением, как то, в котором арестованные были обвинены иа суде. Опасность для летчиков была минимальной, а посторонних пассажиров, жизни которых могло бы угрожать похищение, вообще не было. Захват самолета предполагался на земле, таким образом, это не было бы воздушным пиратством. И уж, конечно, их действия не были «изменой Родине» (статья 64 Уголовного кодекса РСФСР, предусматривающая наказание вплоть до смертной казни; согласно закону, измена Родине подразумевает действия в ущерб территориальной неприкосновенности, государственной независимости или военной мощи страны).

В 1969—1970 годах имели место один или несколько (я не помню точно) случаев угона самолетов палестинцами из «Отряда имени Че Гевары», а через несколько недель после ареста Кузнецова и его товарищей два угона самолетов произошли в СССР. Один из них получил особенную известность. Два литовца — отец и сын Бразинскасы, угрожая экипажу и применив против него оружие, угнали пассажирский самолет в Турцию с целью уехать из СССР. При этом трагически погибла молодая бортпроводница Надя Курченко и были ранены другие члены экипажа. Безусловно, Бразинскасы совершили серьезное преступление. Сейчас СССР требует их выдачи. Однако большинству советских граждан до сих пор неизвестно, что Курченко не была убита Бразинскасами, а погибла от случайной пули советского охранника, и что в Турции Бразинскасы предстали перед судом, были осуждены и отбыли полный срок наказания (это, между прочим, один из примеров того, как плохо работают редакции западных радиостанций, вещающие на СССР для советских граждан. Гибель Курченко очень широко используется советской пропагандой, западные же станции сообщают об этом так: угон самолета, во время которого погибла бортпроводница; советский слушатель, естественно, «понимает», что ее убили угонщики).

Все эти трагические события создали психологический фон, крайне неблагоприятный для «ленинградских самолетчиков», лишь немногие понимали, что их дело все же иное.

Среди участников нового плана был бывший политзаключенный Эдуард Кузнецов, ранее отбывший 7 лет в лагере по «дутому» политическому обвинению; к плану Дымшица его привлекла жена Сильва Залмансон, уговорившая также к попытке побега двух своих братьев. Кузнецов же привлек к участию в полете двух бывших товарищей по заключению (тоже бывших политзаключенных) — Юрия Федорова и Алика Мурженко. Первый из них — русский, второй — украинец, остальные десять участников предполагавшегося побега были евреи. Сам Кузнецов по документам был русский, но отец его — еврей. Впоследствии, уже перед кассационным судом, Люсе и Тельникову (солагерник Вайля и Пименова, который также был солагерником Кузнецова) удалось найти документ, под-

тверждающий, что мать Эдика, разойдясь с его отцом, сменила его и свою фамилию Герзон на первоначальную русскую Кузнецов.

Федоров и Мурженко видели в Кузнецове «старшего» и долго не размышляли. Так они променяли невыносимо трудную жизнь бывших политзаключенных на еще более трудную жизнь политзаключенных в настоящем времени. Вышло так, что Люся знала Эдуарда Кузнецова еще в период между его первым заключением и арестом 15 июня 1970 года — их познакомил Феликс Красавин, один из солагерников Эдика. Эдик часто бывал в ее доме. Однажды Кузнецов ночевал у них. Сын Люси Алеша читал какую-то книгу о смертной казни, приставал с этим к Эдику, чем вызвал его реплику: «Отстань, не интересует меня проблема смертной казни». Бывал иногда у нее и Федоров. Сразу после ареста Кузнецова и его товарищей Люся вылетела в Ленинград, где застала обстановку полной растерянности среди знакомых Кузнецова: она одна поехала на аэродром и узнала, что Кузнецов и другие действительно были арестованы там у трапа самолета (этому предшествовала драка между московскими и ленинградскими гебистами — очевидно, на почве конкурентной борьбы за право главенствовать в операции ареста). Обстоятельства ареста и про драку ей рассказал приемщик багажа. В ближайшие дни Люся подала заявление, что она — тетя Кузнецова, и таким образом получила право «родственницы» (мать Кузнецова не была в состоянии активно действовать; возможно, КГБ знало, что Люся не истинная тетя, но смотрело на это сквозь пальцы). Люся в первые же недели приложила очень много сил, подбирая адвокатов для Эдика и других обвиняемых, еще больше усилий в этом деле потребовалось от нее в дальнейшем — на протяжении более 10 лет.

В декабре начался суд. В качестве ближайшей родственницы Люся присутствовала на всех заседаниях, а вечерами каждый день по памяти восстанавливала запись суда. Иногда она сама ездила в Москву и немедленно возвращалась, иногда ездили ее друзья; в любом случае в Москву поступала самая свежая оперативная информация, немедленно печаталась и передавалась иностранным корреспондентам. Люся была также в Ленинграде весной 1971 года во время суда над людьми, причастными к первоначальному проекту захвата большого самолета (над Бутманом и другими). В это время она стала передавать свои записи (сделанные со слов родственников, присутствовавших на суде) прямо по междугородному телефону; у будки собирались гебисты, следовавшие за ней по пятам, демонстративно заглядывали через стекло в ее тетрадку, но физически не мешали ей (команды, видимо, не было). Люсины записи суда над Дымшицем, Кузнецовым и их товарищами публиковались в полном виде, в частности, в качестве приложения к «Дневнику» Кузнецова (о нем будет речь ниже). Люсина информация получила широкое распространение в СССР и за рубежом и очень способствовала международной известности и защите обвиняемых.

Из Люсиных эмоциональных впечатлений на суде — инфантильность, детскость многих, не всех, конечно, подсудимых — и зловещая серьезность, жестокая торжественность судебной машины. 24 декабря был вынесен приговор. Марк Дымшиц и Эдуард Кузнецов были приговорены к смертной казни. Юрий Федоров (отказавшийся участвовать в следствии) как «рецидивист» был приговорен к 15 годам заключения; Алик Мурженко (тоже «рецидивист») — к 14 годам, оба — к особому режиму. К очень большим срокам были приговорены и другие обвиняемые. (И. Менделевич — к 12 годам, С. Залмансон — к 10 годам и аналогично для других.)

Когда был объявлен смертный приговор двум обвиняемым, в зале раздались аплодисменты гебистов и «приглашенной» публики. Люся, вне себя, закричала:

— Фашисты! Только фашисты аплодируют смертному приговору!

Аплодисменты тут же прекратились. Для Люси этот поступок не имел никаких видимых последствий.

Валерий Чалидзе, а также, независимо от него, Люся не хотели привлекать меня к «Ленинградскому самолетному делу», считая его не чисто правозащитным. По терминологии «Международной амнистии» («Эмнести Интернейшнл» — международная организация, выступающая за освобождение политзаключенных во всем мире, против пыток и смертной казни) участники самолетного дела не являются узниками совести, так как они

не исключали применения насилия. Как я уже писал, я впервые услышал о «самолетном деле» не от Люси и Валерия, а от Наташи Гессе в октябре 1970 г. Узнав от Валерия о приговоре, я, как и очень многие в мире, был возмущен и взволнован. Ничего не сказав ему, я пошел домой, а в 8 утра, к открытию почты, я принес на почту составленную за ночь телеграмму на имя Брежнева с просьбой об отмене смертного приговора Дымшицу и Кузнецову и смягчении приговора остальным осужденным. Я подчеркнул свое безоговорочное осуждение нарушения закона, отсутствие в составе преступления измены Родине, воздушного пиратства и хищения в особо крупных размерах (самолет был бы возвращен СССР, конечно).

Тогда же я прочитал в советских газетах о письме советских академиков — членов американских академий — президенту США Никсону с просьбой способствовать оправданию американской коммунистки Анджелы Дэвис, обвиненной в соучастии в трагически окончившейся попытке вооруженного освобождения группы подсудимых из зала суда. Я тоже был членом Американской Академии наук и искусств в Бостоне, но ко мне никто не обращался по поводу этого письма. Я решил написать от себя письма президенту США и президенту СССР Подгорному с просьбой о снисхождении в двух делах — А. Дэвис и ленинградских самолетчиков, в особенности с просьбой об отмене смертной казни Кузнецову и Дымшицу. Я набросал текст письма и отдал его Чалидзе, а он передал его Люсе, чтобы она его напечатала и согласовала со мной необходимые уточнения. На другой день Люся пришла ко мне. Это был ее первый приход в дом.

Люся подробно и очень ясно рассказала мне дело (которое я до сих пор знал лишь в общих чертах), ход процесса; пришлось также внести кое-какие поправки в текст письма. В тот же вечер она отправила письмо Подгорному и передала через ее знакомого Леню Ригермана иностранному корреспонденту для Никсона. Письмо до Никсона, несомненно, дошло, через несколько недель я получил очень вежливый ответ, где сообщалось, что Анджела Дэвис обвиняется в тяжком уголовном преступлении, суд над нею будет открытый и мне будет предоставлена возможность присутствовать на нем, если я смогу прибыть в США.

Я сделал в эти дни также безрезультатную попытку непосредственно связаться с Брежневым. Я опять, как за два года до этого, с помощью секретаря Александрова, прошел в Институт атомной энергии и попытался дозвониться до Брежнева по «вертушке» (кремлевский телефон). Присутствовавший при этом А. П. Александров спросил меня, по какому делу я звоню. Я ответил. Он воскликнул:

— Все эти угонщики самолетов — воздушные пираты, страшное зло, и снисхождение к ним недопустимо!

Но когда я ему рассказал подробней данное конкретное дело, он изменил свое мнение и согласился со мной, что смертная казнь Кузнецову и Дымшицу — слишком суровое наказание. Я дозвонился до секретаря Брежнева и стал ждать, когда он доложит о моем звонке. Мне пришлось при этом перейти в кабинет заместителя Александрова академика Миллионщикова, который в качестве «общественной нагрузки» являлся тогда Председателем Верховного Совета РСФСР и поэтому обладал правом помилования (ранее — в 50-х годах — я имел дело с Миллионщиковым, так как он участвовал в некоторых работах, проводившихся, по существу, по моему заданию). Я написал ему подробное длинное письмо с изложением сути дела и с просьбой о помиловании; я просил его также при наличии каких-либо сомнений связаться со мной. Однако Миллионщиков, видимо, не сделал ничего. Секретарь Брежнева к 9 часам вечера позвонил мне, сказав, что Леонид Ильич был очень занят и не смог со мной переговорить, он сожалеет об этом и хотел бы когда-нибудь в более удобное время встретиться со мной. Это было, вероятно, не более чем формой вежливости. Но я решил воспользоваться этим и со временем вновь обратиться к Брежневу с просьбой о встрече, имея при себе конкретный план разговора по общим проблемам. Так родилась идея «Памятной записки», о которой я рассказываю в следующей главе.

Сразу после приговора Люся имела свидание с Эдуардом Кузнецовым. Кроме нее некому было пойти на эту нелегкую не только для приговоренного к смерти, но и для посетителя, встречу. (Мать Эдика плохо себя чувствовала и не находила в себе сил поехать из Москвы на свида-

ние, а никого не записанного в деле не допустили бы.) Эдика привели из камеры смертников в кабинет начальника тюрьмы, и около двух часов они разговаривали. Эдик даже как-то шутил. Люся покормила его принесенной ею едой.

Между тем, международная кампания в защиту «самолетчиков» нарастала. В это же время в Испании был вынесен смертный приговор террористам-баскам, и в одной из зарубежных газет была карикатура — Брежнев и Франко в хороводе вокруг елки, на которой вместо украшений — повешенные. Многолюдные демонстрации прошли во многих странах Европы и Америки. На 30 декабря неожиданно — явно по приказу свыше — был назначен кассационный суд. (Насколько суд был неожиданным, видно из того, что еще не прошел срок подачи кассационных жалоб и адвокаты писали их в ночь перед судом. Из Ленинграда успели приехать только два адвоката и участвовали два московских адвоката; большинство родственников приехать не успели, на суде присутствовали только сестра Менделевича, мать Федорова и Люся.) Вечером 30 декабря радио сообщило, что в Испании смертный приговор баскам заменен длительным заключением. Нам стало казаться, что на этом фоне Кузнецова и Дымшица помилуют. Действительно, смертный приговор был заменен 15-ю годами заключения каждому. Во время суда я опять видел Люсю, а в перерыве она рассказала мне о своих жизненных планах — достигнув 50 лет, уйти на пенсию, на что она имела право как инвалид Отечественной войны (II группы), и посвятить себя воспитанию внуков: ее дочь Таня — та самая, которая приезжала за «зеленой папкой», только что вышла замуж; очень волновала Люсю при этом проблема, где жить молодым, — обычная в советских условиях.

Председателем кассационного суда был Л. Н. Смирнов — ныне он Председатель Верховного Суда СССР. Он сначала понравился нам своей мягкой интеллигентной манерой, но потом нас охватило чувство ужаса от какой-то странной внутренней его мертвенной холодности — такой страшной у человека, от которого зависят судьбы столь многих людей.

Чалидзе вышел на улицу (в зал пустили, как всегда, лишь немногих). Когда мы вышли, с нами поравнялся прокурор, несший елочные подарки для детей.

— Вот видите, Люся, они тоже люди, — сказал Валерий.

В большой толпе ожидавших на улице кассационного определения был молодой человек. Меня поразили его глаза, полные нестерпимого волнения, ожидания и надежды.

— Ну что? — прошептал он.

Я ответил, и лицо его осветилось. Чалидзе сказал мне:

— Это Тельников, однолагерник Кузнецова (я уже писал о нем).

Мы разошлись по домам. Сразу после суда Люся послала телеграмму Кузнецову. Она не была передана, но к нему в камеру пришел начальник тюрьмы и сказал:

— Кузнецов, тебе изменение!

Незадолго до 12 часов мне позвонила Люся и поздравила меня с наступающим Новым годом. Я ее тоже поздравил. Начинался 1971 год, ставший таким важным для нас с Люсей в личном плане.

«Памятная записка». Дело Файнберга и Борисова. Михаил Александрович Леонтович. Использование психиатрии в политических целях. Крымские татары

Первые месяцы 1971 года я усиленно работал над «Памятной запиской», а Чалидзе одновременно писал приложение к ней «О преследовании по идеологическим причинам». Формально «Памятная записка» была построена как конспект или тезисы предполагаемого разговора с высшим руководством страны (я как повод использовал переданное мне секретарем

предложение Брежнева о встрече): эта форма представлялась мне удобной для краткого и четкого, без каких-либо литературных красот и лишних слов, изложения в виде тезисов программы демократических (плюралистических) реформ и необходимых изменений в экономике, культуре, в правовых и социальных вопросах и в вопросах внешней политики. Записка представляла собой развитие системы идей, которые я уже пытался высказать в «Размышлениях» и «Меморандуме» (последний документ — вместе с Турчиным и Медведевым); в чем-то она просто копировала их, но в чем-то шла дальше.

Как я понимал (и написал в 1975 г. в книге «О стране и мире»), не было оснований рассчитывать, что предлагаемая программа будет реально и по-деловому рассматриваться руководителями СССР и, тем более, ими одобрена, но мне представлялось важным сформулировать такую замкнутую и, по возможности, полную (хотя неизбежно схематичную и предварительную) программу, чтобы выдвинуть альтернативу официальной концепции. Приложение, написанное Валерием, содержало описание многих конкретных случаев политических репрессий (в основном, по материалам «Хроники текущих событий»). Эти случаи были сгруппированы по темам и снабжены каждый очень кратким комментарием. Я отредактировал и в нескольких пунктах дополнил то, что написал Валерий.

В марте оба документа с сопроводительной запиской, объясняющей их появление, были отосланы через стол писем ЦК КПСС на имя Л. И. Брежнева. В сопроводительной записке также сообщалось об организации Комитета прав человека и подчеркивался конструктивный и лояльный характер его деятельности. Я решил не публиковать «Памятную записку» год или даже больше, чтобы дать формальную возможность ее рассмотрения и ответа. Конечно, никакого ответа я не получил. В течение 1971 г. я несколько раз звонил в разные отделы ЦК КПСС и справлялся о судьбе «Записки», но никто ничего не мог мне сообщить. Единственным сколько-нибудь содержательным был разговор с главным помощником Брежнева А. М. Александровым. Он сказал, что моя «Записка» получена; поскольку в ней затрагиваются разные темы, то она разделена на части, которые изучаются в различных отделах ЦК. Через месяц-два мне будет дан ответ. Когда же я, не получив ответа, пытался позвонить еще раз, то я просто уже не мог никому дозвониться — несмотря на многократные попытки.

Летом 1972 года я опубликовал «Памятную записку», передав ее иностранным корреспондентам и в самиздат; я снабдил ее послесловием, в котором содержатся комментарии к «Записке» и некоторые принципиальные исправления.

Зимой и весной 1971 года продолжались регулярные заседания Комитета — это был период его расцвета. Среди обсуждавшихся вопросов особое место заняла тема психиатрических преследований. В ее обсуждениях очень важную роль играл новый, четвертый член Комитета — Игорь Ростиславович Шафаревич, математик, член-корреспондент Академии наук СССР. Он подошел ко мне во время Общего собрания Академии весной 1971 года и спросил, может ли он принять участие в работе Комитета: его в особенности волнуют нарушения прав человека, которые посягают на его духовную сущность, в их числе психиатрические и религиозные преследования. Вскоре он был принят членом Комитета. При обсуждениях Шафаревич вместе со мной пытался отстоять главные, трагические вопросы от тех наслоений, которые вносил парадоксализм и максимализм двух более молодых членов Комитета и Вольпина, но в силу хитроумных особенностей Устава нам обычно это не удавалось. Общая позиция Шафаревича очень близка к позиции Солженицына (я даже не знаю, кто из двоих является тут лидером). Это отразилось на наших взаимоотношениях в последующие годы, при сохранении большого моего уважения к нему.

Документ Комитета был принят в июле 1971 года. Но еще раньше я оказался вовлеченным в один случай этого рода — в дело Файнберга — Борисова. Файнберг — один из участников демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года, до суда был подвергнут психиатрической экспертизе (он в детстве состоял на психиатрическом учете, кроме того, при задержании «дружинники» — т. е. гебисты — выбили ему зубы, и он не должен был присутствовать на суде. Его признали невменяемым, и в то

время, как остальные были приговорены к ссылке или лагерю, его отправили в Ленинградскую специальную психиатрическую больницу).

Специальные психиатрические больницы созданы в 30-х годах по инициативе Вышинского для преступников, признанных невменяемыми; находятся в ведении МВД, в них специальная охрана, тюремные решетки и засовы, очень строгий режим, теснота и тяжелые бытовые условия, санитары из уголовников, частые побои, частые случаи применения лекарств и таких мучительных средств, как закрутка, в качестве меры наказания и усмирения, а не лечения. По существу — это психиатрическая тюрьма, по общему мнению нечто гораздо более страшное для человека, как больного, так и здорового, чем обычная тюрьма или обычная больница. Печальной известностью пользуются Казанская, Орловская, Сычевская, Днепропетровская, Ленинградская, Черняховская и другие специальные больницы. В отличие от обычных мест заключения, срок не оговорен, зависит от «выздоровления», которое определяется специальной комиссией не чаще чем раз в полгода. Это создает возможности для злоупотреблений, в особенности для политических. Случай П. Г. Григоренко — психически здорового человека, которого держали в Черняховской спецпсихбольнице четыре года — несомненно, не является исключением. Практически во всех известных мне случаях пребывание в спецпсихбольницах было более продолжительным, чем соответствующий срок заключения по приговору.

Файнбергу (и его товарищу по заключению Владимиру Борисову) удалось передать на волю ряд записок с описанием условий содержания в Ленинградской спецпсихбольнице — избиений, закручивания непокорных мокрыми полотенцами, которые, высыхая, нестерпимо сжимают тело, и т. п. Они объявили бессрочную голодовку, ежедневно подвергались мучительному искусственному кормлению с избиениями. В одной из записок было названо имя председателя очередной комиссии, которая с ними беседовала, академика Наджарова (директор Института психиатрии АН СССР) и приведена запись этой беседы.

Я решил вновь обратиться к академику Михаилу Александровичу Леонтовичу, единственному из академиков, который проявлял активность в общественных делах. В 1970—1971 гг. я обращался к нему еще по двум делам, расскажу сейчас об этом и вообще о Михаиле Александровиче.

Впервые я узнал Михаила Александровича в 30-е годы. У него были дела с папой по учебнику, который подготавливался тогда под общим руководством и редакцией Г. С. Ландсберга (впоследствии академика). Я помню в папиных репликах о Леонтовиче глубокое уважение, даже — восхищение в соединении с какой-то теплотой, предопределившие и мою тогдашнюю его оценку (сохранившуюся впоследствии). У Михаила Александровича были несколько эксцентричные манеры (входить в комнату, как бы протискиваясь в слегка приоткрытую дверь, сидеть на стуле, переплетя ноги), но главное, что бросалось в глаза, обращало на себя внимание — какой-то живой озорной блеск в глазах и его умная, ироническая усмешка. В 1939 году была моя неудачная попытка заняться научной работой по данной им теме. В первые послевоенные годы я редко видел Михаила Александровича, но до меня доходили слухи о нем. Один из них — как он спустил с лестницы Я. П. Терлецкого — физика-теоретика, претендовавшего на роль борца за идейную чистоту физики, который предложил ему сотрудничество в борьбе «с идеалистическими силами инерции». Речь шла о том, «реальны» ли силы инерции — например, центробежная сила, сила Кориолиса (проявляющиеся во вращающейся системе координат). Терлецкий объявил идеалистическими те формулировки, которые содержались в учебнике механики проф. С. Э. Хайкина. Ясно, что речь идет только о словах, за которыми реально нет ни философского, ни тем более операционалистского разногласия. Но подобные выдуманные, искусственные проблемы особенно удобны для демагогии. Лавры Лысенко не давали тогда спать многим. Я. П. Терлецкий был, по-видимому, одним из них. По рассказу самого Михаила Александровича, он не только спустил его с лестницы, но и назвал при этом представителем древней и непочетной женской профессии. Леонтович стал академиком в 1946 году. Когда я тоже стал членом этого избранного общества, я смог наблюдать его в роли постоянного возмутителя академического спокойствия — причем всегда по существу, в защиту дела и порядочности. Наши зарубежные коллеги, беседуя с выехавшими за границу советскими учеными, произносящими за чашкой чая смелые речи, иногда представляют себе советскую Академию чуть ли не диссидентским гнездом. На самом деле это не так, и в массе академики ведут себя очень конформистски (в последние годы молчание Академии по делу Юрия Орлова, да и по моему тоже, я надеюсь, раскрыло глаза многим). Михаил Александрович на этом фоне был удивительным исключением. Леонтович был одним из тех, кто поддержал меня в июле 1964 года, когда я выступал против кандидатуры Нуждина. Он выступал и после против некоторых других недостойных, по его мнению, людей (я с ним был во всех этих случаях вполне согласен). В 1951 году Леонтович был назначен руководителем теоретических работ по магнитному термоядерному реактору. Это был для Леонтовича совсем новый тип деятельности — требовавший часто отказа от удовольствия сделать работу самому, чтобы дать ее молодым, большой критичности и самокритичности. В 1951 году Леонтович сказал Игорю Евгеньевичу:

— Я почти убежден, что из этой затеи ничего не получится. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы внести ясность, какой бы она ни была.

Я думаю, что это огромная удача для успеха дела, что в этой работе принял участие Михаил Александрович. Он отдал ей 30 лет жизни, до самой смерти в 1981 году.

В 1967 году именно через Леонтовича я получил письмо Ларисы Богораз о тяжелом положении Даниэля. В 1970—1971 гг. я обратился к нему по делу Галанскова (одного из осужденных в 1968 году). У Галанскова была язва желудка еще до ареста. В лагере она обострилась, стала необходима операция. Галансков (вероятно, под влиянием лагерных «советчиков») категорически не хотел делать эту операцию в лагерной больнице, требовал перевода в Ленинградскую тюремную больницу им. доктора Гааза. Это действительно было бы хорошо, врачи и вся обстановка в этой больнице лучше, конечно, чем в Мордовии. Но начальство отказывало, быстро добиться такого перевода оказалось нереально, и в этих условиях, вероятно, надо было соглашаться на операцию в Мордовии, а не ждать, пока возникнет острая необходимость. Но советовать что-либо со стороны было невозможно. По просьбе родных и друзей Галанскова я пришел к Леонтовичу. Он не только подписал составленное Чалидзе ходатайство, но и сам ходил к какому-то медицинскому начальству в Управление трудовых лагерей (ГУИТУ). Все оказалось бесполезно. Через два года у Галанскова возникло новое острое язвенное кровотечение, его срочно доставили в лагерную больницу и там оперировали — хирург из заключенных, по имеющимся сведениям, хороший врач. Но время было упущено, и Галансков умер после операции. В это время его подельник Гинзбург был уже на свободе. У Галанскова был на два года больший срок (7 лет), т. к. против него дополнительно было сфабриковано обвинение о связи с НТС (Народно-Трудовой Союз), частое обвинение на политических процессах.

В нескольких других делах вмешательство Леонтовича сыграло определенно положительную роль. Он, по моей просьбе, подписал поручительство за арестованную по самиздатскому делу в Сочи молодую женщину: получив такое письмо от еще не скомпрометированного академика, ее сразу отпустили. Леонтович взял к себе в секретари ученого-отказника Александра Воронеля, которому грозила ответственность за тунеядство. (Я был в числе тех, кто просил Леонтовича об этой помощи.) Леонтович также горячо взялся за дело Файнберга и Борисова, вместе со мной он дважды ходил в Министерство здравоохранения. Там мы разговаривали — что было полностью бесполезно — с начальником отдела госпитализации (женщиной). Мы говорили также с директором Института психиатрии Наджаровым. Он пытался оправдать тяжелые условия в Ленинградской и других специальных психиатрических больницах спецификой работы с психически больными преступниками, нехваткой санитаров, что вызывает необходимость использовать для этого заключенных-уголовников, и разными объективными причинами. Он также пытался прочитать нам нечто вроде лекции о вялотекущей шизофрении и ее социальной опасности. Мы не могли квалифицированно возражать ему по медицинским вопросам, но очень определенно говорили о недопустимости использования психиатрии в политических целях. Мне кажется, вмешательство Леонтовича в дело Файнберга и Борисова было очень полезным.

В 1972 году Леонтович подписал составленные мною обращения об амнистии и отмене смертной казни (о них я подробно пишу ниже). Он подписал потом и некоторые другие документы в защиту разных лиц, но с каждым разом высказывал все больше скептицизма. Я видел, что ему все труднее и труднее предпринимать какие-либо активные действия, и стал обращаться к нему реже. Несколько раз я был у Леонтовича с Люсей, это были очень дружественные беседы. Леонтович рассказывал (как и когда я бывал у него один) много интересных эпизодов из своей жизни. Я расскажу один из них, так как он чем-то напоминает мне мою собственную «самодеятельность» на объекте.

Однажды надо было пронести на полигон, где шли важные испытания (дело было во время войны), баллон с жидким газом. Вокруг толпы гебистов, нужен был пропуск, на получение которого ушли бы недели бюрократической переписки — вплоть до министров. Леонтович подвязал баллон в брюках между ног и так пронес его. Обыскивать профессора никто не решился. Так мы спасали советскую власть от нее самой.

Его связывала многолетняя дружба с И. Е. Таммом и Петром Новиковым (известным математиком, специалистом по математической логике, академиком). Он был одним из людей, вызывавших у меня самое глубокое уважение. К сожалению, разница в возрасте и разные внешние обстоятельства не дали нашим отношениям стать более близкими.

Дело Файнберга и Борисова вновь свело меня с Люсей. Именно она познакомила меня с женой Борисова, Джеммой Квачевской, и со всем делом в целом. Джемма ранее была студенткой того же института, который когда-то окончила Люся, отлично училась, но была отчислена с мотивировкой «за действия, несовместимые со званием советской студентки». Эти действия, конечно, были не проституция и не воровство. Брат Джеммы (Лев) был арестован (и потом осужден) по самиздатскому делу. А Джемма отказалась сотрудничать со следствием и давать показания на брата. Джемме потом этот штамп неизменно мешал получить высшее образование. Попытка окончить мединститут в Саранске окончилась неудачей, там тоже ее настигло внимание КГБ. Она потом вторично вышла замуж, ее муж — Павел Бабич — сын человека, погибшего в сталинских лагерях, трагическая судьба которого частично описана в «Архипелаге» Солженицына. Преследования КГБ заставили Джемму и Павла эмигрировать. К этому времени в семье было уже четверо детей.

Дело Файнберга и Борисова, в котором я принимал участие и в последующие годы, так же как и дела Григоренко и Медведева и другие, о которых я рассказываю в следующих главах,— составили мой личный опыт в проблеме психиатрических репрессий. В ходе этого опыта были и «накладки» — среди них попытка избавить от принудительной госпитализации тяжелобольную женщину (реально больную, чего я не знал), поэтессу, которая потом много лет преследовала меня и всю нашу семью; и некоторые другие трагические и тягостные случаи. Для моего понимания проблемы очень важным было также ознакомление с самиздатскими материалами, в особенности с «Хроникой текущих событий». Я считаю использование психиатрии в политических целях чрезвычайно опасным действием государства. Его опасность в том, что оно наиболее непосредственно направлено против мысли и разума, чрезвычайно трудно для юридической защиты, деморализует, дискредитирует и унижает человека. Опасность усугубляется той бесчеловечной и антиправовой обстановкой в специальных психиатрических больницах, о которой я писал, и общим конформизмом и лицемерием нашего общества, его закрытостью, отсутствием свободной прессы. Я подчеркну, что я все время говорю именно об использовании психиатрии в политических и идеологических целях, а не о помещении в психиатрические больницы здоровых людей, как иногда пишут в некоторых публикациях; такие экстремальные случаи тоже имеют место, но не это суть проблемы. Фактически власти обычно выбирают в качестве своих жертв людей с теми или иными отклонениями от нормы, большею частью минимальными и не требующими изоляции, быть может, требующими некоторой медицинской помощи, но как раз ее эти люди и не получают в специальных психиатрических больницах. Критерии психического здоровья по самой сути дела всегда «размыты», это в огромной мере увеличивает возможность ошибок, произвола и преступлений. Особенно

это опасно в обществе с тоталитарной идеологией! Очень часто в основе преследования лежат религиозные или философские убеждения.

Я считаю совершенно оправданным то огромное значение, которое в борьбе за права человека придается проблеме психиатрических репрессий и, в частности, ценю усилия Комитета прав человека в этой области. А в последующие годы — ту работу, которую провела Комиссия по использованию психиатрии в политических целях, созданная в 1977 году.

Власти, со своей стороны, очень чувствительны к опубликованию различных материалов по этой проблеме — на многих судах над правозащитниками (Буковским, Сергеем Ковалевым, Бахминым, Некипеловым, Терновским, Великановой, Осиповой, Иваном Ковалевым, Семеном Глузманом, Александром Подрабинеком, Ириной Гривниной, Анатолием Корягиным и другими) эти материалы играли важную роль в обвинении. Возможно, что эти усилия и жертвы защитников прав человека сыграли некоторую роль в том, что политические и идеологические репрессии в нашей стране, при всей их опасности и абсолютной недопустимости, не приобрели широкого масштаба, чего можно было в силу приведенных выше соображений опасаться. Но масштабы репрессий не широки только относительно, а каждый такой случай — вопиющее беззаконие, чудовищная жестокость. Я надеюсь, что борьба за предотвращение психиатрических репрессий увенчается их полным искоренением. Здесь, в частности, очень велика может быть роль западных психиатров.

Добавление 1988 г. В марте 1988 года принят новый закон о психиатрии, согласно которому больницы для психических больных, совершивших преступления, передаются из ведения МВД в ведение Министерства здравоохранения. В законе также предусмотрены важные юридические гарантии против злоупотребления психиатрией. Будущее покажет, как все это будет выглядеть на практике. Но в любом случае принятие этого закона — большое достижение тех, кто выступал против злоупотребления психиатрией в нашей стране и за рубежом.

Другая проблема, с которой я близко познакомился в 1971 г.,— трагическая судьба крымских татар, добивающихся возможности возвращения на родину в Крым. В последующие годы мне пришлось много иметь с ней дело. Как известно, 18 мая 1944 года по приказу Сталина была произведена чудовищная акция депортации крымских татар. В основном депортации подверглись женщины, дети и старики, т. к. большинство мужчин находилось на фронте. Люди были загнаны в товарные вагоны, двери которых заколачивались, и отправлены в места ссылки — в Среднюю Азию. Уже в дороге многие умирали, но часто лишь через несколько дней удавалось их похоронить (что по мусульманским обычаям совершенно недопустимо). Еще больше умерло от голода и болезней на месте ссылки (почти половина высланных, это был фактически геноцид). Причиной депортации было объявлено сотрудничество с немцами крымско-татарского народа во время оккупации Крыма. Конечно, наряду с очень существенным, хотя и замалчиваемым в СССР участием крымских татар в партизанской борьбе и в борьбе с немцами на фронте, имели место случаи перехода на сторону врага, вероятно, не больше, чем у русских и украинцев, но все эти случаи умышленно, усиленно раздувались пропагандой, в частности, среди солдат, чтобы создать психологические предпосылки для депортации. Несомненно, однако, что делать ответственным за индивидуальные преступления — если они имели место — целый народ недопустимо, ни во время войны, ни спустя почти сорок лет! Саму акцию депортации осуществляли специальные части КГБ под командованием ближайшего сообщника Берии Кобулова (расстрелянного в 1953 году). И после депортации (в то время, как крымские татары бедствовали в ссылке, а крымский татарин, герой Отечественной войны, которому поставлен памятник в Алупке, не имел возможности посетить свой родной Крым, как и все его единоплеменники) — продолжалась массированная клеветническая кампания, искажалась и фальсифицировалась даже далекая история (в которой, как у любого народа, бывало, конечно, всякое). Даже татарские названия в Крыму заменялись русскими и украинскими. Только в 1967 году Президиум Верховного Совета СССР принял указ о реабилитации народа крымских татар от огульного обвинения в измене. Решение это не было опубликовано в центральной прессе, а лишь в Узбекистане. При этом Указ не предусматривал предоставления крымским татарам права возвращения на

их родину. В Указе писалось, что они «закрепились» в Узбекистане. Это было началом следующего акта трагедии народа, продолжающегося уже 15 лет (сейчас уже 20). Почему власти СССР препятствуют возвращению крымских татар в Крым? Вероятно, главную причину «раскрыли» те чиновники Совмина, о которых я рассказывал выше. Крым — «элитарная» территория, место отдыха и развлечений тысяч представителей правящей касты, которая боится иметь рядом детей тех, кто был объектом ее преступления в прошлом. Кроме того, видимо, существенно и то, что Крым имеет важное значение как источник валютных поступлений от иностранных туристов. Во времена Хрущева Крым был «подарен» Украине. Все это дополнительно осложнило проблему. Сталин во время войны «переселил» 15 или 16 народностей, это было для каждой из них таким же беззаконием и зверством, как для крымских татар. Большинство переселенных народов были возвращены на родину в 50-х и 60-х годах. О судьбе немцев и месхов я буду еще писать.

Среди первых пришедших ко мне в 1971 году крымских татар я помню мужа и жену Э. (фамилию я, к сожалению, забыл). Их дело было типичным для многих последующих. Как и многие другие, поверив Указу Президиума Верховного Совета СССР 1967 года, они приехали в Крым, на свою родину, откуда их детьми на руках матерей вывезли в мае 1944 года. Отец мужа (сам он тракторист) погиб на фронте. Отец жены — в прошлом председатель колхоза, помогал во время войны партизанам, его выдал предатель (русский), и немцы (вернее, сотрудничавшие с ними полицаи) зверски убили его. Уже несколько месяцев они живут в Крыму в степном селе без прописки, не имеют работы, не могут посылать детей в школу, купленный ими дом угрожают отобрать. (Вопрос о покупке дома фигурировал потом в десятках случаев, с которыми я сталкивался, — тут власти создавали порочный круг: купля дома не может быть оформлена без прописки, а одним из условий прописки — далеко не достаточным — является наличие жилплощади.) Отказы в прописке крымским татарам носят явно дискриминационный характер (да в местных органах милиции и не скрывают этого). Я написал о судьбе Э. письмо министру МВД Щелокову; в течение месяца я написал еще два аналогичных письма, в которых, наряду с изложением конкретных дел, я останавливался на истории вопроса и просил об общих решениях. В июне или в мае я получил письмо, в котором приглашался в МВД СССР для беседы по поднятым мною вопросам. Меня приняли в приемной МВД (улица Огарева, 6), в отдельном кабинете. Со мной беседовали двое — к сожалению, я не помню их званий и фамилий. Суть объяснений сводилась к следующему.

Проблема крымских татар является предметом непрерывного внимания и беспокойства для МВД СССР. К сожалению, МВД СССР мало что может тут сделать, т. к. Крым территориально принадлежит Украине, а у них свои взгляды и методы. Беседовавшие со мной повторили версию о предательстве крымских татар во время войны, но без нажима, и не настаивали, когда я привел свои возражения (я сказал тогда, что у каждого народа, у русских, у украинцев, у крымских татар были свои герои и свои предатели, но никто не может нести за это ответственность по национальному признаку и через 30 с лишним лет). В общем, они давали мне понять, что отдельные случаи могут быть решены «в рабочем порядке», а полное решение — если оно возможно — дело будущего, и тут необходимо терпение. После этой беседы я продолжал регулярно писать Щелокову о многих конкретных случаях, и в некоторых из них (до 1977 года) был положительный результат (в том числе в деле Э.).

Конечно, проблема свободы выбора места проживания в нашей стране не сводится к судьбе крымских татар и других перемещенных народов (при всей ее трагичности). Отраженная юридически в паспортной системе, она в той или иной мере затрагивает значительную часть населения страны. В особенности важными и социально значимыми являются ограничение свободы выбора места проживания для людей, проживающих в сельской местности, для колхозников. Об этом и о других аспектах проблемы (в особенности об ограничениях для бывших политзаключенных и бывших участников национальных движений) я писал в своих обращениях, опубликованных в 70-х годах. Одно из них называется «О праве жить дома» (1974 год).

Обыск у Чалидзе. Суд над Красновым-Левитиным. Проблема религиозной свободы и свободы выбора страны проживания. Суд над Т. Обращение к Верховному Совету СССР о свободе эмиграции

В марте 1971 года открылся XXIV съезд КПСС. Ему предшествовали в Москве демонстрации евреев, требовавших свободы выезда в Израиль. Какие-либо демонстрации в СССР — вещь совершенно необычная (кроме, конечно, официальных: ноябрьских, первомайских и т. п., которые являются на самом деле просто праздничными шествиями и не несут «информационной нагрузки»). Власти переполошились. Большинство участников было задержано, многие осуждены на 15 суток заключения, в их числе активист движения за эмиграцию Михаил Занд, сын коммунистов, прибывших в СССР из Палестины в 30-х годах и вскоре репрессированных (я с ним встречался у Валерия). Но именно в 1971 году начался тот рост эмиграции в Израиль, который является одним из наиболее примечательных явлений 70-х годов. Одним из важных выступлений, лежащих в основе становления эмиграционного движения евреев, было «Письмо 37-и» (1970 г.). Как и перед каждым праздником или съездом, были проведены принудительные психиатрические госпитализации некоторых лиц, находящихся на психиатрическом учете, в том числе инакомыслящих и многих верующих.

Среди всех этих действий властей наиболее близко меня коснулись два события, произошедшие в один и тот же день — 29 марта — накануне открытия съезда: арест Владимира Буковского и обыск у Валерия Чалидзе. Владимир Буковский был уже в это время одним из наиболее известных диссидентов. В начале 60-х годов ему пришлось побывать в спецпсихбольнице, и он вынес оттуда убеждение в необходимости бороться со злоупотреблениями в психиатрии. В 1967—1970 гг. он находился в заключении за демонстрацию в защиту Гинзбурга — Галанскова (вместе с Виктором Хаустовым). Выйдя из заключения в начале 1970 года, он развернул очень энергичную деятельность. Ему удалось добыть подлинные документы (заключения психиатрических комиссий, постановления судов и некоторые другие), относящиеся ко многим случаям психиатрических репрессий по политическим мотивам (в том числе по делу Григоренко), и передать их за границу. Он, вместе с Амальриком, провел (в каком-то подмосковном лесу) телеинтервью для иностранных тележурналистов — это была новая и очень эффективная форма гласности. Были у него и другие начинания. Я видел Владимира Буковского только один раз, дней за десять до его ареста. Он пришел на заседание Комитета вместе с одним из лидеров движения месхов. Мусульмане-месхи жили на границе Грузии и в годы войны были депортированы в другие республики; они добиваются возвращения в родные места, власти — как и в случае крымских татар — отвечают на это законное требование репрессиями. Комитет в это время готовил документ о правах переселенных народов — поэтому эти сообщения были нам очень важны. Буковский явно с большим уважением относился к Комитету как к новой форме коллективной гласности. На меня он произвел хорошее впечатление — умного и энергичного человека.

Около 8-ми часов вечера 29 марта мне позвонил Ефимов (один из авторов «Конституции II») и сообщил, что у Чалидзе обыск. Я тут же позвонил Твердохлебову и поехал. В это же время общая знакомая Валерия и Люси Ира Кристи сообщила об обыске и ей, и мы все скоро собрались у двери квартиры, где жил Чалидзе. Подъехала также знакомая Валерия Ирина Белогородская. Никого из нас внутрь не пустили. В последующие годы я был на многих обысках. В одних случаях меня и других приходящих не пускали, как и в тот, первый в моей жизни, обыск, в других, наоборот — впускали, и в этом случае держали уже до конца обыска; часто случайно приходящих на обыск людей обыскивают, но ко мне это не применяли. Обыски у инакомыслящих всегда бывают неожиданными и опустошительными. В ордере на обыск обычно указывается —

для изъятия вещей и документов, имеющих отношение к делу (иногда даже не определяется, к какому, или указывается ничего не говорящий номер). Эта формулировка дает большой простор для произвола. Обычно изымаются все машинописные материалы, имеющие даже отдаленное сходство с самиздатом, все рукописи обыскиваемого, все это, вне зависимости от их содержания и направленности, записные и телефонные книжки, часто изымаются сберкнижка и все наличные деньги (особенно если власти считают, что обыскиваемый имеет отношение к фондам помощи семьям политзаключенных), изымаются книги зарубежных изданий, иногда — все издания на иностранных языках, включая книги для детей самого младшего возраста: во время обыска у Анатолия Марченко изъяли французские детские книги для обучения письму и чтению самого начального уровня и тетради его семилетнего сына Павлика с рисунками и сделанными им подписями на французском языке; словари иврита, часто — книги религиозного содержания. Всегда изымаются пишущие машинки (и никогда не возвращаются), иногда — магнитофоны, фотоаппараты и т. п. У людей, по мнению властей причастных к фонду помощи п/з и их семьям, изымаются теплые вещи и обувь, продукты, которые могли бы быть использованы для целей помощи. Соблюдение законности при обысках должно обеспечиваться присутствием независимых посторонних лиц — «понятых». Однако фактически понятые обычно тесно сотрудничают с обыскивающими или полностью безразличны к их действиям. Часто после обыска обыскиваемых увозят на допрос, за которым нередко следует арест. Обыски — обычное явление в жизни инакомыслящих. Перечисленные особенности делают их также явлением очень тревожным — тем более что ГБ, как оно дает понять, рассматривает обыски как одну из форм предупреждения перед арестом.

Во время обыска мы с Ефимовым вышли на несколько минут на свежий воздух на улицу. К нам подъехала машина, в которой сидело, кроме водителя, несколько человек, явно гебистов. Из окна машины высунулась женщина, похожая по виду на надзирательницу женского лагеря в фильме о фашизме, и, обращаясь к Ефимову, прокричала:

— Скоро мы всю вашу шайку в бараний рог скрутим...

Дальнейшая часть ее речи состояла из совершенно нецензурной отвратительной брани.

В этот день одну из знакомых Буковского — Веру Лашкову (ранее обвиняемую по делу Гинзбурга — Галанскова) задержали на подходе к дому Буковского и привели в ближайшее отделение милиции. Она случайно слышала переговоры по селектору, из которых стало ясно, что в операции «Чалидзе — Буковский» участвовало много радиофицированных машин и постов наблюдения, много гебистов.

Около двенадцати ночи дверь квартиры отворилась, и гебисты, не глядя на нас, вынесли два больших запечатанных мешка с добычей. Мы прошли в комнату Валерия, он поставил чайник и за чаем рассказал перипетии обыска и главное — что взяли: документы Комитета и многое другое. Разъезжались мы уже в третьем часу ночи. Люся и И. Кристи доехали на такси до моего дома (они, как всегда, опасались за меня) и поехали к себе; к сожалению, я не спросил, есть ли у них при себе деньги, чтобы расплатиться. За обыском последовали многочисленные вызовы Валерия на допросы. Несомненно, положение его стало угрожающим. Через полтора года Чалидзе вышел из Комитета, а затем уехал из СССР. До этого произошло, однако, еще много событий.

Другое памятное событие тех лет связано с преследованиями верующих. Еще в 1969 г. был арестован Анатолий Эммануилович Краснов-Левитин, церковный писатель, как он себя называет. Отстраненный от всех должностей, он работал церковным сторожем и писал о преследованиях верующих, о различных внутрицерковных проблемах, о монашестве, о судьбе некоторых инакомыслящих. Следствие затянулось, и в декабре он был отпущен до суда (единственный известный мне случай в СССР). В мае 1971-го Краснов-Левитин вновь арестован. До этого он, по просьбе Чалидзе, выступил с защитой нескольких пожилых женщин, обвиненных в подлоге при сборе подписей под прошением об открытии в Наро-Фоминске (город к югу от Москвы) храма, закрытого в 30-е годы и используемого в качестве склада (обычное явление, конечно, глубоко оскорбляющее верующих, лишенных возможности отправления церковных служб). Конечно,

Валерий допустил ошибку, привлекая к публичным выступлениям человека, формально еще подследственного. Дело об открытии храма в Наро-Фоминске тянулось уже много лет — и продолжается столь же безуспешно, насколько я знаю, до сих пор. Собственно, никакого подлога не было, просто старушки в простоте душевной считали возможным иногда подписываться за своих родных, а в каком-то случае и за умершего. Подписей было более чем достаточно и без этих подписей. Но власти воспользовались этим, чтобы сорвать всю кампанию, от обороны перейти к нападению.

Сразу после выступления по делу «наро-фоминских старушек» (как мы его между собой называли) Краснов-Левитин был вновь арестован. Суд над ним состоялся в мае в Люблино — там же, где потом судили Буковского, Твердохлебова, Орлова, Татьяну Осипову, Таню Великанову и других. Власти выбрали этот отдаленный район, где легче устраивать незаконные операции, а главное — не пускать друзей подсудимого, не пускать иностранных журналистов (последних под фальшивым предлогом, что рядом военные объекты).

Меня в тот раз (предпоследний) пустили в зал суда. Еще на улице меня встретил гебист (почему-то мне запомнились его завитые волосы) и проводил в зал заседаний, принес стул. Потом я сообразил, что цель этой вежливости была не дать мне возможности перекинуться словом с кем-либо до начала суда. На этом суде я еще яснее понял, почему КГБ всегда идет на нарушение закона и устраивает все эти заставы, не пускающие в зал никого, кроме специально подобранной публики. Даже при самой тщательной режиссуре такие процессы оказываются саморазоблачительными для их организаторов. Никак нельзя скрыть, что людей судят за убеждения, за обнародование действительных фактов, в истинности которых они полностью убеждены. На процессе Краснова-Левитина (как и на других подобных процессах) было несколько эпизодов, которые должны были бы заставить задуматься каждого непредубежденного человека и расположить его в пользу обвиняемого.

Краснов-Левитин был приговорен к трем годам заключения. Одна из свидетельниц перед чтением приговора сумела бросить ему красные гвоздики. Это была Вера Лашкова. Анатолий Эммануилович встал и поклонился, со старомодной и трогательной в этой обстановке церемонностью. Так же он до этого встал и поклонился во время допроса свидетелей, когда в зал вошел молодой свидетель-монах, в черной рясе и с большим крестом на груди.

После выхода из заключения (где он, между прочим, имел возможность ознакомиться со страшной Сычевской специальной психиатрической больницей: заключенных посылали туда на разные работы) Краснов-Левитин продолжал выступать на религиозные и общественные темы; в середине 70-х годов он эмигрировал, принимает участие в зарубежных усилиях в защиту свободы религии в СССР.

Задачи защиты свободы религии и прав верующих в СССР чрезвычайно актуальны и важны. Они занимают одно из центральных мест во всей проблеме прав человека как часть общей борьбы за свободу убеждений в тоталитарном государстве, и благодаря массовому и нередко исключительно жестокому характеру религиозных преследований — на раннем этапе советской власти направленных против всех Церквей, сейчас — в основном против тех из них, которые в том или ином смысле проявляют нонконформизм (но при этом все церкви находятся в очень стесненном положении). До 1971 года я очень мало знал об этих проблемах. Они заняли определенное место в работе Комитета, в особенности благодаря Шафаревичу, написавшему большой и хорошо аргументированный доклад о юридическом положении религии в СССР. Из этого доклада, из знакомства с Наро-фоминским делом и другими религиозными делами, из процесса Краснова-Левитина, из исторических работ Краснова-Левитина, Агурского (об изъятии церковных ценностей и антирелигиозном терроре в 20-х годах) и других, из «Хроники текущих событий», из личных контактов с преследуемыми баптистами (нонконформистское крыло), пятидесятниками, адвентистами Седьмого Дня, униатами, католиками из прибалтийских стран я понял всю трагическую остроту и одновременно сложность этих проблем, их массовость и человеческую глубину. Они заняли большое место в моей дальнейшей деятельности. Я подхожу к религиозной свободе как части общей свободы убеждений. Если бы я жил в клерикальном государстве, я,

наверное, выступал бы в защиту атеизма и преследуемых иноверцев и еретиков!

Другая чрезвычайно важная проблема, с которой я столкнулся тогда же,— это защита свободы выбора страны проживания, свободы покидать страну и возвращаться в нее. Частью этой проблемы является эмиграция, но именно частью (еще большее сужение проблемы — сводить ее к еврейской эмиграции). Фактически, уже в Ленинградском «самолетном деле» я столкнулся именно с этим кругом проблем.

В начале 1971 года ко мне, как члену Комитета прав человека, пришла женщина с сыном. Она получила разрешение на выезд в Израиль, распродала все вещи; но против выезда ее сына возражает ее бывший муж, и она не могла уехать, сына у нее грозили отобрать, жить ей не на что, спать и есть не на чем. Я не помню, какие действия я предпринял в связи с ее делом и как ее фамилия; через несколько месяцев она все же уехала.

Я много раз публично выступал по частным и общим проблемам эмиграции в Израиль. Это самый мощный эмиграционный поток, питаемый еврейским самосознанием (сионистским, я употребляю это слово без всякого негативного оттенка), антисемитизмом в СССР (то «тлеющим», то вспыхивающим, как в 1953 году), а также законным стремлением людей самореализоваться в условиях, где нет дискриминации и свойственных нашей стране ограничений. Еврейская эмиграция достигла своего статуса благодаря борьбе ее активистов (среди них Анатолий Щаранский, Владимир Слепак, Виктор Браиловский, Эйтан Финкельштейн, Ида Нудель, братья Гольдштейн, Александр Лернер, Иосиф Бегун), благодаря самой широкой международной поддержке.

Власти дают также визы в Израиль всем тем, от кого они хотят избавиться и почему-либо не хотят засудить (конечно, таких меньшинство) — помучив сначала как следует. Так уезжают многие диссиденты, как евреи, так и не евреи. Попытки проявить «самостоятельность» и не участвовать в этой игре КГБ жестоко преследуются (дело Марченко). В наиболее массовой еврейской эмиграции есть свои острые проблемы. Власти держат руку «на клапане» и по желанию, в зависимости от политической конъюнктуры, то отпускают его, то резко уменьшают число выдаваемых разрешений. Никаких отраженных в законе гарантий индивидуальных прав не существует. Все так же «в отказе» многие евреи, некоторые из них еще с начала 70-х годов. Еще хуже положение желающих эмигрировать немцев и тем более желающих эмигрировать по причинам, не связанным с национальностью.

Проблема немецкой эмиграции возникла очень давно, еще в 20-х годах, и все еще далека от удовлетворительного решения. Впервые я столкнулся с ней в конце 1970 или в начале 1971 года, когда (вскоре после объявления образования Комитета) ко мне домой пришел один из добивающихся разрешения на выезд немцев. Его звали Фридрих Руппель. Это был человек лет сорока, коренастый, с живым выразительным лицом, черными курчавыми волосами. Его судьба была потрясающей и в то же время — типичной для сотен тысяч советских граждан «немецкой национальности». В 1941 году (еще мальчиком) насильственно депортирован в Киргизию. Затем — арест матери, обвинение ее в антисоветской агитации и пропаганде, приговорена к расстрелу и расстреляна. Мать его, по словам Фридриха, была малограмотной, тихой и скромной работящей женщиной, никогда не раскрывавшей рта при посторонних. Арест отца — вернулся после смерти Сталина инвалидом 1-й группы. Арест почти тридцати ближайших родственников, большинство погибло в заключении. И наконец — арест самого Фридриха, ему было 14 лет. После двух лет скитаний по пересылкам наконец он получил свой приговор от Особого совещания (ОСО). Большую группу заключенных согнали в какую-то полуразвалившуюся церковь. Приговоры приехавшие представители ОСО объявляли по спискам. Руппель услышал свою фамилию в числе осужденных на 10 лет, его вызвали расписаться, и дальше он продолжал оставаться заключенным уже на «законном» основании. Никакого следствия не было, ни суда, ни защиты. Для ОСО достаточно было самого факта ареста в соответствии с циничной поговоркой тех лет: был бы человек, а дело найдется. Фридрих отбыл свои 10 лет, стал работать, получил специальность слесаря-наладчика, женился. Он принял решение уехать из СССР в ФРГ и добивался этого с огромной энергией не только для себя и своей семьи (на мой вопрос, поедет ли жена — она русская, он ответил: куда иголка, туда и нитка), но и для тех своих друзей-немцев, которых объединило с ним это стремление. Он добивался также пересмотра дела и посмертной реабилитации матери, для него это было важно в моральном смысле. Дело было явно липовое. И все же много лет его усилия были безрезультатны. В конце концов Фридрих узнал, в чем дело — тот самый судья (его фамилия Воронцов), который 40 лет назад вынес смертный приговор его матери, теперь стал то ли прокурором Киргизской ССР, то ли Председателем Верховного Суда, и именно от него зависело дать делу ход. В результате настойчивости и смелости Руппеля, связавшегося с посольством ФРГ, с иностранными корреспондентами-немцами, со мной — дело получило огласку, попало в западную печать. Видимо, на Воронцова оказали давление, и вот через 40 лет после гибели матери Фридрих получил справку о реабилитации, о полном прекращении дела «за отсутствием состава преступления». Маленький квадратик бумаги, печать, подпись Воронцова. В 50-е годы, в разгар кампании по реабилитации, такие справки получали родные многих погибших, вероятно многих десятков или сотен тысяч, а надо бы — миллионов, ведь погибли миллионы. Справка, полученная Руппелем, была одна из последних.

Борьба немцев за выезд из СССР в ФРГ, за репатриацию — проходила и проходит очень тяжело, трагически. На протяжении 10 лет я узнал многих людей, безуспешно добивающихся разрешения на выезд годами, иногда — десятилетиями. Евреи называют людей в таком положении «отказниками», используя иногда английское слово в русском грамматическом оформлеиии «рефьюзники». Таких «рефьюзников» среди немцев очень много, судьба их трагична.

В 70-х годах я узнал о судьбе семьи Бергманов, которая добивается разрешения на выезд в ФРГ (ранее — в Германию) с 1929 года — более 50 лет! Это трудовая, в основном крестьянская семья, целых три поколения ее прошли за эти годы через все возможные мучения. Многие были репрессированы — последний из них — Петр Бергман уже в 70-х годах отбыл 3 года заключения за участие в мирной демонстрации в поддержку права на выезд. И все же, несмотря на все усилия, власти продолжали отказывать всем членам семьи Бергман в выезде — на обычном фарисейском основании, что у них нет близких родственников в Германии (а как они там могут оказаться?). Лишь недавно (1982 г.) я услышал по «Немецкой волне», что Петр Бергман в ФРГ.

Очень жестоки репрессии властей против тех, кто пытается как-то объединиться, сорганизоваться. Десятки немцев были приговорены к длительному заключению за попытки составления списков желающих уехать (что может быть естественнее и законнее этого?), за участие в коллективных обращениях, в мирных (и, конечно, не создающих никаких беспорядков) демонстрациях. И все же демонстрации происходят — то в Казахстане, то в Прибалтике, то в Москве, куда приезжают представители немцев, т. к. в Москве практически никто из немцев не имеет права проживать. И составляются — ценою величайших жертв и самоотверженности — списки тысяч и десятков тысяч желающих уехать, они попадают в посольство ФРГ, к корреспондентам. Руппель, введший меня в круг немецких проблем, а после его отъезда его друзья передали мне некоторые из этих списков (в них было более 6 тысяч имен).

Немецкая эмиграция питается естественным желанием людей переселиться на землю их предков, приобщиться к ее культуре, языку, экономическим и социальным достижениям и не менее естественным желанием покинуть ту страну, которая подвергла их народ чудовищным репрессиям, фактически геноциду в прошлом, продолжает подвергать дискриминации, ограничениям в образовании и работе. Сотни тысяч немцев погибли в лагерях и резервациях, до сих пор немцы фактически не имеют права вернуться в места своего проживания до войны, до сих пор среди них почти нет людей с высшим образованием, до сих пор каждого немца-школьника его товарищи, насмотревшиеся фильмов о войне, могут назвать — фашист. Почему же это столь законное стремление к репатриации столкнулось с такими трудностями? Главная причина — общее антиправовое отношение партийно-государственной власти в СССР к проблеме свободы выбора страны проживания, независимо от того, о людях какой национальности идет речь.

В отношении немецкой эмиграции действуют, как я думаю, дополнительные причины, затрудняющие ее еще больше. Немцев почти нет в Москве, каждый приезд, чтобы увидеться с корреспондентами, с работниками консульства, заявить протест в официальные советские инстанции — событие, причем часто с самыми неприятными последствиями. В этих условиях я рад, что на протяжении нескольких лет, до моей высылки, мне удавалось — по междугородному телефонному звонку, по переданной записке — что-то делать для этих людей. Я должен отметить тут, что все немецкие корреспонденты в Москве, с которыми мне приходилось общаться, всегда очень хорошо относились к моим просьбам. Кроме того, их в большинстве выгодно отличает от некоторых из их коллег в других странах скрупулезная журналистская добросовестность, желание все понять до конца и ничего не перепутать, не сместить акценты. В посольстве ФРГ я тоже встречал большое понимание. Но часто им очень трудно было что-то сделать.

Другая причина трудностей немцев — низкий образовательный уровень большинства желающих эмигрировать, затрудняющий борьбу с хитросплетениями властей, затрудняющий, в частности, всякие формы организации и публикаций. Третья причина — застарелый характер проблемы, больше, чем еврейская, несущей на себе груз прошлого. Дело Петра Бергмана, о котором я писал,— не исключение! Таких, может, с меньшими, но все же огромными сроками семей много. И наконец, как мне кажется, правительство и общественность ФРГ недостаточно активно и решительно защищают права своих единоплеменников. Я понимаю, что эти мои слова вызовут возражения, у кого-то — раздражение, кого-то огорчат. Но я убежден, что первейшим условием разрядки, торговых отношений, переговоров по любым вопросам должно было явиться выполнение СССР одного из основных положений международного права. Все желающие выехать из СССР в ФРГ должны получить эту возможность и без обязательных теперь требований о предоставлении вызовов от родственников (у многих немцев действительно нет родственников в ФРГ, они здесь, в СССР, живые и мертвые, многие — зарытые в землю в местах спецпоселений и лагерей в Коми АССР, в Казахстане, Киргизии...). Пусть власти СССР сформулируют реальные законные причины отказа — ведь у большинства немцев — шахтеров, комбайнеров и шоферов — не может быть никакой секретности, и пусть власти прекратят свою политику крепостничества.

Мое участие в делах немецкой эмиграции приносило мне не только заботы и огорчения за страдающих людей, но иногда и радость победы. Одним из таких счастливых было дело Фридриха Руппеля. Весной 1974 года я провожал его на Белорусском вокзале. Он принес бутылку шампанского. Хлопнула пробка, и пенистая струя наполнила русские стаканы — стаканчики граненые — и залила мой парадный костюм. Фридрих и его дети, в отличие от многих наших эмигрантов-диссидентов, нашли правильную линию поведения за рубежом: работать и учиться. Он прошел курсы повышения квалификации, давшие ему возможность хорошо трудиться и хорошо зарабатывать на новом месте: с другой культурой труда, да и вообще, что греха таить, находящемся в другой эпохе. То же — и его дети.

Другое дело — рабочего Иоганна Вагнера из Кишинева. После того, как он подал с семьей заявление об эмиграции, его сначала уволили с работы, а потом, через несколько месяцев, привлекли к судебной ответственности за «тунеядство» (т. е. по несколько лицемерной и казуистической формулировке в советском законе, «за систематическое уклонение от общественно полезного труда, паразитический образ жизни и невыполнение указания административных органов о трудоустройстве» — цитирую по памяти). Вагнер был осужден. Как раз в это время — весной 1978 года — предстояла поездка Брежнева в Бонн для встречи с канцлером Шмидтом и другими немецкими руководителями. Я написал два параллельных письма с изложением дела Вагнера (при этом я указал, что у него 32 года трудового стажа, слова о паразитическом образе жизни звучали при этом, по меньшей мере, странно), просил вмешаться, помочь — эти письма я послал Председателю Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневу через приемную Верховного Совета и федеральному канцлеру Шмидту — через посольство ФРГ. Это оказался один из тех немногих случаев, когда мое обращение к верховной власти в стране имело успех. Через несколько недель Вагнер был освобожден, дело в отношении его — прекращено.

В августе 1971 года я присутствовал на суде, тоже имеющем косвенное отношение к проблеме эмиграции. Перед судом предстали двое — молодой научный сотрудник физик Т. и швейцарский гражданин Де-Перрега. На первый взгляд они были удивительно похожи друг на друга, но вглядевшись, вы видели, что Де-Перрега как бы с другой планеты. Т., в прошлом председатель дискуссионного клуба в Московском университете, меломан и обаятельный парень, решил бежать за рубеж. Он опасался каких-то массовых репрессий в случае войны с Китаем — по крайней мере, так он объяснил на суде (или хотел избавиться от опеки КГБ; в этом случае приведенная им версия могла быть лишь «легендой», придуманной для него во время следствия). Сделал попытку перейти границу с Финляндией — неудачно, но, наверное, был взят под наблюдение (если, конечно, такого наблюдения не было до этого; дальнейшая его история выглядит еще более странной). Ему вскоре удалось вовлечь в свои попытки одного иностранного дипломата. Тот связался с зарубежной советологической организацией в Швейцарии «Восточным институтом», и сотрудники Института нашли в Швейцарии человека, удивительно похожего на Т. внешне и готового рискнуть многим, чтобы спасти от грозящей тюрьмы «советского диссидента» (конечно, Т. никогда диссидентом не был), а заодно совершить впервые в жизни бесплатную поездку в страну чудес — СССР. Человек этот был преподаватель биологии в школе медсестер Де-Перрега. План был таков: Т. проходит под каким-то предлогом в гостиницу в номер Де-Перрега, обменивается с ним галстуком, подливает в лимонад снотворное, похищает документы и улетает по ним в Швейцарию. Спящего Де-Перрегу обнаруживает администрация гостиницы, у него злоумышленник украл документы, но консульство идет на помощь, и Де-Перрега тоже улетает. До этого Т. пересылает дипломатической почтой свои мемуары за рубеж, за них он надеялся получить крупный гонорар. Однако план срывается. Т. арестован у трапа самолета, как за полгода до этого Кузнецов с товарищами. Де-Перрега при пробуждении видит не заботливых администраторов гостиницы, а офицеров КГБ. Мемуары Т. странным образом возвращаются на родину — в стол следователя. Впрочем, столь изощренный сценарий неминуемо должен был провалиться, по поговорке: где тонко, там и рвется. КГБ тут «переиграл» «Восточный институт», но чему тут удивляться — в КГБ ведь профессионалы. На суде Т. осудил свой поступок. Изменение своей позиции он объяснил тем, что раньше черпал свою информацию только из Би-би-си, а в следственной камере мог читать газету «Правда». За содействие следствию (формулировка приговора) ему снизили срок заключения до 8 лет (вместо 10), в лагере еще раз снизили срок до 6 лет. Сразу после освобождения он подал заявление о выезде из СССР и в 1977 году эмигрировал и живет в США.

В последующие годы мы были свидетелями многих вынужденных «раскаяний» во время следствия и на суде. Я говорю это не для того, чтобы бросить еще камень в сторону этих людей, но хочу напомнить, что иногда это были люди, претендовавшие на роль лидеров в правозащитной, национальной или религиозной области. В отличие от них Т. явно представлял только самого себя, свои личные интересы, и все, что он говорил на суде, поэтому касалось только этих интересов. В деле Т. меня интересует другое — почему Запад особое внимание часто уделяет не тем случаям, где люди ради интересов других идут на опасности и жертвы, а явно эгоцентрическим авантюрным предприятиям. В этой связи я вспоминаю об особой любви Запада, его масс-медиа к «невозвращенцам» — а ведь эти люди (по моему мнению) наносят большой урон общим легальным усилиям в защиту права на свободный выбор страны проживания и свободу поездок. Часто они получают разрешение на поездку за границу ценой конформизма. Особенно это относится к тем, кому разрешают поездку с членами семьи. Невозвращенцы всегда обманывают советские органы власти, тем делают их недоверчивыми к другим. Они оставляют в СССР близких (жену, родителей, детей), заранее с абсолютной уверенностью зная, что в их случае воссоединение семей невозможно в силу твердой позиции советских властей, но потом требуют от Запада защиты их права на воссоединение — отнимая силы от помощи людям, положившим главу «за други своя».

Совсем другое у меня отношение к большинству перебежчиков — они лично рискуют своей головой, некоторые проявляют чудеса смелости.

Но обычно они ничем не знамениты люди, и Запад их не замечает. А жаль.

В перерыве между заседаниями суда над Т. ко мне подошел некто, явный гебист, и спросил, понравился ли мне суд, и вставил мне фразу:

— Зря вы общаетесь с этими вечно пьяными диссидентами, это подонки, у них не разберешь, кто кому муж, кто кому жена.

Я ответил, что последняя проблема должна интересовать ЗАГС, а не КГБ, а что касается суда, то все отвратительно. Я видел, что мой собеседник только что о чем-то говорил с отцом Де-Перрега, теперь его переполняла гордость, и он сообщил мне, что посоветовал отцу осудить публично «Восточный институт», «погубивший его сына», это сильно ему поможет. Через некоторое время Де-Перрегу освободили досрочно, я не знаю, сыграл ли тут роль этот разговор.

За несколько дней до этого суда я получил письмо от брата человека, арестованного в Душанбе за пересылку по почте пленки с записью «Размышлений» — его звали Анатолий Назаров. Я спросил моего собеседника-гебиста, считает ли он правильным такой арест,— он ответил, что этого не может быть; несколько ранее он сказал — вот мой служебный телефон, можете позвонить мне. Я не воспользовался этой «любезностью».

В сентябре 1971 года я написал первый из своих основных документов о свободе выбора страны проживания. Я направил его Верховному Совету СССР. Письмо написаио под непосредственным впечатлением ставших мне известными фактов и событий года — трудностей еврейской и немецкой эмиграции, дела «самолетчиков», дела литовского моряка Кудирки, дела Т., ставших мне известными из сообщений радио трагических событий у Берлинской стены. Но в своем письме я ставлю вопрос в общем, принципиальном плане, частично предваряя свои дальнейшие выступления на эту тему. Я писал, в частности, о необходимости законодательного решения в соответствии с общепринятыми международными нормами, отраженными в 13-й статье Всеобщей декларации прав человека. Ответа я, конечно, не получил.

Свобода выбора страны проживания необыкновенно важна. От ее наличия или отсутствия во многом зависит общий уровень соблюдения прав человека в страие, как гражданских, так и политических, международное доверие и безопасность. Изложу здесь слитно свою позицию по этому вопросу (с некоторыми повторениями того, что я пишу в других местах, в том числе и в этой главе).

Люди принимают решение о выезде из страны не по прихоти, а по серьезным причинам. Это их решение, и государство не вправе мешать им в этом. При этом причины отъезда государства не касаются, это личное дело человека. Это может быть воссоединение семей, желание встретиться или жить с родными или друзьями, экономические причины — желание больше зарабатывать и лучше жить в материальном смысле, желание быть более свободным, желание увидеть другие страны, другой быт и других людей, желание оказаться среди единоверцев или избавиться от религиозной, национальной или иной дискриминации. И это может быть желание служить той стране, которую человек считает своей,— называется ли она Израиль или ФРГ. Это могут быть и гораздо менее серьезные причины — важно лишь наличие желания уехать, пусть даже это с чьей-то точки зрения прихоть. Но решение уехать не должно иметь окончательного, бесповоротного характера, человек должен быть уверен, что если он разочаруется в своем решении, если изменятся его оценки или обстоятельства, он так же свободно вернется в страну, из которой выехал. Только сочетание этих двух условий — свободы эмиграции и свободы возвращения — в совокупности образует право на свободный выбор страны проживания, провозглашенное в статье 13-й Всеобщей декларации прав человека ООН, юридически утвержденное Пактом о гражданских и политических правах человека и вновь подтвержденное в Хельсинкском акте. Я утверждаю, что это право — наряду с правом на свободу убеждений и информационного обмена, религиозной свободой, правом свободы слова и печати, правом образования ассоциаций, правом забастовок — имеет глубоко принципиальное значение, образует основу духовной и материальной свободы личности и одновременно делает общество открытым, демократическим, способствует международному доверию и безопасности. Трагично — и, к сожалению, далеко не случайно, что граждане СССР фактически лишены права на свободный выбор страны проживания (хотя официальные лица и пресса утверждают, что тут все в порядке). Это трагично для уже решивших эмигрировать, подавших документы и получивших отказ, или пытающихся подать документы, встречая бесчисленные трудности, и тех, кто стремится вернуться, и тех, кто является потенциальным эмигрантом, кому выезд необходим, но кто останавливается перед ужасом необратнмого шага или перед трудностями судьбы «отказника». Но это также трагедия для всей страны, для всех ее граждан, для международного доверия и — в конечном счете — угроза для мира во всем мире.

Передо мной статья бывшего (сейчас в 1982 году) начальника отдела виз и регистраций (ОВИР) МВД СССР К. И. Зотова (из сборника «По пути, проложенному в Хельсинки»). Она предназначена в целом для создания позитивного впечатления. Было бы очень хорошо, если бы все содержавшиеся в ней утверждения соответствовали истине — в частности, например, жена Алеши, о которой я пишу в последующих главах, немедленно бы уехала к нему. И все же — вот что мы читаем в этой статье: «В СССР объективно отсутствует база для эмиграции как социального явления. Поскольку нет безработицы, то нет и вопроса о выезде по причине поиска работы. Нет причин и для выезда по национальному признаку ввиду полного и гарантированного равноправия всех национальностей и народностей Советского Союза. Поэтому выезд граждан из СССР связан главным образом, с такими проблемами, как воссоединение разрозненных семей или бракосочетание с иностранцами».

Таким образом, К. И. Зотов легко разделался со всей совокупностью причин эмиграции, о которой я писал выше, кроме воссоединения семей. О праве на возвращение он и вовсе не упомянул — его полностью нет, ведь это вместе со свободой эмиграции означало бы такой подрыв международной закрытости СССР, который «компетентные органы» не могут допустить. В этом вся соль. Десятилетиями советским гражданам внушается, что наш строй, наша экономическая система, уровень жизни, социальная структура, система образования и здравоохранения и т. д. — несравненно превосходят то, что существует в мире капитализма. Даже сама мысль, что кто-то добровольно захочет уехать из этого рая, представляется настолько криминальной, чудовищной, что она не может быть произнесена вслух. Тем более нельзя — с точки зрения органов власти СССР — допустить возможности сравнения, возможности свободно разъезжать туда-сюда и свободно обсуждать (увидев изнутри, а не как турист), где что хуже, где что лучше, и нельзя допустить, чтобы людей не удерживала больше от эмиграции необратимость этого шага. И другое, что я назвал бы мистикой власти. Те, кто монопольно владеет телами и душами людей в стране, не могут допустить, чтобы эти тела и души ускользали из-под их власти в результате свободной эмиграции. Это действительно могло бы потребовать демократических и социально-экономических изменений внутри страны. И именно в силу этих причин право на свободу выбора страны проживания так важно!

Сенатор США Джексон назвал право на свободную эмиграцию «первым среди равных», и в этом есть, конечно, большая доля истины. Как видно, в частности, из приведенной цитаты, официальные представители СССР старательно подменяют общий вопрос о свободе эмиграции проблемой воссоединения семей, очень важной, конечно, самой по себе. (Это делается, например, при толковании Хельсинкского акта, хотя там есть прямая ссылка на Пакт о правах, где вопрос сформулирован в полном объеме.) Но еще хуже, что эта подмена лежит в основе обязательного требования так называемых «вызовов» — приглашений от родственников, проживающих за границей, причем власти произвольно признают лишь вызовы от самых ближайших родственников — родителей и детей. Часто даже вызовы от сестер и братьев или дядей и теть объявляются недостаточными! Для очень многих таким образом создается неразрешимая проблема. В действительности, конечно, само требование каких-либо вызовов совершенно неправомерно.

Трудноразрешимые проблемы возникают и с других сторон. Например, хотя формально утверждается, что родители не могут препятствовать

выезду своих совершеннолетних детей, но фактически при оформлении документов ОВИР требует подачи справки, что родители не имеют материальных претензий (или, наоборот, имеют; в этом случае требуется материальная компенсация, что само по себе закоино). Но родители, если они по идеологическим, карьерным или каким-либо иным причинам не хотят отъезда сына или дочери, имеют возможность не давать н и к а к о й справки, и нет никакого юридического механизма заставить их это сделать.

Рассмотрение докуметов на выезд длится долго, иногда больше года, сроки рассмотрения никак ие регламентированы. По-видимому, в этом рассмотрении решающее слово всегда принадлежит КГБ. Отказ в выезде всегда сообщается устно; совершенно неизвестно, какая инстанция, кто персоиально принимал решение, кто несет за него ответственность. Обычные причины отказов: «Недостаточная мотивация воссоединения»; «Обладание знанием государствениой или военной тайны». Никакая конкретизация причин отказа иевозможна, неизвестно даже, кого спрашивать. Невозможно обжалование отказа. Во всем этом проявляется антиправовое отношение партийно-государственной власти к свободе выбора страны проживания.

Большое принципиальное значеиие проблемы свободы выбора страны проживания и глубоко неудовлетворительное положение в этом вопросе в нашей стране заставили меня в 70-х годах уделять очень большое внимание конкретным делам о выезде и общим выступлениям на эту тему. Среди тех, кто обращался ко мне лично с просьбой о помощи, более половины составляли желающие выехать.

Письмо Верховному Совету о свободе выбора страны проживания печатала под мою диктовку Люся, в дальнейшем это стало традицией. Люся часто что-то улучшает и изменяет в моих документах (обычно в ходе предварительного обсуждения или при перепечатывании). Иногда она делает важные замечания по существу, иногда — стилистического и редакционного характера. На протяжеиии многих лет у нас выработался определенный способ работы. Обычио я сначала устно сообщаю ей об очередном замысле; потом она читает первый (рукописный) вариаит и делает свои замечания и предложения. Дальнейший этап обсуждения — во время перепечатки рукописи, обычно очень бурный, я со миогим не соглашаюсь, и мы спорим; в конце концов, я принимаю некоторые ее изменения текста, другие — отвергаю. Без меня она иикогда ие меняет ни одного слова в моих документах и рукописях (единственное исключение — Нобелевское выступление, которое оказалось недоработанным, что-либо согласовывать уже было невозможно при отсутствии связи, она тогда внесла свои исправления; речь идет именно о выступлении на церемонии, а не о лекции, подготовленной миой полностью). Но в этот раз она вообще не виесла никаких предложений. Мне приходилось встречаться с мнением, что мой интерес к проблеме свободы выбора страны проживания привит мне Люсей (в частности, на это намекает Солженицын в книге «Бодался теленок с дубом»). Из сказанного ясно, что это ие так. Ясно также (вопреки часто распространенному мнению), что моя позиция по основным проблемам формировалась на протяжении всей жизни; до встречи с Люсей я уже написал и опубликовал «Размышления», ознаменовавшие решительный разрыв с официальной линией (и «Меморандум»). А в чем на самом деле заключалось влияние на меня Люси, я попытаюсь рассказать в дальнейших главах. Коротко — в «очеловечивании».

Итак, за год после организации Комитета я вплотную встретился со всеми основными проблемами прав человека, которые отражены в моих общественных выступлениях в последующие годы. Это право на свободный выбор страиы проживания и места проживания виутри страны; право на свободу убеждений и иинформационного обмена; свобода религии; проблема использования психиатрии в политических целях; проблема смертной казни.

Поэты. Беседа с Туполевым. Дело Лупыноса. Суд над Буковским. Поездки в Киев. Новые аресты. Диссиденты

Люся, в отличие от меня, еще в детстве и юности была близка к писательскому миру. Я писал о Всеволоде Багрицком, сыгравшем большую роль в ее жизни. В 60-е годы у нее возобновились отношения с поэтами и писателями. Осенью 1971 года она привела меня к Булату Окуджаве. Это была не первая моя встреча с ним, но первая настоящая. Формально же первая была за три года до этого, в Тбилиси, во время Гравитационной конференции. Он пришел тогда вместе с женой ко мне в номер в гостинице, но разговора не получилось, да и вообще я, наверное, произвел на них «странное» впечатление. В этот самый день Володя Чавчанидзе, в прошлом аспирант в ФИАНе, а в 1968 году — видная фигура в научном мире в Грузии, директор Института кибернетики, вместе со своим сотрудником Марком Перельманом пригласил меня в ресторан и там напоил, это почти единственный случай в моей жизни. Творчество Окуджавы, его песни, которые он поет в сопровождении гитары, очень близко, дорого мне (так же, как большинству моих сверстников еще раньше, ио ведь я был сильно оторван от общего мира). Я вижу в песнях Окуджавы что-то глубинное от времени, от меня самого (и осуществившееся, и неосуществившееся, только заложенное во мне). Такое же чувство было у Люси еще с начала 60-х годов (и она сильно способствовала моему прозрению). 21 мая 1971 года, когда мы с ней еще были на «вы», она сделала мне царский подарок — машинописный сборник песен Окуджавы, в самодельном зеленом переплете, с вложенной от нее запиской. Там были все основные произведения Окуджавы, написанные к тому времени, — от таинственно-пронзительной «Ели» до углубленного в раздумья «Моцарта». Я немного волновался, идя к поэту, образ которого окружен для меня неким романтическим ореолом. Но все обошлось. Возник даже некий душевный контакт — конечно, благодаря Люсе. Булат был иездоров, полулежал в постели, но ои явно обрадовался нашему приходу, Люсе. Встреча эта запомнилась. К сожалению, такая теплая встреча оказалась последней. Жизнь развернула нас в разные стороны...

Незадолго до моей высылки нам удалось пойти на авторский концерт Окуджавы. Он с большим блеском исполнял свои вещи (старые и некоторые новые).

В те же осенние дни Люся повезла меня к Давиду Самойлову — прекрасному поэту, быть может лучшему сейчас поэту классического звучания — прямому наследнику поэзии XIX века. Самойлов жил за городом, в большом доме деревенского типа. Они с женой радушно приняли нас — тут отношение ко мне было явно отражением их отношения к Люсе. Самойлов прочитал свои новые стихи, осведомившись сперва, могу ли я долго слушать чтение. Он прекрасный чтец, голос его в домашней обстановке звучал, по-моему, даже лучше, выразительней, чем на эстраде. Читал он тогда и не свои стихи. Мог ли я представить себе что-либо подобное еще за полгода до этого?

В ближайшие месяцы я впервые увидел и многих других поэтов и писателей. Среди них был Владимир Максимов, ставший потом нашим с Люсей большим и верным другом. Это человек бескомпромиссной внутренней честности, напряженной мысли, прошедший трудный жизненный и идейный путь. Сейчас он в эмиграции, издатель прекрасного (при множестве недостатков, срывов, крайностей и ляпсусов) зарубежного литературно-публицистического журнала «Континент», жизненно важного для всех нас. В ту первую нашу встречу Максимов был очень расстроен, может, и не чем-либо конкретным. Запомнились его слова:

— Эту страну надо уносить с собой на подошвах сапог.

В декабре 1971 года был исключен из Союза писателей Александр Галич, и вскоре мы с Люсей пришли к нему домой; для меня это было началом большой и глубокой дружбы, а для Люси — восстановление старой, ведь она знала его еще во время участия Севы Багрицкого в работе над

пьесой «Город на заре»; правда, Саша был тогда сильно «старшим». В домашней обстановке в Галиче открывались какие-то «дополнительные», скрытые от постороннего взгляда черты его личности,— он становился гораздо мягче, проще, в какие-то моменты казался даже растерянным, несчастным. Но все время его не покидала свойственная ему благородная элегантность. Галич жил вдвоем с женой, Ангелиной Николаевной. В доме довольно много антикварных вещей; недавно, когда он был преуспевающим киносценаристом («На семи ветрах», «Верные друзья» и др.), он умел со вкусом распорядиться своими гонорарами; сейчас же ему было (пока) что продать, чтобы купить жизненно необходимое. На стене висел прекрасный карандашный портрет Ангелины Николаевны (я не знаю, кто был художник,— в эту женщину можно было влюбиться) и рядом стоял бюст Павла I. Я несколько подивился такому выбору, но Галич сказал:

— Вы знаете, история несправедлива к Павлу I, у него были некоторые очень хорошие планы.

(Недавно мы с Люсей читали интересную книгу Эйдельмана об эпохе Павла I, в чем-то подкрепившую для нас мысль Галича о некоторой несправедливости традиционных оценок этого человека.)

Еще один эпизод из этой встречи запомнился — может, и не очень значительный, но хочется рассказать. Я стал говорить о «Моцарте» Окуджавы, я очень люблю эту песню. Но Галич вдруг сказал:

— Конечно, это замечательная песня, но вы знаете, я считаю необходимой абсолютную точность в деталях, в жесте. Нельзя прижимать ладони ко лбу, играя на скрипке.

Я мог бы сказать в защиту Окуджавы, что старенькая скрипка — это метафора и что все воспринимают Моцарта не как скрипача, а как композитора. Но в чем-то, с точки зрения профессиональной строгости, Галич был прав, и мне это было интересно для понимания его собственного творчества — скрупулезно-точного во всем, филигранного. А «Моцарта» и другие песни Окуджавы я люблю от этого не меньше. Потом мы много раз еще бывали у него; после отъезда Галича за границу нам очень не хватало возможности заехать иногда в эту ставшую такой близкой квартиру у метро «Аэропорт». Бывал он и у нас, чаще всего — на семейных праздниках, всегда охотно и помногу пел свои песни, без которых нельзя себе представить наше время. Помню, как однажды он на секунду замешкался, не зная, с чего начать, и Юра Шихaнович (голосом, который у него становится в таких случаях несколько скрипучим) попросил спеть «По рисунку палешанина... (кто-то выткал на ковре Александра Полежаева в белой бурке на коне...)». Саша тронул струны гитары и запел:

...едут трое, сам в середочке, два жандарма по бокам.

Его удивительный голос заполнил маленькую комнату Руфи Григорьевны, где мы все сидели. Сместились временные рамки, смешались судьбы людей, такие различные и такие похожие в своей трагичности (Александра Пушкина, Александра Грибоедова, Александра Полежаева и Александра Галича). Вскоре был арестован Юра Шиханович. Александр Галич летом 1974 года эмигрировал, а еще через три года — его не стало. «Столетие — пустяк».

Незадолго до отъезда Галич был у нас на дне рождения Люси, он спел, в числе прочих, посвященную ей ностальгическую песенку о телефонах. Спел он в тот раз и свои, звучащие как завещание: «А бойтесь единственно только того, кто скажет: «Я знаю, как надо!», «Не зови — Я и так приду!», «Когда я вернусь...».

Последний раз я слышал голос Саши в «нобелевскую ночь» в октябре 1975 года. Сквозь помехи и ночные трески международных телефонных линий прорвался его теплый, низкий голос:

— Андрей, дорогой, мы все тут безмерно счастливы, собрались у Володи (Максимова), пьем за твое и Люсино здоровье. Это огромное счастье для всех нас...

Когда Люся вышла в 1975 году из поезда на Парижском вокзале, первый, кого она увидела, был Галич, элегантный, с красными розами в руках. В 1977 году Галич приехал в Италию, где находилась Люся (на операции для лечения глаз) и Таня и Рема с детьми, незадолго перед этим

вынужденные эмигрировать. С Люсиных слов я знаю о трогательном эпизоде, произошедшим с Галичем и моим 4-летним внуком Мотей. Саша звал ужинать в какой-то близлежащий ресторанчик. Мотя почему-то не хотел идти и заявил:

— Я не пойду, ты не тот Галич.

(Он уже знал о Галиче-певце, его песни уже существовали для него, но отдельно от Галича-знакомого.)

— Как не тот?

И Галич порывисто и легко встал на одно колено, положив на другое гитару, и запел:

— Снова даль предо мной неоглядная...

Мотя несколько минут внимательно молча слушал, потом сказал:

— Дидя Адя тоже хорошо поет.

Это было признание Галича (после этого Мотя сунул свою руку в его и готов был идти куда угодно) и одновременно — высочайший комплимент для меня. А через несколько недель Галич погиб. Та версия, которую приняла на основе следствия парижская полиция и с которой поэтому мы должны считаться, сводится к следующему.

Галич купил (в Италии, где они дешевле) телевизор-комбайн и, привезя в Париж, торопился его опробовать. Случилось так, что они с женой вместе вышли на улицу, она пошла по каким-то своим делам, а он вернулся без нее в пустую якобы квартиру и, еще не раздевшись, вставил почему-то антенну не в антенное гнездо, а в отверстие в задней стенке, коснувшись ею цепей высокого напряжения. Он тут же упал, упершись ногами в батарею, замкнув таким образом цепь. Когда пришла Ангелина Николаевна, он был уже мертв. Несчастный случай по неосторожности потерпевшего... И все же у меня нет стопроцентной уверенности, что это несчастный случай, а не убийство. За одиннадцать с половиной месяцев до его смерти мать Саши получила по почте на Новый год странное письмо. Взволновавшись, она пришла к нам. В конверт был вложен листок из календаря, на котором было на машинке напечатано (с маленькой буквы в одну строчку): «принято решение убить вашего сына Александра». Мы, как сумели, успокоили мать, сказав, в частности, что когда действительно убивают, то не делают таких предупреждений. Но на самом деле в хитроумной практике КГБ бывает и такое (я вспомнил тут анекдот об еврее, едущим в Житомир, о котором рассказывал Хрущев). Так что вполне возможно, что телевизор был использован для маскировки — «по вдохновению», или это был один из тех вариантных планов, которые всегда готовит про запас КГБ.

Вернусь к событиям 1972 года. Приближался суд над Буковским. (Власти не решились — или не захотели — пустить его по психиатрическому пути, как мы опасались.) Я решил обратиться к знаменитому авиаконструктору, академику Андрею Николаевичу Туполеву с предложением вместе со мной поехать на суд. Я считал, что если два известных академика встанут на путь открытого сопротивления беззаконным репрессиям против честных людей, защитников прав человека, других людей — то это может иметь решающее значение не только в конкретном деле Буковского (которое меня волновало), но и для всей обстановки в стране. Если два, а не один, то почему не большинство? Я и сейчас думаю, что согласие Туполева на мое предложение было бы огромным событием...

Я кратко и насколько сумел убедительно изложил цель своего приезда. Туполев слушал меня с напряженным вниманием и несколько минут молчал. Потом на лице его появилась язвительная усмешка, и он стал задавать мне быстрые вопросы, иногда сам же на них отвечал. Суть его речи сводилась к тому, что никакого Буковского он не знает и знать не желает, что из моих ответов он видит, что Буковский бездельник, а в жизни всего важнее работа. Он видит также, что в моих взглядах — абсолютный сумбур (это было сказано, когда я упомянул, что советские военные самолеты с арабскими летчиками бомбят колонны беженцев в Нигерии, осуществляя тем самым геноцид — я это говорил уже в конце разговора в смысле: пора подумать о душе). Ехать на суд он категорически отказался, мне же, по его мнению, необходимо обратиться к психиатру и подлечиться. Он, однако, ни разу не сказал, что считает советский суд самым справедливым в мире, я мог бы ему тогда напомнить, что он сам был осужден

за продажу «панской» Польше чертежей своего бомбардировщика за 1 млн. злотых (таково было официальное обвинение); просто все это теперь его не интересовало. Так эта моя попытка кончилась неудачей. Когда я уезжал, он язвительно заметил мне:

— Вы сидели иа моих перчатках и помяли их.

Я не удержался от замечания, что смятые перчатки можно выгладить, смятую душу — значительно трудней.

За несколько лет до моего визита на каких-то академических похоронах ведавший похоронными делами человек рассказал, что Туполев ездил на Новодевичье (сильно привилегированное) кладбище и заранее заказал участок для себя и своей жены, тогда еще живой. Эта история мне вполне понравилась.

Через несколько дней после поездки к Туполеву мне сообщили, что в Киеве предстоит суд над украинским поэтом Лупыносом, ему угрожает психиатрическая тюрьма. Мы с Люсей поехали на аэродром, с помощью моей книжки Героя Соц. Труда удалось достать билеты, и вечером накануне назначенного дня суда мы были в Киеве. В гостинице нам дали койки на разных этажах, т. к. в наших паспортах еще ие было отметки о браке (эта церемония еще предстояла), а нравственность в советских гостиницах охраняется весьма строго. Стоявший позади нас мужчина, вероятно сопровождавший нас гебист, пытался протестовать — такому заслуженному человеку можно сделать исключение. У него, конечно, была своя цель — облегчить наблюдение, но он не хотел при нас открыться. Утром, когда мы с Люсей встретились на нейтральной почве, в гостиницу пришли украинцы — И. Светличный, которого я уже знал раньше, Л. Плющ и еще кто-то, и мы пошли на суд. По дороге Светличный рассказал нам суть дела. Лупынос уже был ранее осужден по обвинению в националистической пропаганде. В лагере ои тяжело заболел, какое-то время мог передвигаться только на кресле-каталке, потом с костылями. Весной этого, 1971 года читал стихи у памятника Тарасу Шевченко (вместе с другими поэтами). В его стихотворении была фраза об украинском национальном флаге, который стал половой тряпкой. Кто-то донес об этом «националистическом и антисоветском» выступлении, и он был арестован. К нашему удивлению, всех пришедших свободно пустили в зал суда. Но заседание не открывалось. Наконец, вышел секретарь и объявил, что судья заболел (кто-то из наших, однако, видел его утром), заседание переносится. Это, конечно, был результат нашего приезда. Через две недели суд состоялся совершенно неожиданно, почти никто, даже отец Лупыноса, которого мы видели на первом заседании, об этом не знал. Лупынос был направлен в специальную психиатрическую больницу, а именно — в Днепропетровскую, одну из самых страшных в этом ряду. С 1972 по 1975 г. именно там находился Леонид Плющ, и он многое рассказал об этом заведении. Лупынос находится там до сих пор (сведения 1979 года) — таково его наказание за одну стихотворную строчку.

В начале 1972 года мы с Люсей выехали на мою дачу, подаренную мне по постановлению правительства в 1956 году. Я с Клавой не жил там во время моей работы на объекте, так как я практически все время находился вне Москвы, и мы не имели ни сил, ни умения ее освоить. Сейчас мы хотели пожить во время школьных каникул с моим сыном Димой (отношения с которым, как и с другими моими детьми, не складывались) и с Алешей, тоже школьником, на год старше Димы. Но через два дня на дачу приехал наш знакомый Алексей Тумерман. Он сообщил, что на 5 января назначен суд над Буковским. Мы тут же выехали в Москву.

Суд был в Люблино — там же, где суд над А. Красновым-Левитиным. Но на этот раз никакой кудрявый гебист ие встречал меня. Нам всем преградила путь на второй этаж (где был суд) плотная шеренга «дружинников» с красными повязками, стоявших с наглым и самоуверенным видом, напоминая СС-овцев из бесчисленных фильмов о войне (это, конечно, были гебисты). Всего внизу скопилось около 60 человек «наших». Я время от времени подходил к дружинникам, требуя вызвать коменданта и провести наших представителей наверх, чтобы убедиться, действительно ли в зале нет мест (под этим предлогом нас не пускали). Гебисты же кричали мне:

— Советский ли вы человек, академик Сахаров?

Это уже было что-то новое. Позже мы узнали от родных Буковского иекоторые подробности происходившего в зале суда. Судья спросил одного из свидетелей, офицера-таможенника, бывшего в прошлом приятелем Буковского:

— Вы коммунист, пытались ли вы как-то переубедить обвиняемого, повлиять на него?

— Да, конечно.

— Что же вы ему сказали?

— Я сказал — стену лбом не прошибешь.

Буковский сказал в последнем слове:

— Я сожалею, что за 14 месяцев, которые я был на свободе, я успел сделать так мало. Но я горжусь тем, что я сделал.

Приговор — 7 лет заключеиия и 5 лет ссылки. Мы надеялись, что Буковского проведут по переходу и мы сможем его приветствовать. Но вдруг кто-то закричал: Машина уже на улице! Мы бросились туда, дружинники и милиция преградили нам путь. Люся резко оттолкнула одного из милиционеров, крикнув:

— Пусти, фашист!

Впоследствии Валерий Чалидзе, узнав об этом, упрекал ее за недостойное жены академика поведение, а я — нет. Якир успел подбежать к машине, где был Володя, и крикнул:

— Володя, молодец!

Несколькими часами раньше он сказал с большой искренностью:

— 10—20—30 таких процессов! Я уже не выдерживаю! Сам я нового приговора уже не перенесу, это выше моих сил.

ГБ, конечно, все это «мотало на ус».

7 января в ЗАГСе (Запись Актов Гражданского Состояния) нашего района состоялась церемония нашего бракосочетания. С нами почти никого ие было, кроме свидетелей (Наташа Гессе и Андрей Твердохлебов), в последний момент, запыхавшись, прибежала Таня (Люсина дочь; я же по душевной слабости не сообщил своим детям о предстоящем бракосочетании, об этом я всегда вспоминаю с самоосуждением, подобное поведение никогда не облегчает жизни). ГБ прислало своих свидетелей — полдюжины мужчин в одинаковых, очень хорошо сшитых черных костюмах.

Мы обычно стараемся не думать о мотивах ГБ — у них настолько иная система ценностей и целей, что мы редко можем их понять, да и ни к чему. Но тут я рискну высказать предположение, что так они выражали свое неудовольствие.

Вечером того же дня мы с Люсей вылетели в Киев, на этот раз чтобы встретиться с известным писателем Виктором Некрасовым (автором одной из лучших книг о войне «В окопах Сталинграда») — мы узнали, что у него была переписка с главным психиатром СССР проф. Снежневским (автором сомнительной, по мнению некоторых, теории вялотекущей шизофрении — но тут я не могу иметь обоснованного мнения) по делу Буковского. Мы надеялись, что эти письма будут полезны для кампании в его защиту. Такое начало нашей официальной семейной жизни, быть может, символично. И дальше много лет подряд сотни общественных дел почти каждый день заставляли нас куда-то спешить, сидеть до 4-х ночи за машинкой, с кем-то спорить до хрипоты. Но не это сделало нашу жизнь трудной, даже трагичной.

Некрасов встретил нас радушно, и мы сразу прониклись взаимной симпатией. Он поводил нас по горячо любимому им Киеву. В другую прогулку в тот же день Люся показала мне дом, где жили герои булгаковской «Белой гвардии» (и пьесы «Дни Турбиных»). Показала она и ту щель между домами, куда Николка Турбин прятал оружие. К сожалению, Некрасов не смог отдать нам писем Снежневского — переписка носила личный характер, и он не считал себя вправе сделать это. Кроме милых хозяина дома и его жены, мы в этот день познакомились с Семеном Глузманом, о котором я уже писал, — автором анонимной заочной психиатрической экспертизы П. Г. Григоренко. Вечером того же дня он провожал нас на поезд. Впечатление какой-то особенной чистоты, готовности к добрым делам было у нас с Люсей общим. Он в это время еще работал психиатром городской скорой помощи, но тучи уже сгущались над его головой (мы тогда не

могли этого подозревать). В мае Глузман был арестован и осужден на 7 лет лагеря и 3 года ссылки...

Еще в январе 1971 года (т. е. до нашего семейного объединения) Люсе как инвалиду войны удалось вступить в жилищно-строительный кооператив горвоенкомата, удалось также с помощью друзей собрать деньги, немалые для ее бюджета (хотя кооператив был и «дешевый»). Строительство было окончено быстро (по нашим меркам), и в январе 1972 года Таня и Рема переезжали. Люся была очень озабочена, как я писал, жилищными делами еще в декабре 1970 года, а после моего переезда на улицу Чкалова в квартиру, полученную Руфью Григорьевной при реабилитации, создалось очень трудное для всех членов семьи положение. Таня и Рема уступили нам с Люсей комнату, в которой они жили, и перебрались на диван в кухню, конечно, только на ночь, днем они вообще оказались без места; в комнате же Руфи Григорьевны жил Алеша, тоже фактически лишенный своего угла (что осталось без изменения и после переезда Тани и Ремы). После их переезда Люся устроила в квартире ремонт («косметический» — в основном побелка и покраска). Для помощи в переезде и для ремонта она пригласила группу «наших» (т. е. «диссидентов», это слово тогда еще только начало входить в обиход, вообще-то оно мне не нравится до сих пор, но я его употребляю для краткости). Ребята быстро все сделали. Это была не просто товарищеская помощь, а нечто «общественное». Работая то у одних знакомых, то у других, ребята собирали таким образом деньги для помощи детям политзаключенных.

Это было, как кажется сейчас, время не замутненных ничем личных и общественных взаимоотношений в «диссидентском» кругу. Конечно, в какой-то мере впечатление «незамутненности» есть результат перспективы, но, несомненно, что-то изменилось с тех пор. Большинство диссидентов работало тогда на государственной службе — их еще не выгнали, и это было единственным источником их существования, из своих небольших доходов они еще ухитрялись собирать деньги для помощи другим — дополняя их заработками от работы в субботу и воскресенье. Чтобы иметь возможность без прогула присутствовать у дверей судов над друзьями, многие сдавали кровь — за это полагаются свободные дни, отгулы. Никому не приходило даже в голову делить своих друзей на «христиан» или «сионистов», или «правозащитников». Эти разделения наметились только потом (о причинах я кое-что пишу дальше). Никто из диссидентов не стал еще своего рода «профессионалом» (я не хочу никого упрекать сейчас — причиной появления «профессионализма» являются жесточайшие репрессии властей: увольнения с работы, бесправное положение вышедших из заключения, вынужденная эмиграция и многое другое). В общем — период тот воспринимается как нечто молодое, чистое, нравственное. У дверей одного из судов Татьяна Михайловна Великанова сказала мне:

— Они (т. е. КГБ, вообще власти) не могут не чувствовать нашей моральной силы.

(А спустя 8—9 лет, незадолго перед арестом, она же воскликнула:

— Почему раньше не было так противно! Откуда полезло столько мерзости!..

Она сказала это под впечатлением какой-то конкретной некрасивой истории, но несомненно, что ее ощущения носили более общий характер. Все же мне не хотелось бы слишком осуждать участников диссидентского движения 1982 года. Очень многие находятся в заключении, подвергаются репрессиям. Людей нравственно чистых, умных и самоотверженных среди теперешних диссидентов не меньше — и среди ветеранов, и среди молодых. Просто сейчас в ряде отношений стало трудней! А что в семье не без урода, такое бывает всегда.)

К 1972 году уже ясно определились основные принципы и формы борьбы за права человека, определились и основные цели и направления. С 1968 года регулярно издавалась «Хроника текущих событий» (сокращенно — ХТС). Я уже писал об этом самиздатском журнале, который рассказывает о фактах нарушения прав человека в СССР, в особенности относящихся к свободе убеждений, вероисповедания, эмиграции, рассказывает о репрессиях — обысках, арестах и судах, об условиях и борьбе в местах заключения. Большое внимание уделяется в ХТС национальным и связанным с ними религиозным проблемам — в том числе проблемам

прибалтийских республик, крымских татар, немцев, украинцев, армян, грузин. Основной принцип журнала — чисто информационный его характер, с сознательным исключением оценочных моментов. Несмотря на крайне сложные условия сбора материалов, журнал стремится быть максимально точным и объективным; в тех случаях, когда удается выявить неточности, публикуются исправления. Эпиграфом к журналу (который повторяется в каждом номере) выбран текст ст. 19 Всеобщей декларации прав человека: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».

Очевидно, что подобное издание принципиально не может быть клеветническим или преследующим подрывные цели. Однако именно клеветнический якобы характер журнала на протяжении более десяти лет выдвигается в приговорах судов в качестве основы для жесточайших репрессий людей, имевших отношение (часто даже весьма отдаленное) к ХТС. Ничего так не боятся репрессивные органы, как этих скромных тетрадочек из листков папиросной бумаги. В этом — доказательство значимости, неотразимости ХТС. Я действительно считаю, что «Хроника» — наиболее ясное и значительное выражение духа борьбы за права человека, ее единственного метода — гласности, ее нравственной силы. 10 лет издания «Хроники» — это чудо! ХТС издается без указания фамилий тех, кто ее делает. Сейчас можно назвать имена некоторых из ее первых издателей — это Наталья Горбаневская (сейчас живет во Франции), Анатолий Якобсон (эмигрировал в Израиль, умер в 1978 г.). Добавление 1987 г. Назову еще: Сергей Ковалев (в заключении и ссылке с 1974 по 1984 год), Татьяна Великанова (в заключении и ссылке с 1979 года), Татьяна Ходорович (эмигрировала, живет во Франции), Юрий Шиханович (в 1983 г. — повторный арест, с 1983 по 1987 г. в заключении).

Очень большую роль в движении за права человека сыграла Инициативная группа по защите прав человека. В связи с Комитетом прав человека я уже писал о ней, не буду повторяться.

Таков был диссидентский мир десять лет назад, я пытался описать его, вспоминая о двух днях дружной и веселой работы наших друзей в январе 1972 года. Среди работавших были многие из названных мною. Возглавлял группу, был ее душой Юрий Александрович Шиханович, друг Люси, ставший и моим, математик и педагог, к этому времени уже лишенный работы в Университете.

В кооперативном доме, куда переезжали Таня и Рема (формально квартира была записана на Люсю), еще не работал лифт. Отказник Володя Гершович (в шутку прозванный «Богатырь еврейского народа») проявил чудеса силы, один внеся на плечах холодильник на восьмой этаж. Люся приготовила для «грузчиков» обед, на столе дымилась отварная картошка и жареное мясо; усталые работники разлили себе водки. Еще не успели ребята разойтись, как кто-то позвонил нам по телефону с тревожным известием: по Москве ходят обыски. На другой день с обыска увезли на допрос Кронида Любарского (о нем я рассказываю ниже). К ночи стало известно, что Кронид арестован. Начинался новый, более трудный период в диссидентской жизни. Впоследствии распространились слухи, что в конце 1971 года было принято решение о ликвидации «Хроники» и других проявлений инакомыслия. Я не знаю, насколько эти слухи справедливы, но несомненно, 1972 год принес очередную волну политических репрессий. Особенно тяжелыми они оказались на Украине. Там были арестованы Светличный, Черновол, Дзюба, Стус, Ирина Стасив-Калынец и ее муж, Пронюк, Шумук, Строкатая (жена Караванского, о котором мы с Валерием писали в приложении к памятной записке). Плющ. В мае арестован Глузман. В Москве, кроме Любарского, арестован Якир (летом) и Ю. Шиханович (сентябрь 1972 г.).

Средняя Азия и Баку. Обращения об амнистии и смертной казни. «Памятная записка» и «Послесловие»

В конце марта мы с Люсей решили позволить себе нечто вроде свадебной поездки — в Среднюю Азию, где уже начиналась весна. Это были школьные каникулы, и мы хотели взять с собой двух мальчиков-школьников — моего сына Диму и Люсиного Алешу. Алеша был на год старше. Мы опять надеялись, что что-то наладится в наших отношениях с Димой (с Алешей этой проблемы в основном не было). Но, к сожалению, Дима, отчасти под влиянием сестер, наотрез отказался. Мы вылетели втроем — сначала в Бухару (подлинная средневековая Азия, с площадями, базарами, бассейнами и улочками, изумительные мечети и минареты, мавзолей Самани, одно из чудес мировой архитектуры); потом в Самарканд (город, где остались пышные, великолепные здания, построенные Тимуром и его наследниками), и наконец, в Душанбе (перелет над застывшими громадами Памира, прогулки по ущельям в окрестностях города). Наш заезд в Душанбе, однако, имел и общественную цель — там жили родные Анатолия Назарова, о котором я писал выше — он был арестован, а к этому времени уже осужден на три года заключения за пересылку своей знакомой моих «Размышлений».

Мы говорили с его родными и адвокатом, надеясь найти путь как-то ему помочь. К сожалению, наш приезд имел обратный эффект — из лагеря в окрестностях Душанбе его перевели за несколько сот километров дальше. После освобождения он писал нам, приглашал в гости и на свадьбу. Мы не смогли воспользоваться этими приглашениями — может, это и к лучшему.

Из впечатлений прогулок в окрестностях Душанбе. Вход во многие ущелья загорожен, ворота снабжены торчащими вниз гвоздями, чтобы мальчишки не смогли пролезть под ними. Там, в самых прекрасных уголках горного края, расположены роскошные дачи местного начальства — этих своего рода современных князьков. Социальные контрасты в национальных республиках более на виду, чем в России. Но это не значит, что в России их нет — просто заборы более непроницаемы для постороннего глаза («зеленые заборы», как у нас говорят).

Через месяц я получил приглашение на научную конференцию в Баку, которую проводило отделение ядерной физики АН. Для нас с Люсей это явилось как бы продолжением поездки в Среднюю Азию — много ярких впечатлений от южного города, его окрестностей; традиционная экскурсия — храм огнепоклонников, считающийся главной достопримечательностью. В одно из воскресений — поездка в район, где некоторое время назад были открыты удивительные наскальные изображения — пляшущие человечки, фигуры зверей, сделанные реалистично и с большой экспрессией. Это были магические изображения — в этом месте зверей загоняли на обрыв, и они разбивались. Неподалеку — древний музыкальный инструмент — пятиметровый камень на трех точечных опорах, при ударе он издавал мелодический гул. Вокруг камня полукружиями располагались каменные же сидения для слушателей. Во время этой прогулки Люся вдруг неожиданно взбежала на большой наклонный камень, нависший над дорогой. В испуге я закричал:

— Люська, стой!

Она резко остановилась в нескольких десятках сантиметров от 20-метрового обрыва. В последний день конференции местное научное начальство устроило для «избранных» гостей банкет в Ботаническом саду под открытым небом, с каким-то редким вином из бочек и пышными восточными тостами; потом была поездка к плещущему пеной неспокойному Каспийскому морю и бешеная ночная гонка темпераментных водителей. Во время банкета Люся неожиданно узнала среди гостей своего молочного

брата Андрея Аматуни. В младенчестве он был вскормлен Руфью Григорьевной одновременно с Люсиным братом Игорем. Отец Аматуни был арестован так же, как Люсин, в 1937 году и погиб. Впоследствии связь с Аматуни потерялась. Андрей Аматуни стал физиком-теоретиком, сделал большую административную карьеру и опасается с нами общаться. В Ереване потом он пригласил нас к себе, но в Москве так и не решился к нам зайти.

Еще до этой поездки началась новая памятная эпопея. В декабре должен был торжественно отмечаться 50-летний юбилей образования СССР. Татьяна Максимовна Литвинова, о которой я писал выше в связи с делом Григоренко, а теперь она стала тещей Чалидзе, и мы иногда встречались с ней во время заседаний Комитета, высказала мысль о целесообразности коллективного обращения в связи с этой датой к Президиуму Верховного Совета с просьбой об амнистии политзаключенных и об отмене смертной казни. Мне очень понравилась эта мысль. Я решил, что нужно иметь два отдельных обращения (т. к. контингенты тех, кто может их подписать, не полностью совпадают), и написал тексты. Началась кампания по сбору подписей. Иногда я ездил к тем, чью подпись я хотел получить, один, но чаще — с Люсей. Очень быстро мы получили подписи многих инакомыслящих. Подписал оба обращения также и Р. А. Медведев. Неожиданная трудность возникла с Чалидзе. Он оттягивал подписание, не желая оказаться в одной компании с некоторыми неприятными ему людьми. Это было начало тех недоразумений, которые, к сожалению, вскоре временно омрачили наши отношения. Но в конце концов он подписал. Легко подписывали обращения отъезжающие, мы старались даже ограничить их число теми, чье участие казалось нам более важным. Не подписал обращений А. И. Солженицын — он считал, что это может помешать выполнению тех задач, за которые он чувствовал на себе ответственность. Мне его позиция казалась неправильной. Особенно важным я считал иметь как можно больше подписей известных, пользующихся авторитетом представителей интеллигенции — ученых, писателей, художников, медиков и т. п., не принадлежащих к инакомыслящим, не оппозиционных, но разделяющих гуманистические цели Обращения — освободить узников совести, отменить варварский институт смертной казни. Но тут меня постигло разочарование. Времена «подписантской кампании» 1967 года (1000 подписей) явно прошли, и это показывает, что и тогда некоторые подписывали «из моды», считая, что это совсем ничего не будет им стоить. Уже в Баку я имел несколько отказов от своих коллег-физиков. Вот несколько памятных моментов. Некий академик крайне перепуган, машет руками:

— Что вы, если у властей есть желание провести амнистию политзаключенных, получив такое коллективное письмо, они обидятся и отменят ее!

Академик Петр Капица:

— Главное — не забота о нескольких политзаключенных. Перед человечеством стоят огромные задачи. Главная опасность — демографический взрыв, непрерывный рост населения в слаборазвитых странах, угрожающий миллионам людей голодной смертью.

Академик Имшенецкий:

— Не вовлекайте меня в антисоветские затеи, я на советскую власть не обижен, она меня 36 раз за границу посылала.

(Кажется, с Имшенецким я говорил по другому поводу, в данном случае это не имеет значения.) Я думаю, что Имшенецкий был откровеннее других. Никому из тех, с кем я говорил, не угрожал бы в случае подписания арест или увольнение, или даже минимальное понижение в должности. Но в последние годы возникла новая психология, когда чрезвычайно высоко котируются менее необходимые блага, которые тридцать лет назад являлись бы недостижимой роскошью — например, поездки за границу, о которых говорил Имшенецкий.

Жизнь, конечно, сложна, и у многих, не подписавших Обращение, были другие, веские причины. Среди них — журналистка, успешно защищающая в периодически появляющихся статьях справедливость и достоинство людей от произвола и беззакония; академик, сделавший делом своей жизни защиту памятников старины от современных нуворишей; другой академик, уверенный, что любой его неосторожный шаг погубит его научную

карьеру. Среди отказавшихся была Лиза Драбкина — в прошлом секретарь Свердлова, проведшая полжизни в лагерях, многое понявшая и пересмотревшая. Ей хотелось сохранить за собой возможность рассказать молодежи, что ей удалось понять. Конечно, она зря не подписала. Это она назвала когда-то Люсю «всехняя». Она подарила нам карточку, на обороте написала: «Дурочка рядом с Лениным это я». Умирая, ее муж в бреду кричал:

— Верните нам нашу революцию!

Что бы он сделал по второму заходу? Боюсь загадывать. А сама Лиза Драбкина, когда ей из какого-то молодежного зала закричали:

— За что боролись, на то и напоролись, — горько ответила:

— Это вы напоролись, а мы боролись. (Страшная штука — история. Вообще-то Драбкина была не совсем права в своей ответной реплике.)

Для сбора подписей мы ездили с Люсей также в Ленинград и в расположенный недалеко от него дачный поселок писателей и ученых Комарово. В этой поездке выявилось, между прочим, насколько плотно и квалифицированно за нами следят. Обычно мы с Люсей игнорируем слежку, просто ее не замечаем. Пусть тратят казенные деньги, если им это нравится. Но тут нам рассказали. Мы обошли в Комарове несколько домов, в перерыве ходили по лесу, к морю, вели себя вполне раскованно, считая, что мы вдвоем. Но потом выяснилось, что в некоторые из посещаемых нами домов сразу же после нас заходили гебисты и допытывались, зачем у них был Сахаров. Среди тех, с кем мы разговаривали, был покойный академик-математик В. И. Смирнов. Он очень тепло нас принял (между прочим, его дом был единственным, где нас накормили), рассказал о трагических событиях красного террора в Крыму, свидетелем которого он был в молодости. Руководили этим массовым убийством Бела Кун и Землячка.

Обращения были отосланы в адрес Президиума Верховного Совета за два (или полтора) месяца до юбилея. Конечно, никакой видимой реакции на них не последовало. Незадолго до юбилея я передал Обращение (вместе со списками подписавших, несколько больше пятидесяти человек под каждым из документов) иностранным корреспондентам в Москве. Сообщения об этом мы вскоре услышали по некоторым зарубежным радиостанциям. Несмотря на те разочарования, о которых я писал выше, я все же думаю, что эта кампания, забравшая у нас с Люсей немало сил, не была бесполезной. В новых условиях каждая подпись под обращением была очень весомой. Обращения явились выражением мнения для многих и, быть может, многих слушателей радио заставили задуматься. Для многих из подписавших это было не простое решение, но акт гражданской смелости.

В середине лета 1972 года я решил, что пора опубликовать «Памятную записку». Я написал «Послесловие» к ней, в котором попытался разъяснить свою позицию, несколько расширив при этом тематику «Записки», привел примеры последних репрессий (приложение к «Записке», написанное год назад в основном Чалидзе, не было опубликовано). В «Памятной записке» я отдал некоторую дань опасениям угрозы со стороны Китая. Эти опасения высказывал также Солженицын — в «Письме вождям» и в других местах, и Амальрик в его «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?». К моменту опубликования «Записки» и составления Послесловия моя точка зрения на этот вопрос изменилась. Я считаю, что в силу своего военно-технического и экономического отставания и поглощенности внутренними проблемами Китай не сможет осуществить агрессию против СССР в ближайшие десятилетия, несмотря на свое огромное население. Соперничество за влияние на слаборазвитые страны и из-за Юго-Восточной Азии есть часть более широких общемировых проблем (в том числе, советской экспансии, противостояния с Западом и других), которые, по моему убеждению, должны решаться мирными способами на путях компромисса и терпимости. Также несомненно можно решить путем переговоров и некоторых уступок территориальные споры с Китаем. Чего следует опасаться — это возможных последствий советской экспансии в разных странах света. И не хочется даже об этом писать, но — возможной безумной акции советских ястребов, которые — конечно, при условии существенного изменения положения внутри страны и в мире в целом — могли бы начать превентивную войну. В настоящее же время китайская угроза усиленно раздувается советской пропагандой, как я думаю, в какой-то мере с внутриполитическими целями. Я убежден, что урегулирование отношений с КНР безусловно возможно в результате положительных сдвигов во всей мировой ситуации; во многом это зависит от действий СССР. В последние годы стало известно о возникновении в КНР движения инакомыслящих и о жестоких преследованиях их властями. Я отношусь к этим сообщениям с большим интересом, восхищаюсь нашими китайскими единомышленниками, глубоко уважаю их, как и вообще китайский народ. К сожалению, эти точки зрения не нашли отражения в «Послесловии»; впоследствии я пытался исправить это...

Арест Шихановича. Демонстрация у ливанского посольства. Грузия и Армения. Исключение Тани из МГУ. Суд над Любарским. Первое интервью. Люся расстается с партией

В сентябре Люся поехала на очередное свидание к Эдику. Вскоре она вернулась ни с чем. Свидание было, как это то и дело происходит в лагерях и тюрьмах, отменено (это, при крайней ограниченности числа разрешенных свиданий, всегда большая беда; причины же обычно — взыскание из-за каких-то придирок начальства; голодовка; помещение в карцер; невыполнение нормы — самая частая, — а также причины, даже формально не зависящие от заключенного: карантин, ремонт дома для свиданий — но даже в этом случае перенос свидания ничем не компенсируется). За время ее отсутствия произошла беда — арестовали нашего друга Юру Шихановича.

Первый раз я увидел Юру у Валерия. Кажется, обсуждался процесс Пименова и Вайля. Кто-то сказал, что Пименов считает себя гениальным математиком. Я, желая замять неловкость, позволил себе заметить (пошутить), что по моему наблюдению, все математики считают себя гениями. Юра встал со своего места и громким шепотом (так, что все слышали) сказал:

— А я считаю себя гениальным педагогом.

К этому времени у него уже сильно уменьшились возможности проявлять свою гениальность. После того, как он подписал письмо в защиту своего старшего коллеги Есенина-Вольпина, его уволили из университета. Само это дело стоит того, чтобы о нем рассказать.

Есенин-Вольпин, математик, поэт и один из первых диссидентов, был принудительно помещен в психиатрическую больницу. Его коллеги выступили с письмом, в котором они просили дать ему возможность продолжать научную работу (не больше того, они даже не требовали освобождения Вольпина из больницы). Письмо вызвало огромное беспокойство властей, против подписавших были применены различные меры выламывания рук (этим занимался, в частности, сам президент Келдыш; более 4-х часов он всячески уговаривал и запугивал своего зятя, тоже академика-математика Новикова; тот, наконец, снял свою подпись, несчастный и униженный пришел домой и — слег с тяжелым сердечным приступом). Вольпин же был вскоре втихую освобожден.

Я считаю Юру Шихановича одним из самых «чистых образцов» диссидента «классического типа» — того, о котором я рассказывал в одной из предыдущих глав. Он много занят помощью политзаключенным и их семьям, у него находится время для переписки с десятками людей, для поездок в места ссылок (тут он часто выполняет роль носильщика тяжелейших рюкзаков; так они ездили в 1971 году вместе с Люсей к Вайлю, а сейчас он помогает уже самой Люсе в ее поездках ко мне). Юра очень не

любит заочных голословных осуждений людей — на что многие у нас так скоры, — всегда требует точных доказательств, а если их нет, то настаивает исходить из «презумпции невиновности». Есть у него и маленькая «странность» — скрупулезная требовательность в соблюдении «диссидентских» дней рождения. Очень человечная, по-моему. Юра часто выступает в роли диссидентского кинокульторга — на редкость квалифицированного. Даже здесь, в Горьком, мы с Люсей смотрели фильмы по его рекомендации (последний раз — «Не стреляйте в белых лебедей» — горькая лента об исчезновении не так даже русской природы, как русского народа).

За несколько месяцев до ареста он подобрал на улице белого бездомного песика. Джин очень к нему привязался. После ареста Шихановича фотография его с Джином обошла всю мировую прессу.

Кто-то позвонил, что у Шихановича обыск. Мы с Таней схватили такси и поехали. Рема в это время лежал в больнице. В квартиру нас не пустили. Гебисты уже выносили мешки с изъятой литературой (в основном, как всегда, совершенно произвольно; в том числе все, что было в доме на иностранных языках). Вскоре вывели и самого Юру, подчеркнуто спокойного. Таня успела поцеловать его через руки гебистов, а Юра сказать: «Ну, пока!»; его посадили в машину — черную «Волгу» со снятым номером (зачем такие хитрости?..) Джин с отчаянным лаем бежал несколько кварталов (угадал собачьим сердцем недоброе), затем понурый вернулся и забился в угол.

После ареста Ю. Шихановича мы с Люсей написали так называемое поручительство и отослали его в прокуратуру. Поручительство предусмотрено советским процессуальным кодексом и представляет собою просьбу к прокуратуре об изменении «меры пресечения». Обвиняемый может быть по такой просьбе отпущен на свободу до суда под ответственность поручителей (их должно быть не менее двух), гарантирующих его неуклонение от следствия и суда и отсутствие преступных действий. Почти полгода мы не имели никакой реакции на наше заявление. Затем я получил повестку к следователю Шихановича Галкину в здание КГБ на Малой Лубянке (только я, Люся не была упомянута). Мы пошли, конечно, вдвоем, и по внутреннему телефону из бюро пропусков я сказал Галкину, что так как заявление было от двоих, то мы должны быть вызваны для ответа тоже вдвоем. Но Галкин ссылался на техническую невозможность оформить второй пропуск и отказывался перенести встречу. В конце концов я пошел один. Нас интересовал результат. Галкин принял меня в своем кабинете и сразу сказал, что наше поручительство не может быть принято, т. к. мы не являемся лицами, пользующимися доверием (что требуется кодексом). В доказательство он стал демонстрировать через стол, не давая мне в руки, журнал «Грани» (издательства «Посев»), в котором напечатаны мои заявления и статьи. Спорить было бесполезно. Такова была моя первая официальная встреча с КГБ. Когда мы вернулись, я позвонил корреспонденту «Нью-Йорк таймс» Хедрику Смиту и попросил его прийти. Вскоре в крупнейшей американской газете появилась статья на эту тему. Эта, а также другие публикации, заявления друзей Шихановича, в том числе Люсины и мои интервью о Юре, несомненно способствовали привлечению внимания к его судьбе. В частности, очень большую активность проявили коллеги Шихановича — французские математики.

Шихановича КГБ пыталось пустить по психиатрическому варианту. Но в условиях общественного внимания власти не решились на его осуществление в полной мере — Шиханович был направлен «для лечения» в больницу общего, а не специального типа: фактически это была форма изоляции, лечения к нему не применяли. В 1974 году он был освобожден. Мне иногда кажется, что некоторую роль в этой истории сыграла и фотография с собачкой, по которой можно было поставить заочную психиатрическую экспертизу.

В сентябре 1972 года стало известно об ужасном преступлении — убийстве израильских спортсменов на Мюнхенской Олимпиаде. Эта акция, проведенная палестинскими террористами в нарушение традиционного мирного статута Международных Олимпиад, ведущего свое начало еще с античных времен, по утверждению ее организаторов, должна была привлечь внимание к трагическому положению палестинского народа и покарать сионистов, виновных в этой трагедии; в значительной мере, однако,

она, по-видимому, явилась частью и началом террористической кампании, осуществляемой секретными службами некоторых государств по заранее согласованному плану с целью деструкции мирового капиталистического порядка (у меня нет прямых доказательств этого утверждения, это предположение, истинность или ложность которого покажет будущее). Я принципиально осуждаю терроризм как чрезвычайно жестокое и разрушительное явление, какими бы целями он ни оправдывался. В частности, я решительно осуждаю и террористическую акцию против мирного населения палестинской деревни Дер-Ясин в период острых арабо-израильских столкновений 1948—1949 гг...

Несколько слов о том, как я отношусь к палестинской проблеме в целом. Несомненно, каждый народ имеет право на свою территорию — это относится и к палестинцам, и к израильтянам, и, скажем, к народу крымских татар. После трагедии, разыгравшейся в 40-х годах, палестинцы стали объектом манипулирования, политической игры и спекуляции, оказались в руках у внешних и чуждых им сил. Давно можно было бы расселить беженцев по богатейшим арабским странам, дать им в руки технику и земли, деньги и образование, а не подставлять их под бомбы в ответ на бессмысленные террористические акты.

В перспективе возможны различные варианты мирного урегулирования и достижения палестинской автономии. Однако Израиль не может при этом допустить зависимого от СССР образования внутри своего государства или рядом с ним. Только безоговорочное признание Израиля, отказ от терроризма, создание гарантий независимости от внешних влияний могут стать подлинной основой решения судьбы палестинцев.

Израиль и палестинцы должны проявить волю к переговорам, соглашению, глубокому компромиссу, признать наличие у противоположной стороны законных прав и интересов, перестать обмениваться оскорблениями («террористы», соответственно, «сионисты», последнее, правда, само по себе не оскорбление) и тем более вооруженными ударами.

Добавление 1988 г. Я надеюсь, что изменения в СССР, касающиеся его внутренней и внешней политики, будут способствовать решению наболевшей ближневосточной проблемы. В перспективе возможно и необходимо создание гарантий невмешательства СССР и связанных с ним стран, это должно устранить опасения Израиля.

Как только стало известно о гибели спортсменов, московские евреи решили провести молчаливую демонстрацию протеста перед ливанским посольством. Нам об этом сообщил Алеша Тумерман. Я решил пойти. Люся была больна, и сопровождать меня пошли Таня, Ефрем и Алеша. Мне надо было, конечно, отказаться от этого «сопровождения», ставившего их под удар, но я этого не сообразил. Когда мы подъехали, то никого из демонстрантов не увидели — их всех еще на подступах хватали гебисты и отвозили в так называемый «еврейский» вытрезвитель. Потащили и отвезли и нас, привезли в здание, которое действительно было вытрезвителем, т. е. местом, куда милиция привозит подобранных на улице пьяных. Сейчас там никаких пьяных не было, только задержанные демонстранты в двух или трех комнатах. Через час или два нас стали поодиночке вызывать в другую комнату, где сидело несколько милицейских чинов, спрашивали фамилию и место работы и потом поодиночке же отпускали. Когда вызвали меня, еще до ребят, я не сказал, что они пришли со мною, рассчитывая, что моя компания не будет им в пользу, а так, возможно, на них не обратят внимания. На самом деле все это уже не имело значения. ГБ получило повод для акций против наших детей; на этот раз они избрали своей жертвой Таню.

В это время я получил приглашение на Гравитационную конференцию в Армении. Мы поехали вместе с Люсей, сначала провели несколько прекрасных дней в Грузии, еще с 1968 года милой моему сердцу, а затем вылетели в Ереван. Конференция проходила в горном лагере Цахкадзор; во время интересных для меня научных заседаний Люся бродила по окрестностям, покрытым лесом горам, потом и я к ней примкнул. Люся знакомила меня с Арменией — ее горами и камнями, общим неповторимым обликом, чем-то напоминающим библейский: архитектурой, скульптурными памятниками — старыми и новыми, среди них потрясающий памятник жертвам геноцида 1915 года. Люся говорила, что каждый раз, попав в

Армению, она вдруг ощущает себя «Геворк ахчик» — дочерью Геворка (и дочерью Армении — подразумевается). И действительно, в лицах женщин, заполняющих улицы Еревана, я видел многократно повторенные ее черты. Мы — по рекомендации армянских физиков — встречались с прекрасными художниками и скульпторами, конечно, ездили на Севан, в Эчмиадзин, видели развалины античного храма в Гарни и каменную подземную резьбу Гегарда. Люся показала мне исторический балкон, с которого ее отец провозгласил советскую власть, и обратила внимание на скромное, глухое упоминание о нем на стенде в Музее истории. Встретились мы с одним из соратников ее отца — Каро Казаряном, он вспоминал об обороне от дашнаков на Семеновском перевале (Люся показала мне это место, название связано с тем, что туда были сосланы солдаты Семеновского полка, участвовавшего в декабрьском восстании 1825 года). Видели мы и целую улицу домов репатриантов, многие из них пустуют, хозяева, разочаровавшись, уехали с «земли предков» обратно.

В Ереване мы узнали о Танином отчислении из МГУ, с вечернего отделения факультета журналистики. Таня случайно увидела приказ о своем отчислении на доске объявлений (это было 16 октября, примерно через месяц после демонстрации у ливанского посольства). Мы сразу вылетели в Москву. Период относительного благополучия, который мы разрешили себе (понимая его временность) — кончился. Начинался новый, более трудный период нашей жизни. Самое страшное в нем, что дети — Таня, Алеша, Ефрем — оказались заложниками моей общественной деятельности; когда появились внуки — то и они (а много потом — жена Алеши). Детям не дали получить полноценное образование, детям и зятю не дали работать; детям, зятю и невестке угрожало судебное преследование, и всем, включая внуков,— физическая расправа, убийство из-за угла. Это не плод больной фантазии, это та реальность, которая предстала перед нами во всей своей чудовищной наготе. Тот, кто внимательно прочтет следующие ниже главы, согласится с этой оценкой.

На протяжении последующих нескольких лет мы пытались найти какие-то приемлемые выходы из этого положения, в которое мы были поставлены, делали разные попытки. В свете этого надо понимать многие действия и шаги, о которых я рассказываю ниже. Но в конце концов мы были вынуждены принять очень трудное, трагическое для нас решение об их эмиграции.

Осенью 1972 года Таня была уже на последнем курсе, ей оставалось только написать и защитить диплом (на что выделялось специальное время). Отчисление студентов на этой завершающей стадии — крайняя редкость, требует совершенно исключительных причин. Первоначально в приказе о Танином отчислении было написано «отчислена как не работающая». Потом приказ был заменен другим, с более рафинированной формулировкой «как не работающая по специальности». Согласно общему положению, студенты вечернего отделения обязаны во время обучения работать по специальности. Фактически очень многие пренебрегали этим правилом, и на это обычно смотрели «сквозь пальцы». Но Таня как раз работала, осенью 1972 года она исполняла обязанности младшего редактора в редакции научно-популярного физико-математического журнала для школьников «Квант» (к слову сказать, очень хорошего). Это была безусловно работа по специальности. Однако Таня не была оформлена по штатному расписанию, она формально замещала женщину, ушедшую в отпуск по беременности. Таня, таким образом, фактически выполняла предъявляемые к студенту вечернего отделения требования, но у нее не было юридической возможности опротестовать вторую, измененную формулировку приказа. Ясно, что сначала было принято решение об ее отчислении, а затем уже задним числом хитроумные и осведомленные люди нашли ту формулировку, которая как бы оправдывала этот дискриминационный, по существу, акт. Оказавшись «на улице», Таня уже в конце октября пошла работать продавщицей в книжный магазин, расположенный в том же доме, где мы жили.

В конце октября состоялся суд над Кронидом Любарским — я писал об его аресте в январе. Любарский — астрофизик, специалист по астрофизике планет, одно время был председателем Московского Астрономического Общества. Люся знала его до ареста. Любарский обвинялся главным

образом в распространении «Хроники текущих событий» (что было даже некоторым умалением его роли, теперь можно об этом сказать).

Летом мы с Люсей сделали попытки добиться у людей, знавших его профессионально, характеристики для суда. Двое или трое из них ответили отказом. Характеристику написал Иосиф Шкловский, тоже астрофизик, член-корреспондент АН СССР, которого, независимо, хорошо знали и я, и Люся. (Шкловский был моим соседом в эшелоне в 1941 году.) Шкловский не имел за это почти никаких неприятностей (кроме временного перерыва в его заграничных поездках).

Суд над Любарским проходил в Ногинске (город Московской области, недалеко от его места жительства), по обычным канонам судов над инакомыслящими, может быть, в еще более грубой манере, чем суд над Буковским. Конечно, никого, кроме самых близких родственников, в зал не пускали, не пускали и в коридор. Гебисты-«дружинники» в какой-то момент недосмотрели, и человек 10—12 «наших» проникло в половину этого коридора, отделенную от остальной части здания дверью. Вдруг эта дверь с треском раскрылась, и некое подобие тарана из гебистов ввалилось к нам. Через несколько секунд все мы были вытолкнуты на улицу, многих повалили на землю, некоторым — в том числе и мне — выворачивали руки. На улице Люся подскочила к старшему из гебистов, который стоял немного в сторонке — он командовал этой операцией, он же был и утром — и неожиданно для него дала ему пощечину, крикнув что-то при этом. Он никак не отвечал. В обеденный перерыв на входную дверь снаружи был повешен большой амбарный замок, и после перерыва суд возобновился; он — формально открытый — шел под замком! Выразительный символ нарушения закона! Кронид Любарский был приговорен к пяти годам заключения.

Так же, как большинство других заключенных, он вскоре встретился в лагере с многочисленными беззакониями, прошел трудный путь сопротивления и репрессий.

Когда мы с Люсей, усталые и возбужденные, вернулись с суда домой, нас ждал уже там корреспондент популярного американского журнала «Ньюсуик» Джей Аксельбанк. Возникло нечто вроде интервью. Больше всего я хотел рассказать про суд Любарского, но, естественно, отвечал и на другие вопросы — о себе, о своих взглядах. Вскоре Джей принес показать написанную им (и уже опубликованную) статью. Меня очень расстроили в этом моем первом интервью некоторые неточности (скорей «интонационные») и почти полное отсутствие Любарского; даже долго не мог заснуть. Впоследствии, ближе познакомившись с тем, как работает пресса, я стал менее чувствителен к относительным мелочам, всегда было много причин огорчаться по более серьезным поводам. Как я теперь думаю, работа Аксельбанка была гораздо лучше, чем мне это показалось тогда. Потом у нас с ним установились вполне хорошие отношения.

Через 10 дней после суда (9 ноября) Люся получила вызов в московский горком партии. Она заранее подготовила заявление о выходе из партии, в котором написала: «...В связи с моими убеждениями, а также за неоднократные нарушения мною партийной дисциплины прошу исключить меня из рядов КПСС».

На то же заседание была вызвана секретарь партийной организации медучилища, в котором Люся работала до ухода на пенсию. (Люся уволилась в марте 1972 года, вскоре после достижения ею пенсионного возраста — 50 лет, установленного для женщин-инвалидов Отечественной войны. 50 лет ей исполнилось по паспорту, фактически, как я писал, она на год моложе. Сразу после замужества у нее начались трудности с получением педагогической нагрузки.)

Как только Люся и секретарь парторганизации пришли, их вызвали на комиссию. За столом сидело несколько человек (вероятно, половина или все — гебисты). Один из них начал говорить, что имеются сведения, что тов. Боннэр Е. Г. допустила хулиганские действия у здания суда в Ногинске, ударила работника органов государственной безопасности. Чем она может объяснить такое свое поведение, которое заставляет сомневаться, может ли она продолжать оставаться членом партии? Они явно хотели запугать угрозой исключения из партии, быть может, заставить покаяться, дать обещание исправиться и т. д. Люся вынула из сумочки свое заявление и партбилет и положила перед членами комиссии. Это был удар ог-

ромной силы — она сразу показала, что шантажировать таким образом ее не удастся, и наоборот — они оказываются перед очень редким и крайне неприятным для них фактом добровольного выхода из всемогущей партии. В этот момент секретарь партийной организации медучилища в крайнем испуге за Люсю зашептала ей:

— Что ты делаешь! Ведь у тебя же дети!

Люся:

— Отстань ты. При чем тут дети?

Секретарь хорошо относилась к Люсе, и ее самопроизвольно вырвавшаяся реплика была вызвана искренней тревогой. Не в первый и не в последний раз мы встречаемся с фактами, показывающими, что люди, находящиеся в советской системе, думают о ней не лучше, а даже хуже инакомыслящих, у которых еще, быть может, бывают какие-то иллюзии. Люся сказала:

— Так это значит КГБ нарушал законность у здания суда! Там они себя не афишировали!

Один из сидевших за столом попытался овладеть инициативой:

— Почему вы так враждебны к советской власти — она ведь все вам дала: образование, интересную работу?

Люся:

— Я не за так получала все, что имею, не в качестве подарка — воевала, почти потеряла зрение, работала круглые сутки.

Гебист сказал:

— Вы говорите неправду. Это все от вашей озлобленности. Вот вы всюду говорите, что ваш отец расстрелян. А он не расстрелян.

Неясно, говорил ли он чистую ложь или что-то знал — в этом и состоял, вероятно, психологический расчет — запутать, смутить, сбить с толку, вызвать на разговор. Люся промолчала (хотя внутренне была потрясена). Гебист сказал:

— Мы доложим о вашем деле на комиссии горкома.

Люся ответила:

— До свидания.

И вышла, оставив партбилет и заявление лежащими на столе. Никто никогда не извещал Люсю о дальнейшем ходе этого дела, а она не пыталась навести справки. По Уставу исключает из партии только первичная партийная организация на общем собрании, обычно — в присутствии исключаемого, а райком КПСС утверждает это исключение. Исключенный имеет еще право обжаловать решение об исключении в комиссии партийного контроля. Но Люсино дело вряд ли обсуждалось в медучилище. Так или иначе, но фактически она с партией окончательно порвала, и как они нарушают свой устав, ее уже не касается.

Описанные в этой главе события в своей совокупности ознаменовали наш переход в некое «новое состояние». В полной мере это проявилось в следующем, 1973 году.

Встречи с И. Г. Петровским. Выезд Чалидзе. Статья Чаковского. Интервью Улле Стенхольму. Статья Корнилова. Алеша не принят в МГУ

Я решил обратиться к ректору Московского университета академику Ивану Георгиевичу Петровскому с просьбой о восстановлении Тани... Мои переговоры с Петровским в 1972 году были очень трудными для обоих. К сожалению, он не был при этом до конца искренен со мной, ни разу не сказал, что не может ничего сделать в этом деле, хотя понимает, что Таня отчислена несправедливо. Если бы он так сказал, это осталось бы между нами, а я бы знал, что надо делать и на что рассчитывать. Но вместо этого он как бы пытался убедить меня, что с Таней поступили согласно общим для всех правилам (что для меня выглядело явным лицемерием), и в то же время намекал, что, может быть, ему удастся что-то сделать. Это заставляло меня приходить к нему вновь и вновь, все больше при этом нервничая. Во время предпоследней встречи он вызвал для подкрепления декана факультета журналистики профессора Засурского, тот был откровенней и сказал, что Таниного отчисления требовали арабские студенты (у них на курсе был только один африканец, с которым Таня дружила,— арабов не было). Это уже было косвенным указанием на истинную причину — на демонстрацию. На последнюю встречу Петровский вызвал секретаря парторганизации и проректора, человека явно гебистского вида. Разговаривая с ними — а они возмутительно лицемерили и одновременно (косвенно) угрожали — я был резче, чем я обычно себя держу, и два раза ударил кулаком по столу. Петровский фактически не принимал участия в разговоре и грустно, молча сидел в конце стола. Встреча была опять же безрезультатной. В этот же день Иван Георгиевич Петровский скоропостижно умер. Мне после рассказали обстоятельства этой смерти. Он поехал в ЦК на встречу с начальником отдела науки Трапезниковым (по дороге он подвез на своей персональной машине одну из сотрудниц университета, шутил). На встрече решался вопрос о передаче МГУ от провинциальных университетов каких-то функций по подготовке аспирантов. Петровский придавал этому большое значение, написал специальную докладную. С. П. Трапезников, однако, отнесся к его докладной отрицательно и при встрече высказал свое мнение, быть может, как это часто бывает, в иронической форме. Петровский очень разнервничался, вышел во двор ЦК, там упал и умер. Вскоре в его смерти обвинили меня. Я получил сначала письмо от одной секретарши Петровского с этим обвинением, потом узнал о выступлении академика Понтрягина (тоже математика) на Президиуме Академии, в котором он требовал привлечь меня к ответственности за мои действия, повлекшие якобы смерть Петровского (стучал кулаком и т. д.). Затем я получил письмо от другого математика, известного тополога, академика П. С. Александрова с теми же обвинениями. Я ответил ему подробным письмом, в котором изложил все обстоятельства, в том числе дело Тани. Секретарше (к сожалению, я забыл ее фамилию) я не смог ответить, письмо было, насколько я помню, без обратного адреса. Естественно, вся эта история была мне очень неприятна. А Ивана Георгиевича мне было искренне жаль, я невольно чувствовал к нему определенную симпатию, несмотря на некоторую двойственность его поведения в деле Тани...

Лишь через два года Таня была все же восстановлена в университете с помощью сменившего Петровского на посту ректора академика Р. В. Хохлова.

Другим волнующим меня вопросом, конечно, менее острым, но тоже существенным, в те же последние месяцы 1972 года, был отъезд из СССР Валерия Чалидзе. А. И. Солженицын пишет в своей книге «Бодался теленок с дубом», что это был прямой сговор с КГБ. Я это считаю совершенно исключенным. Однако в этом деле было много неясностей, и Чалидзе явно не был со мною полностью откровенен...

За два месяца до отъезда Чалидзе вышел из Комитета прав человека. А в декабре из Комитета без объяснения мотивов вышел также Андрей Твердохлебов. Причиной, видимо, было его несогласие с моим отношением к отъезду Чалидзе, а быть может, и другие какие-либо причины. Новым членом Комитета стал Григорий Сергеевич Подъяпольский, физик, геофизик, давний активный участник правозащитного движения.

В 1973 и 1974 годах заседания Комитета происходили регулярно у нас на Чкаловской квартире — с тремя участниками — Шафаревич, Подъяпольский и я. Мы составили несколько неплохих документов и опубликовали их. Но все мы чувствовали, что форма Комитета изжила себя. Фактически мы составляли «обычные» правозащитные документы, и то, что они назывались документами Комитета, мало что к ним добавляло. Встречи наши стали постепенно приобретать в основном взаимно-информационный характер. «Хозяйкой» на этих встречах была, конечно, Люся, но вместе с Гришей всегда приходила его жена Маша (Мария Гавриловна Петренко-Подъяпольская) и принимала горячее участие во всех хозяйственных мероприятиях. Мы с Люсей (и Руфь Григорьевна) скоро очень подружились с обоими — Гришей и Машей. А что касается Комитета, то постепенно мы стали все реже и реже вспоминать о его существовании. Еще раньше отошел от нас Шафаревич.

Мы с Люсей понимали, что одним из способов решить проблему образования детей является их отъезд из страны. Но мысль о таком выезде, означавшем неминуемую разлуку, почти без надежды увидеть их когда-либо, и многое другое (что мы имеем сейчас) — была слишком трудной для нас. Мы не могли решиться на этот шаг — практически необратимый в условиях нашей страны, — не испробовав возможности временной поездки для ученья (как мы мечтали — на несколько лет, в течение которых, может быть, что-либо изменится в ситуации). Мы почти не верили в такую возможность, но надо было все же испробовать. К этому времени относятся слова пятнадцатилетнего Алеши: «я больше психологически готов к Мордовии, чем к эмиграции». Надо знать немногословного, точного в выражениях и несколько скептичного, не склонного к позе Алешу, чтобы по достоинству оценить эти слова, всю их серьезность... Начались длительные — и бесплодные — попытки добиться поездки детей.

Весной 1973 года произошло еще одно событие, которому я не придавал тогда особого значения, но впоследствии получившее широкую огласку и вызвавшее многочисленные отклики. Мне позвонили из США представители университета в Принстоне (тогда еще были возможны разговоры с заграницей) с предложением приехать на сезон 1973—1974 гг. в Принстон для чтения лекций по теоретической физике (приглашение, как я думаю, было по инициативе профессора Уилера, который, вероятно, помнил меня по Тбилиси). Я решил, что во всяком случае я ничего не теряю, не отказываясь с ходу от их предложения — отказаться от Принстона, где провел свои последние годы Эйнштейн, было бы бестактностью. Я при этом еще в гораздо меньшей степени, чем для детей, рассчитывал на возможность такой поездки (в силу своей засекреченности до 1968 года) — настолько, что ни разу всерьез не задумался, что именно я там буду рассказывать (на самом деле, конечно, следовало бы рассказать мою работу 1966 года о барионной асимметрии Вселенной; эта работа тогда практически была неизвестна за рубежом, и мое сообщение могло бы повлиять на ход научного процесса. А так, увы...) Вообще говоря, в то время уже многие из моих коллег стали ездить за рубеж для участия в семинарах и конференциях, чтения курсов лекций и т. п. (в их числе некоторые бывшие на объекте), так что ничего экстраординарного формально в моей поездке не было бы. Но, повторяю, я считал ее чрезвычайно маловероятной. Вместе с тем, я не мог тогда полностью исключить такую возможность. Жизненный опыт учит, что иногда происходят самые неожиданные вещи. Я при этом был у в е р е н, что с о в е р ш е н н о и с к л ю ч е н о, чтобы меня выпустили с тем, чтобы лишить гражданства, как Чалидзе — ведь при этом власти лишатся контроля надо мной и могут считать, что я почувствую себя свободным от обязательств хранить государственную тайну (на самом деле, возможностей нарушить эти обязательства у меня, пока я в СССР, ничуть не меньше, но я не собирался и не собираюсь это делать!). Приведенное рассуждение я имел в уме и осенью 1973 года, и потом (в связи с Нобелевской церемонией и приглашением меня на Конгресс АФТ-КПП в 1977 году).

Через несколько месяцев после телефонного разговора пришло официальное приглашение в Принстон.

В марте 1973 года в «Литературной газете» появилась статья ее главного редактора Александра Чаковского. Статья разбирала мою работу пятилетней давности — «Размышления о прогрессе...». Известно, что хотя на первой странице «Литературной газеты» стоит, что это орган Союза советских писателей, фактически она часто используется как рупор ЦК КПСС, а там Чаковский, говорят, пользуется доверием Брежнева и даже якобы один из авторов его «Воспоминаний». В своей статье Чаковский характеризовал меня как наивного и тщеславного человека, «кокетливо размахивающего оливковой ветвью» и пропагандирующего утопические и поэтому вредные идеи так называемой конвергенции. Общий тон статьи скорее снисходительный к моему невежеству в общественных вопросах, чем «клеймящий». Занялся, дескать, не своим делом и напутал в простых вещах. Таким образом, «заговор молчания» по отношению ко мне был прерван. Почему это было сделано именно тогда, в 1973 году, не знаю.

В конце июня или начале июля 1973 года я дал свое второе интервью для иностранной прессы. Оно оказалось очень важным — как по существу, т. к. касалось принципиальных вопросов, так и по своему воздействию. Интервью получило широкое распространение, вызвало острую реакцию КГБ и оказало большое влияние на мою судьбу. Это интервью я дал корреспонденту норвежского радио и телевидения Улле Стенхольму. Так же, как с Джеем Аксельбанком, у нас установились с ним к этому времени теплые, дружеские отношения. Улле несколько времени перед этим (я думаю, за два месяца) просил об интервью на общие темы, дал написанные на бумажке свои примерные вопросы, чтобы я мог к ним подготовиться (это сильно мне помогло). Наконец, я решился. Мы пришли с ним в нашу с Люсей комнату. Улле сел на кровать напротив меня (а я в кресло), достал магнитофон и поднес микрофон к моему рту.

— Что вы думаете о..? — Интервью началось. Вопросы касались общей оценки природы советского строя, возможностей его изменения, возможного влияния на это диссидентов, отношения к ним властей, положения с правами человека. Я впервые говорил перед микрофоном на общие темы, это было трудно, но в то же время отсутствие боязни впасть в самоповторение расковывало меня. Мне кажется, интервью получилось. Через неделю оно было передано зарубежными радиостанциями и в течение следующих двух недель неоднократно повторялось. А потом грянул гром! Вновь была использована «Литературная газета». В ней появилась статья ее обозревателя Юрия Корнилова (сотрудника АПН — агентства печати «Новости» — опять-таки якобы независимого, а на самом деле одного из главных орудий КГБ). В этой статье особенно резко осуждалась (без точного цитирования, так что было не совсем ясно, о чем идет речь) моя характеристика построенного в СССР общества как государственного капитализма с предельной партийно-государственной монополией в области экономики, идеологии и культуры. Острота реакции показывала, что я «попал в точку». В статье Корнилова содержались ссылки на австрийскую коммунистическую газету «Фолькcштимме». В следующие дни в «Литературной газете» и «Известиях» и в других советских газетах были перепечатаны эти и другие «антисахаровские» заметки. (Много потом выяснилось, что началом всей этой эпидемии перепечаток явилась статья того же Корнилова, так что он в «Литературке» цитировал самого себя.) Руфь Григорьевна, по воспоминаниям 30-х годов, опасалась, что вслед за газетной кампанией может последовать что-либо более существенное. Действительно, вскоре я получил повестку к зам. генерального прокурора СССР Малярову (к тому самому, который звонил за 6 лет до этого по делу Даниэля). Но до этого произошло еще одно очень важное для нас и печальное событие — Алешу не приняли в университет.

Сын Люси Алеша учился с 8-го класса в математической школе, с увлечением и вполне успешно. Нравилась ему и интеллектуальная и свободная обстановка там, сильно отличавшаяся от того, с чем встречаются дети в большинстве школ, в том числе и он до этого (в математическую школу он поступил после того, как оказался в числе призеров математической олимпиады; из трех матшкол пришли приглашения, 2-я была выбрана как более близкая к дому).

И преподаватели, и общая атмосфера там были особенными. Правда, к концу Алешиного пребывания и там очень многое стало меняться в худшую сторону. А сейчас 2-ю математическую школу и вовсе «прикрыли», очевидно, как несоответствующую «духу времени» — яркая черта современного периода (там теперь школа со спортивным уклоном). За несколько месяцев до окончания школы на Алешу начали оказывать все более сильное давление (директор, завуч) — требуя, чтобы он как-то отмежевался от меня. Требовали обязательного вступления в комсомол как некоего подтверждения такого отмежевания. Тут я должен рассказать об эпизоде, произошедшем за год до этого.

В классе Алеши проводился (как и повсеместно по стране) так называемый «ленинский урок». Сам факт присутствия на таком уроке автоматически означал вступление в комсомол. Я сказал тогда Алеше, что подобный огульный автоматический прием не накладывает никаких моральных обязательств, и посоветовал ему не ломать себе жизнь из-за такого чисто формального момента и пойти на урок. Алеша ответил:

— Андрей Дмитриевич, вы позволяете себе быть честным, почему вы мне советуете иное?

(Через несколько лет то же самое Люсе и мне по другому поводу сказал Ефрем. В обоих случаях мне было очень стыдно.) В тот же год в комсомол был принят мой сын Дима. При Алешиной прямоте и стойкости единственным выходом было уйти из математической школы. Поэтому кончал Алеша в своей старой, «обычной» школе. Он кончил первым в классе и подал документы на поступление на математический факультет Московского университета (куда подали также многие его бывшие одноклассники из матшколы). Вступительные экзамены начались в июле, одновременно с появлением статьи в «Литературке» обо мне. Несомненно, члены приемной комиссии были осведомлены, кто такой Алеша, и знали об его отношении ко мне. Алеша сразу стал жертвой сознательной дискриминации, что было для него в особенности большим потрясением — на пороге университета, который ощущался, как что-то достойное уважения и даже восхищения. Уже на устном экзамене по математике Алешу «поймали». Согласно установленному порядку, абитуриенту после устного экзамена выдается на руки его письменная работа, и он имеет возможность оспорить оценку проверявших ее. Алеша же заметил ошибку у себя, пропущенную при проверке, и указал по свойственной ему прямоте экзаменаторам, не понимая еще их враждебности к нему. Экзаменаторы немедленно ухватились за это и снизили ему отметку по устному экзамену. Несмотря на эти ухищрения, Алеша набирал проходной балл и на предпоследнем экзамене — письменной литературе — ему достаточно было получить оценку 3. Алеше поставили неудовлетворительную оценку. В нарушение обычного порядка, его работа проверялась дважды — при первой проверке была выставлена оценка 4, при второй — 2. Обычно вторая проверка делается по просьбе абитуриента, если при первой проверке выставлена неудовлетворительная оценка. Впоследствии мы от родителей будущей (первой) жены Алеши узнали — а им сказали по знакомству — что проверяющая получила прямой приказ выставить неудовлетворительную оценку (все равно этот мальчик не будет принят, а вы лишитесь работы). Она не спала ночь, но была вынуждена подчиниться. В работе Алеши вторая проверяющая якобы нашла много ошибок в стилистике — во всех случаях это были придирки; кроме того, при подсчете итогового числа ошибок имел место прямой подлог. Но оспаривать это было невозможно — нам работы на руки не дали!

В тот же год Алеша поступил на математический факультет Педагогического института...

Вызов к Малярову. Пресс-конференция 21 августа 1973 года. Газетная кампания. Выступления Турчина, Шрагина и Литвинова. Статья Чуковской, статья Солженицына. Заявление Максимова, Галича и Сахарова в защиту Пабло Неруды. Заявления Люси и Барабанова

16 августа я отправился по повестке к Малярову, заместителю Генерального Прокурора СССР в Прокуратуру СССР (Пушкинская, 15, мне потом придется еще два раза оказаться в этом здании). Я поехал на академической машине, Люся сопровождала меня и, волнуясь, ждала, пока я разговаривал. Когда я вышел, живой и здоровый, не арестованный, она попросила меня ничего ей не говорить, а приехав домой, сразу, по памяти, записать весь разговор. (У Люси уже был такой опыт во время процесса

над самолетчиками.) Это был хороший совет. Моя запись была опубликована в «Нью-Йорк таймс» (с иллюстрацией, изображающей рубку голов) и, по-видимому, в некоторых других зарубежных изданиях. Я решил также сделать в ответ на предъявленные мне обвинения большую пресс-конференцию; одной из ее целей было показать, что я не собираюсь ничего менять в своих действиях, которые считаю правильными и нужными — в том числе, буду продолжать встречаться с иностранными корреспондентами. Маляров пытался запугать меня, что это может якобы рассматриваться как нарушение принципов сохранения государственной тайны. Я хотел также продолжить ту линию, которую я начал в интервью Стенхольму — освещение общих вопросов и защиту репрессированных. Это была моя первая пресс-конференция, она привлекла большое внимание.

На конференцию в нашу маленькую комнату пришло около 30 человек — корреспонденты всех западных агентств и многих крупных газет, большинство я видел впервые, все с блокнотиками и магнитофонами, многие также с фотоаппаратами. Я начал пресс-конференцию с того, что зачитал заранее подготовленное заявление о вызове к Малярову и моем отношении к этому вызову и раздал корреспондентам это заявление и запись беседы. Потом я отвечал на вопросы. Их было много. Я отвечал на редкость для меня легко и свободно и, как мне кажется, довольно удачно. (Большей частью «устный жанр» очень плохо удается мне.) Главными вопросами были: как я отношусь к разрядке; как я оцениваю перспективы движения инакомыслящих и перспективы демократических изменений в СССР; как я оцениваю последние репрессии инакомыслящих. Говоря о разрядке, я сказал, что очень высоко ценю разрядку, т. к. она уменьшает опасность военной катастрофы, но вступая в эти новые и более сложные отношения с СССР, Запад должен проявлять осторожность, единство и твердость. СССР — закрытое тоталитарное общество, «страна под маской», как я сымпровизировал, и его действия могут быть неожиданными и чрезвычайно опасными. Запад должен избегать действий, которые привели бы к получению СССР военного превосходства. Запад должен также планомерно добиваться уменьшения закрытости советского общества. Только при выполнении этих условий разрядка будет способствовать международной безопасности. Отвечая на другие вопросы, я, насколько помню, подчеркнул антипрагматический характер движения инакомыслящих и большую консервативность, устойчивость советской системы, в которой мало оснований ждать быстрых изменений (во всяком случае, я, в разных вариантах, проводил эти мысли на многих пресс-конференциях в последующие годы). Как только я объявил, что пресс-конференция закончена, корреспонденты, почти не прощаясь, бегом сплошным потоком устремились вниз по лестнице к машинам — они торопились первыми попасть к телетайпам и телефонам. Уже через два часа все западные радиостанции передавали сообщения своих московских корреспондентов о пресс-конференции Сахарова. На другой день более подробные сообщения были в газетах и вновь передавались по радио. Из всех моих пресс-конференций эта первая, вероятно, получила наибольший отклик.

Сразу после пресс-конференции мы с Люсей и Алешей выехали на девять дней на юг — мы хотели показать Алеше Армению, потом поехать к морю, покупаться и отдохнуть и вернуться к началу занятий в пединституте. Через несколько дней Алеша позвонил из номера гостиницы своей будущей жене Оле Левшиной, и та, волнуясь, рассказала ему, что в газетах опубликовано письмо академиков с осуждением Сахарова. Когда Алеша повесил трубку, родители Оли спросили ее — зачем ты все это ему рассказываешь, какое отношение Алеша имеет к Сахарову?

— Он его приемный сын.

Родители были крайне напуганы и раздосадованы. Но Оля упорная девушка...

Утром Люся достала газету, и мы своими глазами увидели печально-знаменитое заявление 40 академиков во главе с президентом Келдышем. Потом мне рассказывали разные истории, касавшиеся сбора подписей под этим письмом. Некоторые из подписавших объясняли свою подпись тем, что они считали (им «разъяснили»), что подобное письмо — единственный способ спасти меня от ареста. Капица, как я слышал, отказался подписать. Зельдовичу не предлагали. Академик Александров (будущий президент)

уклонился от подписи. Когда ему позвонили домой с предложением присоединиться к письму, кто-то из домашних сказал:

— Анатолий Петрович не может подойти, у него запой.

Причина вполне в народном духе. Но, может, это байка. Некоторые из подписавших тяжело переживали свой поступок, у некоторых возник тяжелый конфликт с детьми.

Мы поняли, что дело очень серьезно, но решили не менять своих планов. К слову сказать, у нас не было трудностей с билетами — книжка Героя Социалистического Труда еще вполне действовала вплоть до января 1980 года. То, что пишет об этом Солженицын, неверно фактически и психологически. Из Еревана мы перебрались в Батуми, там на пляже услышали, как соседи обсуждают вслух что-то про отщепенца Сахарова. В последующие дни мы перебрались под Батуми, и там Алеша учил меня плавать.

С письма академиков началась знаменитая «газетная кампания», оно было для нее пусковым сигналом. В каждом номере каждой центральной газеты появилась специальная полоса, на которой печатались письма трудящихся — коллективные (от научно-исследовательских институтов, союзов писателей, художников и т. п.), от учреждений и предприятий и индивидуальные (от отдельных представителей интеллигенции — ученых, писателей, врачей), а также от представителей «народа» — ветеранов войны, сталеваров, шахтеров, доярок... Во многих письмах «осуждался» не только я, но и Солженицын — уже несколько лет он был объектом бешеной ненависти партийной бюрократии и КГБ за его замечательные, необыкновенно важные и правдивые литературные произведения и за острые публицистические выступления. Суть писем: мы (или я один) клеветники, очерняем нашу советскую действительность — право на труд, бесплатную медицину и лучшее в мире образование, а самое главное — мы враги разрядки, а значит, покушаемся на самое важное, завоеванное кровью миллионов погибших — на мир. Именно это тяжелое и коварное обвинение было центральным и во всех последующих кампаниях, оно действительно затрагивает трагически важный вопрос, в котором моя позиция легко могла быть искажена и не понята людьми, верящими в безусловное миролюбие советской внешней политики, бескорыстие братской помощи национально-освободительным движениям, коварство империалистов, окружавших нас со всех сторон своими военными базами. Действительно, если мы — за мир, то чем больше у нас ракет, термоядерных зарядов, снарядов с нервно-паралитическим газом — тем безопаснее для нашего народа, а значит — и для всех. Понять, что это рассуждение так же хорошо действует на противоположной стороне и тем приводится к абсурду, не легко. Еще труднее человеку, лишенному доступа ко всем источникам информации, кроме советских официозных, понять, что в реальной обстановке непрерывного расширения социалистической зоны влияния (экспансии) ответственность за опасное положение в мире в значительной степени лежит на СССР и его союзниках. Трудно объяснить людям, верящим в безоговорочные преимущества нашего строя, чем опасна закрытость общества, почему нужно добиваться соблюдения гражданских прав, свободы убеждений и информационного обмена, свободы выбора страны проживания... Для того, чтобы осознавать недостаточность провозглашаемых нашими руководителями лозунгов мира (даже искренне, как я лично думаю) — нужно иметь некую глобальную и историческую перспективу, которая приобретается людьми лишь постепенно. Мои выступления, как мне кажется, способствуют развитию плюралистического, общемирового подхода в этих кардинальных вопросах, и поэтому не мешают, а помогают делу сохранения мира. Хотел бы я на это надеяться!

Я решил, что на газетную кампанию необходимо как-то ответить, и 5 сентября, вскоре после возвращения в Москву, опубликовал письмо (передал его иностранным корреспондентам, и уже на другой день оно было на радио). 8 и 9 сентября я дал еще две пресс-конференции. На них я передал и разъяснил свое заявление от 5 сентября, мою позицию вообще и много говорил о психиатрических репрессиях, о злоупотреблении галоперидолом и другими нейролептиками (в связи с сообщениями из Ленинградской, Днепропетровской, Казанской, Орловской и других психбольниц). Именно тогда я впервые выдвинул предложение к Международному Красному Кресту — требовать разрешения инспектировать советские лагеря и тюрьмы, и в особенности — специальные психиатрические больницы.

«Газетная кампания» вызвала очень сильное общественное противодействие — и в СССР и за рубежом. В первых числах сентября с большим, прекрасно аргументированным, логичным и решительным заявлением в мою поддержку выступил Валентин Турчин. Это выступление дорого ему обошлось: если предыдущие его общественные действия повлекли за собой необходимость перемены места работы — сначала из Обнинска в отделение прикладной математики, где он с увлечением занимался алгоритмическим языком РЕФАЛ, затем в какую-то исследовательскую группу по проблемам управления — то на этот раз он полностью и окончательно лишился работы. В последующие годы Турчин жил уроками (и на зарплату жены), принимал активное — хотя и не официальное, не оформленное членством — участие в работе Московской Хельсинкской группы. Был председателем советской группы Эмнести. После ареста его друга Юрия Орлова в 1977 году и неоднократных угроз ему самому он эмигрировал; на Западе явился одним из инициаторов научного бойкота в защиту Юрия Орлова и других репрессированных.

Что касается самого Орлова, то он тоже выступил в эти дни со статьей, в которой — в форме вопросов — остро ставились важные проблемы нашей жизни: от экономики и научного прогресса до психушек. В статье Орлов энергично выступил также в мою защиту с осуждением «газетной кампании». Орлов, как и Турчин, был выгнан с работы. Тогда я впервые познакомился с этим незаурядным — смелым, активным и талантливым — человеком. Орлов происходит из деревенской семьи, рано начал работать (на заводе токарем, потом еще где-то). Но затем ему удалось получить высшее образование и попасть на работу в научно-исследовательский институт. Там, в годы «оттепели» и всеобщего идейного брожения, проявился его общественный темперамент — он выступает на каком-то собрании с речью в духе необходимости восстановления «истинного ленинизма», по существу очень острой. Орлов уволен, вынужден уехать из Москвы в Ереван, где — при поддержке Алиханяна, брата директора того института, откуда его выгнали — он поступает в Институт физики Армении и в ближайшие годы делает ряд работ по теории ускорителей элементарных частиц, принесших ему заслуженную известность в научном мире и звание члена-корреспондента Армянской академии наук. В конце 60-х годов он возвращается в Москву и вновь работает в том же институте, где раньше; именно оттуда его выгонят осенью 1973 года.

В сентябре выступили также Лидия Чуковская, известный писатель и публицист, дочь знаменитого писателя Корнея Чуковского, со статьей «Гнев народа»; член Комитета прав человека Игорь Шафаревич с заявлением и Б. Шрагин и П. Литвинов. Александр Исаевич Солженицын в эти дни выступил со своей статьей «Мир и насилие».

Статья Лидии Корнеевны Чуковской представляет собой непосредственную реакцию на газетную кампанию с ее инсценированными выступлениями «людей из народа». Одновременно это изображение моей истинной позиции и характеристика моей личности и роли в обществе — так, как это тогда рисовалось ей. Я бы сказал, что мой образ в этой статье предстает несколько идеализированным и более целеустремленным, единонаправленным, чем это имеет место на самом деле, и в то же время чуть-чуть более наивным и более чистым. Сейчас, когда я сам взялся за перо мемуариста и пытаюсь воспроизвести на бумаге характеристики людей, с которыми меня связала жизнь, я очень остро ощущаю, как трудно найти золотую середину между бездушной, механической сухостью и сентиментальной, слащавой идеализацией. Еще сложнее бывает, когда на эти литературные трудности накладываются некоторые идеологические аберрации. Это тоже, быть может, сказалось в статье Чуковской. (Не случайно одна знающая нас обоих женщина говорит:

— Не понимаю, как Лидия Корнеевна может одновременно любить и тебя и Александра Исаевича.)

Но эти замечания, которые я тут сделал, не меняют моей самой высокой оценки статьи Лидии Корнеевны Чуковской. Я глубоко благодарен ей. Главная задача, которую Чуковская себе ставила, — противопоставить

официальной клевете доброжелательную и по возможности объективную оценку — безусловно выполнена ею. Статья «Гнев народа» — блестящее художественно-публицистическое произведение, стоящее в одном ряду с другими знаменитыми и замечательными выступлениями Л. К. Чуковской, такими, как «Не казнь, но мысль. Но слово». Силу и действенность статьи Чуковской по достоинству оценили ее коллеги-писатели (верней, антиколлеги-антиписатели) — она была исключена из Союза писателей (конечно, не только за эту статью, а за всю ее общественно-публицистическую деятельность, за связь с Солженицыным и Сахаровым). Мы с Люсей близко познакомились и подружились с Лидией Корнеевной в эти годы, и хотя далеко не во всем с ней соглашаемся, а Лидия Корнеевна не все принимает в нашей позиции и действиях, это никак не влияет на то глубокое взаимное уважение и дружбу, которые нас связывают. В одном из писем ко мне в Горький Лидия Корнеевна привела слова глубоко чтимого ею Герцена: «Труд — наша молитва». Эти слова могли бы служить девизом всей ее подвижнической — во имя человека и культуры — жизни.

Статья Солженицына «Мир и насилие», как А. И. пишет в «Теленке», готовилась еще задолго до событий 1973 года — как дополнение к Нобелевской лекции; главной целью ее было показать Западу глубину и масштабы государственного насилия в СССР. В сентябре 1973 года Солженицын дополнил ее предложением о присуждении мне Нобелевской Премии Мира — как борцу против этого насилия. Он ознакомил меня со своей статьей уже после того, как она была передана для публикации. Поэтому я не мог, конечно, просить что-либо менять в ней, да мне было бы и очень трудно это делать — я не люблю стеснять свободу кого-либо, а в данном случае А. И. вряд ли бы прислушался к моим возражениям, к тому же я не мог тогда ясно их сформулировать — это были скорее смутные ощущения какого-то утрирования, перекоса оценок — при общем восхищении силой мысли и чувства, верности в главном. Статья Солженицына еще подлила масла в огонь, пылавший и до того в полнеба. Необычайно сильна была, начиная с моей пресс-конференции, и особенно после письма 40 академиков и газетной кампании, реакция Запада. Я не имею в своем распоряжении газет и записей радиопередач того времени и не могу поэтому дать документированное описание. Я помню общее впечатление лавины заявлений — канцлера Австрии, шведского министра иностранных дел, бывшего посла Великобритании, писателя Гюнтера Грасса (я вспомнил о них с помощью «Теленка») и многих, многих других. Особенно важным было письмо президента Национальной академии США (за два года до этого я был избран ее иностранным членом) доктора Филиппа Хандлера, адресованное президенту АН СССР Келдышу. В этом письме Хандлер резко осуждает нападки на меня, как недостойные, и предупреждает, что «если преследования Сахарова будут продолжаться, американским ученым будет трудно выполнять обязательства правительству по сотрудничеству с СССР».

В «Известиях» в середине сентября был напечатан ответ Келдыша (о содержании письма Хандлера сообщалось в кратком изложении). Келдыш повторял инсинуации письма сорока. Одновременно он заверял, что «...Сахаров никаким притеснениям не подвергался и не подвергается».

Кампания писем в прессе внезапно прекратилась 8 или 9 сентября, но вскоре, уже более вяло, возобновилась с использованием совместного письма Галича, Максимова и моего в защиту чилийского поэта и коммуниста Пабло Неруды, находившегося под домашним арестом после переворота Пиночета, смертельно больного. Письмо имело своей целью как-то смягчить трагическую обстановку в этой стране и отражало наше искреннее уважение к Неруде и беспокойство за его судьбу. Письмо было составлено в обычных вежливых выражениях со ссылкой на «объявленную вами (т. е. новой администрацией Чили) эпоху возрождения и консолидации Чили». По контексту было ясно, что авторы письма приводили заверения новой администрации для формального подкрепления своей просьбы и в качестве формулы вежливости, не присоединяясь к этим заверениям по существу и не давая своей оценки положения в Чили и намерений администрации. Однако в советской и просоветской прессе приведенные слова письма недобросовестно цитировались вне контекста, как якобы доказательство того, что я поддерживаю и восхваляю «кровавый режим Пиночета». Это нечестное обвинение широко использовалось в 1973 году и много потом, вплоть до самого последнего времени, — очевидно, по отсутствию аргументов для дискуссии со мной по существу. О Галиче и Максимове в советской прессе вообще не пишут; цель — опорочить меня. Вскоре после появления в советской прессе статей о моей поддержке Пиночета в нашей квартире раздался звонок (телефон тогда еще не был выключен).

— Говорят из Мадрида, по поручению новой администрации Чили. Администрация выражает Вам благодарность за поддержку.

Я ответил:

— Спасибо, но я подчеркиваю, что наше письмо носило чисто гуманистический характер и не имело никаких политических целей.

— Да, мы это знаем.

Думаю, что это была какая-то провокация КГБ.

Я передал заявление о Неруде через Кирилла Хенкина, еврея-отказника, умного и много повидавшего на своем веку человека; Кирилл с большим блеском переводил меня на пресс-конференциях и тем много способствовал их успеху; Хенкин, по согласованию со мной, несколько смягчил последнюю, «опасную» формулировку. Но этого оказалось недостаточно (кажется, в это время корреспондентам уже был передан первоначальный текст).

В сентябре Люся сделала письменное заявление (переданное западным корреспондентам), в котором она принимала на себя ответственность за передачу на Запад «Дневника» Эдуарда Кузнецова. Она действительно передала эту рукопись. Кратко расскажу связанную с этим историю, в той мере, в которой это сейчас допустимо.

В конце декабря 1972 года, когда я был один в доме, неожиданно раздался звонок в дверь. Я открыл, на пороге стояла неизвестная мне женщина. Я впустил ее в квартиру. Она молча прошла в нашу с Люсей комнату и положила на столик небольшой сверток, величиной с палец, тщательно зашитый в материю. Не произнеся ни слова, женщина тут же ушла. В свертке находилась рукопись знаменитого впоследствии «Дневника» Кузнецова и сопроводительное письмо автора, в котором он вверял Люсе судьбу своего произведения. Кузнецов писал «Дневник» в лагере, тщательно скрывая его от надзирателей и вообще посторонних глаз, пряча от многочисленных обысков. Написан был «Дневник», как и многие другие выходящие из лагерей материалы, мельчайшим почерком, на тонких листках папиросной бумаги, скрученных в трубочку. Писать и хранить рукопись в лагере было необыкновенно трудно и опасно, это был настоящий подвиг, но и не легче было вынести ее из зоны на волю. Тут участвовало много людей, называть их всех я не могу. Один из них, как стало впоследствии известно КГБ, был заключенный, украинец Петр Рубан. КГБ жестоко отомстил ему, я рассказываю об этом в одной из следующих глав. Мелкие буквы рукописи можно было разобрать лишь в очень сильную лупу, да и то человеку с более здоровыми, чем у нас, глазами. Люся попросила расшифровать рукопись одного из знакомых и вернуть ей, естественно, рассчитывая, что круг людей, которым станет об этом известно, будет минимальным; к сожалению, это условие оказалось нарушенным, что повлекло за собой тяжелые последствия.

Получив расшифрованную рукопись, Люся сама передала ее на Запад. Летом 1973 года «Дневник» был опубликован, вначале на итальянском, а потом на русском и многих иностранных языках, и привлек к себе большое внимание содержащейся в нем потрясающей фактической информацией и талантом автора. В качестве приложения к «Дневнику», как я уже писал, приведена запись процесса над ленинградскими «самолетчиками», составленная Люсей в декабре 1970 года. Люся сделала свое заявление, чтобы ослабить таким образом удар по другим людям, в том числе — по арестованным в 1973 году Виктору Хаустову (ранее осужденному вместе с Буковским за демонстрацию в защиту Гинзбурга — Галанскова, до второго ареста — рабочему телевизионного завода) и литературоведу Габриэлю Суперфину, а также по Евгению Барабанову. Барабанов пришел к нам с заявлением, в котором сообщал о том, что он передал рукопись «Дневника» на Запад, и принимал на себя ответственность за это действие (по-видимому, он передавал другой экземпляр расшифрованной рукописи, мы об этом не знали). До своего заявления Барабанов не-

однократно вызывался в КГБ, от него, в частности, требовали показаний на Суперфина. Положение Барабанова было угрожающим. Заявления Люси и Барабанова были одновременно переданы нами в нашей квартире иностранным корреспондентам и вскоре опубликованы. Люсино заявление (но, возможно, и не только оно) повлекло за собой вызовы ее на допросы в следственный отдел КГБ (в ноябре 1973 года).

Как пишет в «Теленке» Солженицын, реакция властей на смелый шаг Барабанова в обстановке «встречного боя» — так А. И. называет совокупность событий 1973 года — ограничилась только увольнением Барабанова; однако Александр Исаевич не упоминает о заявлении Люси. (Я считаю, что это умолчание искажает истинный ход событий тех дней.)

Заявление об Октябрьской войне. «Черный сентябрь» в нашей квартире. Заявление о поправке Джексона. Вызовы Люси на допросы в Лефортово. Запрос о поездке в Принстон. Искаженная публикация. Больница АН СССР

В октябре на Ближнем Востоке началась так называемая война «Судного дня», — в день еврейского праздника войска Египта и Сирии внезапно напали на Израиль, пытаясь взять реванш за поражение в 1967 году. Первоначально им удалось вытеснить израильскую армию, но израильтянам, ценой существенных потерь, удалось овладеть инициативой, переправиться через канал; в конце октября израильские танковые части неудержимо двигались к Каиру и Дамаску, а Киссинджер начал свою «челночную» дипломатию. Еще в первые дни войны я выступил с заявлением, в котором призывал к мирному решению ближневосточного конфликта. Через несколько дней ко мне пришел некто, назвавшийся корреспондентом бейрутской газеты. Он задал мне несколько вопросов по проблемам Ближнего Востока. Я попросил его зайти через несколько часов. Вечером того же дня я ответил (хотя он не вызвал моего расположения) перед микрофоном на его вопросы, включая несколько новых, неожиданных для меня, добавленных по ходу интервью. (Эти вопросы были в какой-то степени провокационными, во всяком случае, более острыми, чем данные раньше.) Еще через несколько дней, в воскресенье утром 18 октября, в квартиру неожиданно позвонили два человека, по виду арабы. Хотя их поведение показалось мне чем-то необычным, но я впустил их в квартиру (задвижки или цепочки у нас не было) и провел их в нашу комнату. Туда же прошла из кухни Люся. Кроме нас, в квартире был Алеша. Руфь Григорьевна находилась у Тани, она поехала проведать своего первого правнука, которому в то время еще не было даже месяца (он родился 24 сентября, роды были с задержкой и очень тяжелыми, сопровождались большими волнениями). Один из пришедших был без пальто, он сел на кровать рядом с Люсей, я сидел напротив на стуле; второй, низкий и коренастый, в пальто, не снимая его, расположился между нами в кресле, слегка сбоку, напротив телефона. В дальнейшем говорил только высокий (правильно по-русски, но с заметным акцентом), низкий не произнес ни слова. Люся в начале разговора спросила высокого, где он так научился говорить по-русски; он ответил:

— Я учился в Университете имени Лумумбы.

Вероятно, он сказал правду. Высокий сказал:

— Вы опубликовали заявление, наносящее ущерб делу арабов. Мы из организации «Черный сентябрь», известно ли Вам это название?

— Да, известно.

— Вы должны сейчас же написать заявление, в котором Вы признаете свою некомпетентность в делах Ближнего Востока, дезавуировать свое прежнее заявление от 11 октября.

Я минуту помедлил с ответом, в это время Люся потянулась за зажигалкой, лежавшей рядом с телефоном, чтобы закурить. Но она не успела ее взять, как низкий посетитель каким-то мгновенным кошачьим прыжком бросился ей наперерез и преградил путь к телефону. Я сказал:

— Я не буду ничего писать и подписывать в условиях давления.

— Вы раскаетесь в этом.

В какой-то момент, вероятно, в начале, до «ультиматума», я сказал:

— Я стремлюсь защищать справедливые компромиссные решения (подразумевалось — также и в ближневосточном конфликте). Вам должно быть известно, что я защищаю права на возвращение на родину крымских татар, применяющих в своей борьбе легальные мирные методы.

Высокий возразил:

— Нас не интересуют внутренние дела вашей страны. Поругана наша Родина-мать, вы понимаете меня — честь матери! (Он сказал это с надрывом в голосе.) Мы боремся за ее честь, и никто не должен становиться у нас поперек дороги!

Люся спросила:

— Что вы можете с нами сделать — убить? Так убить нас и без вас уже многие угрожают.

— Да, убить. Но мы можем не только убить, но и сделать что-то похуже. У вас есть дети, внук.

(Как я уже сказал, внуку было тогда меньше месяца; никакой прессе мы о его рождении не сообщали.) Во время разговора в комнату вошел Алеша и сел рядом с Люсей, с противоположной стороны от высокого. Люся все время удерживала его колено, боясь, чтобы он не полез в драку, защищать нас, по своей горячности и смелости. Позже Алеша сказал, что под пальто «низкорослый» что-то прятал, как ему показалось — пистолет. Действительно, он все время закрывал правую руку полой пальто.

В это время кто-то подошел к двери и позвонил (вскоре стало известно, что это были Подъяпольские — Гриша и его жена Маша — и Таня Ходорович). Посетители заволновались, велели нам молчать и на всякий случай перейти в другую, более далекую от двери комнату. Там высокий продолжал свои угрозы:

— «Черный сентябрь» действует без предупреждения. Для вас мы сделали исключение. Но второго предупреждения не будет.

Скомандовав нам:

— Не выходить за нами из комнаты, — они вдруг мгновенно исчезли из комнаты, бесшумно выскользнув через входную дверь. Мы бросились к телефону, но позвонить оказалось невозможно — уходя, посетители каким-то орудием (кинжалом или ножом) перерезали провод.

Минут через десять квартира наполнилась людьми — вернулись Таня Ходорович и Подъяпольские; оказывается, они слышали голоса через дверь, и когда никто не открыл на их звонок, решили, что у нас обыск, и пошли позвонить из автомата Руфи Григорьевне, Тане и Реме и тем из наших друзей, кому смогли дозвониться. Руфь Григорьевна вместе с Ремой и Таней примчались через 20 минут, Таня при этом держала на руках маленького Мотеньку (Матвея); вскоре приехали и другие (Твердохлебов, услышав, что у нас был «Черный сентябрь», воскликнул:

— А я думал, «Красный октябрь»!).

Было неприятно сидеть с вооруженными террористами и слушать их угрозы. Но самым неприятным в этом визите было упоминание детей и внука. По-видимому, наши посетители действительно были арабы-палестинцы, быть может, даже из «Черного сентября». Но, несомненно, все их действия проходили под строжайшим контролем и, вероятно, по инициативе КГБ — хотя, возможно, они об этом не знали (они все время чего-то боялись). Я немедленно сообщил об этом визите иностранным корреспондентам и через несколько часов сделал заявление в милицию, не возлагая на него, впрочем, никаких надежд. Через несколько дней нас вызвал следователь районного отделения милиции и попросил опознать наших посетителей среди нескольких десятков фотографий. Мы с Люсей никого не могли указать. Похоже, что все это делалось только «для вида».

Через пару месяцев мы получили по почте открытку из Бейрута, на которой по-английски было написано: «Спасибо, что не забываете дела арабов. Мы, палестинцы, тоже не забываем своих друзей» (читай — врагов).

Открытка, с ее хитроумно трансформированным «обращенным» текстом, была явно угрожающей. Мы ее отдали в милицию, по просьбе следователя. Кажется, ее нам вернули (а потом, в 1978 году, украли при негласном обыске).

Угрозы убийства детей и внуков, которые мы впервые услышали от палестинцев (подлинных или нет) в октябре 1973 года, в последующие годы неоднократно повторялись.

В сентябре или в конце августа (не помню точной даты) я написал письмо Конгрессу США в поддержку поправки Джексона. Это одно из моих немногих обращений к законодательным и правительственным органам иностранных государств. Я уже писал о том принципиальном значении, которое, по моему мнению, имеет свобода выбора страны проживания. Сенатор Джексон, предлагая свою поправку в поддержку права на эмиграцию, назвал это право «первым среди равных» — так как наличие или отсутствие его сильнейшим образом влияет на реализацию всех других гражданских и экономических прав граждан. Эта мысль кажется мне верной (повторяю, что необходимо говорить о праве на свободный выбор страны проживания, закрепленном в законодательстве и подтверждаемом практикой). Письмо о поправке Джексона было одним из самых известных и наиболее действенных моих выступлений. Не случайно Киссинджер в своей книге «Четыре года в Белом доме» упоминает мое имя только в связи с этим письмом — по тону довольно неодобрительно, он, видимо, считает, что поправка Джексона повредила разрядке; на самом деле, она сделала основы разрядки более здоровыми, хотя и в недостаточной степени! Советская пропаганда без конца упрекает меня за это письмо, как за призыв к иностранному правительству о вмешательстве во внутренние дела нашей страны. По этому поводу необходимо сказать следующее. Во-первых, свобода выбора страны проживания признана СССР во многих его международных обязательствах, в частности, в Пактах о правах ООН, ратифицированных СССР и приобретших силу закона, и в Хельсинкском акте. Таким образом, поправка Джексона касается вопроса выполнения СССР его международных обязательств в вопросе, имеющем первостепенное международное (а не только внутреннее) значение — для открытости общества, для международного доверия. Если СССР выполняет свои международные обязательства — вопрос отпадает сам собой. Какое же это вмешательство во внутренние дела СССР? И во-вторых, речь идет об американском законе о торговле. Мне кажется, что это их внутреннее дело, с кем торговать, на каких условиях, кому давать кредиты. Так что, во всяком случае, опять же это не вмешательство во внутренние дела СССР. А что я, не будучи гражданином США, писал Конгрессу — это мое право, а право Конгресса — прислушаться или не прислушаться к моим словам. О критике моей позиции Солженицыным я пишу в следующей главе.

В первых числах ноября на имя Люси пришла повестка на допрос в качестве свидетеля в Лефортово (где расположен следственный отдел КГБ; там же следственная тюрьма, следственный «изолятор» на официальном языке), согласно повестке — к следователю Губинскому. До допроса с ней вел беседу некто Соколов (как мы теперь думаем — один из начальников в том отделе КГБ, который занимается нами; мы имели потом с ним несколько встреч в Горьком). Допрашивал Люсю не Губинский, а другой следователь — подполковник Сыщиков (надо же иметь при таком деле такую фамилию...), по слухам, знаменитый своим умением «раскалывать» самых упорных. Когда Люся спросила:

— А где же Губинский, я его не вижу,— Сыщиков ответил:

— Как не видите, это тот молодой человек, который провожал вас в туалет.

(Может, он и врал: Губинский — известный «диссидентский» следователь.) Допрос шел по делу Хаустова и Суперфина, обвиняемых в связи с «Дневником» Кузнецова (у них были и другие обвинения). Следователь пытался добиться от Люси показаний, как она сразу поняла (знала по

опыту других процессов) — любых, что бы она ни сказала, все могло бы быть использовано на суде, поскольку такой суд просто некий бюрократический, лишенный логики спектакль. Поэтому Люся заранее решила не давать им никаких показаний. Допросы преследовали, конечно, также цель психологического давления на нее и на меня, запугивания угрозой ее ареста (мы не могли знать — реальна она была или нет).

Сыщиков действительно был примечательной фигурой, притом довольно жутковатой. Он все время «актерствовал», непрерывно говорил, как бы обволакивая звуком своего низкого, проникающего в душу голоса:

— Доверьтесь мне, и я поведу вас, как отец родной. Будьте откровенны со мной, ведь на вас лежит ответственность за судьбу этих молодых людей, только вы можете им помочь.

(Он говорил о Хаустове и Суперфине.)

Но Сыщиков широко использовал также крик, угрозы и был при этом подлинно страшен. Люся решила отвечать только на анкетные вопросы, но на пятом или шестом своем ответе она вдруг почувствовала, что уже вступила в допрос по существу, и после этого на все вопросы, независимо от их содержания, отвечала:

— На заданный вами вопрос я отвечать отказываюсь.

Так что когда Сыщиков в конце первого допроса спросил:

— Правда ли, что ваши друзья называют вас Люся? — она по уже принятой ею тактике ответила своей стандартной фразой. Это вызвало приступ ярости Сыщикова.

— Я немедленно вызову конвой. Вы издеваетесь надо мной.

В дальнейшем такие приступы ярости повторялись все чаще (один из них, когда Люся спросила: Сыщиков — это ваша фамилия или псевдоним?).

На протяжении двух недель Сыщиков вызывал Люсю почти каждый день. Я сопровождал ее в Лефортово и ждал внизу, в бюро пропусков, внутрь меня не пускали. С каждым разом положение становилось все напряженнее. Начиная с третьего или четвертого допроса, Сыщиков стал сажать ее на место (скамью) подследственного, думая, вероятно, оказать этим на нее дополнительное психологическое давление. Люся, с ее плохим зрением, не видела при этом на большом расстоянии лица следователя, странно и жутко растягивающегося при крике — так что ей стало даже несколько легче. Наконец, после шестого или седьмого допроса Люся отказалась взять повестку на следующий допрос, выдержав при этом очередной сеанс крика и угроз — это был своеобразный психологический поединок. После этого повестки стали приносить на дом, но Люся отказывалась их принимать. Наконец, встретив посыльного с разносной книгой на лестнице, я взял у него повестку, сказав, что не передам жене, она больна; беру на себя, что она больше не пойдет, и хотел записать это в книгу. Но посыльный тут же убежал. Люся сердилась на меня. Но поток повесток на этом прекратился. Угроза, нависшая над Люсей, однако, все еще могла быть серьезной. (В эти дни нам, в частности, стало известно, что в распоряжении КГБ имеются показания о роли Люси в передаче за рубеж «Дневников» Кузнецова.)

На протяжении всей «газетной кампании» иностранные корреспонденты буквально замучили меня вопросами, как я отношусь к мысли об эмиграции и собираюсь ли я принять предложение о поездке в Принстон для чтения лекций. Я понимал, что эти настойчивые вопросы связаны с тем, что многим на Западе было бы «спокойней» видеть меня там. Но я не мог отвечать с полной определенностью. Я не знал, как власти собираются разрешить возникшую острую ситуацию, и не мог полностью исключить, что я смогу поехать с женой и детьми в Принстон, провести там год или полгода, оставив Таню, Ефрема и Алешу в США для ученья, и тем ликвидировать невыносимую ситуацию заложничества. Конечно, это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой, но я не хотел отрезать этого (или какого-нибудь аналогичного) шанса. Я думал также, что само обсуждение вопроса о поездке — без разрешения мне — может сдвинуть что-то в недоступных мне сферах с мертвой точки и косвенно способствовать поездке детей. Что меня лишат гражданства — это я, как уже писал, исключал.

Корреспонденты сообщали по этому вопросу кто что хотел, иногда я потом об этом узнавал и хватался за голову. Наконец, в конце ноября я решил выяснить ситуацию и планы властей, предприняв формальные шаги к поездке. Я пошел к директору ФИАНа (фактически я говорил с его заместителем, в прошлом сотрудником теоретического отдела объекта, что при благополучной ситуации могло бы иметь значение) и запросил так называемую характеристику; это означало, что приводилась в действие вся бюрократическая машина, вплоть до КГБ. Ответа я не получил, что тоже было формой отказа. О своей попытке я сообщил иностранным корреспондентам, при этом, во избежание лишних кривотолков о том, что я якобы хочу эмигрировать, я отдал им одновременно свое заявление. Оно ясно показывало, что я в данный момент не хочу эмигрировать и не считаю это для себя допустимым. Заявление вскоре передавалось по зарубежному радио, но без заключительного абзаца, ради которого, собственно говоря, оно и было написано. Я до сих пор не знаю, почему так получилось. В дальнейшем я множество раз встречался с очень вредными искажениями и сокращениями передаваемых мною документов, в результате которых часто искажалась важная часть их содержания, а я выглядел дураком. Я не могу этого доказать, но у меня есть непреодолимое ощущение, что лишь часть этих искажений вызвана обычной спешкой в газетных и радиоредакциях, некомпетентностью, безответственностью и т. п. (что тоже все достаточно плохо и позорно), а другая значительная часть — сознательными действиями советской пятой колонны.

В том первом случае через несколько недель с помощью В. Е. Максимова мне удалось передать повторно полный текст заявления, и оно было зачитано без искажений. Но в умы людей в основном запали первые передачи...

В декабре мы с Люсей оба легли в больницу. Мне давно советовали обследовать сердце, а Люсе совершенно необходимо было начать лечение тиреотоксикоза. Благодаря моим академическим привилегиям нас поместили вместе в отдельной палате. В общем, это было нечто вроде санатория, очень нам в этот момент нужного. Я работал, Люся правила текст и давала хорошие советы — так родилось хорошее сжатое автобиографическое предисловие к намеченному в США изданию моих выступлений — «Сахаров о себе» — мне и сейчас эти несколько страниц кажутся удачными. Бывали у нас и гости. Пришел старый Люсин друг, поэт и переводчик Константин Богатырев, вместе с ним пришел и другой поэт, очень известный, Александр Межиров — с ним у Люси тоже было старинное знакомство. Костя рассказал, как всегда, увлекаясь и жестикулируя, какой-то эпизод из своего лагерного прошлого, чем-то ассоциировавшийся с современными событиями (он был узником сталинских лагерей). Я прочитал, не помню, в какой связи, нечто вроде лекции по основам квантовой механики; на склонного к хитроумным умственным построениям Межирова эта лекция произвела, кажется, впечатление. Несколько раз забегал Максимов — в клетчатом костюме с иголочки, дружески улыбающийся, с искрящимися синими глазами. Он каждый раз приносил какую-то передачку — один раз диковинную копченую рыбу — и животрепещущие новости. Именно через него, как я писал, я передал в иностранные агентства исправленный текст моего заявления о моем отношении к поездке за границу. Большой радостью было совместное посещение Галича, Некрасова и Копелева — сохранилась групповая фотография, сделанная в вестибюле больницы. Лев Зиновьевич Копелев, германист, писатель, критик и переводчик, человек трудной и противоречивой судьбы, необыкновенно добрый, отзывчивый и терпимый — это его жизненно-философское кредо, шумный, общительный и огромный, с большими наивными глазами — вскоре стал нашим другом. Посетили меня и фиановцы — Е. Л. Фейнберг и В. Л. Гинзбург, начальник теоретического отдела. Гинзбург сказал, что на все академические институты спущена разверстка сокращения штатов.

— Теоротделу необходимо сократить свой штат на одного человека. Это очень болезненная операция, но избежать ее невозможно. Мы посовещались и решили, что таким человеком должен быть Юрий Абрамович (Гольфанд). За последние годы он совсем не выдавал никакой научной продукции, по существу — бездельничал. Вместе с тем он — доктор, и ему легче будет устроиться работать на новое место, чем человеку без докторской степени.

Я спросил, нельзя ли как-то «заволынить», и получил сухой отрицательный ответ. Сказать же что-либо персонально в защиту Гольфанда я, к сожалению, не сумел. Я не знал, что за несколько месяцев до этого Гольфанд (совместо с Лихтманом) написал и доложил на семинаре ФИАН работу, ставшую классической — в ней впервые была введена суперсимметрия. Работа была сделана не на пустом месте — о суперсимметричных преобразованиях уже писал талантливый московский ученый Феликс Александрович Березин (безвременно погибший в 1980 году). Гольфанд и Лихтман первыми рассмотрели суперсимметрию как принцип построения теории элементарных частиц. Это была великая мысль. В последующие годы идеи суперсимметрии получили развитие в сотнях замечательных работ...

Через некоторое время выяснилось, что во всех остальных отделах ФИАНа сумели избежать сокращения штатов, «заволынив» его (употребляя слово, которое я говорил Гинзбургу). Гольфанду же не удалось нигде устроиться на работу — он хоть и доктор, но зато еврей. Во время его посещения больницы Люся сказала ему: «Увольняют — а Вы уезжайте!». Спустя несколько месяцев Гольфанд подал заявление о выезде из СССР в Израиль — но ему было отказано под несостоятельным предлогом, что он 20 лет назад принимал участие в секретных работах группы Тамма; на самом деле Гольфанд делал тогда очень «абстрактные» работы, ничего не зная о реальных изделиях; на объекте же он никогда не был. Справиться с этим пока не удалось. Летом 1980 года он был вновь взят на работу в ФИАН. Восстановление на работе отказника — случай исключительный.

«Странный шар» (Солженицын о Сахарове)

В книге А. И. Солженицына «Бодался теленок с дубом» много говорится о событиях 1973 года, обо мне и моей позиции, говорится (иногда в косвенной форме) о Люсе, о чем-то умалчивается. Восемь лет я нес в себе груз впечатления от этой книги, сейчас хочу высказаться. Начну с некоторых цитат:

«Чудом было появление А. Д. С. в сонмище продажной беспринципной интеллигенции». «Допущенный в тот узкий круг, где не существует «нельзя» ни для какой потребности, ...почувствовал, что изобилие — прах, а душа правды ищет». «С какого-то уровня стало ясно, что это нападение, а не защита народа» (о термоядерном оружии).

Мне кажется совершенно неправильной, не адекватной преувеличенная оценка моей личности. Слишком восторженно! Я — совсем не ангел, не политический деятель и не пророк. И мои поступки, моя эволюция — не результат чуда, а — влияние жизни, в том числе — влияние людей, бывших рядом со мной, называемых «сонмище продажной интеллигенции», влияние идей, которые я находил в книгах. Может, это особенность моего характера, но я никогда не жил в изобилии, не знаю, что это такое. И — ох, как много нельзя было на объекте! Из трех приведенных тезисов Солженицына самый важный — последний. Но я воздерживаюсь от такой категоричности. Жизнь — штука сложная, я не устаю это повторять. В эту большую бочку меда моей характеристики потом вливается немало дегтя. По существу Солженицын, формально отдавая должное защите прав человека, на деле изображает ее как что-то второстепенное, мешающее главному (чему именно — мне не совсем понятно). Мне была важна высокая оценка «Памятной записки» и «Послесловия». Но Солженицын прибавляет, что этот документ «...прошел ниже своего значения из-за частоты растраченной подписи автора».

Он косвенно намекает, в частности, на мое вмешательство в дело одного еврея-отказника (успешное, к тому же). Из предыдущего ясно, что для меня защита отдельных, конкретных людей имеет принципиальное значение; это бесспорное, стабильное ядро моей позиции. Что же касается «программных» документов, то я рассматриваю их как дискуссионные — кому надо, прочтет и задумается, я и сам иногда кое-что в них пересматриваю и уточняю. Выше — ниже своего значения — вопрос второстепен-

ный. Настойчиво подчеркивает Солженицын мою наивность, непрактичность, неумение понимать ситуацию — и подверженность пагубным влияниям. Я не могу достать билеты и мечусь по Батуми; отдаю рукопись печатать по кускам разным машинисткам, не понимая, что они тут же сложат ее на столе «кума» и т. д.

Среди тех, кто оказывал на меня пагубное влияние, «прицепившись к странному... шару, без мотора и бензина летящему в высоту», явно Солженицын называет Роя Медведева и Валерия Чалидзе. Я уже писал о своих отношениях с этими очень разными людьми и не буду к этому возвращаться. Но главное, хотя и скрытое острие направлено против моей жены. Тут я должен четко объясниться. Опять цитата: «Хотя мы продолжали встречаться с Сахаровым, но не возникли совместные проекты. Во-первых, это было из-за того, что не оставлено было нам ни одной беседы наедине, и я опасался, что сведения могут растекаться в разлохмаченном клубке вокруг демократического движения».

Тут ясно, что «не оставлено» Люсей, ставшей моей женой. Но все неправда. Я говорил в этот период с Александром Исаевичем наедине. Около часа однажды мы гуляли по лесу недалеко от Жуковки (где дачи Ростроповича и моя), и он предлагал мне примкнуть к сборнику «Из-под глыб», но я не решился на это по смутным тогда соображениям независимости. Никаких совместных проектов у нас не возникало и раньше — ни при первой нашей встрече в 1968 году, ни при второй — в 1970-м. К «разлохмаченному же клубку» ни я, ни моя жена никогда не имели никакого отношения (и к «диссидентским салонам» — выражение А. И. в другом месте). Мы оба на самом деле никогда не стремились к большому и шумному обществу, к визитам и постоянному общению с малознакомыми людьми; выпивки, составляющие так часто основу подобного общения, и для Люси и для меня были всегда совершенно исключенными, не интересовали нас. Влияние моей жены Солженицын видит в том, что она якобы толкает меня на эмиграцию, на уход от общественного долга, и прививает мне повышенное внимание к проблеме эмиграции вообще в ущерб другим, более важным проблемам. Солженицын называет совокупность событий 1973 г. «встречным боем». Он упрекает меня, что «встречный бой» не дал тех результатов, которые почти были в руках, из-за того, что я «заигрывал» с темой эмиграции — и для себя лично, и в общем плане — под пагубным влиянием Люси. Я не считаю удачным сам термин «встречный бой», он кажется мне неадекватным. И каких кардинальных, прагматических результатов можно было ожидать тогда (и много после) от наших выступлений? Солженицын ничего не пишет об этом, кроме вопроса о поправке Милза (об этом ниже). Я думаю, что таких результатов и не могло быть. Прошу извинить меня за нижеследующие длинные цитаты (разрядка в них — моя).

«В августовских боевых его интервью не замолкает разрушительный мотив отъезда. Мы слышим «было бы приятно съездить в Принстон»...

. . . .

Мелодия эмиграции неизбежна в стране, где общественность всегда проигрывала все бои. За эту слабость нельзя упрекать никого, тем более не берусь и я, в предыдущей главе описав и свои колебания. Но бывают лица частные — и частные их решения. Бывают лица, занявшие слишком явную и значительную общественную позицию — у этих лиц решения могут быть частными лишь в «тихие» периоды, в период же напряженного общественного внимания они таких прав лишены. Этот закон и нарушил Андрей Дмитриевич, то выполнял его, то нарушал, и обидней всего, что нарушал не по убеждениям своим (уйти от ответственности, пренебречь русской судьбой — такого движения не было в нем ни минуты) — нарушал, уступая воле близких, уступая чужим замыслам.

Давние, многомесячные усилия Сахарова в поддержку эмиграции из СССР, именно эмиграции, едва ль не предпочтительней перед всеми остальными проблемами, были навеяны в значительной мере той же волей, и тем же замыслом. (Это уже что-то демоническое, почти протоколы сионских мудрецов! — **А. С.**) И такой же вывих, мало замеченный наблюдателями боя, а по сути, сломивший наш бой, лишивший нас главного успеха, А. Д. допустил в середине сентября — через день-два после снятия глушения, когда мы почти по инерции катились вперед. Группа около 90 евреев написала письмо американскому Конгрессу с просьбой, как всегда, о своем: чтобы Конгресс не давал торгового благоприятствования СССР, пока не разрешен вопрос об еврейской эмиграции. Чужие этой стране (кого мне напоминает эта терминология? — **А. С.**) и желающие только вырваться, эти 90 могли и не думать об остальном ходе дел. Но для придания веса своему посланию они пришли к Сахарову и просили его от своего имени подписать такой же текст отдельно... по традиции и по наклону к этой проблеме Сахаров подписал им — через 2—3 дня после поправки Вильбора Милза! — не подумав, что ломает фронт, сдает уже занятые позиции, сужает поправку Милза до поправки Джексона, всеобщие права человека меняет на свободу одной лишь эмиграции. И Конгресс возвратился к поправке Джексона. Если мы просим только об эмиграции — почему же американскому сенату надо заботиться о большем?.. Меня обожгло. 16.9 из загорода я написал А. Д. об этом письмо...»

В любом случае никогда поправка Милза не обсуждалась столь серьезно, не имела таких шансов на успех, как поправка Джексона, гораздо лучше аргументированная юридически, более бесспорная политически. Писать в этих условиях о поправке Милза — значило бы загубить и поправку Милза и поправку Джексона. А я, в отличие от Солженицына, считаю поправку Джексона принципиально важной! (Почему мы все время обсуждаем, что я чего-то не сделал; а А. И.? — выступил ли он в защиту поправки Милза, если он придает ей такое значение?). Так что никакого фронта я не ломал. Добавление 1989 г. По-видимому, вообще не существовало никакой поправки Милза, отдельной от поправки Джексона. Поправка Милза — Ваника — это другое название поправки Джексона.

А. И. дает, как мне кажется, одностороннее освещение событий осени 1973 года. Я уже писал о том, что он не сообщил о заявлении Люси о передаче «Дневников» Кузнецова. Не упоминает он и о моем интервью Стенхольму, которое положило начало всей цепи событий. О Принстоне я подробно писал выше. О том, что мое заявление было опубликовано в урезанном виде, Александр Исаевич знал, но ничего не пишет. В целом — Принстонская история, даже при накладке с заявлением — мелкий эпизод. Зря А. И. поднимает ее до такой принципиальной высоты. После моего заявления о поправке Джексона Солженицын прислал, как он пишет, записку. В ней он писал о поправке Милза (примерно то же, что в «Теленке») и просил зайти к его жене Наталье Светловой (к Але, как он ее называет). Мы с Люсей выполнили его просьбу. Разговор проходил без Александра Исаевича. Аля сказала — как я могу поддерживать поправку Джексона и вообще придавать большое значение проблеме эмиграции, когда эмиграция — это бегство из страны, уход от ответственности, а в стране так много гораздо более важных, гораздо более массовых проблем. Она говорила, в частности, о том, что миллионы колхозников по существу являются крепостными, лишены права выйти из колхоза и уехать жить и работать в другое место. По поводу нашей озабоченности Аля сказала, что миллионы родителей в русском народе лишены возможности дать своим детям вообще какое-либо образование...

В 1973 году мы еще раз были в доме Солженицыных, это была наша последняя встреча с Александром Исаевичем перед его высылкой. Продолжаю цитаты.

«Первого декабря Сахаровы пришли к нам, как всегда вдвоем. Жена больна (у Люси действительно был тогда пульс 120 из-за тиреотоксикоза. — **А. С.**), измучена допросами и общей нервностью: «Меня (т. е. Люсю. — **А. С.**) через две недели посадят, сын — кандидат в Потьму, зятя через месяц вышлют как тунеядца, дочь без работы». «Но все-таки мы подумаем?» — возражает осторожно Сахаров. — «Нет, это думай ты». «Да я сразу бы и вернулся, мне бы только их (детей жены) отвезти. Я и не собираюсь уезжать». «Но вас не пустят назад, Андрей Дмитриевич!» «Как же могут меня не пустить, если я приеду прямо на границу?» (Искренне не понимает — как?)».

В этом отрывке Люся — истерическая дамочка, у которой «нервы». Сильно на нее не похоже. Я же — дрожащий перед ней «подкаблучник» и к тому же абсолютный дурак. На самом деле ни она, ни я не говорили

тех слов, которые нам тут приписываются. Таня не была без работы (у нее за два месяца до этого родился сын, и она была в декретном отпуске), зять тоже тогда работал (его выгнали после суда над Сергеем Ковалевым в декабре 1975 года), и, следовательно, не был «тунеядцем», а я не был столь наивен. Что касается того, что Алеша — «кандидат в Потьму», то очевидно, это некоторое искаженное преломление Люсиного рассказа при этой или предыдущих встречах об Алешиной реакции на нашу просьбу согласиться на поездку за рубеж — как я уже писал, Алеша тогда ответил, что он психологически больше готов к Мордовии. Мне кажется, что Александр Исаевич не мог не запомнить этого рассказа, но, к сожалению, он написал нечто совсем иное. А как проходил разговор на самом деле в целом? Действительно, во время этой встречи Александр Исаевич и Аля упрекали нас во вредных разговорах об отъезде, говорили о реакции некоторых людей на мое заявление якобы об эмиграции. Я же как раз тогда рассказал, что заявление было искажено, и объяснил свою истинную позицию в этом вопросе. Я, в частности, сказал, что поездка в Принстон была бы хорошим выходом из ситуации с детьми; что я считаю очень маловероятным, что мне дадут разрешение на подобную поездку, но совершенно исключенным — что лишат гражданства (почему я так считаю — я не обсуждал). Мне обидно, что Александр Исаевич, гонимый своей целью, своей сверхзадачей, так многого не понял, или верней — не захотел понять, во мне и моей позиции в целом, не только в вопросе об отъезде, но и в проблеме прав человека, и в Люсе, в ее истинном образе и ее роли в моей жизни.

В конце 1974 года один немецкий корреспондент (к сожалению, я не помню его фамилии) передал мне по поручению Александра Исаевича в подарок экземпляр «Теленка» с теплой и очень лестной дарственной надписью. Еще до этого мне удалось прочесть книгу, взяв у одного из друзей. Принимая подарок и прочитав при корреспонденте дарственную надпись, я не удержался и сказал:

— В этой книге Александр Исаевич сильно меня обидел.

Корреспондент усмехнулся и ответил:

— Да, конечно. Но он этого не понимает.

Люсина операция. «Архипелаг ГУЛаг». Высылка Солженицына. Моя статья о «Письме вождям» Александра Солженицына

Люсина болезнь — тиреотоксикоз — была одной из причин, почему мы легли в декабре 1973 года в больницу. Состояние ее вызывало большое беспокойство, ей было очень трудно, пульс достигал 120. К сожалению, академическая медицина не уделила ей должного внимания, не слишком боролась и разбиралась с ее болезнью. Нам пришлось сразу по выходе из больницы поехать на консультацию к старому Люсиному знакомому — профессору эндокринологии Александру Раскину в Ленинграде. Раскин после нескольких дней больничного обследования направил Люсю на операцию, но он не учел, по-видимому, возможных — и очень опасных в Люсином случае — последствий для глаукомы. Высказанные Люсей сомнения врач-окулист тоже оставил без внимания. Мы тут же договорились, что оперировать ее будет хороший знакомый Наташи Гессе (незадолго перед этим сделавший такую же операцию и ей), доктор Б-о. Мы вернулись в Москву, Люся начала предоперационный курс лечения. Я получил в медсанотделе Академии направление на операцию и пошел к Министру здравоохранения Петровскому, чтобы он подтвердил это направление (без этого Люсю не могли бы госпитализировать в Ленинграде). Петровский обещал. (Это была наша вторая и последняя встреча.) Но когда мы приехали в Ленинград, нас ждал неприятный сюрприз. Доктор Б-о просил Наташу передать нам, что он не может оперировать Люсю. Ему предстоит защита докторской диссертации, и если он будет оперировать жену Сахарова, то ему

не утвердят диссертацию. Он просит также не ходить к нему и вообще не иметь с ним никаких отношений. Мы были поставлены в очень трудное положение. Отменить или даже отложить операцию было невозможно — Люся уже закончила предоперационную медикаментозную подготовку. Пришлось срочно искать другого хирурга. Люся, к счастью, нашла своего бывшего профессора по институту доктора Г. Стучинского. Она когда-то присутствовала и даже ассистировала ему в точности при такой же операции, как предстоявшая ей. Профессор согласился. 27 февраля он оперировал, а через две недели мы вернулись в Москву.

Уже перед самой выпиской у Люси произошло очень сильное поднятие внутриглазного давления, требовавшее экстренных мер. Это было только начало большой беды, обрушившейся на нее.

В марте — сначала в Ленинграде, а потом в Москве — я работал над статьей «О письме Александра Солженицына ,,Вождям Советского Союза''».

Но я должен вернуться назад. В начале января к нам неожиданно пришел приемный сын Александра Исаевича, тринадцатилетний сын Н. Светловой от первого брака Митя. Было время утреннего завтрака, и Люся предложила ему выпить стакан чаю. Но он отказался. С первого взгляда меня поразила какая-то особенная торжественность в его облике, и глаза — отчаянно сверкающие, серьезные, счастливые и гордые. Мальчик прошел в ванную и извлек прикрепленную на спине книгу, вручив ее нам. Это был первый том «Архипелага ГУЛаг». Уже через 10 минут мы оба — Люся и я — читали эту великую книгу (о которой уже более недели озлобленно и подло писала советская пресса и ежедневно сообщало западное радио). В отличие от большинства людей на Западе и многих в нашей стране мы хорошо знали бесчисленные факты массовой жестокости и беззакония в мире ГУЛага, представляли себе масштабы этих преступлений. И все же и для нас книга Солженицына была потрясением. Уже с первых страниц в гневном, скорбном, иронически-саркастическом повествовании вставал мрачный мир серых лагерей, окруженных колючей проволокой, залитых беспощадным электрическим светом следовательских кабинетов и камер пыток, столыпинских вагонов, ледяных смертных забоев Колымы и Норильска — судьба многих миллионов наших сограждан, оборотная сторона того бодрого единодушия и трудового подъема, о котором пелись песни и твердили газеты.

Через несколько дней я примкнул к коллективному письму, требовавшему оградить Солженицына от нападок и преследований, отдававшему должное «Архипелагу» и трагической судьбе его героев-заключенных. Вместе с Максимовым и Галичем я был одним из авторов этого письма. В следующие дни я дал несколько (более десяти) интервью об «Архипелаге» и Солженицыне, в том числе — по международному телефону швейцарской газете и немецкому журналу. Много спустя я узнал, что эти интервью были напечатаны (во всяком случае, большая часть из них).

12 февраля около 7 вечера в нашей квартире раздался звонок: Солженицына насильно увезли из дома. Мы с Люсей выскочили на улицу, схватили какую-то машину («левака») и через 15 минут уже входили в квартиру Солженицыных в Козицком переулке. Квартира полна людей, некоторых я не знаю. Наташа — бледная, озабоченная — рассказывает каждому вновь прибывшему подробности бандитского нападения, потом обрывает себя, бросается что-то делать — разбирать бумаги, что-то сжигать. На кухне стоят два чайника, многие нервно пьют чай. Скоро становится ясно, что Солженицына нет в прокуратуре, куда его вызвали, — он арестован. Время от времени звонит телефон, некоторые звонки из-за границы. Я отвечал на один-два таких звонка; кажется, нервное потрясение и сознание значительности, трагичности происходящего нарушили мою обычную сухую косноязычность, и я говорю простыми и сильными словами. На другой день, собравшись у нас на кухне на Чкалова, мы составили и подписали «Московское обращение», требующее освобождения Солженицына и создания Международного трибунала для расследования фактов, разоблачению которых посвящена его книга «Архипелаг ГУЛаг». Уже после того, как Обращение передано иностранным корреспондентам, мы узнали, что Солженицын выслан, только что самолет приземлился в ФРГ. Мы позвонили с этим известием Наташе, она очень взволнована, уже слышала от

кого-то еще, но поверит, только услышав голос А. И. Через час позвонила она — только что говорила с мужем. «Московское обращение» получило большое распространение. В ФРГ, например, под ним было собрано несколько десятков тысяч подписей.

Незадолго до отъезда Наташи с Екатериной Фердинандовной (ее мамой) и детьми к мужу у нее на квартире был прощальный вечер. Мы были там с Люсей, много было хороших людей, пели хорошие русские песни.

До этой встречи я был у Наташи один, без Люси (она лежала в больнице в Ленинграде). Наташа дала мне экземпляр солженицынского «Письма вождям». Когда я прочитал его, у меня возникло ощущение, что мне необходимо ответить (открыто, конечно). Со слишком многим — и не только с написанным там, но и с логически следующим из написанного — я был не согласен.

Я понимаю, что А. И. был очень расстроен и раздражен моим письмом, это видно и из его ответной статьи в сборнике «Из-под глыб», но я не мог поступить иначе. В последующие годы я больше не выступал публично по поводу наших расхождений с Александром Исаевичем. Здесь я все же попытаюсь в сжатой форме еще раз остановиться на этих расхождениях, имея в виду не только «Письмо вождям», но и другие выступления Солженицына, в особенности получившую широкую известность Гарвардскую речь. Прежде всего, я должен сказать о своем глубоком уважении к А. И. Солженицыну, к его художественному таланту и великим, поистине историческим заслугам в раскрытии преступлений строя, к его подвижническому многолетнему труду. Я с восхищением вижу в нем страстную непримиримость ко злу, остроту и четкость мысли. Читая его публицистику, я не могу не солидаризоваться мысленно с очень многим из того, что он пишет и говорит. Однако, когда я соглашаюсь с основной мыслью Солженицына, часто меня не удовлетворяет безапелляционность суждений, отсутствие нюансов, недостаток терпимости к мнениям других. Я понимаю при этом, что эти недостатки тесно связаны с теми достоинствами, о которых я только что писал,— со страстностью и целеустремленностью Солженицына. Принимая Солженицына таким, как он есть, восхищаясь им, я одновременно думаю, что нельзя замалчивать недостатки его выступлений, как они мне видятся, нельзя уходить от открытой дискуссии. Ее необходимость усиливается тем, что, по-моему, спорными являются и некоторые принципиальные основы позиции А. И. Солженицына. Мне кажется, что в позиции Солженицына есть недооценка важности и необходимости общемирового, общечеловеческого подхода к основным кардинальным проблемам современности и определенное «антизападничество». С этим связан «принципиальный изоляционизм», недостаточное внимание к проблемам и судьбам других — кроме русского и украинского — народов нашей и зарубежных стран, иногда — элементы русского национализма, идеализации русского национального характера, религии и уклада, от которой близко до пренебрежения и недоброжелательности к другим народам. Я пишу в своей статье, что приходящие за идеологами практические политики обычно оказываются более жесткими и догматичными. По Солженицыну Запад (скажем, США, Европа, Япония) уже проигрывает свою битву с повсеместно наступающим тоталитаризмом; непоследователен, расслаблен и разобщен в момент исторического противостояния силам зла, запутался в соблазнах потребительского общества, во вседозволенности, безрелигиозности и бездуховности, бездумно уничтожает себя в дыму и гари городов, в грохоте истерической музыки. В том, что пишет А. И., действительно очень много горькой правды. Мне тоже приходится писать о разобщенности Запада, об опасных иллюзиях, о политиканстве, близорукости, эгоизме и трусости некоторых политиков, об уязвимости ко всевозможным подрывным действиям. Я пишу об этом с большой тревогой, но и с надеждой, так как считаю сложившееся на Западе общество в своей основе все же здоровым и динамичным, способным к преодолению тех трудностей, которые непрерывно несет жизнь.

Разобщенность — это для меня оборотная сторона плюрализма, свободы и уважения к индивидууму — этих важнейших источников силы и гибкости общества. В целом, и особенно в час испытаний, как я убежден, гораздо важней сохранить верность этим принципам, чем иметь механическое казарменное единство, пригодное, конечно, для экспансии, но исторически бесплодное. В конечном счете побеждает живое. Недоверие к Западу, к прогрессу вообще, к науке, к демократии толкает, по моему мнению, Солженицына на путь русского изоляционизма, романтизации патриархального уклада, даже, кажется, ручного труда; к идеализации православия и т. п. Он называет нетронутый Северо-Восток страны «отстойником русской нации», где она сможет оправиться от морального и физического ущерба, нанесенного ей террором и безумными экспериментами дьявольских сил пришедшего с Запада коммунизма. Солженицын при этом явно предполагает, что уже сейчас есть явственные признаки национально-религиозного возрождения народа, что русский народ исконно враждебен социалистическому строю и даже якобы занимал пораженческую позицию в годы войны.

Все эти концепции, которые, может быть, я изложил несколько упрощенно, представляются мне неверными, мифотворческими. Если бы они овладели народом и его «вождями» (к слову сказать, кто может поручиться за резистентность именно «вождей» к таким идеям в каких-то условиях, за народ я более спокоен) — они могли бы привести к трагическим авантюрам.

Некрасов писал о русских косточках при строительстве железной дороги; освоение Северо-Востока без современной техники не меньше рассеет их по тамошним полям. Я увидел в произведениях Солженицына другой взгляд, чем у меня, на демократию и плюрализм, на роль религии в обществе (я считаю религиозную веру чисто внутренним, интимным и свободным делом каждого, так же как и атеизм), другое отношение к перспективам сближения — конвергенции — социалистической и западной систем, в которых в обеих я вижу, в отличие от Солженицына, наряду с изъянами, и здоровое начало, а самое главное — в конвергенции я вижу шанс спасения человечества от конфронтации, угрожающей ему гибелью!!!

Я увидел также у Солженицына другое, чем у меня, отношение к прогрессу. Я вполне понимаю огромные экологические и социальные опасности, которые несет в себе прогресс. Но прогресс, в первую очередь, все же приводит к улучшению условий жизни всех людей на Земле, снимает, если говорить в целом, трагическую остроту социальных, расовых и географических противоречий, уменьшает неравенство в самом необходимом, приводит к уменьшению все еще очень распространенных страданий миллионов людей от голода, нищеты, болезней. И если человечество в целом — здоровый организм, а я верю в это, то именно прогресс, наука, умное и доброе внимание людей к возникающим проблемам помогут справиться с опасностями.

Вступив на путь прогресса несколько тысячелетий назад, человечество уже не может остановиться на этом пути и не должно, по моему убеждению.

Особенно существенное отличие моей системы ценностей и позиции от системы ценностей и позиции Солженицына — различная оценка роли защиты гражданских прав человека — свободы убеждений и информационного обмена, свободы выбора страны проживания, открытости общества. Я считаю эти права основой здоровой жизни человечества, основой международной безопасности и доверия. Защита конкретных людей — это то, в пользе чего я не сомневаюсь! Солженицын не отрицает, конечно, значения защиты прав человека, но фактически, по-видимому, считает ее относительно второстепенным делом, иногда даже отвлекающим от более важного. Я уже писал об этом в предыдущей главе. Я начал свои общественные выступления с обсуждения опасности гибели человечества в термоядерной войне. Именно эту проблему я считаю имеющей приоритет перед всеми остальными, стоящими перед человечеством. (Дополнение 1988 г. Конечно, я не противопоставляю ее другим глобальным проблемам — защите прав человека, преодолению экономического и социального отставания, болезней и голода для большей части человечества, защите среды обитания; многоликая экологическая опасность должна рассматриваться, особенно в перспективе, как самая грозная. Эти уточнения представляются мне сейчас необходимыми.) Солженицын не высказал своего отношения к этому тезису.

Я отношусь к взглядам и позиции Солженицына с глубоким уважением, хотя в чем-то они кажутся мне неправильными. Осознав — особенно

после ознакомления с «Письмом вождям» — отличие их от моих взглядов и позиции, я счел совершенно необходимым четко сформулировать, в чем заключаются наши расхождения, и опубликовать свои мысли по их поводу. Такова была цель моей статьи. Мне до сих пор кажется, что она имела определенное общественное значение.

Отдых в Сухуми. «Мир через полвека». Люсины глаза. Первая голодовка

В начале апреля 1974 года мы с Люсей выбрались на несколько недель отдохнуть на юг. Сначала мы прилетели в Сухуми, где удалось устроиться в гостиницу. Мы бродили по окрестностям города, просто отдыхали. В памяти — поездка в Амхельское ущелье: прозрачный горный ветер, четкие контуры далеких гор, шум пенящейся мутно-голубой воды на дне ущелья. Это были прекрасные, свободные дни. В конце пребывания в Сухуми мое инкогнито было «раскрыто», стали приходить посетители. Мы решили перебраться в Сочи, рассчитывая, что там будет спокойней — что оправдалось.

За время нашего пребывания на юге я написал статью по заказу американского журнала «Сатердей ревью» под названием «Мир через полвека»...

Труда на эту статью ушло очень много, гонорар в 500 долларов никак нельзя считать слишком большим. Тогда еще можно было получать деньги из-за рубежа в виде сертификатов «Березки» (валютный магазин, в основном для советских чиновников, работающих за границей). Эти первые мои валютные поступления были очень кстати. На эти деньги мы покупали в продуктовой «Березке» мясные консервы и другие продукты для посылок в лагеря, для свиданий и передач — целыми ящиками! Работники «Березки» знали, между прочим, кто я и зачем делаю такие покупки. Както раз Тане, стоявшей в стороне, продавщица сказала, указывая на меня:

— Это академик Сахаров, посмотри на него.

(Что Таня пришла со мной, она, видимо, не заметила.)

В конце апреля в Сочи прилетела Таня с Мотей, которому тогда исполнилось 7 месяцев. Мы пережили несколько тревожных часов, так как самолет из-за погодных условий приземлился в Минводах, а Аэрофлот, как обычно, не сообщал, где самолет и что с ним. Две-три недели мы жили вместе. Я привязался к Моте, который тоже начал выказывать мне доверие.

В середине мая я должен был улетать в Москву, а Люся с Таней еще на две недели остались в Сочи — у Тани была курсовка, она лечилась. За это время у Люси произошло резкое ухудшение зрения. Это было обострение глаукомы, вызванное тиреоэктомией, начавшееся, как я уже писал, еще в больнице в Ленинграде. Кризы повышения внутреннего давления стали гораздо более тяжелыми и частыми, почти без светлых промежутков. Обычное лекарство — пилокарпин — уже не помогало, плохо помогали и более «острые» лекарства. На аэродроме в Москве, где я их встречал, Таня отвела меня в сторону и сказала:

— Мать совсем ослепла.

В течение июня Люся, состояние которой продолжало ухудшаться, обращалась к нескольким глазным врачам. В Московской глазной больнице работала ее подруга по мединституту Зоя Разживина, специализировавшаяся в офтальмологии. Еще в студенческие годы Зоя Разживина много раз смотрела Люсины глаза и, как Люся говорила, изучала на ней всю глазную патологию. Люся пришла к ней в больницу, когда Зоя вела прием больных. Зоя стояла в глубине кабинета. Люся на таком расстоянии уже была не в состоянии отличить одного человека от другого и не узнала ее. Потом Зоя посмотрела Люсины глаза и заплакала. Через два дня Люся легла в Глазную больницу с твердым намерением оперироваться. Однако получилось так, что, пролежав там месяц, она выписалась в том же состоянии, что и до больницы. С самого начала врачи, в том числе и подруга

(работавшая в другом отделении), были явно так запуганы, что им уже некогда было думать о лечении. Дальше — больше. В больнице объявили карантин, хотя видимых причин к этому не было. Заведующая отделением, хорошо относившаяся к Люсе, почему-то перестала быть ее лечащим врачом; им стала заместитель главного врача. Наконец, Люсе передали конфиденциально:

— Мы не знаем, что с Вами хотят сделать. Но Вам необходимо срочно выписаться, как сумеете, под каким угодно предлогом!

В следующее воскресенье, когда никого из начальства не было, Люся выписалась.

Через несколько месяцев, после новых разочарований, мы были вынуждены принять решение добиваться выезда Люси для лечения глаз за границу.

В дни Люсиного пребывания в больнице я держал свою первую голодовку. Цель ее — привлечь внимание к судьбе политзаключенных, в их числе Владимира Буковского, о тяжелом положении которого мне сообщила незадолго до этого его мать; Валентина Мороза; Игоря Огурцова; немцев, осужденных за участие в демонстрации за право на эмиграцию; узников психиатрических больниц, в том числе Леонида Плюща. Голодовка была приурочена к пребыванию в Москве президента США Р. Никсона — это дало ей такую гласность, которой иначе быть не могло. Приехавшие с Никсоном корреспонденты и телевизионщики два или три раза приезжали на нашу квартиру, и я давал им телеинтервью (Таня переводила). Одно из таких телеинтервью (в соответствии с договоренностью, по случаю приезда Никсона) телекорреспонденты пытались передать непосредственно из Останкино — там расположен телецентр. Но передача была вырублена нашим «выпускающим» (цензором), и несколько минут половина мира вместо Сахарова видела пустые экраны. Мне передавали, что впечатление было сильным.

Через 6 дней после начала голодовки мое состояние ухудшилось. Я решил, что цели достигнуты, и прекратил голодовку. Голодовка, при такой относительно малой длительности, была трудной для меня, в частности, потому, что я все время работал, давал интервью, в том числе требовавшие большого напряжения телеинтервью. В эти дни умерла моя тетя Женя (Евгения Александровна, жена папиного брата Ивана, очень мною любимая). Мне удалось навестить ее в больнице, а потом, тоже в состоянии голодовки, я ездил на ее похороны.

Люся очень волновалась за меня во время голодовки. Почти каждый день ей удавалось, несмотря на «карантин», за рубль сторожу выскользнуть в халате из больницы и на такси доехать до нашего дома.

Забавно, что когда она курила на лестнице с другими больными, те беседовали между собой, что Сахаров голодает, но, конечно, не совсем, что-нибудь он, конечно, ест. Другая обычная тема: что Сахаров — еврей. Люсе трудно было убедить своих соседей по больнице, что и то, и другое — не верно. Что она — жена Сахарова, другие больные не знали, хотя и видели меня часто у окон больницы...

Во время голодовки за состоянием моего здоровья наблюдала доктор Вера Федоровна Ливчак, ее нашла тогда Маша Подъяпольская, жена Гриши. Впоследствии мы очень сблизились с Верой Федоровной, вся наша семья.

Премия Чино Дель Дука. Фонд помощи детям политзаключенных. Мои выступления 1974—1975 годов: Винс, Давидович; «О праве жить дома»; письмо Сухарто; в защиту курдов; встреча с Генрихом Беллем и совместное обращение. День политзаключенного. Угрозы детям и внукам. Сергей Ковалев

В 1974 году мне была присуждена премия Чино Дель Дука. Это одна из существующих во Франции премий за заслуги в гуманистической области. Ее присуждение явилось большой честью для меня. Премия эта — денежная, и это дало возможность моей жене осуществить ее мечту о фонде помощи детям политзаключенных. Я перевел часть премии на ее имя, эти деньги легли в основу объявленного ею фонда. В это время еще можно было переводить деньги из-за рубежа так, чтобы получатель получал сертификаты «Березки». Деньги переводились по договоренности с банком по переданному банку списку непосредственно имевшим детей женам политзаключенных. Эта форма помощи была очень целесообразной. К началу 1976 года такие переводы стали невозможными, но и фонд был к тому времени, несмотря на некоторые новые поступления, в значительной степени исчерпан. В дальнейшем некоторая сумма была переведена в Чехословакию для помощи детям политзаключенных, главным образом осужденных за участие в Хартии-77.

В 1974—1975 годах мне, как и до и после этого, пришлось выступать по большому числу общественных дел, в защиту людей, ставших жертвой несправедливости. В 1974 году я выступал по делу баптистского пастора Георгия Винса, одного из лидеров нонконформистского крыла баптистской церкви. Преследованиям подверглись три поколения семьи Винсов. Отец Георгия Винса, приехавший в СССР с проповеднической миссией, провел в заключении большую часть жизни, так же как и сам Георгий и его жена; впоследствии в заключении находился сын Георгия Петр.

Другое дело — нескольких офицеров-евреев из Минска, ветеранов войны, добивавшихся разрешения на выезд в Израиль из СССР. Все они многократно получали отказы и подвергались дискриминации и преследованиям. Среди них — полковник Ефим Давидович. В 1976 году, незадолго до его смерти, я познакомился с этим замечательным человеком.

Группа литовцев — бывших политзаключенных — рассказала мне о том трагическом положении, в котором находятся бывшие политзаключенные, лишенные возможности после освобождения вернуться на родную землю. Эта проблема — общая и очень трагическая для всех политзаключенных, часть общего вопроса о свободе выбора места проживания; я уже писал об этом раньше. В 1974 году я написал обращение « О праве жить дома».

Мне стали известны сведения, распространявшиеся Международной лигой прав человека, присылавшей мне свои материалы, и Эмнести Интернейшнл о тяжелом положении множества политзаключенных в Индонезии. В основном это были люди китайской национальности. После неудачной попытки коммунистического переворота в 1965 году сотни тысяч людей — опять же в основном китайцев — были убиты, а значительная часть оставшихся в живых согнана в концентрационные лагеря, часто без суда и следствия, просто по национальному признаку (я пишу об этом на основании тех своих источников, о которых я упоминал выше). Спустя десять лет, в 1975 году, они все еще были там. Я обратился с письмом об амнистии к Президенту Индонезии Сухарто. Ответа я не имел. В 1977 году в Индонезии под влиянием непрерывной и очень мощной международной кампании, в которой Эмнести Интернейшнл и Лига прав играли выдающуюся роль, была проведена частичная амнистия.

Другое трагическое международное дело, в которое я сделал попытку вмешаться, была судьба курдов. Как известно, курды, составляющие значительную, причем весьма активную, трудовую и часто наиболее образованную прослойку во многих странах Ближнего Востока и Азии, на протяжении многих лет вели активную борьбу за свои национальные права, за самоопределение, за автономию. Эта борьба продолжается и до сих пор.

Сейчас в особенности трагично положение в Иране, где Хомейни и его фанатичные сторонники осуществляют жестокие карательные экспедиции, производят массовые расстрелы курдов.

В 1974—1975 гг. особенную тревогу вызывали акции правительства Ирака, в ряде случаев чрезвычайно жестокие, граничащие с геноцидом. Я дважды выступал с открытыми обращениями в защиту иракских курдов — осенью 1974 года и весной 1975 года. В связи с этими выступлениями я получил письмо с благодарностью от Мустафы Барзани, знаменитого лидера курдов, вскоре умершего в эмиграции.

В декабре 1974 года—обращение к Конгрессу США по поводу поправки Джексона — Ваника. Это одно из моих важнейших выступлений, адресованных законодательным органам. В книге воспоминаний Киссинджера моя фамилия упоминается именно в этой связи (скорее неодобрительно). Мою принципиальную позицию по этому вопросу я освещаю в других главах.

В феврале 1975 года я впервые встретился с Генрихом Беллем. Произведения Белля начали печататься в СССР с середины 50-х годов и, наряду с книгами Ремарка, Фаллады и других немецких писателей, были очень важны для людей моего поколения своей глубокой и очень «современной» человечностью, своим противостоянием фашизму во всех его проявлениях. Мы не могли не чувствовать, что сталинизм, формировавший во многом атмосферу, окружавшую нас в юности, это тоже «причастие буйвола».

Белль приехал к нам на дачу с женой Аннемарией, поэтом-переводчиком Костей Богатыревым и художником Борисом Биргером — друзьями Белля, исполнявшими роль высококвалифицированных переводчиков. Мы с Люсей с волнением ждали этой встречи. Люся сделала парадный обед, учтя при этом, что у Белля — диабет, и соответственно приготовив ему то, что можно. Я не имел еще случая похвастаться Люсиными кулинарными способностями. Сама она гордится ими, вероятно, больше, чем многим иным. Готовит она быстро и с удовольствием и с кажущейся легкостью,— но на самом деле «выкладываясь».

У нас во время визита Белля была в гостях Томар Фейгин, мама Ефрема и бабушка Моти. Конечно, и сам Мотя сидел за столом, держался он вполне солидно.

Разговор с Беллем был не простым — и не пустым. При общих, как мне кажется, исходных внутренних предпосылках, при взаимной, как мне чувствуется, симпатии, при свойственной Беллю терпимости, оказалось, что во многом наши оценки, опасения, иерархия целей различны. Это, конечно, неудивительно, если учесть, сколь различны сейчас миры, в которых мы живем — плюралистический, изменчивый, индивидуалистический Запад, сжатый — если говорить об Европе — на маленьком клочке Земли, дорожащий своим материальным благополучием и духовными ценностями (часто больше первым в ущерб второму) и чувствующий их зыбкость, с широкой традиционной демократией, со свободной, играющей огромную положительную роль в жизни общества, но — иногда беспринципной — прессой,— и наша страна с ее партийно-государственной монополией во всех областях жизни, с закрытостью, с полным трагическим отсутствием информационной свободы, скрытым лицемерием и жестокостью, внутренней усталостью, повальным пьянством, ведущим к деградации народа, коррупцией и безответственностью, и одновременно — с огромными просторами и резервами, гигантским населением, разнообразием природы и людей, с унаследованными от прошлого гуманистическими традициями интеллигенции — правда, изрядно растерянными, но в чем-то и вышедшими за ее круг; страна, где все бывает и, по выражению Салтыкова-Щедри-

на, «не соскучишься»; страна, ставшая средоточием мировых проблем, их узлом — так же, как на другом полюсе — США!

В ту первую встречу мы горячо обсуждали вопрос об эмиграции немцев. Я упрекал их соотечественников из ФРГ: правительство, прессу, граждан — в недостатке внимания к этой проблеме; говорил о том, как трагична судьба немцев в СССР, сколь беззаконны получаемые ими отказы и преследования желающих репатриироваться. Белль же говорил о трудностях ассимиляции приехавших из СССР, привыкших к совсем другим нормам поведения, труда, быта; о том, что многие из них чувствуют себя лишними людьми. Но в конце разговора он сказал:

— Жизнь на Западе трудна, а у вас — невозможна!

Во время второй нашей встречи, о которой я пишу ниже (она произошла через несколько лет), мы говорили об ядерной энергетике, о культе автомобиля... В обоих случаях частные темы были, быть может, «надводным» представителем более общей, до формулировки которой мы не успели дойти. Как мне кажется, это было бы выяснение глубинных основ наших позиций.

Одним из результатов нашей встречи в 1975 году было совместное обращение в защиту Владимира Буковского, всех политзаключенных и узников психбольниц, в особенности больных и женщин, отражавшее наше беспокойство, наше желание прекратить несправедливость.

Внутренним результатом встречи с Беллем для меня стало укрепление чувства глубокой симпатии к этому замечательному человеку.

Продолжение следует

Довид Кнут

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

О том, что в мировой русскоязычной поэзии существует такое имя, как Довид Кнут, я узнал раньше, чем прочитал его стихи. Слава всегда идет впереди легендарного человека. При каждой встрече, а это было лет десять—двенадцать назад, Владимир Брониславович Сосинский, вернувшийся из Парижа в Россию в 1961 году, рассказывал мне о своем друге-поэте: «Как жаль, что наш читатель даже не слыхивал о Довиде Кнуте!» — горевал он. «Не слыхивал и сегодня»,— с горечью добавляю я. В нашей печати стихи Довида Кнута не публиковались еще ни разу. А между тем его лира, страстная, торжественно-громкая, брала самые высокие ноты в поэзии русского рассеяния.

Его знала и любила парижская эмиграция. К нему благоволила разборчивая Зинаида Гиппиус, рекомендуя его стихи в журналы и альманахи. Стоило только Владиславу Ходасевичу один раз услышать стихи Довида Кнута, как он приблизил его к себе. Юрий Терапиано считал лучшей книгой Довида Кнута и одной из лучших книг всей эмигрантской поэзии «Парижские ночи», вышедшую в 1932 году. Когда я снимаю ее с полки и перечитываю, мне слышится дыхание высокой и мудрой речи, вдохновленной призраком близкого дыхания любви:

Ты вновь со мной — и не было разлуки,
О, милый призрак радости моей.
Ты вновь со мной — твои глаза и руки
(Они умнее стали и грустней).
Они умнее стали — годы, годы...
Они грустнее, с каждым днем грустней:
О, сладкий воздух горестной свободы,
О, мир, где с каждым часом холодней...

Этот холодный и страшный час неотвратимо приближался. Второй женой поэта была Ариадна Александровна Скрябина, дочь известного композитора. Оба они принимали участие в движении Сопротивления. А. Скрябина попала в лапы фашистов, и ее расстреляли на месте. Настоящий поэт редко ошибается в предощущениях.

Книжку «Парижские ночи» завершает ставшее знаменитым стихотворение «Я помню тусклый кишиневский вечер», о похоронах бедного еврея. В поэзии Д. Кнута звучал «голос тысячелетий» (первая его книга так и называлась «Мои тысячелетья»), древний голос страны обетованной. Еще один почитатель таланта Д. Кнута, Глеб Струве, свидетельствует: «Библейская тема, библейски окрашенная эротика, высокая дикция, характеризовали одну сторону поэзии Кнута. Ведь Давид Миронович Фихман (1900—1955) родился в Кишиневе в семье торговца. Сквозь всю его поэзию проносятся мотивы «бедного и грубого тела», но «веселой души».

Современники вспоминают, что Довиду Кнуту были чужды всяческие окололитературные интриги и злобство. Одной из самых темных сторон человеческой натуры он считал зависть. Любя и помогая слабым и сирым, он сам бывал временами «нищее нищего». Но понятие добра неразрывно соединилось в нем как в поэте и как в человеке.

Уехав после войны в Израиль, он стал писать и на иврите, и, по-видимому, русская поэзия многое потеряла...

Феликс МЕДВЕДЕВ

Предчувствие

Исполнятся поставленные сроки —
Мы отлетим беспечною гурьбой
Туда, где счастья трудного уроки
Окажутся младенческой игрой.

Мы пролетим сквозь бездны и созвездья
В обещанный божественный приют
Принять за все достойное возмездье —
За нашу горечь, мужество и блуд.

Но знаю я: не хватит сил у сердца,
Уже не помнящего ни о чем,
Понять, что будет и без нас вертеться
Земной — убогий — драгоценный ком.

Там, в холодке сладчайшего эфира,
Следя за глыбой, тонущей вдали,
Мы обожжемся памятью о сиром,
Тяжеловесном счастии земли.

Мы вдруг поймем: кусок земного хлеба
И пыль земли, невзрачной и рябой,
Дороже нам сияющего неба,
Пустыни серебристо-голубой.

И благородство гордого пейзажа —
Пространств и звезд, горящих как заря,
Нам не заменит яблони, ни даже
Кривого городского фонаря.

И мы попросим набожно и страстно
О древней сладостной животной мгле,
О новой жизни, бедной и прекрасной,
На милой, на мучительной земле.

Мне думается: позови нас, Боже,
За семь небес, в простор блаженный свой,
Мы даже там — прости — вздохнем, быть может,
По той тщете, что мы зовем землей.

Похвала лени

Розовеет гранит в нежной стали тяжелого моря.
В небе медленно плавится радостный облачный снег.
На нагретой скале, позабыв про удачу и горе,
На вершине ее — одиноко лежит человек.

Человек — это я. Незаметный и будто ненужный,
Я лежу на скале, никуда — ни на что — не смотря...
Слышу соль и простор, и с волною заранее дружный,
Я лежу, как тюлень, я дышу — и как будто бы зря!

Он огромен, мой труд. Беззаботный, но опытный мастер,
Я себя научил неустанно и верно хранить
Память древней земли, плотный свет безусловного счастья,
Дар, веками скопленный: лежать, растворяться, любить.

Подвиг

В дремучей скуке жизни бесполезной
Блюсти закон и ежедневный блуд,
Работать, есть и спать почти над бездной —
Вот праведный и мужественный труд.

Жить полной волей, страстной и упрямой,
В однообразьи оловянных дней,
Ходить упруго, весело и прямо
Навстречу верной гибели своей.

Нет подвига достойнее и выше:
Так жить, чтоб ничего не отдавать
Ни за бессмертье, что порой предслышим,
Ни за прошедших жизней благодать.

Два глаза

Два глаза — два окна в победоносный воздух!
Я много лет их у Тебя просил!
Две вести о крылах, о чудесах и звездах,
Два обещанья радости и сил.

Два глаза — два окна, распахнутые настежь
В края невероятной полноты.
Две двери в очистительное счастье —
В очарованье райской наготы.

Два глаза — две страны, две радостные сферы
Бесстыдной и ликующей любви,
Два праведных луча, два страстных знака веры,
Два раза утвержденное: живи.

Музыка

Я все веселья отдаю — и рад —
За слабый звон нездешних струн и смеха,
За переброшенное сотни крат,
Из тьмы во тьму летающее эхо.

В полночный час я стерегу простор.
Коплю улов, дрожащий в лунном свете...
Плыви в меня, таинственный восторг!
Я жду тебя, стою голодной сетью!

На что мне — слезы, радость и печаль!
На что мне пыль и шум земной услады!
Душа моя, прощайся — и отчаль
В тишайший край незыблемой прохлады!

Течет и плещет тихий океан
И берега холодные чарует...
Я слышу песню мимолетных стран,
Что благосклонно выплеснули струи.

Я слышу невозможные миры —
И я иду, счастливый и покорный.
Туда, где — знаки выспренней игры —
Качаются серебряные зерна.

О, Господи, промолви мне: растай! —
И кану в тьму, благодаря и веря.
Как сладок ропот музыкальных стай,
Что плещутся о Твой зеленый берег!

Семена

На плодородный пласт, на лист писчебумажный
Чернильные бросаю семена.
Их греет лампы свет, застенчивый и важный,
А удобряют — ночь и тишина.

И вижу в полумгле, стихом отягощенной,
Пугливый черный музыкальный рост...
Цвети, словесный сад, ночным трудом взращенный,
Открытый всем, кто одинок и прост.

Здесь, в полумгле ночной, убогой и суровой,
И темное — видней, и тайное — слышней...
О, полуночный плод, о, зреющее слово
Косноязычной горести моей.

О чем сказать

О чем сказать: о сини безвоздушной,
О скуке звезд, дрожащих надо мной,
О песне ли, мятежной, но тщедушной,
О песне, усмиренной тишиной,

О Розанове ль, на столе лежащем
Вопросом, на который смерть — ответ,
Иль обо мне, бессонном подлежащем,
К которому сказуемого нет?

Друзья мои, полночные предтечи,
Как трудно ночью спать, а не бродить,
Когда нам нечем, десятижды нечем
Ночную душу умиротворить...

Луна висит над мертвою деревней
Приманкою, что бросил в мир Рыбак...
О, жадность, слепота добычи древней,
О, лай — о чем-то знающих — собак.

Город

Меж каменных домов, меж каменных дорог,
Средь очерствелых лиц и глаз опустошенных,
Среди нещедрых рук и торопливых ног,
Среди людей душевно-прокаженных...

В лесу столбов и труб, киосков городских,
Меж лавкой и кафе, танцулькой и аптекой
Восходят сотни солнц, но холодно от них,
Проходят люди, но не встретишь человека.

Им не туда идти — они ж почти бегут...
Спеша, целуются... Спеша, глотают слезы.
О, спешная любовь, о, торопливый труд
Под безнадежный свист косматых паровозов.

Кружатся в воздухе осенние листы.
Кричат газетчики. Звеня, скользят трамваи.
Ревут автобусы, взлетая на мосты
Плывут часы, сердца опустошая.

И в траурном авто торопится мертвец,
Спешит — в последний раз... (к дыре сырой и душной)

...Меж каменных домов, средь каменных сердец,
По каменной земле, под небом равнодушным.

Нищета

Мы постепенно стали отличать
Поддельные слова от настоящих.
Мы разучились плакать и кричать,
Мы полюбили гибнущих и падших.
И стало все пронзительней, трудней,
И стало все суровее и проще,
Слова — бедней, молчание — нежней...

...Я вышел на пустеющую площадь —
Все тот же мир: цветет фонарный ряд,
Ночь настигает город и предместье,
Над миром звезды мертвые горят
Прекрасной страшной беспощадной вестью.

О, чуток слух и зряч надменный взгляд
Тех, что заброшены и одиноки...
Но есть еще — мучительный закат,
Любимые безжалостные строки.
Еще нередко человечий взор
И молчаливое рукопожатье
Нам облегчают тяжесть и позор
Библейского жестокого проклятья.

В дневном поту и в холоде ночей
Все горше терпкий вкус любви и хлеба.
И вот — в последней нищете своей —
Мы избегаем вглядываться в небо:
В пустыне мира глухи небеса
К слабеющим мятежным голосам,
Что гибнут в синей музыке вселенной...

О, бедность наша, будь благословенна.

Противоречья

Остались — собиравшиеся ехать,
Вернулись — кто уехал навсегда.
В высоком доме девичьего смеха
Захлопотала юркая беда.

Живет века — Джоконда неживая.
Расстались те, что в верности клялись.
А те, что утром встретились в трамвае,
Уже обречены любви на-жизнь.

Цены не знает радости богатый,
А тот, кто знает, — беден, слаб и нищ.
Отрады мира скорбию чреваты,
А мудрость любит горесть пепелищ...

И ничего ни в чем не понимая,
Случается, в час гибельный, ночной
Порой я смысл какой-то постигаю,
Тень правды вдруг мелькнет передо мной.

Но рассказать другому не умею,
Но передать словами не могу
И потому смущен — и цепенею,
Безмолвствую, кощунствую и лгу.

Письмо

Ты меня никогда не забудешь,
И не властны над встречей из встреч
Ни соблазны, ни время, ни люди,
Ни томленье надгробное свеч.

В этом мире, где камни непрочны,
Где святые и ангелы лгут,
Я тебе обещаю бессрочный,
Нерушимый и нежный приют,

В твоем сердце — любви незабвенной,
В твоем теле — последней любви,
Кровожадной, бесстыдной, смиренной
И упрямой, как губы твои.

Ты забудешь — над чем горевала,
С кем встречала в России весну,
Копоть, смрад и лотки у вокзала
(Где мой полк уходил на войну)...

Ты забудешь родных и знакомых,
И любимые колокола,
Даже номер счастливого дома...
Ты забудешь, зачем ты жила,

Все отдашь. Только память о чуде
Наших встреч навсегда сбережешь.
Будешь помнить, как скудные будни
Озарила любовная ложь.

Будешь помнить дремучие сферы,
Где восторженно слушала ты,
Как кружились над счастьем без меры
Ветры гибели и пустоты.

Разлука

Как в море корабли, как волны в океане
(Где в теме встречи — рокот расставанья),
Как поезда в ночи... (Скрестившись, как мечи —
Два долгих и слабеющих стенанья).

Как в море корабли... О, нет, совсем не так.
И проще, и страшней: в безбрежном мире буден
Мы разошлись с тобой, родной и нежный враг,
Как разлюбившие друг друга люди.

Одиночество

Тише... Что ж, что оказалось ложью
Все, чем жил — все, от чего умрешь!
Ведь никто тебе помочь не сможет,
Ибо слово п о м о щ ь тоже — ложь.

Все в порядке. Улица и небо...
Тот же звон трамваев и авто.
Грустно пахнет зеленью и хлебом.
Все, как было: все — не то, не то.

Ты забыл, что наша жизнь смертельна,
Ты кричишь в надежде беспредельной.
Не услышит — никогда — никто.

— Друг мой...
Нет ни друга, ни ответа.
О, когда бы мог не быть и я!

За домами, в пыльные просветы,
Сквозь деревья городского лета
Проступает, чуть катимый ветром,
Белый океан небытия.

Метулла

Мерно рубит старик неподатливый пласт
На заброшенной каменоломне,
Вырубая слова твои, Экклезиаст,
Что душа престарелая помнит.

В мировой суете — всему время свое,
Время плакать и время смеяться,
Время — все отдавать за погибель вдвоем,
Время — с самой любимой расстаться.

Время — словно забыв о парижской весне,
Легкомысленно-звонкой и щедрой,
Постоять под смоковницей, как в полусне,
Иль под скучною вечностью кедра.

Все истлеет. Порвется крепчайшая нить,
Ляжет пыль надо всем и над всеми,
Но не время еще погибать иль грустить,
А любить и надеяться время.

Слава Богу, еще не разбился кувшин,
И висит колесо над колодцем.
И не страшен кружащийся ветер вершин,
И дорожная песня поется.

Вот проходит красавица, кутаясь в шаль.
Нет, не все тут окажется ложью!
Умножающий знание множит печаль,
Но любовь укрепит и поможет.

Публикация Ф. Медведева

Евгений Стариков

ФАРАОНЫ, ГИТЛЕР И КОЛХОЗЫ

(КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ — ДРЕВНЮЮ И НЕ ОЧЕНЬ)

1

Собственность на средства производства в Древнем Египте была «общенародной», то есть государственной. И в этом плане Древний Египет мало чем отличался от своих соседей — повсюду в те далекие времена царил «азиатский» способ производства. В ремесленной индустрии все мастерские, естественно, тоже были государственными, а рабочая сила товаром не являлась — попросту говоря, древнеегипетский работяга был прикреплен государством к своему предприятию и «уволиться» с него права не имел. Ну, для нас это дело знакомое — сами такое право лишь в 1956 году приобрели, тем самым сильно опередив древних египтян в области прав человека. Все остальное в древнеегипетском производстве нам тоже не в диковинку: на государственных предприятиях пользовались государственным инструментом и государственным сырьем под присмотром государственных чиновников, а всю продукцию сдавали государству же, причем действовала очень строгая госприемка.

Древнеегипетская рабсила делилась на квалифицированную («мастера») и неквалифицированную (название до сих пор египтологами до конца не расшифровано). Уже в те древние времена существовало нечто вроде трудового законодательства, по которому рабочий день «мастеров» ограничивался восемью часами. Работали они по десятидневкам, каждый одиннадцатый день был выходным; не работали и в праздничные дни. От государства «мастера» получали должностные владения, то есть дома в «поселке мастеров» (мы назвали бы эти дома «ведомственной жилплощадью»), и еще гробницу бесплатно, что при серьезном отношении древних египтян к загробному миру тоже было нелишним. Денег в то время еще не изобрели, и поэтому зарплата выдавалась натурой с государственных складов в виде продовольственных пайков, одежды и прочего ширпотреба.

Как видим, положение древнеегипетских «мастеров» было не столь уж и плохим, хотя свободными этих прикрепленных к своим местам работников назвать нельзя. Историк Р. М. Нуреев определяет их как «наемных работников древневосточного типа, для которых характерно противоречивое сочетание признаков рабства и наемного труда». Несмотря на свое полурабское положение, «мастера» цену себе знали и при необходимости постоять за себя могли. Вот что пишет по этому поводу Р. М. Нуреев: «Ремесленники были объединены в корпорации, которые уже со времен Древнего царства отстаивали свои права. В случае длительной задержки оплаты ремесленники бросали работу до тех пор, пока оплата не возобновлялась. Истории Древнего Востока известны примеры таких древнейших забастовок». А ведь мы-то вплоть до наших недавних шахтерских забастовок думали, что явление это имеет место лишь там, где рабочая сила — товар и где царит «наемное рабство». Ан нет, трудящиеся Древнего Египта доказали, что и в безрыночно-безденежном обществе могут быть и стачкомы и забастовки — причем не только экономические, но и политические. Шаржирую, позволяю себе натянутые параллели и искусственные ассоциации? Ничуть. Приведу для примера документальную хронику событий XII века до на-

шей эры. Речь идет о работниках, занятых наиболее важным, с точки зрения древних египтян, делом — о рабочем «соединении» (нечто вроде нашего строительно-монтажного управления), трудившемся на царском кладбище. К заупокойным обрядам, повторю, египтяне относились трепетно, особенно если дело касалось царей, и вряд ли работники этого кладбищенского «СМУ» уступали по престижности своего труда ну хотя бы нашим шахтерам. Но бюрократическое начальство одинаково на протяжении тысячелетий — будь то в Кузбассе нашего XX века или в египетском «городе мертвых» XII века до новой эры. Короче говоря, древнеегипетское начальство приворовывало из царских житниц, создавая тем самым продовольственный дефицит, а голодным работникам заявляло, что продовольствия в житницах нет. И вот, как сообщает историк, «10-го числа 2-го зимнего месяца 29-го года царствования Рамсеса III изголодавшиеся работники прорвались через пять укрепленных стен, окружавших царское кладбище, где они трудились», и, организовав нечто вроде митинга, требовали к себе начальство и взывали к главе государства (фараону) и к главе своего ведомства. Администрации и работникам идеологического фронта (жрецам) они заявили: «Мы пришли сюда от голода и жажды. Нет одежды, нет масла, нет рыбы, нет зелени. Напишите о них фараону, нашему владыке, и напишите верховному сановнику, нашему начальнику, чтобы нам предоставили средства к существованию» (подлинный текст). Как водится в таких случаях и по сей день, проворовавшееся местное начальство испугалось огласки и, дабы как-то разрядить обстановку, выдало голодающим довольствие... за прошлый месяц, а в остальном кормило работников бесчисленными обещаниями, естественно, не выполнявшимися. Посулы сменялись угрозами «суда», угрозы сменялись новыми лживыми посулами... В общем, терпение забастовщиков лопнуло и они перешли от экономических требований к политическим. Проблема продовольственного дефицита отодвинулась на задний план — весь гнев обрушился на местную «номенклатуру»: «Воистину, мы прошли [стены] вовсе не от голода, мы имеем сделать важное показание: воистину, неправда творится в этом месте фараона» (подлинный текст). Поскольку «неправда творилась» и в других «местах фараона», вечно идти на попятную перед требованиями древнеегипетских «масс» для древнеегипетской «номенклатуры» не было резона — что же тогда красть, если всех работяг снабжать по справедливости? Были у древнего руководства и свои контрпретензии к «мастерам»: поскольку «наемный работник древневосточного типа» трудился не на рынок, а «на дядю», то есть на государство, трудовая дисциплина у древних египтян хромала не меньше, чем у наших соотечественников сегодня. Даже при нормированном восьмичасовом рабочем дне древнеегипетские «мастера», как пишет историк Е. С. Богословский, «прогуливали целые рабочие дни и не выполняли нормы. Тем не менее из источников нельзя установить, производились ли систематические и сколько-нибудь действенные наказания. За это даже редко пороли, хотя вообще-то в Египте пороли за малейшие провинности и без них...». С точки зрения древнеегипетского государства древнеегипетские трудящиеся вконец изнахалились, поскольку к забастовкам, митингам и прогулам «мастера» добавили требование сделать их должностные владения наследственными, то есть, выражаясь современным языком, передать «ведомственную жилплощадь» в личную собственность «квартиросъемщиков». Терпение государства истощилось и... «мастеров» приравняли к «неквалифицированным». А быть «неквалифицированным» в Древнем Египте — не приведи господь! Работали они без выходных и праздничных дней, даже древнеегипетский новый год встречали на своем рабочем месте. За невыполнение нормы несли коллективную ответственность, так что следили друг за другом, и в случае чего неисправный работник получал «внушение» прежде всего от своих же товарищей. Все занятия считались равно неквалифицированными, и каждый мог быть легко переброшен на другую работу. Жили они за пределами поселков «мастеров» в трущобах, их продуктовый паек был намного меньше. Что и говорить, условия несладкие — одним словом, «лимита́» древнеегипетская. Но, с другой стороны, государство гарантировало им и этот продовольственный паек, и минимум одежды с государственных складов, и бесплатные трущобы. А в стране с избыточным населением эти нищенские социальные гарантии значили немало. История не сохранила для нас сведений о том, как «неквалифицированные» встретили известие о переводе в их состав бывших «мастеров». Но, думается, мы не ошибемся, если на основе собственного житейского опыта предположим, что древнеегипетские чернорабочие со злорадством приветствовали стремление своего фараона к «стиранию социальных различий», выразившееся в приравнивании сложного труда к простому.

Тенденция к нивелированию рабочей силы по низшему уровню свойственна всем странам «азиатского» способа производства. И если в Египте Нового царства этот процесс принял более менее мягкие, «брежневские» очертания, то в Шумере, во времена III династии Ура, которая шутить не любила, все это отлилось в предельно жесткие формы древневосточного «сталинизма». Государственные работники Шумера, как пишет историк А. И. Тюменев, «разбитые на партии, подчиненные особым надзирателям.., передавались по мере надобности из рук одного надзирателя во временное распоряжение другого, перебрасывались с одной работы на другую, наконец, в связи с объединением местных хозяйств, пересылались из одного хозяйственного центра в другой. В такие условия поставлены были теперь не только неквалифицированные работники.., но и профессиональные ремесленники, не исключая представителей наиболее квалифицированных видов ремесленного труда». У создателя этой каторжной системы государственного хозяйства царя Шульги были твердые принципы, которыми он никогда не поступался: купля-продажа земли, как и вообще всякая частная нажива, была запрещена, в государственную собственность передано все, что только можно, стерты были все различия не только между «умственным и физическим», «городом и деревней», но и между мужчиной и женщиной, взрослым и ребенком: женщины и дети выполняли те же работы, что и мужчины,— землекопа, грузчика, бурлака... При подобных «гулаговских» методах эксплуатации смертность рабсилы достигала в среднем от 20 до 25 процентов к общему числу занятых в госсекторе, а на особо тяжелых участках — до 35 процентоа.

В чем же смысл подобной бесчеловечной нивелировки всех и всяческих видов труда к некоему среднему знаменателю, а именно к труду чернорабочего? Ну точь-в-точь как у Верховенского в «Бесах»: «Мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство».

А иначе и быть не может в безденежно-бестоварно-безрыночном хозяйстве, принадлежащем государству, будь то государство «азиатского» способа производства или же «реального» социализма. Ведь наличие ярко выраженных индивидуальных особенностей предполагает и наличие индивидуальных потребностей. И удовлетворять эти различные потребности можно лишь путем эквивалентного обмена различными потребительными стоимостями. А такой взаимный обмен возможен лишь между хотя и совершенно разными, но одинаково равноправными субъектами. Короче говоря, различие способностей и потребностей может процветать только в условиях рынка, который разные потребительные стоимости сводит к всеобщему эквиваленту — деньгам. Ну а там, где нет свободного обмена, где государство сгребает весь произведенный продукт в один общий котел (на тюремно-лагерном жаргоне — «общак») и уже из него производит централизованное распределение,— там вполне естественно должны существовать не разнообразные субъекты (собственности и права), а лишь объекты, лишенные индивидуальных особенностей, со стандартными, унифицированными, раз и навсегда данными и несменяемыми потребностями (конечно, минимальными, аскетическими). Ведь, согласно К. Марксу, «распределение определяется как момент, исходящий из общества, а обмен — как момент, исходящий от индивидов»[1]. Отсюда — примитивный эгалитаризм, огосударствление как подавление индивидуального разнообразия, нивелировка личности по низшему уровню. «Формы правления азиатского типа вырастают из негативной реакции публичной власти на отношения товарного обмена, зародившиеся

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том. 46, ч. 1, стр. 25.

в недрах общества...— считает историк-востоковед М. А. Виткин.— Преследуя всеобщий интерес, государство приходит в противоречие с особыми интересами, встает на путь их подавления и установления над ними господства». Противостоять всеобщей унификации и нивелировке может лишь рынок — именно он автоматически отделяет сложный труд от простого, более производительный от менее производительного, вознаграждая каждый по заслугам. Если же нет товарного обмена, нет рынка, то открывается безграничное поле для реализации идеи повального равенства. Вряд ли суть этого равенства можно сформулировать более откровенно и лапидарно, чем это сделал в прошлом веке представитель грубо-уравнительного «коммунизма» Вейтлинг: «Никакое частное преимущество не должно иметь места; этого мы хотим ради выгоды тех, кем пренебрегла природа». Что ж, прав оказался П. А. Столыпин, когда в речи перед II-й Государственной Думой 10 мая 1907 года сказал: «...Приравнять всех можно только к низшему уровню. Нельзя человека ленивого приравнять к трудолюбивому, нельзя человека тупоумного приравнять к трудоспособному». Ленивым, тупоумным и всем тем, «кем пренебрегла природа», этого и не надо — они хотят обратного: чтобы умелых и талантливых низвели до уровня чернорабочих. Но, став на путь такой нивелировки и сказав «а», придется затем проговаривать и весь алфавит. Иронизируя по поводу принципов абсолютного равенства, мыслитель прошлого века Вильгардель заметил, что наиболее последовательно и полно эти принципы уже реализованы в тюрьмах. Лагерь — неминуемое логическое завершение эгалитаристских утопий. Что и было экспериментально доказано еще за несколько тысяч лет до нашей эры, а потом многократно подтверждалось вплоть до наших дней. Концлагерь — предельный, экстремальный случай тотального равенства, идеальная, логически «чистая» его модель. Посмотрим на примере этой модели, зачем и кому нужно низводить сложный труд до уровня простого.

Австрийский психолог Бруно Беттельгейм, будучи заключенным в Дахау, а затем в Бухенвальде в 1938 и 1939 годах, провел своеобразное социально-психологическое исследование методом, который социологи именуют «включенным наблюдением». Вот как комментирует результаты этого исследования советский психолог М. Максимов: «Конечно, в лагере не так уж много возможностей для квалифицированного труда, но кое-что все же есть — небольшие заводы, мастерские и так далее. Представим себе интеллигента, который попадает, скажем, на кирпичный завод. Поначалу у него все валится из рук, вместо кирпичей — причудливой формы лепешки. Но он очень старается. И вот месяца через три он уже делает вполне приличные кирпичи... Но как только эсэсовцы замечают, что у заключенного кирпичи начинают получаться, его сразу же переводят на другую — самую грязную и тяжелую работу. Цель — показать тебе, что от твоего умения, старания, от тебя ничего не зависит. Ты будешь делать то, что может сделать любой. Еще лучше, если эта работа к тому же и бессмысленна. Отсюда перетаскивание камней с места на место и погрузка песка в вагоны ладонями». Итак, одна из целей низведения сложного труда до уровня простого — психологическое подавление личности. Сам Бруно Беттельгейм пишет по этому поводу: «Ни при каких обстоятельствах не дадут они заключенному стать личностью через свои собственные усилия, даже если эти усилия полезны для СС». Другая причина — экономическая: нивелировка рабочей силы уменьшает необходимое рабочее время, увеличивая тем самым время прибавочное, а следовательно — степень эксплуатации. Сопутствующее понижение качества труда, да и чисто количественной его производительности, компенсируется в глазах «командиров производства» удобством управления обезличенной (а отсюда — и покорной) рабочей силой.

Ну, а теперь от древнеегипетской и тюремно-лагерной экзотики перейдем к отечественным трудовым будням. Еще в 1917 году В. И. Ленин предсказывал: «Все общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равенством платы»[1]. На пути к этому идеалу мы достигли ощутимых результатов. В 1931 году были утверждены тарифные ставки, о которых С. Н. Федоров сказал: «Тарифная ставка отрицает принцип справедливого распределения по

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 33, стр. 101.

труду. Работаешь хорошо, работаешь плохо — почти одно и то же». В 1956—1965 годах количество разрядов сокращено с 8 до 6, а разрыв в тарифных ставках уменьшился с 3,5 до 1,5—1,7 раза. Но реальные различия в производительности труда рабочих, выполняющих одну и ту же операцию, очень большие. Причем наполовину эти различия обусловлены стажем и квалификацией, наполовину — отношением к труду. Вместе эти половины обусловливают перепад в производительности труда в 40—70 процентов между плохим и хорошим рабочим. И огромной разнице в произведенной работе соответствует разница зарплаты в... 13 рублей (данные Н. А. Аитова по результатам исследований в Уфе). Ну как тут не вспомнить слова П. Г. Бунича, произнесенные им на первом Съезде народных депутатов СССР: «...Когда человек хуже работает, ему лучше. В расчете на единицу труда он зарабатывает больше. Поэтому у нас существует не тяга подняться снизу вверх, а тяга опуститься сверху вниз... Я бы сказал вот что: «Кто не работает — тот ест того, кто работает».

Колоссальными темпами и со все нарастающим ускорением падает уровень зарплаты инженерно-технического персонала относительно зарплаты рабочих. В 1937 году зарплата инженера на производстве составляла 1500 рублей в месяц против 200—300 у квалифицированного и 110 — у неквалифицированного рабочего (по номиналу тех лет, естественно). В 1970 году в промышленности среднемесячная зарплата инженеров превышала зарплату рабочих на 47,4 рубля, а в 1986-м — всего на 22,6 рубля. В строительстве и того «лучше»: 1970 год — зарплата инженера на 51,5 рубля больше; 1986 год — на 6,1 рубля м е н ь ш е, чем у рабочего. И вот результат: в целом по стране более 20 процентов инженерно-технических работников сменили профессию и занимаются трудом, не требующим столь высокой квалификации. Оставшиеся же на своих должностях инженеры понизили трудовую отдачу до уровня своей нищенской зарплаты, как следствие, их профессиональный уровень упал, произошла деквалификация и депрофессионализация. А если вместе с инженерами взять дипломированных специалистов в целом, включая учителей, врачей, агрономов, то окажется, что 4 миллиона человек (около 12 процентов общей численности) трудятся не по специальности. Единственная на сегодня реальная возможность для высококвалифицированного специалиста или рабочего спастись от депрофессионализации — включиться в начавшийся с открытием наших границ процесс «brain-drain» — утечки мозгов. Трагичный «выход» из ситуации. Трагичный для отъезжающих; вдвойне, втройне трагичный для страны, ибо на восстановление утерянного «мозгового» потенциала потребуется смена двух поколений. Отставание теперь уже не от Запада, а от стран «третьего мира» — вот плата за тюремно-лагерный уклад, за копирование «социальной политики» египетских фараонов XX династии и царей III династии Ура, живших в XXI веке до нашей эры. На подходе XXI век нашей эры — так не лучше ли выбрать для подражания иные образцы?

2

В статье Игоря Клямкина «Почему трудно говорить правду» («Новый мир» № 2, 1989 год) есть раздел под заголовком «Как нам себя называть?», перекликающимся с заголовком вышедшей в том же году книги Л. А. Гордона и Э. В. Клопова «Что это было?»,— размышления по поводу триединого вопроса: кто мы? где находимся? куда идем? Теоретическая суть этого вопроса понятна: авторы желают определить формационную принадлежность общества, которое было построено в нашей стране за 70 лет советской власти. Что это за формация? Какой способ производства? Было ли в истории человечества нечто подобное или же это что-то новое, неизвестное? Вот что по этому поводу думает И. М. Клямкин: «Не обнаружив ничего подходящего рядом, стали искать сзади. Взгляд скользнул по векам и эпохам — и быстро добрался до Древнего Востока. Показалось — вот оно наконец-то, то самое, вот они, наши истоки. Понятно, что и это открытие не дошло до трибун и печатного станка ни в 60-х, ни тем более в 70-х. Но зато сейчас оно тиражируется широко и беспрепятственно: у нас не социализм, у нас — «азиатский способ производства»!

Это уже теплее. Но еще не горячо. Да, азиатский способ производства — это замкнутое натуральное или мелкотоварное хозяйство, это регулирующая роль государства в экономике при культе первого лица, наделенного неограниченной властью. И все же... Все же азиатский способ производства — дитя сельскохозяйственной, а не индустриальной цивилизации. А самое главное — азиатское государство, регулируя хозяйственные связи между общинами, не вмешивается в их внутреннюю экономическую жизнь. Но у нас-то совсем другое, у нас — всепроникающее, тотальное огосударствление!»

Очень жаль, что столь эрудированный автор, как И. М. Клямкин, впал в широко распространенное в научной среде предубеждение против так называемого «опрокидывания древности в современность», а проще говоря, против широкомасштабного и непредвзятого сопоставления современных и архаичных социально-экономических систем. Все обнаруженные таким путем аналогии обычно заранее объявляются натяжками, а инварианты исторического развития рассматриваются как поверхностные параллели чисто конъюнктурного свойства; попытки сопоставления архаичных и современных структур заранее считаются ненаучными, не учитывающими «качественно иной этап развития», несопоставимость «уровней производительных сил» и т. д. и т. п. Вот и у Клямкина те же аргументы. Мне кажется, пришла пора с этими расхожими аргументами разобраться.

Итак, аргумент первый — насчет «детища индустриальной цивилизации» и несопоставимости уровней развития производительных сил. Вроде бы аргумент настолько убийствен в своей самоочевидности, что и спорить не о чем. Ну как, в самом деле, сопоставить СССР и Древний Египет по такому экономическому показателю, как выплавка стали? Мы свыше 160 миллионов тонн в год ее получаем, а египтяне стали вообще не знали, дай бог, бронзы 3—5 тысяч (не миллионов) тонн в год выплавляли. О чем тут вообще говорить?

Не спешите с выводами. Читал я где-то, что во время войны с американцами на Тихом океане у японских моряков бытовала горько-ироничная поговорка: «В мире есть три абсолютно бесполезные вещи: египетские пирамиды, великая китайская стена и линкор «Ямато»». И в самом деле, флагман японского военного флота, крупнейший в то время в мире боевой корабль водоизмещением более 60 тысяч тонн, с полуметровой броней и невиданными 450-миллиметровыми орудиями, так за всю войну ни разу своими двухтонными снарядами и не выстрелил. Уже в конце войны японские адмиралы, пытаясь любой ценой реализовать колоссальную ударную мощь своего любимого монстра, бросили его против американской авианосной эскадры. За несколько сот миль от нее он был обнаружен, а затем и потоплен американской палубной авиацией.

Так вот, мораль сей притчи такова: к перечисленным в японской морской поговорке трем самым ненужным в мире вещам мы можем вслед за героическим линкором присовокупить свою не менее героическую тяжелую индустрию. От пирамид, стены и линкора ее отличает разве что одно: если первые три великие бесполезности в общем-то безвредны, как говорится, «есть не просят», то о нашей индустрии этого не скажешь,— занимаясь главным образом расширенным воспроизводством самой себя, она в то же время не только загрязняет окружающую среду и истощает природные ресурсы, но и наводняет нашу денежную систему «пустыми» рублями, выданными в виде зарплаты занятым в ней работникам. Отоварить рубли нечем: к выпуску продукта конечного спроса (того, что нужно людям) наша тяжелая индустрия отношения не имеет. Мне могут возразить, что задача отраслей группы «А» — не население снабжать, а группу «Б» обеспечивать станками и машинами. Верно! Но вот этого-то она (группа «А») как раз и не делает. Несчастная группа «Б» до сих пор зачастую использует станки, выпущенные у нас давным-давно или купленные за рубежом. Так вот, к вам вопрос (это я к Клямкину обращаюсь): а какое вообще отношение наша тяжелая индустрия имеет в таком случае к производительным силам и к экономике? Ведь экономика и производительные силы — это по самому своему определению то, что производит нечто полезное для человека. Наша тяжелая индустрия полезного для человека производит мало, а вредного — от выбросов и отходов до неотоваренных рублей — сколько угодно. Если это и экономика, и производительные силы, то со знаком минус — антиэкономика, разрушительные силы. Сравнивать их по уровню с экономикой Древнего Востока действительно смысла никакого нет, но не потому, что у этих «сил» «уровень несопоставимо выше», а потому, что к экономике они имеют такое же отношение, как и египетские пирамиды. И еще один ехидный вопрос Игорю Клямкину: а если бы египетские фараоны вместо пирамид насооружали металлургические комбинаты и завалили весь Египет чугуном и сталью — перешел бы тогда Древний Египет на более высокую (может быть, даже социалистическую — учитывая тотальное господство государственной собственности в фараоновском Египте) стадию развития? Эх, уж лучше бы наши ведомства пирамиды строили вместо гигантов индустрии. Очень по этому поводу хорошо Алексей Черниченко высказался: «Поистине блажен, кто не ведает, что это «индустриальное величие» в доставшемся от Сталина безвариантном варианте с его, будь он неладен, чугуном и трактором на душу населения — кошмарнейшая, безвыходнейшая экономическая ловушка, экстенсивный темный тупик. Знать бы философу, что храмы старой веры пригодились Сталину под зерносклады и клубы, а вот храмы его, сталинской веры (точнее, в н е г о веры), все эти гиганты-первенцы, и под такое не годятся, они-то и вяжут нас сегодня больше всего, не дают повернуться, сманеврировать в тупике, чтобы найти верный путь. Именно из-за них, как в кошмарном сне, когда не в силах проснуться, мы продолжаем топить себя в тракторах, комбайнах, тоннах чугуна, самых многочисленных и плохих в мире. Именно эти гиганты ни в кооператив переделать, ни в аренду отдать невозможно. И остановить — как? Ведь с ними связаны сотни тысяч людей». Так что, если уж и сравнивать наши и «азиатские» производительные силы, то тяжелую индустрию придется вынести за скобки. Сравнивать следует отрасли группы «Б» и сельское хозяйство. Ну что же, сравним. К концу IV тысячелетия до нашей эры — в условиях медиокаменного века — египтяне добивались урожаев сам-двадцать. То же самое было и в Шумере. Это выше среднемирового уровня (24,4 центнера с гектара), тем более — среднего уровня всех развивающихся стран (21,5). Советский Союз с урожайностью в эти годы (1983—1985) 15,6 центнера с гектара занимал 90-е место среди 109 стран, отмеченных статистикой ФАО.

Итак, от Древнего Египта по урожайности мы отстаем примерно в два раза. Конечно, и климат, и почва в Египте не те, что у нас. Да еще Нил с его разливами. Но, с другой стороны, у древних египтян — деревянный серп с кремневыми вкладышами, а у нас — комбайн «Дон». Да и спросим себя положа руку на сердце: а если бы мы свои колхозы и совхозы перенесли в Египет — в какую сторону изменилась бы там урожайность? Боюсь, что в лучшем случае она не увеличилась бы. Уровень развития производительных сил в сельском хозяйстве у нас, и на Древнем Востоке очень даже сопоставим. В пользу древних. А если из Египта перенестись в Древний Рим, то сравнение по уровню и качеству жизни вовсе будет не в нашу пользу.

«Эка его занесло в очернении нашей действительности! — скажет иной читатель.— А про то, что все это древнеримское благолепие покоилось на плечах рабов, забыл?!» Эх, уважаемый оппонент, уж лучше бы вы не задавали этот вопрос, ибо ответ на него будет не в вашу пользу. Но если вопрос поставлен, то, как бы это ни было для нас горько и стыдно, давайте сопоставим уровень жизни, быт самого эксплуатируемого жителя, скажем, Древнеримской империи — сельского раба — с бытом нашего колхозника в сталинскую эпоху. Что ни римские рабовладельцы, ни сталинская сельская бюрократия альтруизмом не отличались — это козе понятно. Но зато римские рабовладельцы отличались рационализмом. Откроем книгу В. И. Кузищина «Античное классическое рабство как экономическая система» и прочитаем: «Хозяйский рационализм требовал проявлять постоянную заботу о том, чтобы говорящие орудия функционировали нормально и не выходили из строя раньше срока. Купить раба на рынке, заплатив за него немалую сумму, а затем уморить его голодом или довести до болезни и потери трудоспособности вряд ли было в господских интересах.

Вот почему столь естественным в отношении к рабам, и прежде всего к их бытовому устройству, было правило, сформулированное одним из самых строгих римских рабовладельцев Катоном Старшим: «Рабам не должно быть плохо: они не должны мерзнуть и голодать». Исследование бытовых условий рабов, поскольку они получили отражение в наших источниках, подтверждает, что это было не риторическое высказывание». Далее ученый подробно перечисляет нормы довольствия римского сельского раба: в день — 1,5 килограмма пшеничного хлеба (такой же была норма римского легионера), 0,5—0,7 литра виноградного вина третьей выжимки (кислятина страшная, но не хуже нашей «бормотухи», которую никакой римский раб пить не стал бы, да никакой рабовладелец ему ее пить и не позволил бы — своих рабов римляне не травили). Кроме этого, масло, маринованные маслины, овощи, фрукты, на горячее — густая бобовая похлебка. Как считает В. И. Кузищин, питание рабов «было достаточным для того, чтобы проводить тяжелые полевые работы на открытом воздухе, и рабы не голодали».

Древнеримские рабы не голодали... А вот наши колхозники голодали. Голодали в 30-е, 40-е, в начале 50-х. Ели жмых и древесную кору, пухли от голода (не говорю уже о периодах искусственно созданного Сталиным голода, когда умирали миллионы и доходило до каннибализма). Но голодным колхозникам завидовали еще более голодные рабы-зэки. На перечисленный историком паек одного римского раба можно было бы прокормить десяток обитателей ГУЛАГа. Ну, а в нынешние дни? Свидетельствует академик ВАСХНИЛ народный депутат СССР Владимир Тихонов: «Два года назад я предупреждал: нас подстерегает голод. Я не имел в виду голодную смерть людей. Я говорил о голоде, как росте числа людей, которые недоедают. За эти два года количество хронически недоедающих увеличилось в стране с 40 миллионов человек почти до 60 миллионов. А у остальных все более скудеющий рацион питания, отсутствие элементарного выбора. Это ведь и есть голод! Если так и дальше пойдет, то начнется опухание людей. И нечто подобное уже существует в некоторых особенно глухих российских деревнях; муки туда вообще не завозят, печеный хлеб продается один раз в неделю, да и то с ограничениями: одна буханка на человека». Вот вам и «несопоставимые уровни развития»...

И, наконец, главное. Сравнивая «уровни развития производительных сил», мы всегда как бы невольно сводим их лишь к вещному компоненту — средствам производства, технике. Но есть мудрая экономическая притча: «Что было бы, если бы неведомым образом вся техника Швеции очутилась у какого-нибудь дикого племени, а сама Швеция осталась бы без техники? А ничего бы не изменилось...» Элементарной аксиомой является то, что главная производительная сила общества — человек, то есть непосредственный производитель. Повысился ли уровень развития производительных сил страны в 30-е годы посредством почти единовременного переноса на нашу территорию закупленных в США заводов (удельный вес СССР в мировом импорте машин и оборудования составил в 1932 году 50 процентов), учитывая, что осуществлен этот акт был за счет голодной смерти миллионов крестьян — иными словами, за счет уничтожения или деградации рабочей силы в условиях гулаговского рабовладения и колхозного крепостничества? Эти смерти, этот голод, эти унижения — повысили ли они уровень «главной производительной силы» нашего общества? Ответ на этот вопрос мы найдем в статье моего заочного оппонента Игоря Клямкина «Была ли альтернатива Административной системе?» («Политическое образование» № 10, 1988 год), в которой вполне резонно утверждается, что главное для характеристики экономической системы — это т и п л и ч н о с т и р а б о т н и к а. Какой же сейчас у нас этот тип? И. Клямкин считает, что «дотоварный» тип работника, ориентированный не на оплату по труду, а на уравниловку и гарантированное удовлетворение самых элементарных потребностей, не только сохраняется, но и — в процессе кризиса Административной системы — «развивается» в направлении добуржуазного индивидуализма с его принципом «как бы не переработать за другого». Но позвольте, ведь это тот самый работник, на которого делали ставку фараоны Древнего Египта и цари III династии Ура! Один к одному!

Осталось рассмотреть последний аргумент Игоря Клямкина: «Азиатское государство, регулируя хозяйственные связи между общинами, не вмешивается в их внутреннюю экономическую жизнь. Но у нас-то совсем другое, у нас — всепроникающее, тотальное огосударствление!» Итак, вопрос: «тотальное огосударствление» всего и вся — это изобретение нашей «неэвклидовой экономики» или же и здесь первенство в открытии принадлежит не нам? А если проще: были ли в Древнем Египте колхозы?

3

Как ни странно, колхозы в Древнем Египте были. Назывались они, конечно, иначе, но дело не в названии, а в том удивительном факте, что и их структура, и вся организация сельхозработ, и способы государственного вмешательства, и даже размеры сельхозпоставок совпадают. Короче говоря, то, что было в Древнем Египте,— точная копия наших колхозов... Вот ведь оговорился. Не могли египтяне за четыре тысячи лет до нас копировать наши колхозы. Это наши колхозы скопировали то, что было у древних египтян... И опять же неверно. Не могли Сталин и иже с ним знать, что творилось в Древнем Египте, об этом сами египтологи совсем недавно узнали. Но откуда же поразительное сходство? В позапрошлом веке часто употреблялось выражение «сила вещей». Да, совпадение объясняется именно «силой вещей», а точнее говоря, неотвратимой логикой общественного развития. Если рынка нет (как в Древнем Египте) или его разрушили (как это сделал в 1929 году Сталин), то бал правит натуральный принудительно-силовой продуктообмен (редистрибуция), когда почти весь продукт — и прибавочный, и часть необходимого — собирается в одну большую государственную кучу, а из нее уже п е р е р а с п р е д е л я е т с я кому сколько государство от щедрот своих отвалит. Отсюда и название — редистрибуция («redistributio» — по-латыни «перераспределяю»). Редистрибуция — основа, матрица всей социально-экономической структуры «азиатского» способа производства. На ней нарастают кристаллы социальных, политических и идеологических структур. И если основополагающий стержневой компонент в двух взятых нами примерах идентичен, то идентичными или очень сходными будут и эти кристаллы. Ибо редистрибуция — система жесткая, все производные от нее образования «силой вещей» оказываются схожи, будто близнецы, если даже между ними тысячелетия. Никто ни у кого ничего не заимствовал, просто произошла конвергенция — явление, известное из биологии, когда у представителей разных биологических видов, попавших в одинаковые условия существования, морфология постепенно сближается настолько, что при всех генетических различиях они становятся внешне трудноразличимы. Вот и в нашем случае, попав в безрыночно-редистрибутивную среду, советское общество с 1929 года начинает ускоренно приближаться к древнеегипетскому образцу, проходя этапы исторического развития в обратном направлении. Слом рынка запустил в действие механизм инволюции — «развития наоборот»: от современных социальных форм к архаичным. Идя семимильными шагами в «светлое будущее», мы оказались в глухой древневосточной архаике. Недаром Г. В. Плеханов предупреждал: «...Совершившаяся революция может привести к политическому уродству, вроде древней китайской или перувианской империи, т. е. к обновленному царскому деспотизму на коммунистической подкладке». Человек высочайшей культуры и глубокой эрудиции, Георгий Валентинович воспринял Марксову концепцию «азиатского» способа производства как исключительно важную для понимания истории России. Владимир Ильич, конспектируя труды Маркса, с этой концепцией ознакомился и не придал ей особого значения. В ленинских работах этого термина вы не найдете. Ленин был равнодушен к теории «азиатского» способа производства, а Сталин эту концепцию попросту запретил. Как троцкистскую. Произошло это в начале тридцатых. Все ученые-марксисты быстро перековались и от «троцкистской» концепции Маркса отреклись. Кто не отрекся, тех расстреляли. Почему? Да слишком уж много нежелательных ассоциаций вызывала эта концепция. Аналогии казались убийственными. До сих пор многие обществоведы считают сам термин

«азиатский способ производства» чем-то неприличным. А Г. В. Плеханов, основываясь на этой концепции, как бы предвидел сталинскую коллективизацию и предупреждал: «От общественной обработки полей немногим ближе до коммунизма, чем от общественной работы на барщине или от «общественных запашек», вводившихся при Николае Павловиче с помощью штыков и розог».

В одной из своих статей я назвал колхозы тяглово-фискальными псевдообщинами. Ознакомившись несколько позже с работами И. А. Стучевского, посвященными организации государственного хозяйства Древнего Египта, я увидел, что пальма первенства в употреблении этого термина принадлежит ему: организации подневольных земледельцев, созданные древнеегипетским государством, он называет квазиобщинами. Весьма симптоматичное совпадение.

И. А. Стучевский, опираясь на очень скудный материал, провел трудоемкое исследование, результаты которого поражают. «...Зерновое производство в Египте,— пишет он,— от начала и до конца носило коллективный характер, было связано с деятельностью не отдельных земледельцев, а целых коллективов». Никаких личных наделов или парцелл, находящихся если не во владении, то хотя бы в пользовании отдельных семей. Вся земля квазиобщины — древнеегипетского «колхоза» — в руках государства. Государство же распределяло воду на поля. Государственная администрация полностью контролировала все сельхозработы, начиная от подготовки почвы к пахоте и севу и кончая жатвой. Тягловый скот также был государственным и выдавался квазиобщинам на период сельхозработ — ну чем не древние МТС! Государство изымало и перераспределяло не только прибавочный, но и необходимый продукт — вплоть до посевного фонда! Посевное зерно так же, как и скот, древнеегипетские «колхозники» получали из казны. Урожай целиком поступал на государственные тока и гумна и лишь впоследствии подлежал «распределению», в результате которого государство забирало себе 30 процентов урожая. А теперь вспомним наши родные колхозы, для которых изъятия в форме обязательных поставок зерна устанавливались в размере 30 процентов (!) валового продукта. Случайно ли совпадение в цифрах? Думаю, нет: 30 процентов, по всей видимости, тот предел, выход за который нарушает воспроизводственный процесс. Умный хозяин не режет курицу, несущую ему золотые яйца. Но хозяева не всегда бывают умными. Так, когда к власти в Египте пришли Птолемеи, государство стало оставлять себе уже более половины урожая. Воспроизводственный процесс нарушился, и уже во II веке до нашей эры Египет вступил в полосу экономического кризиса. Не шибко умным был и наш Хозяин: голод 1932—1933 годов — лишь наиболее крупная катастрофа подобного рода, но не единственная. Массовые случаи голодной смерти и каннибализма имели место и в конце 40-х годов. Причина — не столько неурожай, сколько неумная жадность государства.

Древнеегипетские квазиобщины так же, как и наши колхозы, не имели каких бы то ни было прав для защиты интересов своих жителей от произвола администрации. Их членам так же было запрещено покидать места постоянного жительства. В случае необходимости государство могло перебрасывать земледельцев из одного хозяйства в другое.

Как древнеегипетская квазиобщина, так и колхоз — это не элементы общества, а низовые звенья административной системы. В качестве приводных ремней от административного аппарата к рядовым земледельцам используется своеобразная система сельских «капо». В египетской квазиобщине периода Нового царства это агенты фиска, при Птолемеях — так называемые «стражи урожая».

Тотальная регламентация хозяйства особенно усилилась в эллинистическую эпоху. Так, например, каждый крестьянин должен был засеять определенное количество земли масличными растениями, семена которых он получал из царских амбаров. Еще строже регулировалось зерновое производство в Шумере при уже знакомой нам III династии Ура. Гигантские латифундии-«госхозы» занимали более 60 процентов территории страны. На них трудились закрепощенные государством работники. «...Поле могло делиться на полосы вдоль и поперек, и один человек отвечал за контроль работы по поперечным полосам, а другой — по продольным; таким образом осуществлялся их взаимный контроль крест-накрест». «Учет был чрезвычайно строгим; все фиксировалось письменно; на каждом документе... стояли печати лица, ответственного за операцию, и контролера; кроме того, отдельно велся учет рабочей силы и отдельно — выполненных ею норм... Разовые документы сводились в годовые отчеты по отрядам... и т. д.» [1]. Здесь хотелось бы вновь напомнить слова Игоря Клямкина: «Азиатское государство, регулируя хозяйственные связи между общинами, не вмешивается в их внутреннюю экономическую жизнь». Нет! Вмешивается. Причем точно так же, как и у нас; совпадение в методах вплоть до мельчайших деталей.

Мне могут сказать: «Нашел из-за чего ломать копья! Ну выявил общее между Древним Египтом и нашим родимым обществом — что из этого? Кому это интересно, кроме историков? Ведь между тем, что было 3—4 тысячи лет назад, и тем, что у нас сейчас, прямой связи нет». Отвечу: вообще-то такая связь есть. Из глубины веков к нам тянутся щупальца «азиатского» способа производства — через установление Иваном IV «поголовного рабства», через консервацию общины, через проводимые царским государством уравнительные земельные переделы и еще через многое-многое другое. Воистину «мертвый хватает живого». И сто лет назад, и в наши дни не счесть на белом свете попыток приспособить структуры «первобытного коммунизма» к самой потогонной системе эксплуатации, превратить древние общинные структуры в уже знакомые нам квазиобщины. Приведу интересный отрывок из письма Ф. Энгельса К. Каутскому 16 февраля 1884 года: «...Голландцы на основе древнего общинного коммунизма организовали производство на государственных началах и обеспечили людям вполне удобное, по своим понятиям, существование; результат: народ удерживают на ступени первобытной ограниченности, а в пользу голландской государственной казны поступает 70 млн. марок ежегодно (теперь, наверное, больше). Случай в высшей степени интересный, и из него легко извлечь практические уроки. Между прочим, это доказательство того, что первобытный коммунизм на Яве, как и в Индии и в России, образует в настоящее время великолепную и самую широкую основу для эксплуатации и деспотизма...» [2]. Энгельс как в воду глядел. Использовав русские общинные традиции, Сталин подарил нам ту же самую колониальную модель, что была уже опробована в голландской Ост-Индии: посредством насаждения тяглово-фискальных квазиобщин-колхозов наша деревня была превращена во «внутреннюю колонию» для ускоренного социалистического накопления». В Кампучии Пол Пот сознательно восстанавливал «коммунистическую» Ангкорскую империю (классический образчик «азиатского» способа производства), существовавшую на территории страны тысячу лет назад. А в современном Перу над субкультурой традиционно-общинной индейской патриархальности оказалась «надстроенной» псевдомарксистская «революционная» организация «Светлый путь», ставящая своей целью реставрацию «коммунистической» Империи инков, призванной «спасти все человечество и гибнущую цивилизацию» на основе древнейших традиций коллективного труда. Вот уже десять лет эта оголтело-люмпенская организация льет кровь своих сограждан, желая повторить эксперимент Пол Пота: вырезать все города, а тех, кто уцелеет, загнать в «народные коммуны». Видимо, «мертвый» еще долго будет «хватать живого».

4

Приведу один интересный документ полувековой давности:

«1. Во всех колхозах строго соблюдать трудовую дисциплину, ранее учрежденные общими собраниями правила внутреннего распорядка и нормы выработки, беспрекословно выполнять приказания председателей и бригадиров, направленные на пользу работы в колхозах.

2. На работу выходить всем безоговорочно, в том числе служащим, единоличникам и беженцам, работать доброкачественно...

---

[1] «История древнего мира», книга 1, М., 1989, стр. 82.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 36, стр. 96—97.

3. Бригадирам и счетоводам строго ежедневно учитывать работу каждого в отдельности лица и записывать выработанные трудодни.

4. Подготовку почвы к осеннему севу и проведение осеннего сева производить строго коллективно.

5. Распределение всего собранного урожая... года производить только по выработанным трудодням, о чем будет дано отдельное распоряжение.

6. Строго соблюдать неприкосновенность от посягательства к расхищению государственного, колхозного... и личного имущества частных лиц».

«Ну и что тут интересного,— скажете вы,— заурядный документ сталинской администрации». И ошибетесь. Перед вами приказ гитлеровских оккупационных властей по районам Смоленской области, отданный в июле 1941 года.

А вот похожее на предыдущий приказ распоряжение военной комендатуры, изданное в августе 1941 года, но уже по Витебской области (орфография и пунктуация оригинала):

«В целях своевременной уборки сенокоса и хлебов приказываю:

1. Уборку и обмолот хлебов производить существовавшим до сего времени порядком, т. е. коллективно. В тех сельских обществах, где урожай разделен на корню, сжатый хлеб свезти в общественные склады. Руководство уборкой возлагается на председателей колхозов, указания и распоряжения которых для каждого члена общества обязательны. Невыход на работу без уважительных причин будет рассматриваться как противодействие командованию германской армии со всеми вытекающими последствиями. К уборке хлебов привлекать всех единоличников, насчитывая им трудодни».

Из сходства двух приведенных документов видно, что трогательная забота гитлеровцев о колхозах, их председателях и даже трудоднях,— не отсебятина какого-то свихнувшегося штурмбанфюрера, а единая политика, проводившаяся Берлином во всех оккупированных районах Советского Союза. Как свидетельствуют историки, всякая попытка ликвидировать колхозы пресекалась самыми «жесткими мерами». Сохранялась прежняя структура руководства колхозами и совхозами.

Труд в колхозе при гитлеровцах был обязательным. «Все трудоспособные с четырнадцатилетнего возраста работали по 11—12 часов в сутки,— пишет Н. И. Синицына.— Каждый обязан был выработать 20—25 трудодней в месяц. «Общинников», не выработавших 20 трудодней, по распоряжению старосты и немецкого коменданта увозили на биржу труда для отправки в Германию или сажали в концлагеря». Для колхозников это не было новинкой, ибо двумя годами раньше, в 1939-м, советская власть установила для них обязательный минимум трудодней, за невыполнение которого карали не менее жестоко, чем при немцах. Мало чем от сталинских порядков отличалось и отоваривание трудодня: немцы выдавали крестьянам по 8—11 килограммов хлеба в месяц на трудоспособного, выработавшего норму. В пайке были обычно ячмень, овес, просо. Такими методами фашистам в 1942 и 1943 годах удавалось ежегодно выжимать из советских крестьян по 4,1—4,2 миллиона тонн зерна и 1,1 миллиона тонн мяса. Советские историки Н. И. Синицына и Б. Р. Томин сообщают, что по этому поводу говорили крестьяне: «Хитрую политику гитлеровцев может каждый дурак разгадать, им нужен колхоз для того, чтобы лучше грабить нашего брата, так как поодиночке они сделать этого не в состоянии».

Ну что ж, крестьяне абсолютно правы. При этом они могли бы еще и добавить, что «хитрая политика гитлеровцев» мало чем отличалась от «хитрой политики сталинцев»: просто оккупанты по достоинству оценили свойство квазиобщин-колхозов служить помпой, перекачивающей народные богатства в карман грабителя-государства (безразлично, чужеземного или своего, «родного»). Наложив на собственный народ колониальную кабалу, подобную кабале в голландской Ост-Индии, сталинизм выступил как «внутренний оккупант» и при этом создал систему, вполне пригодную и для оккупанта внешнего. По замыслу создателя колхозов, изъятия в виде обязательных поставок зерна государству производились безотносительно как к материальным издержкам производства, так и к фонду жизненных средств производителей-колхозников. То есть в значительной степени госпоставки шли за счет необходимого продукта. Именно по этой причине в 1930 году по сравнению с 1928-м советский экспорт зерна увеличился чуть ли не в 50 раз. Древнеегипетские квазиобщины, «госхозы» Шумера, колониальные плантации голландской Ост-Индии, колхозы при Сталине и при Гитлере не просто сходные, а совершенно идентичные «азиатскому» способу производства структуры. Государственная собственность, основанная на редистрибуции, — одна из наиболее древних форм собственности, форма докапиталистическая, а не посткапиталистическая, как нас учили в школе. Она вырастает напрямую из собственности общинной и появляется задолго до основанной на рынке частной собственности. Попросту говоря, наши колхозы — реликт глубокой-преглубокой древности. Оттого, что в 1941 году одни хозяева сменились другими, трагическая история колхозов обрела гротескные формы. Порой все начинало походить на фарс с переодеванием. Итак, гитлеровцы — «защитники колхозной собственности». Ну, а коммунисты? Коммунисты убеждали крестьян разбирать по домам колхозный скот, инвентарь, продукты, при уборке колхозного урожая распределять его между собой и прятать. В общем, вели себя, как заправские «кулаки и подкулачники» в 1929—1930 годах. И это люди, свято соблюдавшие «закон о трех колосках» — принятое в августе 1932 года правительственное постановление о защите колхозной собственности. Напомню его содержание: «В качестве меры судебной репрессии за хищения (воровство) колхозного и кооперативного имущества — расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет». За первые же четыре месяца после принятия указа было осуждено свыше 50 тысяч человек, а к середине тридцатых годов, по некоторым оценкам, в заключении находилось уже более 3,5 миллиона бывших крестьян — семь из каждых десяти лагерников. И вот теперь, в 1941-м, защитники колхозной собственности будто сменили идеологию. И немудрено: созданный ими инструмент грабежа оказался в руках у «конкурирующей фирмы». Зато прислужники гитлеровцев заделались ярыми ревнителями колхозного строя. Алесь Адамович свидетельствует: «Я сам слышал, как полицай орал на крестьян: «Кулацкое семя!»

Вместе с «коллективистской идеологией» и колхозным строем гитлеровские оккупанты были вынуждены перенять и весь сопутствующий им бардак и прочие родимые атрибуты, как-то: производственные совещания, планы сельхозработ и сдачи продукции, сетования селькоров местных газет на обычное колхозное разгильдяйство в выражениях и газетных штампах, ничуть не изменившихся после оккупации. Ну как тут не вспомнить описание Марксом индийских сельских общин: могут меняться династии и иностранные поработители, но ничего не меняется в этих общинах — основе «азиатского» способа производства: те же старосты, те же границы, те же порядки, даже те же названия[1]. Слава Богу, мы все-таки не колониальная Индия, индуистский принцип «ахимсы» (непротивления злу насилием), несмотря на все старания Льва Толстого, не столь уж глубоко в нас сидит. Так что при всей своей тихости иногда мы можем быть очень даже буйными — вот и устроили немцам партизанскую войну. Все-таки с иностранными кровопийцами воевать как-то проще, нежели со своими, единокровными. «Свои» не то нам как-то ближе, что ли, не то просто ничего у нас не получается с ними — в 1929—1930 годах попробовали было сопротивляться, так кровью захлебнулись. Сопротивление же гитлеровским оккупантам тоже приобрело антиколхозную окраску. Свидетельствует Алесь Адамович: «Как самозабвенно лгали мы, партизаны, себе и несчастным бабам, колхозникам, которых фашисты жгли, убивали за помощь нам, «сталинским бандитам»: зато колхозов уже не будет! И все будет не так, как до войны!» Но пока шла партизанская война, колхозы, ставшие из сталинских гитлеровскими, функционировали по тем же законам. Полистаем страницы книги В. М. Гриднева «Борьба крестьянства оккупированных областей РСФСР против немецко-фашистской оккупационной политики. 1941—1944». Вот в доказательство провала «колхозной» политики гитлеровцев автор приводит цитаты из газеты оккупантов «Новый путь» (хорошо названьице — в русле традиций!), живописующей беспризорность колхозного инвентаря, отвратительное отношение колхозников к скоту, который «утопает в грязи», «мерзнет в полуразрушенных сараях».

[1] См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 28, стр. 228—230.

Селькор газеты предлагает привлекать к ответственности лиц, виновных в плохом состоянии дел в хозяйствах. Далее он же сообщает о недостатке фуража и семян.

В марте 1942 года новые власти отмечали «слабый обмолот зерновых культур», «затягивание своевременного выполнения» сдачи зерна и «засыпки семфонда». А вот в апреле 1942 года сельскохозяйственное военное управление «Вико Крым» созывает совещание специалистов животноводства и пытается выяснить причины отставания этой отрасли. В результате дебатов решили «обратить внимание на максимальное развитие животноводства...». Формулировка этого мудрого решения вполне могла бы украсить одно из не столь давних выступлений Е. К. Лигачева. В общем, ничто не ново под луной. Хозяева меняются, колхозные же проблемы неизменны. Калейдоскоп сообщений с «сельскохозяйственного фронта» за 1942 год (имеется в виду территория, оккупированная немцами): план весеннего сева сорван; затягиваются уборка и обмолот зерновых культур (ну совсем как в день написания этих строк, осенью 1990 года!); опоздали с подъемом зяби; тормозятся заготовки сена. Автор советской монографии, из которой взяты эти факты, с гордостью резюмирует: «Захватчикам не удалось заставить крестьян полностью выполнить их указания, несмотря на угрозы и репрессии. Сельские труженики проявляли твердость и мужество, подчас настоящий героизм». Что ж, это вполне понятно: сопротивлялись захватчикам. Непонятно вот только, почему и после освобождения от немецких оккупантов колхозники продолжают проявлять «твердость, мужество и настоящий героизм» в деле срыва продовольственной программы? Почему рост капитальных вложений в колхозы сопровождается застоем или даже падением производства? (Мы получаем в сельском хозяйстве один рубль, вкладывая 5 рублей 29 копеек. Ответ, я думаю, ясен: да потому, что оккупация и колониальная эксплуатация села продолжаются. «Оккупанты» свои, единокровные, но методы все те же: внетоварное принудительно-силовое изъятие продукции, все та же «азиатская» редистрибуция: сгрести все в один «общак», наполовину сгноить и порастерять, а что останется — «распределить». Вот и продолжается тихая, но упорная «партизанская» война селян против чиновничьей оккупации. На протяжении 60 лет существования колхозного строя власти предержащие, уверенные в своих силах, с этой позицией крестьянства не считались. Поначалу так же поступали и немецкие оккупанты — пока одерживали победы. В 1941—1942 годах они использовали колхозы как пресс, выдавливающий из крестьянства все, что можно, и еще сверх того. Но когда победа в войне стала все больше напоминать зыбкий мираж, оказалось, что с крестьянством нужно считаться. В условиях временного равновесия сил на фронтах позиция крестьянства могла оказаться решающим фактором. Гитлеровцы начали заигрывать с мужиком, в их аграрной политике все громче зазвучали столыпинские мотивы. А. Розенберг объявил колхозный строй ликвидированным и провозгласил установление крестьянской частной собственности на землю. Осуществить эту программу до конца оккупанты так и не успели. 3 июня 1943 года была объявлена «Декларация германского правительства о частной собственности крестьян на землю», провозгласившая, что «земля, которая была отведена крестьянам для постоянного единоличного пользования, признается частной собственностью этих крестьян». Западные историки утверждают, что немцы допустили ошибку, не сделав этого еще летом 1941 года: тогда, дескать, партизанской войной на оккупированной территории и не пахло бы. Наши историки этот тезис, естественно, отвергают. Скорее всего, они правы, ибо одно дело — аграрная политика собственного правительства и совсем другое — оккупационных властей. Народ, присужденный захватчиками к уничтожению, вряд ли прельстился бы временными послаблениями и подачками — это, на мой взгляд, очевидно, и не об этом речь. Ясно и другое: колхозы воспринимались крестьянами как враждебное их интересам установление, и это отлично понимали как нацистские оккупанты, так и советские партизаны. Отсюда в борьбе за крестьянские симпатии — обещания с обеих сторон колхозы отменить.

Но вот война закончилась, и в деревне установилось то, что Владимир Дрозд назвал послевоенным «неолитом»: как бы оживают барельефы египетского Древнего царства — пахота на людях, каменные ступки и т. д. Есть и несущественные отличия от барельефных изображений — в упряжке не древнеегипетские мужики, а русские бабы и пашут они не мягкий наносный ил после нильского разлива, а нечерноземные суглинки и подзолы. И общий фон несколько изменен: на горизонте вместо пирамид маячат металлургические комбинаты. Между этими комбинатами и пахотой на людях — связь причины и следствия. Та самая «индустриальная цивилизация», которая, по мнению Игоря Клямкина, отличала нас от стран «азиатского» способа производства, жила по законам собственной логики, производя машины, производящие машины, которые, в свою очередь, производили другие машины — главным образом танки, пушки, самолеты и прочие символы неизбывной державной мощи, служащей причиной патриотической гордости для нищего и голодного колхозника, объясняющей и оправдывающей тем самым его нищету и голод. Индустриальные комплексы, таким образом, выполняли те же самые религиозные функции, что и гигантские храмовые комплексы Древнего Египта, Шумера, Ангкорской и Инкской империй и прочих однотипных бюрократических деспотий. На дворе иное тысячелетие? Так ведь и идолы иные, с поправкой на прогресс человеческого разума. Так что неправы те, кто критикует нас за внеисторический подход и прямолинейные аналогии,— разницу мы видим и учитываем. А что эта разница не столь уж велика — претензии не к нам. Неча, как говорится, на зеркало пенять...

Да, чуть не забыл: есть и еще одна общая черта: как при храмовых комплексах древности кормилась огромная жреческая рать, точно так же множество дармоедов кормится при нашем индустриальном комплексе. Не знаю как вы, а я лично не вижу особого функционального отличия верховного жреца бога Ра от главы, скажем, Минчермета.

Прошло почти десять лет после войны, а исконно великорусские земли — то же самое, что Иль-де-Франс для Франции,— наше так называемое Нечерноземье пребывало все в той же позиции. Сейчас принято насмехаться над брежневским «литературным наследием». Но если не обращать внимания на более чем сомнительное авторство, а посмотреть в той же «Целине» на решение вопроса «что делать дальше» — интенсифицировать сельское хозяйство в старых земледельческих областях центральной России или же заняться экстенсивным расширением посевных площадей в Казахстане,— то увидим, как была сделана еще одна роковая ошибка. Ошибка тем более непростительная, что была у нас возможность поучиться на чужом опыте. Ведь точно так же в 30-е годы ошиблись и американцы. Ошибка эта и выход, который нашли из нее американцы, чрезвычайно поучительны, ибо опровергают неорганический, механически-технократический взгляд на земледелие как на «фабрику зерна». Поэтому позволю себе привести отрывок из реферативного обзора книги австрийского автора Ганса Зедльмайра «Утрата середины»: «После того как в 1930-е годы выветривание и смывание сплошь распаханных плодородных земель в США достигло катастрофических размеров, американская администрация под напором крайней необходимости приняла меры, в которых европейские наблюдатели усматривают возрождение средневекового подхода к земле и благотворный пример для европейцев, еще зачумленных техническими завоеваниями XIX века. (Среди центральноевропейских стран, по наблюдениям Зедльмайра, только Австрия благодаря упрямству и отсталости своих крестьян устояла против «благодеяний» сельскохозяйственной науки XIX века и сберегла свои земельные угодья: все полевые тропы, ручьи, межи сохранены и обсажены плотными рядами деревьев и кустарников, а участки, оберегаемые этими естественными оградами, обрабатываются с традиционной тщательностью.) В США перестали срывать неровности почвы; избегают при планировке участков прямых углов; в холмистой местности располагают поля террасами; вернулись к чересполосице, стараясь высевать узкими лентами рядом друг с другом по возможности разные культуры; закладывают живые изгороди и рощи посреди полей; подсевают по углам поля просо, сорго и подсолнечник для птиц и дичи; разводят бобра, чтобы он строил бесплатные плотины; перегораживают овраги и пускают в образовавшиеся водоемы рыбу; ставят земляные дамбы в местах естественных стоков, дабы дождь и снег оставались там, где они выпали, и пополняли запасы подземных вод. Мечта инженеров американской Службы консервации

почв — ландшафт, густо усеянный лесками, кустарником, живыми изгородями, мелкими водоемами, прудами, с небольшими лесопильнями и ветряными двигателями, с использованием всех хозяйственных возможностей земли — словом, цитирует Зедльмайр немецкого сельскохозяйственного специалиста А. Зейферта, «настоящий староевропейский ландшафт, который мы сейчас пока продолжаем разрушать, потому что еще не избавились от механистического духа XIX века» (книга написана в первой половине XX века.— Е. С.). Таким образом, сама жизнь может вызвать добрые перемены в обращении с землей».

К сожалению, наша жизнь «добрых перемен в обращении с землей» не вызвала. А ведь если бы мы учли американский опыт, запустелые ныне сельские районы России выглядели бы как райские уголки. Но при колхозной системе такое невозможно в принципе. И вовсе не ошибка тут, а неизбежность: все эти полевые тропы, ручьи, ряды деревьев и кустарников, чересполосица, пруды и озерца — все это живое, пестрое разнообразие органической жизни несовместимо с нежитью «фабрик зерна». Только частный собственник мог обустроить свою землю так любовно и уютно, как описано в приведенном отрывке. Сделать это «из центра» — извините, бред. За доказательствами далеко ходить не надо: нынешняя кампания по «подъему российского Нечерноземья» показала, что централизованные капиталовложения оказались в лучшем случае бесполезны, а во многих случаях — попросту вредны. Бюрократическая система в принципе не может управлять многообразно-мозаичным, сложным, самоорганизующимся объектом. И не должна управлять. Он («объект»), став субъектом, сам собой великолепно управится. Колхозно-совхозная система совместима лишь с гигантскими, ровными, как стол, однообразными пространствами земли, «полями до горизонта», засеянными однородными культурами и подвергающимися однообразно-механической обработке массами техники. Одним словом, идеальный объект управления, технократическая идиллия. Как выразился один автор, «чтоб голая земля, а посреди— стол с телефоном».

5

Насколько я могу судить, исходя из своего весьма краткого опыта на поприще публицистики, по законам жанра на этой гневно-пафосной ноте можно было бы и закончить. Но думаю, что не только у меня, но и у читателя останется чувство недосказанности: автор в ернической манере провел множество нехороших исторических параллелей, позволив себе кое-где даже интеллектуальное хулиганство, походя «отчитал» Игоря Клямкина (которого как публициста на самом деле очень любит), ну, а дальше что? «К чему весь этот шум, что, сударь, вам угодио?» Что вы всем этим хотели сказать — что у нас на дворе «азиатский» способ производства? Как вы сами-то ответите на этот сакраментальный вопрос: «Как нам себя называть?» И что же мы, черт подери, все-таки построили?

Над этим вопросом автор бьется очень давно. Сначала задумал написать тоненькую брошюру. Но вот пошел уже четвертый год работы, «брошюра» разрослась до многих сотен страниц, а конца все не видно. Это я к тому, что вопрос настолько серьезен, а ответ на него настолько сложен, что, пытаясь уместить его на нескольких страницах этой статьи, автор серьезно рискует своей научной репутацией: развернуть полностью аргументацию он все равно не сможет; многие ответы неизбежно окажутся упрощенно-примитивизированными, а следовательно, уязвимыми для критики. Но, как говорится, «конец — делу венец»: для завершенности данного публицистического опуса рискну изложить читателю свои выводы. А поскольку речь идет о вещах очень сложных, мне придется сменить язык изложения, сделав его предельно сжатым, сухим и «концептуальным».

Итак, в тезисной форме:

Редистрибуция человеческого труда возможна в трех формах, представляющих собой последовательные стадии развития: перераспределение, во-первых, непосредственного живого труда, во-вторых, труда, овеществленного в потребительных стоимостях, в-третьих, труда, овеществленного в денежной форме стоимости. Чем более вещный характер приобретает редистрибуция, тем меньше доля внеэкономического и выше доля экономического принуждения. При феодализме, например, этим трем ступеням соответствуют барщина (и неотрывная от нее крепостная зависимость, близкая к рабству), натуральный оброк и денежный оброк, переходящий в арендную плату. Ясно, что последний, денежный, вид редистрибуции (так называемый квазитоварный сектор) является свидетельством разложения редистрибутивных отношений при переходе к рынку. В качестве подчиненного квазитоварный сектор присутствует и в экономике современных стран Запада (входящие в состав госсектора базисные и инфраструктурные отрасли, а также военное производство, работающее на казну; сюда же относятся системы налогообложения и социальной благотворительности).

Классический «азиатский» способ производства базируется на сочетании первых двух форм редистрибуции. На них же базируется и классический западноевропейский феодализм. Его переход к третьей форме знаменует собой уже качественно новый этап развития, которому в политической сфере соответствует абсолютизм, чисто внешне очень похожий на азиатскую деспотию, но по своему социально-экономическому содержанию не имеющий с ней ничего общего: от абсолютизма — прямой выход к классическому капитализму эпохи «Laissez faire».

«Азиатский» способ производства — равновесная система, близкая к гомеостазу. Внутренние движущие силы развития незначительны, а сам тип развития по форме напоминает предельно сжатую спираль. Лишь однажды в истории произошла социальная мутация, обеспечившая прорыв из «азиатского» застоя к принципиально иному типу общества — так называемое «греческое чудо», положившее начало западноевропейской модели развития с последовательной сменой формаций. Основные компоненты этой модели: рынок, полная и безусловная частная собственность, гражданское общество, верховенство закона по отношению к государственной власти, демократия, неотчуждаемые права личности. Основные компоненты «азиатского» способа производства: редистрибуция, государственная собственность, поглощение общества государством, не ограниченная никакими законами власть деспота, «поголовное рабство» — иерархическая пирамида, в которой нет субъектов собственности и права, каждый ее элемент является объектом по отношению к вышестоящему (Монтескье: «...В этом государстве всякий тиран в то же самое время и раб»), и лишь на вершине пирамиды — субъект в единственном числе.

Если «азиатский» способ производства в целом экономически опирается на сочетание государственной барщины с государственным оброком, то на одной из ранних стадий этого способа производства происходит как бы исторический зигзаг — обозначается особая тупиковая ветвь развития, когда всецело доминирует именно государственная барщина. Эту ветвь я бы назвал древним «казарменным коммунизмом».

В его рамках максимально возможная часть «платежей» государству осуществляется в форме живого труда. Присваивается уже не овеществленный в продукте труд, а сама личность производителя. Он уже не организатор собственного производства, его труд — под жестким контролем надсмотрщика, всякая автономия личности уничтожена. Не может быть и речи о каких-то рудиментах собственности, а тем более об эволюции ее в сторону полной частной. Личное накопление невозможно — невозможен и товарообмен. Путь к рынку заблокирован намертво, поэтому вся система — это исторический тупик. Древний «казарменный коммунизм» — это грандиозные общественные работы, трудовые армии, тотальная регуляция всего и вся, жизнь по плану — короче говоря, полное подавление человеческой свободы. Поле Личной Автономии «ужимается» до размеров геометрической точки.

Взорвать пирамидальную структуру бюрократической деспотии изнутри практически невозможно — ни одна из них не погибла в результате народного восстания. Но в то же время эта жестко фиксированная неподвижная структура необычайно хрупка — малейший толчок извне, и она рушится, как карточный домик. Можно сказать, что древний «казарменный коммунизм» — это предельная, наиболее «чистая» форма «азиатского» способа производства,связанная с доведенной до логического абсурда редистрибуцией живого труда. В своей же более широко

распространенной разновидности «азиатский» способ производства — это своеобразная «вялотекущая форма казарменности», при которой основы государственного подавления личности и общества сохранены, но, дабы избежать «казарменного коллапса», государственная барщина в значительной степени заменена государственным натуральным оброком. Но ведь и мы совсем недавно, приняв «Закон о собственности», отпустили своих «оброчных холопов» — арендаторов, кооператоров и проч. «на заработки», причем принципами азиатских деспотов отнюдь не поступились: над отпущенным на оброк псевдособственником остался занесенным государственный кнут — в любой момент все может быть отобрано, конфисковано, раскулачено с целью исключить «отчуждение работника от средств производства и эксплуатацию человека человеком».

Да, мы построили «казарменный коммунизм», основные параметры которого аналогичны древнему «казарменному коммунизму». Но я не настолько глуп, чтобы настаивать на полном совпадении. К счастью, полного возврата к уже пройденным этапам развития быть не может и встречающиеся в истории «рецидивы архаики» не в состоянии, даже пролив реки крови, вырваться из общего контекста современной эпохи и осуществить стопроцентный реакционный откат. Так что современный «казарменный коммунизм» и «казарменный коммунизм» древний— не одно и то же. Но, с другой стороны, у нашего общества гораздо больше общего с древнеегипетским, нежели с современным западным. Образно говоря, мы заимствовали у фараонов несущую конструкцию древневосточного общества и, оставив неизменной, навесили на нее разные современные аксессуары в виде индустриальных средств производства, новейших способов манипуляции общественным сознанием и т. п.

Этот древний урод пролез в современность в результате тектонического сдвига гигантских социальных пластов, их катастрофического столкновения. Конец XIX — начало XX века: рыночные структуры мощно вторгаются в застойное болото патриархальщины и авторитаризма, беспощадно ломая традиционные структуры. И если в Англии, классической стране капитализма, генезис новых отношений происходил органично, постепенно, то их мгновенно-взрывное появление в России привело к последствиям катастрофическим: старая социальная структура сломана, колоссален по силе выброс деклассированных элементов, в состав которых входят обломки практически всех классов и слоев традиционного общества. Но особенно много среди них разорившихся крестьян-общинников. Крестьянин, который, по выражению Г. И. Успенского, «все вытерпел — и татарщину, и неметчину», не смог устоять «под ударом рубля», и в результате развала пореформенной российской деревни появилась масса «сердитого нищенства». Но разваливались не только социальные структуры — нарастала и духовная энтропия. «Упадок нравов» единодушно отмечали писатели и идеологи всех без исключения политических направлений. Г. В. Плеханов пишет, что, когда рушатся «исстари установившиеся обычаи», бывший патриархальный селянин начинает «пошаливать». Пока он еще «...не успел проникнуться новой моралью, он все-таки переживает нравственный перелом, выражающийся иногда в довольно некрасивом поведении. Здесь повторяется то, что переживает всякий общественный класс, всякое общество при переходе от узких патриархальных порядков к другим, более широким, но зато более сложным и более запутанным». Более резко высказывались представители правого лагеря: «Народ забыл Бога». И вряд ли стоит иронизировать по поводу этих высказываний — в них зафиксированы симптомы социальной болезни под названием «аномия». Это такое состояние общества, когда порушены моральные нормы (по-гречески «номос» — норма, закон; «а» — отрицательная частица, отсюда и сам термин), девальвированы этические ценности, короче говоря, сломан морально-этический «скелет» человеческого поведения.

Итак, распад традиционного общества при столкновении с рыночной цивилизацией идет быстрее, чем она может абсорбировать, поглотить и «переработать» продукты распада. Старые связи и интеграторы общества рушатся еще до того, как на их место заступают новые. В результате политика ускоренной модернизации терпит крах. Происходит социальный взрыв, далее гражданская война, в результате социальный распад достигает кульминации. Общество превращается в аморфную массу, состоящую из множества «свободных атомов». Единственной структурирующей силой может быть культура. Но она хрупка, так как тонок слой ее носителей, и не они определяют, чему быть. В условиях, когда произошел переход на качественно более низкий уровень социальности, при нарастающем социальном одичании уже знакомой нам «силой вещей» на сцену выходит простой, доступный и «эффективный» казарменно-коммунистический проект. Он может маскироваться псевдомарксистской риторикой, идеологией «пиджин-социализма» или еще более примитивного эгалитаризма — дело не в этом. В деструктурированном, маргинализированном обществе, охваченном смутами, голодом и анархией, установление казарменного порядка многие воспринимают с облегчением. На атомизированный социальной энтропией человеческий субстрат накладывается жестко-структурированная пирамидально-бюрократическая решетка. Социальные атомы сортируются по ее ячейкам, общество приобретает геометрически-упорядоченный вид — «страна спасена». И пусть эта структурированность чисто внешняя, искусственная, наложенная на общество как бы извне,— жизнь устраивается, бюрократическая машина начинает функционировать, причем сперва довольно эффективно. И лишь потом, после ее краха, становится очевидно, что общество так и осталось энтропийным, «раскультуренным», что структурность его была принудительной, неорганичной. Вместо общества-организма появилось общество-машина. Социализм оказался отождествленным с редистрибуцией: «Целью является организация всего населения в единую сеть потребительных коммун, способных... с наименьшей затратой труда распределять все необходимые продукты, строго централизуя весь распределительный аппарат» (из программы РКП(б), принятой VIII съездом партии в 1919 году[1]). Еще более популярно излагает ту же идею Молотов: «Ведь в этом, собственно говоря, и заключается социализм — управлять государственным хозяйством»,— в этом трогательно наивном определении — суть «азиатского» способа производства.

Главную свою задачу и оправдание своему существованию режим «казарменного коммунизма» видел в ускоренной индустриализации. То, что не удалось на рельсах капитализма, должно было получиться посредством методов древневосточных деспотий. Современные производительные силы должны были быть созданы в кратчайший срок путем реанимации докапиталистических производственных отношений. Ни одно рабовладельческое государство мира не знало такого жестокого и массового рабства, как сталинский ГУЛАГ. О соотношении уровней потребления римского раба и сталинского зэка мы уже говорили. Добавим лишь, что ни Древняя Греция, ни Рим — страны классического рабовладения — никогда не обращали в рабов своих сограждан. Классическая страна государственного крепостничества — Шумер III династии Ура — закрепостила, по-видимому, большую часть своего населения, но и там 40 процентов земли оставалось в руках крестьян-общинников. Сталин же закрепостил все крестьянство страны. Столь тотального господства варварства и дикости не знала ни одна рабовладельческая или крепостническая страна древности. И все это — ради великой цели: индустриализации страны. «Будут домны — будет социализм», — говаривал Иосиф Виссарионович. Формула проста, как все гениальное. Давайте на время примем сталинскую логику и будем оценивать результаты его эксперимента над страной, исходя из его же системы координат: да, «доменный социализм» действительно стоил того, чтобы замучить насмерть десятки миллионов соотечественников. Многие люди, принявшие эту шизофреническую систему ценностей, считают, что цель не только эту цену оправдывала, но и была достигнута: «Он принял Россию с сохой, а оставил оснащенной атомным оружием». Возможно, я злоупотребляю цитатами, но осмелюсь в последний раз привести еще одну. Уж больно хорошо сформулирована историком Л. Б. Волковым мысль: «Успешная модернизация вообще невозможна на силовой основе. Ни в социальной, ни в предметной сфере нельзя путем простого заимствования и ускоренного внедрения создать эффективную рациональную среду. Предметы и институты могут напоминать то, что создается в странах, исторически выстрадавших свою модернизацию, но они не

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 38, стр. 440.

выполняют своей функции — они не работают, не служат, не могут служить. Мы видим это на наших машинах, обуви, книгах, на наших стройках. Вместо предметов возникают эрзац-предметы, вместо институтов — эрзац-институты, эрзац-автомобили, эрзац-заводы, эрзац-статистика...»

Таким образом, оказались порочны не только сталинские методы, но и сама его цель. Это как раз тот случай, по поводу которого Талейран мог бы произнести свою знаменитую фразу: «Это больше, чем преступление,— это ошибка»: живая сила народа и природные богатства страны оказались растраченными впустую.

И еще в одном деле была допущена промашка (правда, счастливая для нас): закладывая основы «индустриальной цивилизации», Сталин подводил мину под здание своей собственной казарменной системы. Должно было произойти одно из двух: либо казарменная азиатчина отторгнет от себя чужеродный, импортированный с Запада трансплантат, либо вновь созданный хозяйственный сектор и выросшие на его основе социальные силы, несмотря на всю их ущербность, похоронят азиатчину. Долго существовать этот химерический кентавр не мог. И думается, что если бы не «враждебное капиталистическое окружение», то азиатчина давно похерила бы всю эту эфемерную «индустрию». Ведь новую технику приходится «внедрять», то есть насильственно впихивать в отторгающую ее инородную структуру. Зато сама структура отлично регенерирует те азиатские прелести, которые ее отец-основатель вроде бы и не планировал. Так, некоторые «братские» режимы показали нам нечто из того, что нас могло бы ожидать в недалеком будущем, а именно — наследственную «социалистическую» монархию. Правда, Нику Чаушеску не успел принять эстафетную палочку власти от своего папаши. Успеет ли проделать эту операцию «любимый руководитель» — сын ныне здравствующего «уважаемого и любимого вождя» в одной из «дружественных» нам стран? Поживем — увидим. Но, ей-Богу, еще немножко, и мы сами дожили бы до собственных «идей чучхе». А Пол Пот, почти во всем скопировав деятельность Сталина и кое в чем даже его превзойдя, вообще не стал связываться с индустриализацией, а попросту «отменил» всю современную промышленность вместе с городами и третью населения страны. И надо сказать, он был гораздо более последователен, нежели Иосиф Виссарионович: не вмешайся вьетнамцы, царствовал бы товарищ Пол Пот долгие десятилетия и бразды своего правления передал бы своим детям и внукам. Такая судьба ожидала и нас, если бы не «козни и происки» чересчур уж противоположной общественной системы. Она заставляла обрюзгшую брежневскую бюрократию поддерживать в хорошей форме хотя бы «европейские руки» (военно-промышленный комплекс), приделанные к нашему «азиатскому туловищу». Но вот наступил момент, когда оказалось, что одних «европейских рук» недостаточно для статуса военной сверхдержавы: американская СОИ показала, что для выполнения подобных программ вся страна должна жить по-современному. Возникла дилемма: либо внутри страны все сохраняется по-старому, но вовне СССР теряет статус не только сверх-, но и просто великой державы и превращается в третьеразрядное государство, либо надо менять на европейский манер всю общественно-государственную структуру. Так в 1985 году сдетонировала мина, которую Сталин, сам того не заметив, подвел под свое детище в 1929-м: «европейские» элементы, трансплантированные в организм «азиатской» системы, вступили в схватку с ней. Суть ее я как мог постарался описать. Для того, чтобы перестраивать, надо знать, что построили.

Уже неоднократно наша страна делала попытку встать на рельсы европейского развития: реформы Александра II, Столыпина, нэп... «Великий перелом» перебил становой хребет всем европейским структурам в нашем обществе, ознаменовав собой невиданный по реакционности откат к докапиталистическим общественным отношениям. Сейчас мы стали очевидцами п о с л е д н е й попытки встать на европейские рельсы. Неудача этой попытки равнозначна гибели страны.

г. Воронеж

Александр Агеев

ВАРВАРСКАЯ ЛИРА

ОЧЕРКИ «ПАТРИОТИЧЕСКОЙ» ПОЭЗИИ

Стихотворение Блока, последние слова которого стали заглавием этой статьи, всегда подавляло меня своей тяжеловесной риторикой. Но не только. С юных лет находясь под обаянием блоковской лирики, я никак не мог принять из рук рыцаря поэзии, оседлавшего вдруг мохнатую степную лошадку, ни «вероломства», ни «азиатской рожи», ни «мяса белых братьев», ни комплекса неполноценности пополам с гордыней. Я еще мог понять традиционную для русской культуры «ненависть-любовь» к Европе, ибо ненависть, как и любовь,— чувство высокое. Но степное хвастовство слепой биологической мощью («Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами!»), хвастовство пустое, поскольку «отныне в бой не вступим сами», разбойничье упование на «дебри и леса», куда можно «расступиться», ускользнув от своей исторической судьбы,— все это никак не подвигало разделить пафос поэта.

Рассудком я понимал, что «Скифы» вышли из-под пера гения. Но в этот день, 30 января 1918 года, гений «скинулся азиатом». «Скифы» при всей их внешней противоречивости, безупречно, гениально логичны. Однако их логика — логика простодушного восточного вероломства. Сказать: «Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет В тяжелых, нежных наших лапах?», а через строфу воскликнуть: «Придите к нам! От ужасов войны Придите в мирные объятья!» Привести ряд самохарактеристик способных породить у адресата послания лишь глубочайшее недоверие и страх, а потом позвать «на светлый братский пир»? Воистину, на это способна лишь «варварская лира», лишь ее вероломство может быть столь наивным. Уж Европа-то с ее «острым галльским смыслом» и «сумрачным германским гением» ни за что не поверила бы в небрежную ритуальную риторику мирных приглашений, вуалирующих боевой клич, она бы отшатнулась от «любви», которая «и жжет, и губит», она бы правильно поняла смысл целого — как весть о совершающемся не только в душе поэта, но и в душе его родины «крушении гуманизма». Но, конечно, не к символической Европе обращался он, оглохший от «музыки» этого крушения. Что ему было теперь до Европы с ее культурой, которая, как он считал, выродилась в «цивилизацию»! Он обращался к России, он ее хотел убедить в том, что ей «нечего терять», что «срок настал», срок того страшного преображения, которое, отсеяв «груды человеческого шлака», сотворит наконец новую породу, «человека-артиста».

Бог милосерден. Поэт, перед смертью переставший слышать «музыку революции», но зато прозревший, все-таки не был наказан зрелищем главных последствий реального, а не романтического «крушения гуманизма». Он не видел, как из «груд» стертого в лагерную пыль «человеческого шлака» безошибочно отбирается новая порода — «артисты»-палачи, как хрустят в их «тяжелых, нежных лапах» скелет Европы и скелет России. Благословивший темную скифскую стихию, он все-таки «ушел в ночную тьму», воспев европейца Пушкина и «тайную свободу», призвав поэта к высокой и трагической миссии — гармонизировать иррациональный хаос, и не нам судить его.

А «Скифы» остались памятником страстному романтическому заблуждению и первым грозным криком новорожденного — того странного «патриотизма», который в разных обличьях нет-нет, да и замаячит из-за рутинных березок, гармошек, хороводов, нет-нет, да и глянет в душу читателя «своими узкими глазами».

И сейчас, когда русскую поэзию в очередной раз накрывает, по счастливому выражению Станислава Куняева, «девятый вал патриотизма», я позволю себе воспользоваться «Скифами» как путеводителем, как ключом, открывающим некоторые нехитрые секреты и «древние загадки» стихотворной любви к России. А может быть, и не только стихотворной.

При этом я прекрасно сознаю, что современная «патриотическая» стихия, столь пышно вспенившаяся на журнальных, книжных и газетных страницах, неоднородна и неравноценна. Я знаю, что рядом со множеством холодных стихотворцев, превративших любовь к России в надежное и безответственное ремесло,

над «темой о России» бьется немало истинных поэтов, чье чувство — высшей, гарантированной судьбою пробы. В связи с этим мне приходится преодолевать весьма сильный соблазн — «отделить агнцев от козлищ». Но ради такого простого действия не стоило и затевать этой трудной, мучительной и для меня тоже статьи. На ремесленниках — имя же им легион — и так горит шапка. Но ведь ремесленники отвечают лишь за степень сходства копии с оригиналом — не более. Оригинал создает мастер. И главная проблема, стоящая передо мной,— не наказание эпигонов, которые доводят до абсурда идеи мастеров. Нет, моя задача сложнее. Слишком тяжко дышать становится в атмосфере нынешнего «патриотического подъема», и я хочу узнать: всегда ли чисты источники, из которых черпают поэты свою творческую силу? Не замутились ли они, как и предсказывал Блок, за десятилетия господства палачей и чиновников? Или, может быть, при их попустительстве в колодцы перестала просачиваться свежая, проточная вода и с тайного, древнего дна поднялось то «темное вино», о котором с тревогой писал когда-то Николай Бердяев?

Должен предупредить читателя, что моя статья — не обзор всего корпуса «патриотической лирики» за какой-то определенный период времени. Поскольку мне хочется понять и объяснить сам ее порождающий принцип, а он довольно устойчив, то я буду обращаться равным образом и к периодике последних лет, и к изданиям, отстоящим во времени несколько дальше. И, разумеется, речь пойдет далеко не обо всей патриотической поэзии, а лишь о той ее части, что копит и копит в себе специфическую агрессивность, ранним образчиком которой были «Скифы».

1

«Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет, И душный, смертный плоти запах...» — написал Блок в «Скифах», укрыв за эпическим «мы» свою личную, лирическую нелюбовь к ней. Совсем скоро, летом 1919 года, рецензируя тетрадку стихов молодого поэта, он напишет: «В родовом, русском — Семеновский роднится иногда с Клюевым, не подражая ему, но черпая из одной с ним стихии: это как раз то, что мне чуждо в обоих, что приходится признать, с чем нельзя не считаться, но с чем, по-моему, жить невозможно: тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь... Можно погрузиться в этот мир, как во всякий настоящий и непридуманный мир, и поверить, что «двор — уж не двор, а дворец», потому что там — «сокровища кала», но тут скоро задохнешься. В этом мире нет места для страсти — она скоро превращается в чувственность, и веянием этой обезличивающей чувственности уже проникнуты порою «природные» стихи Семеновского: страсть уже обескрылена там, где начинаются сравнения (эти «опоясанные тучки», эти «сиротыовины», «мохнатые снопы»), где начинают играть большую роль запахи, где постоянно близка ржавая болотная вода». В подстрочном примечании Блок выразился еще жестче: «чувственное, похотливенькое, мужичье».

Откуда такое противоречие, почему «мы любим», если «мне чуждо»? Да потому, что это «настоящий и непридуманный мир», его «приходится признать», с ним «нельзя не считаться». В «Скифах» поэт, говоря «мы» и разделяя скифскую любовь к плоти, приносит целому ритуальную жертву. Но для него — личности — плоть пахнет смертью: «жить невозможно», «скоро задохнешься». Он не мог не обмолвиться об этом даже в «Скифах».

Но, конечно, не ради демонстрации блоковских противоречий я утомил читателя длинной цитатой. Дело в том, что блоковская характеристика покрывает огромный массив русской «природной» поэзии, а природа — главный арсенал образов для патриотической лирики. Речь о природе естественно переливается в речь о родине. И я не о пейзаже говорю. Я имею в виду, говоря о природе, устойчивую, без конца тиражирующуюся систему метафор, восходящих к языческим мифам,— метафор, в которых человеческое сливается с природным, где родина тождественна *земле*, а земля, в свою очередь, осознается живым существом, *телом*, *плотью*, все из себя порождающей и все в себя вбирающей.

Эта глобальная метафора «родина — земля — живое тело» разворачивается и реализуется в разных направлениях и на разных уровнях. От нее отпочковываются, ответвляются как бы «младшие» метафоры этого типа — «родина — народ», «родина — семья», «родина — мать» и т. д.

Как же используется эта образная система в «патриотической» лирике?

Я написал «используется» и сразу понял, что грубо ошибся. Эта образная система не «используется», то есть нельзя то прибегнуть к ней, то пренебречь ее «услугами». У нее своя железная логика, и едва поэт вступает в сферу ее действия, он вынужден ее принять — сознательно или бессознательно — во всей неумолимой последовательности. Эта образная система по-особому небезразлична к «сущности», она почти принудительно выводит поэта на вполне определенное содержание. А живуча и устойчива она потому, что является не столько образной системой, сколько *типом мышления*, корни которого уходят в глубочайшую языческую древность.

Для меня совершенно бесспорно, что это архаическое мышление в России не формализовалось, не стало набором слов-символов, не ушло благополучно в сферу музейной этнографии, но непостижимым

образом посрамило все законы истории и живо посейчас.

Впрочем, почему «непостижимым»? После октябрьского переворота сложное русское общество было до предела «опрощено», страна и ее люди были поставлены перед элементарной задачей — физически выжить. Удивительно ли, что язычески-плотское, биологическое мироощущение, которое и до революции господствовало в патриархальном крестьянском мире, не только не отступило, но и укрепилось? Оно стало грубее, проще, из него была вытеснена светлая мистика любви, а темной мистике почвы и крови дана была полная воля, так как сильнейший сдерживающий фактор — христианство — был быстро сведен на нет.

Я попробую вычертить логику этого мышления, которое можно назвать «органическим», а можно и «варварским», логику, настойчиво и упорно оживляемую и воспроизводимую современной «патриотической» поэзией.

2

Итак, родина — земля, земля — тело, родина — биологический объект (не кощунствую — всего лишь логизирую данное). Что из этой посылки следует? Следует из нее то, что родина — органическая (в прямом смысле этого слова) цельность.

Это и есть то «зерно», из которого растет патриотическое сознание специфического типа, это психологический фундамент, на котором покоится знаменитый великодержавный лозунг о «единой и неделимой» России. Всякое посягательство на ее «неделимость» и «единство» — «ножевая рана», физическая боль для нее и для поэта, который чувствует себя ее частью. В годы войны это чувство — сильнейший мобилизующий фактор, ведь враг стремится «отрезать» часть живого целого.

Но не остановимся здесь, посмотрим дальше. Как не похвальны действия захватчиков, так сомнительны и любые вообще действия человека на «лице земли». Исключение делается лишь для земледельческого труда, который при этом неизбежно эротизируется, осмысляется не как «хирургия», а как «любовь»:

Я пахарь, друзья! Мое дело —
взрыхлить
горячее черное лоно.
(Валентин Устинов. Песня пахаря.)

Функция человека — помогать могучим родам земли, плодами которой он живет. Все органические процессы — зачатие, рост, цветение, роды и т. д.— наделяются мистическим смыслом, окружаются атмосферой религиозной тайны. Роды, например, не просто роды, они — магический обряд, и нарушение его извечной последовательности недопустимо, иначе результаты будут плачевны:

...упраздним изнуряющий труд,
обезболим кровавые роды!..
И по белому свету пойдут
небывалые дети природы.
— Нас без муки рожали на свет!
Без любви и без страха зачали! —
...Вот он — их неизбежный ответ
на живые мольбы и печали.

В этом любопытном стихотворении С. Куняева между посылкой и выводом — ни малейшей логической связи, чистая мистика, но ведь убеждает? Да, поскольку воздействует на наши «органические» предрассудки. А если додумать до конца? Я уж не говорю о том, что дети во Франции или в Америке, где роды давно обезболиваются, окажутся духовным «сортом» ниже, чем дети в глухой африканской деревне. Но ведь, следуя этой логике, вы не посмеете принять и таблетку анальгина, если у вас разболится голова. Боль — священное отправление организма, умение ее терпеть — важнейшая варварская добродетель.

Та же мистическая связь организует отношения земли и народа, который на ней живет и от нее кормится. Народ может прийти на эту именно землю издалека, он может ее завоевать, но история не интересует органическое сознание. Для него народ — то, что *народилось* здесь, то, что вышло из *родной* земли. И жалок удел народа, у которого земли нет,— он обречен на бесплодие и гибель. Тот же С. Куняев, путешествуя по Палестине, много размышлял на эту тему, и у него получилось весьма характерное стихотворение «Родная земля», посвященное судьбе одного неизвестного «племени». Племя это оказалось в незапамятные времена столь малосильным и трусливым что не выдержало натиска врагов и покинуло родную землю: «Когда-то племя бросило отчизну, ее пустыни, реки и холмы, чтобы о ней веками править тризну, о ней глядеть несбыточные сны». Куняев, в общем, не осуждает это сомнительное племя, однако он твердо уверен, что ничего хорошего от безземельных ждать не приходится:

Кто виноват,
что в грустных униженьях
как тяжкий сон тянулись времена,
что на изобретеньях и прозреньях
тень первородной слабости видна?

Не рассказывайте Куняеву о Христе или Эйнштейне, он не антисемит, он скорее — если исходить из смысла стихотворения — сионист. Но прежде всего он — органический мистик, «просвещенный» варвар. Что же касается Христа, то Куняев его на дух не переносит, и не потому, что Христос еврей, а потому, что мужественный клич «око за око» он попытался заменить слюнтяйским «возлюбите врагов ваших» (вот она — «первородная слабость»!). А Эйнштейн — ученый, что для людей одного с Куняевым

«вероисповедания» само по себе великий грех. Почему? Очень просто.

Хотя бы так: земля — огромное тело, предназначенное рожать, давать хлеб, обеспечивать народу жизнь. Всякое вторжение в ее «чрево» (добывание полезных ископаемых, например) есть действие, истощающее ее животворящие силы, ведущее к иссякновению ее «плоти» и «крови». Валентин Устинов, например, обуреваем стыдом «за то, что расплескали кровь земли по движителям частного сгоранья», и он далеко не одинок в своих чувствах. Соответственно, греховно и все то, что дает человеку власть над землей, над ее недрами,— прежде всего наука. Она в рамках такого мышления чрезвычайно подозрительна, как и культура вообще, она не только бесполезна в древнем деле пахаря, но и оказывается в тесном соседстве с предательством родины:

Что же ты родину —
такую родину! —
не хранишь?
Что же ты,
околдованный научным подъемом,
продал лес? продал нефть?
и зазывно манишь
всех охочих
до чистой воды с черноземом?
(Валентин Устинов. Послушай, брат.)

Жизнь и мысль для органического сознания — враги «Неустанно работает мысль, точит ствол человечьего древа»,— говорит С. Куняев, поддерживаемый многоголосым хором.

Но вернемся к земле. Надо сказать, что мотив иссякания недр, телесного обнищания родины, столь популярный ныне, возник в «патриотической» поэзии не так уж давно — когда нелюбимая ею наука забила тревогу. А прежде, и довольно долго, господствовал другой стереотип — богатства и неисчерпаемости. Поскольку в глубь «тела» поэты-«патриоты» проникать не любят, то выражалось законное чувство гордости в образах пространственных. Вспомним хотя бы самое простое, популярное, до сих пор хватающее за душу: «Широка страна моя родная. Много в ней лесов, полей и рек...» Отсюда, собственно, и должно было следовать, что человек в такой стране дышит «вольно».

Если речь идет о *теле*, то внимание к его «физическим», «плотским» характеристикам вполне закономерно и естественно. Чтобы выжить в органическом мире, нужны сила, мощь, могущество. Эти ценности из мира природы плавно переходят в «патриотическую» лирику, не теряя своей связи с пространством, вернее, с *количеством* земли и с тем, что в данном контексте можно назвать «биологической массой» людей на ней («нас — тьмы и тьмы, и тьмы»).

Само собой понятно, что «единое и неделимое» тело не может ни уменьшиться, ни распасться, для него это означает только смерть. Но оно может и должно прирастать — чем больше земли и людей, тем больше силы. Я думаю, «патриотическая» лирика образ «жизненного пространства», рожденный «сумрачным германским гением», приняла бы как свой, соприродный. Действительно, что ж такого: для жизни необходимо пространство. Если его мало, его нужно наращивать. А если пространства даже больше, чем необходимо для жизни, возникает высокое чувство счастья, довольства и гордости. Тут и начинают, забывая о такте, считать, сколько Франций (еще лучше — Бельгий) уместится в Сибири. Много умещается...

Чувствуя так, поэты-«патриоты», конечно же, не могут верить ни в «новое мышление», ни в «миру — мир», ни в «единую Европу». С трогательной простотой и даже остроумием об этом сказал недавно Феликс Чуев:

...И даже если парни всей планеты
возьмутся за руки —
представьте лишь! —
не сгинут войны, надо помнить это,
поскольку долго так не простоишь.

Я не хочу сказать, что органическому сознанию присущ милитаризм, нет. Милитаризм — понятие из другого, корыстного мира, мира социально-политических категорий. Но бесспорно, что поэты-«патриоты» живут в постоянном боевом напряжении, всегда готовы к здоровому мужскому делу и весьма ценят всех, кто успел себя в нем проявить. Генералиссимус Суворов и генералиссимус Сталин, фельдмаршал Кутузов и маршал Жуков, генерал Багратион и генерал Скобелев — желанные герои «патриотической» лирики. «Соловьем Генштаба» Алла Латынина назвала однажды рассудочного прозаика Александра Проханова. Но это, конечно, недоразумение. Какой же Проханов «соловей»? Соловей — вот:

Кровь святая бумаги кропит,
Дым и пепел победы летит,
Светит слава, эпоха глядит,
Как губами война шевелит
В тишине Генерального штаба.

Это Юрий Кузнецов, «Стихи о Генеральном штабе». «Узел духа» — вот что такое Генеральный штаб! Где уж Проханову с его «оборонным сознанием» и прочими наукообразными абстракциями... При этом я вовсе не имею в виду, что Юрий Кузнецов любит войну. Он любит родину и настолько боится за нее, настолько остро чувствует враждебность к ней всего окружающего мира, что готов перенести ее в иные, запредельные места: «Я скатаю родину в яйцо. И оставлю чуждые пределы, И пройду за вечное кольцо, Где никто в лицо не мечет стрелы». А поскольку «скатать» пока не получается, то и Генеральный штаб пригодится.

Столь ревностное внимание к «почве» не только осложняет отношения соседних

народов, оно и внутри одного народа способно создать напряжение. Если все, что близко к земле, что исходит от нее,— благо, то всё, что от нее отрывается, всё, что не нужно ей для вечного плодоношения,— зло. По этой логике деревня, например,— безусловное благо, город — резиденция Антихриста, порождение нечистой силы Более или менее откровенные высказывания по этому поводу и раньше звучали довольно часто, но не так давно среди нравоучений и проклятий стали слышны и прямые угрозы. Приведу целиком характерное в этом смысле стихотворение Леонида Сафронова «Нечистая сила»:

Хохотала Нечистая сила:
«Помню, я еще в силе была,
Сколько я деревень посносила,
Сколько я городов вознесла!»

Между тем из насущного хлеба
На полях проступила руда,
И от хохота рухнуло небо —
И пропали в земле города...

Напечатано это на страницах журнала, носящего имя нашего самого большого и, наверное, уже поэтому самого греховного города. А звучит на фоне продовольственного кризиса весьма актуально и многообещающе. Дескать, патриотизм патриотизмом, а хлеба не дадим...

3

Как замкнут природный цикл, как автономна деревня в сравнении с городом, так и земля-родина не нуждается ни в чем, кроме себя самой, она замкнута в себе, непроницаема для чужого взгляда. Ю. Кузнецов, настойчивый пропагандист этой идеи, недавно подкрепил ее новым стихотворным аргументом:

Солнце родины смотрит в себя.
Потому так таинственно светел
Наш пустырь, где рыдает судьба
И мерцает отеческий пепел.

И чужая душа ни одна
Не увидит сиянья над нами:
Это Китеж, всплывая со дна,
Из грядущего светит крестами.

Ксенофобия Кузнецова и его коллег по «патриотической» поэзии уже привычна, но последняя строчка этого стихотворения обнаруживает еще одно свойство земли-родины — ее время тоже замкнуто, закольцовано, то есть ее история никуда не направлена. В «грядущем» она настигает прошлое, и так по кругу — бесконечно. Что ж, закономерно — ведь у природы, у плоти, у земли тоже нет истории (как закрепленной памяти), есть вечно повторяющийся цикл, смена времен года, «биологические часы». «Для вас — века, для нас — единый час»,— так это сформулировано в «Скифах». А поскольку приглашения к истории довольно часто приходят из-за моря, то всё «заморское» вовсе не из пустого каприза «патриотическую» поэзию раздражает, а иноземное слово «прогресс» просто-таки приводит в бешенство. Да даже и не «прогресс»,— бог с ним, не к ночи будь помянут,— но и любой вообще вектор, размыкающий круг, хотя бы слово «вперед», которое Ю. Кузнецов сделал отрицательным героем целого стихотворения: («Обезумело слово «вперед», Обернулось оно человеком, Что повел за собою народ, Словно черт в помешательстве неком...»)

Много еще интересного растет из «земли», из «почвы». Например, идеал человека — вросшего в нее корнями, сильного, простого и «цельного», как всякое тело. Человек иного склада подозрителен и ненадежен, он «Иван, не помнящий родства». Он ищет то, что совершенно не нужно для вечного биологического воспроизводства — «удачу» да «волю». Об этом прекрасно написал в давнем уже стихотворении С. Куняев, наш «просвещенный консерватор»:

...Не зря на Руси
Почитаемы пахарь и плотник,
а не пасынки праздной стези —
не рыбак и не вольный охотник.

Потому что лопата и плуг —
непростая, но верная доля.
Коль хватает терпенья и рук —
не нужны ни удача, ни воля.

Куняев-то, при его «просвещенности», прекрасно понимает, для чего нужны «удача и воля» — для творчества («песню сложишь и сказку расскажешь»), но от императива «Руси», как он ее представляет, никуда не денешься — она нуждается не в творчестве, а в сохранении и воспроизводстве.

Естественно, что в органическом сознании просто нет места для понятия «личность». Отсюда, между прочим, и путаница, которая начинается, стоит «патриотической» лирике заговорить о таких чуждых ей вещах, как «свобода» или «права человека». Как «гражданин страны, которой нет начала и предела», С. Куняев еще в 1975 году небрежно отмахнулся от них: «Я не поборник иллюзорных прав. А если кто увидит в этом рабство, я отшучусь, что вел себя, как граф, не признающий равенства и братства».

«Иллюзорные» — значит, не связанные с тем «настоящим и непридуманным» миром органики, о котором писал Блок. А отшучивается Куняев неуклюже, подменяя «свободы» — «равенством и братством». И вообще — «Ах, мне бы ваши жалкие заботы»,— говорит он. И я допускаю, что поэты этого строя чувств искренне не понимают,— о какой такой «свободе», о каких «правах» речь. Если есть «земля», которая кормит,— что еще нужно? Блестяще выразил эту психологию Виктор Лапшин, часто с симпа-

щие табуированное имя невидимого врага, мелькают едва ли не в каждом втором «патриотическом» стихотворении. «Куда ни глянь — на бесе бес...»,— нервничает Виктор Лапшин в стихотворении «Ответ народным фронтам». И Юрию Кузнецову постоянно черти мерещатся: «Я увидел: всё древо усеяли бесы и, кривляясь, галдели про черные мессы». Если вспомнить, что «орлиное перо, упавшее с небес», то бишь талант, даже этому поэту вручил некогда «прохожий или бес», то просто страшно за него становится.

Ивану Савельеву лица врагов тоже виделись сначала смутно, и он всё твердил: «они».— «Они — иль мы? Одно — из двух. Нацелясь в нас, детей и внуков, Они из душ народный дух Изгнать пытаются, как духов». Но потом он отрезвел, и ему открылось:

Нам травили сознанье водкою.
Отрезвели мы —
На глазах
Плещет поднятый новодворскими
Над Москвой сионистский стяг.

Ну, слава богу, наконец-то. Не побоялся поэт, донес до народа правду, хотя и знал, что враги «к горлу тянутся — задушить». Пренебрег предупреждением Кузнецова: «Одного, другого ненароком Тронешь, и тебя ударит током. Мрак включен. Остерегайся впредь: Ты задел невидимую сеть». Да и нечего ему бояться, Ивану Савельеву, он если и мистик, то сугубо коммунистический, так как единственный призрак, в которого он верит и которого ждет не дождется,— призрак коммунизма:

Не знаю, что из планов выйдет,
Насколько планы по плечу,—
Но я хочу его увидеть,
Пусть даже призрак, но — хочу!..

К тому же он, как и положено коммунисту, интернационалист. И честно в этом признается: «Не унижусь и не унижу, Не пойду в крестовый поход,— Ибо в каждом народе вижу Неуниженный мой народ».

6

Да, так уж исторически сложилось, что на «родной земле» живут многие народы, которые собрала под свою надежную руку «держава» — государство. Но государство — понятие абстрактное, оно из области нелюбимого органическим мышлением «закона». Чтобы освоить это понятие, органическому мышлению приходится подобрать ему в арсенале своих образов достойный эквивалент. И таким эквивалентом неизбежно становится семья, род. А в семье, само собой, есть мать, отец, дети — братья и сестры. В роли Матери выступает, естественно, сама «родная земля», в роли Отца — глава государства, вождь; народы же, населяющие «родную землю», суть дети — братья и сестры. Строй жизни в таком государстве-семье основан, конечно же, не на «законе», а на «любви», о свойствах которой мы уже кое-что сказали, а главным образом — на державной воле Отца. Его воля — воля благая и, как бы ни был тяжел его гнет, он священен.

Интимную, кровную природу государственной, отцовской власти прекрасно чувствует и передает С. Куняев:

В звуках земли и небес,
в клятвах любви и коварства —
всюду найдет интерес
здравый инстинкт государства.

Но погоди, не ропщи,
мудро исследуй причину:
а не в твоей ли крови
то же диктаторство к сыну?

Значит, отцовская длань,
давши защиту и хлеба,
верности вечную дань
требует страстно и слепо.

«Здравый инстинкт», «вечная дань», «страстно и слепо» — все это очень точно, все это из самых глубин органического сознания. Похоже, С. Куняев — один из немногих, кто не просто идет на поводу у привычной образной системы, но и последовательно и трезво исповедует выражаемую в ней специфическую идеологию. Тем дороже его признания.

Образ Отца, конечно, провоцирует на персонификацию. Это сейчас не совсем удобно, ибо единственная историческая фигура в нашем веке, способная соответствовать роли грозного и мудрого Отца, безнадежно скомпрометирована «желтой прессой». Но есть, есть смельчаки, которых это нисколько не смущает, и первый из них — конечно же, Феликс Чуев. Откройте его новую книгу «Русский пламень» — она вся освящена дорогим Отцовским именем.

Какая ж клокотала в нем природа
и как он исполински понимал,
когда здоровье русского народа
он высоко над миром поднимал!

И сколько ни рассказывайте вы Чуеву о Сталине, о его преступлениях — он с этого места не сдвинется. Он не Павлик Морозов какой-нибудь, он гордо ответит соблазнителям: «Я сын его. И я необъективен. Ведь это ж не о ком-то — об отце». К тому же Отец — и именно такой — как нельзя лучше вписывается в чуевскую философию истории и теорию государства. Кстати, Чуев наивно проговаривается обо всем, что старается обойти молчанием более умный Куняев:

Так повелось, что много крови
лилось на родине моей.
Чем царь умней, тем он суровей,
а чем добрее, тем глупей.

Терпи и молча благодарствуй
и сам себе не будь врагом.
В полудикарском государстве
запретов больше, чем в другом.

Но все привыкли и согласны —
ведь мы идем своим путем,
и возраст юный и опасный,
а значит, скоро подрастем.

На фоне такого великолепного, поистине варварского равнодушия к крови, такого верноподданнического мазохизма, такой глубоко философской «любви к судьбе» все заигрывания с образом Сталина у других поэтов кажутся легковесными.

Замечательно во всей этой «отцовской» линии «патриотической» поэзии плохо скрытое презрение к народу, странное — при столь щедро расточаемой словесной любви — неверие в его способность к самостоянию. Наивный Феликс Чуев, и тот — про «юный и опасный возраст», про «полудикарское государство». А вот С. Куняев, еще более свысока:

Народ, ты вечное дитя,
в плену житейских дел
все жаждешь золотого дня,
все рвешься за предел,
тебе положенный судьбой...
В хмелю своих страстей
ты так владеешь сам собой,
что не собрать костей.
Не будет воли — будет жизнь
В кольце чужих племен.
И потому вождей держись
и не порочь имен.

Правда, вложены эти обидные слова в уста Сергия Радонежского, но звуки варварской лиры под проповедь не стилизуешь. «Чтоб твой язык и твой размах был кровен вожаку, чтоб мог осаживать вожак тебя на всем скаку...» Кровью, конским потом и сбруей пахнет — не ладаном и воском...

Итак, устроение идеального государства-семьи — строгая, бескомпромиссная вертикаль. Наверху, во главе иерархии — державный Отец, но и ниже никакого хаоса и беспорядка. Народы — братья, а братья, как известно, бывают старшие и младшие. И поскольку поэт-«патриот» живет не в мире истории и культуры, а в мире природы и плоти, где царствует количество и сила, то «старшим братом» неизбежно признается брат б о л ь ш и й. Понятно, что в отношениях с остальными он первый исполнитель воли Отца и на него переносится часть отцовской благодати и непогрешимости. Поэтому сейчас, когда былое «семейное согласие» подвергнуто суровому испытанию свободой, когда «младшие братья» устремились из-под тяжкой «отцовской длани» в разные стороны, поэты, считающие себя выразителями чувств и чаяний «старшего брата», наделяют беглецов нелестными эпитетами:

И ныне, когда подвергается наш
Союз испытанью и злому замаху,
Заблудшему брату и сердце отдашь,
И с тела последнюю скинешь
рубаху,

пишет о России Борис Сиротин. Но он прекраснодушный либерал, он еще последними рубахами разбрасывается. Нет, в жизни и в поэзии давно уже густеет дух дележа, дотошных подсчетов и упреков:

Давно ль клялись наперебой
в хмельной любви к старшому
брату,

теперь за тот стеклянный бой
тройную взыскивают плату,—

негодует Виктор Кочетков в стихотворении «Да что ж мы, русские, молчим...» Нет, не молчим, вот и Юрий Лощиц включается в «братский» (в его варианте — сестринский) спор. Он тоже обижен, но уже предвкушает сладкий миг торжества:

Скоро припомните слово мое.
Как наварю заповедной пшеницы,
как зачерпну серебра из криницы,
как запою на прощальном пиру,
в дверь не царапайтесь — не
отопру.
Кыште, крикливые! Вольному —
ветер...

Честно говоря, мне казалось, что после Оруэлла уже нельзя использовать образ «старшего брата» без иронии, без оглядки на весь мир, где «старший брат» — символ тоталитарного подавления. Но я забыл, что «солнце родины смотрит в себя» и нашим «патриотам» не указ какой-то англичанин-полукровка. Что же до иронии, то ирония и современная «патриотическая» лирика полярны. Появись сейчас А. К. Толстой со своей «Историей государства Российского от Гостомысла до Тимашева», боюсь, объявили бы его русофобом и метафористом... Да и русский народ, взгромождаемый «патриотической» лирикой в номенклатурное кресло «старшего брата», был не в пример отзывчивее на иронию, что и доказал еще в незапамятные времена замечательными сказками о похождениях Иванушки-дурачка — м л а д ш е г о брата...

7

«Патриотическая» лирика окрашена сейчас отнюдь не в радужные тона, как было еще совсем недавно. Тревога ее велика. Апокалипсические картины разорения и обнищания отчизны, которые она рисует, проникнуты чаще всего подлинной болью, они способны тронуть читателя. Но каков же прогноз? В чем спасение?

Когда речь заходит о спасении, о возрождении России, «патриотическую» ли-

рику постигает какой-то паралич воображения. Из стихотворения в стихотворение перепархивает неутомимая птица Феникс, без устали, как на киносъемках, поднимается из озерных глубин град Китеж, шумит в очередной раз Куликовская битва.

К тому же у патриотической лирики этого типа всегда есть в запасе «секретное оружие». Кроме Русской Идеи, которой она безраздельно предана, в ее арсенале на крайний случай бережется Русская Тайна. Поэты-«патриоты» твердо запомнили, читая Тютчева, Блока и Есенина: «Россия — Сфинкс». В самом деле, тайна — ключевой образ традиционной патриотической лирики, об этом прекрасно написал в своем эссе Юрий Мамлеев[1]. И нынешние поэты-«патриоты», заводящие речь о тайне, могут показаться продолжателями авторитетной традиции. Одно смущает, однако: почему они ведут себя так, словно тайна, которую благоговейно разгадывали всю жизнь и не разгадали Тютчев, Блок и Есенин, им прекрасно ведома и они ждут лишь часа, чтобы пустить в дело это секретное оружие? Вот, например, Юрий Лощиц, нарисовав леденящую картину и задав множество безответных вопросов безмолвствующему народу, веско намекает:

Но небо нам еще не разрешило
последний распечатать русский
сказ.

Надо полагать, «распечатают» его в «Литературной России»...

Знает тайну, судя по частым обмолвкам, и Юрий Кузнецов, но по обыкновению темнит, отстраняет профанов:

Но это не каждому видеть дано,
светло в моем сердце, а в вашем
темно.

Итак, чудо, тайна... Об авторитете, то есть об Отце, я уже говорил. Правда, теперь у «патриотической» поэзии большие надежды на авторитет православной церкви, и об этом мне уже приходилось недавно писать. Но тут есть одна сложность — приходится расставаться с некоторыми «скифскими» привычками, смирять буйную плоть и горячую кровь... Пока, правда, поэты больше озабочены материей — восстановлением храмов и монастырей, возвращением в них святых мощей и икон, но есть уже любопытные сдвиги и в собственно духовной сфере. Например, очень проникновенно зазвучал в последнее время аскетический пафос, причем у тех же поэтов, которые прежде не уставали славить органическое богатство «родной земли». И в этом ничего особенно удивительного нет. Ведь язычество и аскетизм, в сущности, две стороны одной медали, они тесно связаны своим неравнодушием к п л о т и.

И вот теперь нас пытаются убедить не только в том, что наша бедность и есть наше главное богатство, но и в том, что на нас с надеждой смотрит богатый, но бездуховный Запад. Я рекомендую читателю весьма занятную статью Юрия Сохрякова «Апокалипсис или самоограничение?» (ЛР, 1990, 19 января, № 3). Это публицистика, но автор поднимается здесь до высот вполне поэтических. Предлагая нам отказаться от гибельного материализма, Юрий Сохряков возлагает большие надежды на «душу народную». Он верит, что она «сохранилась и продолжает излучать свой благотворный свет». Прекрасно. Но слушайте, слушайте дальше: «Эта духовная мощь питается нереализованной энергией миллионов крестьян, уничтоженных в годы коллективизации, миллионов, полегших на фронтах двух мировых и гражданской войн, миллионов, затравленных и замученных в ежовско-бериевских лагерях и тюрьмах». Красиво? Еще бы. Но и страшновато, согласитесь. Вроде бы о чистом духе, об «энергии» речь, но слышен, слышен «смертный плоти запах». Дескать, духовная наша нива щедро удобрена... Что-то сопротивляется в душе такому вот присоединению наших мертвых к числу наших богатств. Они — наша боль, наш стыд, о них — наша память, но утилизация их «нереализованной энергии», хотя бы и поэтико-публицистическая — это что-то малопочтенное...

* * *

Подводя итоги, я хочу вернуться к мыслям Блока о «настоящем и непридуманном мире» и о «тяжелом русском духе».

Поскольку меня неизбежно обвинят в непатриотизме, я поспешу сказать, что возможен патриотизм на базе иных ценностей, нежели те, которые предлагает органическое сознание. Во-вторых, я позволю себе усомниться в том, что «дух», реанимируемый сейчас «патриотической» лирикой, такой уж «русский».

В самом деле, есть искушение признать острое переживание особо интимной, «кровной», «природной» связи человека со своей родиной особенностью именно русского национального характера. Если сравнивать среднего современного немца и среднего современного русского, то, видимо, русский окажется гораздо более «естественным», гораздо более «природным». Но если не ограничиться этим, а привлечь историю, заглянуть в немецкий фольклор, в немецкую поэзию хотя бы начала XIX века (а также 20—30-х годов века XX-го), то картина несколько усложнится. А если еще расширить поле сопоставлений за счет других народов и сделать честный, объективный вывод, то он — могу за это поручиться — будет несколько неожидан для ярых приверженцев «русского духа». Окажется, что сходное мироотношение,

[1] См.: Юрий Мамлеев. Философия русской патриотической лирики.— Советская литература, 1990, № 1.

сходное переживание патриотических чувств свойственно едва ли не всем народам — на определенном этапе их исторического развития. Я уж не говорю о фольклоре — там сходство почти полное. Но и литературы народов, когда-либо занимавшихся земледелием, в эпоху перехода от аграрного этапа своей истории к индустриальному непременно вызывают к жизни этот «дух» — называя его «русским», «германским», «французским» и т. д. Правда, разные народы проходят этот неизбежный этап своей истории в разное время и по-разному. От этого зависит острота переживания связи человека с землей, его драматичность. Наш переход не только затянулся, он был превращен в катастрофу, в национальную трагедию. Но это не значит, что его содержание было иным.

«Органическая» культура, господствовавшая у нас до 30-х годов XX века, сменилась культурой иного типа. Не буду спорить — та, «органическая» культура, которую разрушили коллективизация и индустриализация, была традиционной, естественной для большей части народа, устоявшейся, по-своему гармоничной, а нынешняя наша «культура» представляет собою пока что электрический хаос, где возможности еще не стали реальностями и где человеку живется не слишком психологически комфортно. Во всяком случае, такого обилия «маргиналов», как у нас, нет, наверное, нигде. Но из этого совсем не следует, что тот «настоящий и непридуманный мир», о котором Блок без особого воодушевления писал в 1919 году, который Есенин и Клюев уже тогда ностальгически оплакивали, остался прежним — то есть «настоящим и непридуманным», и к нему можно, всенародно покаявшись, вернуться. Время необратимо, и возвращаться — некуда.

Куда же и кого зовет в таком случае «варварская лира», какие струны в душе русского человека она хочет пробудить?

Дальше я буду говорить банальные, множество раз уже сказанные слова, но их нужно, по возможности, повторять снова и снова.

«Патриотическая» лирика обращена к травмированному сознанию, к сознанию людей, чьи отцы и деды были грубо выброшены из цельного мира «органической» культуры в другой — незнакомый и потому жестокий к новичкам мир. Эта психологическая травма — совсем недавняя — еще сказывается, ее последствия переживают не менее половины нынешних благополучных горожан, уже никак не связанных с почвой. Все, что осталось у них от «родины» их отцов и дедов,— тревожно-притягательный образ, миф о райском саде и об ужасном изгнании из него. Вот этот-то миф и раскрашивается «патриотической» поэзией в цвета реальности, а из тоски по Эдему, из чувства обделенности иллюзорными покоем и гармонией, из страха перед требованиями, которые предъявляет цивилизация, выковывается агрессия, направляемая и на обогнавший нас мир, и на культуру, и на науку, и на город, и на «инородцев», и на все, что угодно, как у Кузнецова.

Прекрасны связь человека с природой, его любовь к родине, но лишь когда они естественны и не конституируются как особое, аффектированное п о в е д е н и е, род театра для себя и других.

Кстати, и нет никаких реальных, определенных сил, лиц или организаций, которые бы целенаправленно мешали человеку быть с природой или беззаветно любить родину. Есть объективный процесс, меняющий отношения человека и природы, гражданина и отечества, и он требует от человека все большей внутренней свободы и все большей ответственности, осторожности, культуры. Чернобыльская катастрофа произошла не из-за чрезмерного развития науки и сугубой «образованности» персонала АЭС. А какие только преступления не совершались в XX веке под флагом фанатичной любви к родине! Но разделять ее историческую судьбу — это одно, а растворяться в массовых идеологических психозах, приводящих к миллионным гекатомбам,— совсем другое.

«Патриотическая» лирика зовет нас назад, и сопротивление самой жизни, не желающей поворачивать вспять, кажется ей следствием злонамеренного заговора всевозможных персонифицированных и неперсонифицированных «темных сил». Чтобы поднять современного человека на борьбу с этими призраками и фантомами, ей нужно нейтрализовать контролирующий разум, пробудить дремлющие инстинкты. И чем ниже уровень культуры человека и общества, тем легче это сделать.

Нынешний социально-политический и экономический кризис может стать звездным часом агрессивного «патриотического» сознания, как это уже случалось в недавней европейской и азиатской истории. «Варвара» и «скифа» в миллионах наших соотечественников, прошедших сквозь тюремный и казарменный «беспредел», не нужно даже и будить. Пока они убивают друг друга в пьяных драках, попаливают ларьки кооператоров и коровники фермеров, штурмуют винные магазины, всячески ищут выход накопившейся беспредметной злобе. Но дайте им вождя, выкиньте доходчивый, до нутра пробирающий лозунг — и тогда история действительно повернет вспять. Но уж навсегда, и никакого града Китежа не будет, потому что «умников», знающих, как заглушить атомный реактор и умеющих лечить лучевую болезнь, «варвары» и «скифы» вырежут в первую очередь.

Вот о чем я прежде всего думаю, слыша звуки «варварской лиры»... О том, что это весьма вторичная поэзия — вторичная даже у талантливых поэтов,— как-нибудь потом. Если успеем...

г. Иваново

Покоренье Крыма, дубль два

Проза Василия Аксенова вновь на страницах «Юности». Напечатан рубежный его роман, создававшийся в канун эмиграции из России.

«Остров Крым» — случай по-своему уникальный: автор сводит лицом к лицу утопию и антиутопию, воображаемая встреча которых происходит согласно законам реальной политики конца семидесятых годов XX века.

Утопия — это условный Крым, ставший в романе островом, где врангелевская белая гвардия спаслась от разгрома и впоследствии создала процветающий уголок современной западной цивилизации,— точь-в-точь как это произошло с гоминьдановским Тайванем.

Антиутопия, напротив, более чем реальна, это нависший над безмятежным «островом О'кей» материк развитого социализма эпохи позднего застоя.

У В. Аксенова серьезные мотивировки: любой, уважающий себя утопист прошлого для своих социальных построений предпочел бы остров любому другому месту на Земле. И аналогичным образом поступает современный прагматичный реформатор, выбирая именно остров Сахалин для беспрецедентного экономического эксперимента. Равно как далеко не случайно, что свою готовность стать, если потребуется, последним оплотом коммунизма в мире декларирует тоже остров — Куба. В общем, как писала некогда лондонская «Таймс», словно взявшись продемонстрировать, что островное сознание не есть выдумка психологов, «в результате непрекращающегося шторма материк отрезан от Британии», и не наоборот...

В сверхидее романа либерально-демократическая мечта о России утверждается посредством отрицания коммунистической реальности, и это вполне отвечает тому, что происходит сегодня в массовом сознании. И точно так же, как сегодня в нашей жизни, в романе ставится вопрос о том, чем была бы Россия в ряду современных держав, если бы ее органичное историческое развитие не было насильственно пресечено революцией. Об этом сейчас много толков — видно, утопическое проектирование, футурологическое или ретроспективное, неистребимо в нас. Аксеновский инвариант русской истории, хоть и опоздавший к читателю на десятилетие, все же подоспел вовремя, чтобы вступить в общий спор, предложив собственную литературную версию: «Например, Крым...»

Нет сомнения: этот остров рожден на свет для того, чтобы, перефразируя Чаадаева, дать какой-то важный урок. Собственно, жестокий урок, преподанный в разное время Венгрии и Чехословакии, миру как раз не в диковинку (роман написан за год до Афганистана). Зачем же в таком случае автору заново моделировать слишком известную ситуацию советского вторжения на примере полумифического острова Крым? Причин и отличий мне видится как минимум три. Во-первых, В. Аксенов населил свой остров русскими, что должно свидетельствовать об универсальности экспансионистской природы Советского Союза, каким он был десять лет назад, и неизменности условных рефлексов тоталитаризма вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств. Во-вторых, в романе речь идет об оккупации страны, готовой добровольно воссоединиться с исторической родиной, что доказывает внутреннюю неспособность последней следовать гибкой и здравой политике и говорит о предпочтении, при всех условиях отдаваемом деспанту перед детантом. И, наконец, остров Крым изображен как часть западного мира, нередко склонного к прекраснодушию и иллюзиям в оценке восточной сверхдержавы, за что следует закономерная расплата.

Справедлива ли такая постановка вопроса и верны ли выводы? Возможно, положительный ответ травмирует имперское самосознание, поразительным образом сочетающееся у нас с уровнем жизни, достойным вчерашней колонии, однако доказать неправоту аксеновской концепции на примерах из советской истории, боюсь, будет невозможно. Да, афганский опыт умерил нашу державную спесь, которую мы не можем себе сегодня позволить не только потому, что ока-

---

Василий Аксенов. Остров Крым. Роман. Юность, №№ 1—5, 1990.

зались банкротами, но и потому, что осознали, как далеко разошлись наши дороги с остальным человечеством. И хотя разительные политические перемены в Восточной Европе происходили под знаком демонстративного советского невмешательства, мы все еще остаемся, по ядовитому замечанию одного наблюдателя, «Верхней Вольтой с баллистическими ракетами». И в силу этого нельзя исключить рецидивов имперского мышления, делающего нас опасными для других, а значит, и для самих себя.

Вторая сторона проблемы заключается в том, что великодержавный комплекс, будучи неспособен ныне к реализации во внешнеполитической сфере, вполне может переместиться по закону вытеснения во внутриполитическую плоскость, сделав нас опасными для себя, а значит, и для других. Именно в этом видится урок тбилисской трагедии, которая выглядит сегодня зловещим, но все-таки изолированным эпизодом, однако серьезный региональный или национальный кризис чреват тем, что потенциально способен снова ввергнуть нас в тот трагический апрель.

Книга Аксенова плохо поддается строгой жанровой идентификации, однако это проза в первую очередь политическая. И помещенная в политический же, родной для нее контекст, она уже не оставляет места для разговоров об «опоздавшей литературе». Видимо, автору не удастся избежать упреков в антипатриотизме от националистически ориентированной критики. Что ж, великий чаадаевский, солженицынский или сахаровский дар любить Россию с открытыми глазами внятен не всем — говорю об этом, не помышляя включать В. Аксенова в ряд титанов, но совершенно убежденный в том, что наше общество как никакое другое нуждается сегодня в горьких лекарствах. В университетах, которые ускоренным порядком проходит наша мысль, необходимее иных прочих такие учителя, как Оруэлл или Кюстин. Если же вернуться к книге Аксенова, то на ее основе можно было бы написать и работу по философии истории, и статью по проблемам поэтики, и литературный фельетон — настолько тесно переплелись здесь достоинства и недостатки, присущие этому писателю. Что же касается самого выражения «остров Крым», то оно, на мой взгляд, имеет шанс закрепиться в современном политическом сознании как один из его архетипов.

Следя за авантюрно-политическими похождениями главного героя Андрея Лучникова, не раз поймаешь себя на ощущении, что читаешь так называемую «молодежную прозу» шестидесятых годов — почти не повзрослевшую, лишь обогащенную новыми впечатлениями да вышедшую на международную орбиту. И русского иностранца Лучникова, столь любезного автору, отличает не только психологическая общность с советскими персонажами, но и неистребимое отечественное фраерство. Вот Лучников-старший потчует американских гостей икрой, которую именует отчего-то «супервалютной», вот Лучников-младший забывает в машине не просто пальто, а «английский двусторонний реглан»... Могу допустить подобный ход мысли только при условии, что менталитет зарубежного магната тот же самый, что у советского нувориша из фарцы. Аксеновский роман о международной политике оказался на удивление «бочкотарист», при всей избыточной американизированности его словаря. Видимо, в силу этого не могли бы быть другими ни сам прогрессивный пижон Лучников, ни его нелепая саморазрушительная фантазия, которой он заразил купающихся в благоденствии островитян: присоединиться к исторической родине, где «в экономике развал, в политике чушь несусветная, в идеологии тупость», и спасти ее ценой собственной безвозвратной советизации. Эта чудовищная с точки зрения реального политического мышления натяжка может иметь только одно объяснение: автору было важно любой ценой показать, что «большевистский миф» бессмертен, что просоветские иллюзии левых западных интеллектуалов неискоренимы и что доверчивость свободного мира в отношениях с тоталитарной сверхдержавой ведет его к катастрофе. При том, что фабула аксеновского романа не выдерживает с точки зрения психологических мотивировок такой нагрузки, его подход в принципе не отличается от рекомендаций Сахарова Западу доверять советским обещаниям лишь в той мере, в которой они подкреплены конкретными шагами, или от позиции Тэтчер, увязывавшей перспективы финансовой помощи с реальными изменениями в советской экономике.

Если же говорить о лучших эпизодах романа, то они сошлись в его финале, написанном не просто свободно и точно, но с какой-то яркой кинематографической изобразительностью. Собственно, то же сравнение посещает и Лучникова, который, наблюдая отработанную операцию советского военного вторжения, вдруг начинает хохотать: «Это же киносъемки!.. Ничего не скажешь, американский размах... Браво, браво, гениально придумано! И флот закупили, и авиацию, серьезная игра!.. Новый творческий метод — съемка-хеппенинг!..»

Но если в финале романа, создававшегося десять лет назад, Лучников, потерявший в первые же часы оккупации все, что было ему дорого в жизни, сходит с ума, то в киносценарии «Остров Крым», написанном Аксеновым на основе книги уже в наши дни, конъюнктура теснит психологическую достоверность. В киноверсии вторжение оборачивается для СССР идейным и правительственным кризисом, традиционные структуры власти распадаются, и как апофеоз всех этих волшебных перемен звучит обращение к народам нового московского лидера Андрея Арсениевича Лучникова:

«Братья, сестры, друзья! Как члену Крымской Думы и Председателю Всесоюзного специального комитета мне выпала историческая честь провозгласить Новую политику нашей Великой нации. Имя ей — Перестройка!»

Меня же больше, чем подобный финал, убеждает и обнадеживает другой эпизод, присутствующий и в романе, и в сценарии. Четверо молодых людей с новорожденным младенцем бегут на катере из Крыма в Турцию. С советского авианосца поднимается в воздух перехватчик. Вертолет облетает катер. Беглецы молятся перед смертью. Пилоты сговариваются их пощадить и выпускают ракету мимо цели. Докладывают на авианосец о выполнении задания. С авианосца подтверждают поражение цели, хотя экран локатора молчаливо свидетельствует об обратном... Это негласное сообщничество в отказе убивать безоружных и невиновных не есть ли начало новой общественной морали, на которой как на фундаменте воздвигнется уже все остальное? Пока что она утверждает себя в старых формах лжи и круговой поруки, но ведь это только начало. Люди еще боятся друг друга, потому что боятся себя, не рискуют вступать в открытое противостояние с бесчеловечностью и идиотизмом, но они уже сделали первый шаг на пути к твердому «нет», с которого начинается распрямление человека.

Василий Аксенов писатель не метафизический. И все же, думается, не будет насилием над текстом прочесть его книгу как спрятавшуюся под маской политической антиутопии и не открывающуюся даже себе мечту.

Мечту о свободной, гуманной и процветающей стране, где древняя земля Тмутараканская, чтобы быть счастливой, не нуждается в том, чтобы оборотиться в заграничный остров.

Например, Крым...

Виктор Малухин

И радость — это боль

Начиная рецензию, соблазнительно обыграть дату рождения Александра Терехова — 1966 год: традиции «шестидесятников», «эстафета поколения» и т. д. Но с преемственностью, традициями, столь удобными для литературно-критических построений, не совсем получается. В 60-е годы начинающие вступали в литературу с верой и надеждой («Коллеги» В. Аксенова, «Мы здесь живем» В. Войновича, «До свидания, мальчики» Б. Балтера). Лишь потом наступало разочарование, надежды оборачивались иллюзиями...

В каком-то смысле А. Терехов начал с рубежа, к которому мучительно приходили «шестидесятники», дорого оплачивая прозрение. Он свободен от иллюзий, и «негодующая общественность» принялась строчить письма, едва А. Терехов напечатал свой первый рассказ «Дурачок».

Ничего особенного в «Дурачке» не происходит. Подумаешь, посягают на человеческое достоинство солдата. Посягают не командиры со звездочками на погонах, а свой брат — рядовой, сержант. Разница между унижающими и унижаемыми в том, что первые служили дольше вторых; претерпев обиды и побои, они заслужили, как считают, право обижать и бить «салабонов». Но армейская ли это особенность? У героя возникает подозрение: на «гражданке» такая же система, только более скрытая.

В этом рассказе-дебюте А. Терехов пробивается к идее, которая станет для него, пожалуй, главенствующей и после ухода из армии. Постоянно, как он будет убеждаться, необходимы душевные силы, помогающие человеку остаться человеком. Слишком велико, неотступно бесправие, слишком искажено восприятие самого, казалось бы, вечного, незыблемого, коренного, когда уже «и радость — это боль».

В очерке «Страх перед морозом» люди спят на вокзале, на истоптанном полу. Благополучный 1988 год, а они спят на вокзальном полу, испытывая счастье.

А Терехов замечает бьющие наотмашь подробности: безногий спит, положив голову на деревянное сиденье. Но не педалирует их, ставит в ряд менее броских. Ряд обретает протяженность, уравнивает школьников и офицеров, врачей и директоров, младенцев и калек. Это равенство беды писатель называет казарменным. По-моему, не совсем точно. В казарме — он сам не однажды убеждается — царит иерархия. Армия признает лишь равенство строевое, равенство марширующих колонн. Оно скрывает жесткую табель о рангах.

Для А. Терехова деталь не довод в полемике, не предпосылка для загодя известного вывода. Она суверенна и самоценна,— проявление общего бытия.

Лучший, на мой взгляд, очерк А. Терехова «Абсолютно черная пустота» снабжен подзаголовком: «Песня о первой любви». Что она собой являет и что символизирует — наша «первая любовь» — московский метрополитен. Автор спустился ночью в притихшее подземелье, а поднявшись наверх, перелистал газетные подшивки за март 1938 года, когда сдавался в эксплуатацию Покровский радиус. Победные рапорты строителей на газетной полосе соседствовали с сообщениями о процессе правотроцкистского блока. Движение должно открыться 13 марта. Вечером 12-го Бухарину предоставили последнее слово. В 4 часа 13 марта начали читать приговор. В 6 утра пошел первый поезд. 14 марта пресса сообщила о торжественном пуске, о ликовании пассажиров. В ночь на 15 марта смертный приговор над Бухариным и другими осужденными был приведен в исполнение.

Александр Терехов. Секрет. Очерки и рассказ. М., Правда, 1989; Зёма, иронический дневник. М., Альманах «Апрель», 1989; публикации в журнале «Огонек», 1989—1990.

Слова «абсолютно черная пустота» взяты из последнего слова Бухарина...

Очерк, как нередко у А. Терехова, вырывается за рамки сюжета, за пределы объекта описания. Даже если давние (о них А. Терехову, вероятно, неизвестно) слухи о подземных рельсах, уложенных на костях, о тяжких авариях в шахтах и штольнях не всегда были достоверны, наступил, видимо, час проверить абсолютность максимы, которая запомнилась многим с тех же детских лет, что и легенды о метро, стишки о «лестнице-чудеснице» и прочие милые апокрифы, героические мифы. Я о некрасовском: «... дело прочно, Когда под ним струится кровь».

Ой ли? Великое заблуждение оплачено великой кровью, заставляющей в нем усомниться.

Так что — напрасно лилась кровь?

Напрасна вера в безусловную прочность возведенного на крови. Убежденность: иначе быть не могло. То-то и оно — могло. История, полагал Пушкин, отнюдь не фатальна, не все в ней предопределено. Человек должен делать выбор. Но для этого как минимум надо быть человеком.

В очерке «Страх перед морозом» А. Терехов хочет понять и объяснить нашу покладистость, готовность терпеть. Не все в его рассуждениях меня убеждает. Не думаю, будто история научила нас дисциплине. Скорее — мы отучились от нее. Но он прав, говоря о людях, лишенных возможности выбора, то есть свободы.

Над двадцатилетним прозаиком личный опыт обладает непререкаемой властью, и, если он в состоянии этот опыт воспринять иронически, пусть и горька ирония, есть основания говорить о запасе душевной прочности. Ее-то не хватило одному из героев «Зёмы», выпускнику Щукинского училища Пыжикову: ему уже не суждено подняться на театральные подмостки. Он сломан, перемолот, армейская машина всосала жалкие его остатки, отформовала из них подобие человека, припечатав на плечи погоны прапорщика.

Как раз Пыжиков более всего возмущался порядками на гауптвахте, жаждал протестовать. А рядовой Курицын, от имени которого ведется повествование, хотел понять, почему обыкновенные ребята, прослужив год в армии, превращаются в извергов. Он пытается втолковать Пыжикову: вся армейская система, да и сама жизнь готовит дикое превращение, исподволь начавшееся до призыва. Однако рассуждения Курицына способны привлечь не столько логикой, сколько убийственной иронией.

Слова Булата Окуджавы «Хватило бы улыбки, когда под ребра бьют», написанные, возможно, до появления на свет Александра Терехова, не следует толковать буквально.

Однако Курицына бьют отнюдь не в фигуральном смысле. Бьют смертным боем, окунают головой в унитаз.

Этого «шестидесятник» Окуджава, кажется, не предполагал. Но герой А. Терехова попадает в такой именно оборот и — улыбается. «...Меня очень волновала боль в животе и крупно занимала мысль: что на практике означает расхожее выражение — опустить почки?»

Ирония не снижает напряженность ситуации и напряженность повествования, уровень серьезности не падает (А. Терехова обычно привлекает серьезное). Ирония спасительна. Надеяться не на кого и не на что. Курицын не вожак, он не ищет единомышленников. Это тогда, в шестидесятые, «Мы здесь живем», «Коллеги», «До свидания, мальчики». Тогда были идейно-нравственные борения, была корпоративность: мы — они, поглядим, чья возьмет. Сейчас хорошо бы сохранить ребра, сохранить зрение и слух, способность улыбаться. Сохранить себя, свое «я». Не так-то уж много. Но и не так-то легко. Против тебя власть, сила, великое преимущество жестокой и агрессивной безнравственности.

Понятие справедливости настолько искажено, что обыкновенный солдат высшую цель видит не в исправлении нравов, по сравнению с которыми бурса — институт благородных девиц. Он сам мечтает о власти, позволяющей над кем-то изгаляться: «Я всласть позверствую... Раз нас, значит, и мы должны. Традиции это армейские».

Идейно-нравственное противостояние при таких традициях исключено, ибо нравственность уже отсутствует. Но стихийно зарождается некое подобие идеологии. Даже не зарождается, а перенимается.

Часовой в Алешинских казармах требует, дабы затурканный, забитый Пыжиков величал его «господином штандартенфюрером». Если всех среднеазиатов именуют «урюками», украинцев — «хохлами», если кулак почитается доказательством правоты, почему бы всесильному в эту минуту часовому не осуществить свою голубую мечту и не произвести себя в «штандартенфюреры»? По простоте душевной он всего лишь выбалтывает то, что иной лелеет в душе, ожесточаясь от невозможности полностью добиться сво-

его, но и не теряя надежды выбиться в какие-нибудь «фюреры». Возможно, литература откроет нам еще и эту драму. Драму несостоявшегося гауляйтера, не реализовавших себя Эльзы Кох или коменданта Освенцима оберштурмфюрера Рудольфа Хёса...

В мире смещенных понятий, который представлен в «Зёме», сюжетно связаны два эпизода, удручающие своей обыденностью. Случайность связи между ними кажущаяся. Рассказчику и его дружку не обязательно было попадать на гауптвахту. Но порядочки на гарнизонной гауптвахте обязательно были бы такими. Их неизбежность предопределена и общей армейской обстановкой, и операцией по перевозке «бабульки» в интернат, когда солдаты вопреки всем правилам и уставам, вопреки простейшим этическим нормам используются как личная обслуга старенького генерала. «Бабулька» все еще блаженно пребывает в мире классовой борьбы, полна революционного энтузиазма, не догадываясь: она давно уже в кастовом обществе, настырно выдающем себя за образец общественной справедливости. Для ее сына генерала это настолько очевидно и нормально, что он не обременяет себя демагогией, не благодарит солдат-прислужников, а на радостях (сбагрил мамашу) дает им на чай пятерку.

Армейский опыт, приобретенный А. Тереховым, вполне определенен, как и авторские обобщения, не претендующие на всеохватность. (Такая всеохватность свойственна заметкам «Несколько вариаций на одну тему», скрепленным общим названием «Жестокое счастье». Идея Фонда социальной справедливости привлекательна, но утопична. Фондов у нас нынче хватает, однако не хватает доказательств, что чем их больше, тем выше уровень социальной справедливости. Она, подозреваю, зависит не столько от числа фондов и сумм пожертвований, сколько от государственных структур. Нынешние структуры сводят к минимуму многие благие начинания...)

Автора «Зёмы» гнетет казарменная обстановка, дикость нравов, и он под усмешкой прячет отчаяние. Не лучшее это состояние для того, чтобы воспарить, расправить крылья. Однако расправил. Пускай «крылья» звучат несколько высокопарно и диссонируют с эстетическим принципом молодого писателя. Замечу в свое оправдание: он тоже иной раз грешит больно уж красивыми метафорами. («Огромный парус синевы с белыми заплатами облаков», «врачуя сердечную боль непрочным бинтом жесткой тишины...»)

Не одобряя таких красот, лексических изысков, попытаюсь их объяснить. Видно, сжатое до предела пространство, охватываемое повестью, смрад гауптвахты обостряют потребность в иной жизни, иных словах и красках. Когда писалась повесть, иным для А. Терехова чаще всего была литература, она нашептывала эпитеты, подсказывала метафоры. В позже написанных очерках и репортажах А. Терехов более незавнсим и взыскателен в выборе средств художественного выражения. С любопытством и не без легкой усмешки рассказывает об успехе «девушки нашей мечты» Натальи Негоды, с великолепным молодым презрением — о «Жанне д'Арк-90» Инне Андреевой, со сдержанным ужасом — о психовозках для душевнобольных. Но чтобы обрести такую широту и определенность, ему пришлось пройти через все унижения, надругательства, казарменные мерзости.

Этот тезис, вероятно, кого-то шокирует. Не моя в том вина, и я менее всего оправдываю солдафонство. Только хочу напомнить: война сделала В. Быкова, В. Кондратьева, В. Богомолова, Б. Слуцкого такими, какими они достойно вступили в литературу. Надеюсь, меня не заподозрят в апологии войны или в том, что без войны они не стали бы писателями. Конечно, стали бы. Но другими.

А. Терехов и без казармы обрел бы себя в литературе. Но раз уж довелось служить, ничего не остается как, сберегая внутреннюю независимость, вопреки всему копить энергию свободного творчества, сосредоточенно наблюдать людей по обе стороны забора между казармой и другой жизнью. Однако вопрос: насколько она другая?..

В кузове «ЗИЛа» солдат провозят по городу, и они по-жеребячьи хохочут, разглядывая каждую юбку, их комментарий я даже не решаюсь цитировать. Здесь не ханжество. Но прочно где-то сидящее деление на «можно — нельзя» в литературном тексте. В устной речи эти градации давно отброшены, и литературный язык отделяет от обиходного все более глубокая пропасть. Этот объективный процесс по-своему отражает жизненное неблагополучие, утрату моральных ценностей, нарастающее раздражение. Литература неизбежно вовлечена в этот процесс. Хотя вряд ли должна проявлять покладистость. Художник устанавливает границы, сообразуясь не только со своим вкусом, но и с жизненной реальностью, житейским контекстом.

Солдатская «феня» — лексический бунт против окостеневшей уставной терминологии, казенщины политзанятий, против дистиллированного ханжества печати, тупой бессмысленности лозунга «Животноводству — ударный фронт». Ну, а относительно русского бунта сказано еще Пушкиным, и ничто пока не опровергло сказанного.

А. Терехов сознает упрямую неизбежность словаря своих героев, далеко не всегда адекватного душевному состоянию. Репликам, цинично оценивающим женские достоинства «сосок», предшествует абзац:

«Ох, как мы ехали по весне, расплескивая радость на обочины и раздевая взглядом попутных баб и «сосок». И было нам по девятнадцать, и ни черта мы не смыслили ни в чем, и ох, как нам весело было, и смеялись до визга шипящего и слез, матерились вперебой... Да и много ли нам надо — мы молоды, мы одни, работы нет, живы-здоровы наши родители — и хватит».

Рассказчик разделяет общее веселье и отпускает сомнительные шуточки. Но беспощадно видит и себя, и своих незадачливых приятелей, чьей радости не дано вылиться иначе, чем бурным каскадом непристойностей. Они счастливы, что живы-здоровы родители, но слово «мать» употребляется в их репликах лишь в том смысле, когда оно корень матерщины.

Смущенно морщишься — слишком непривычно такое на типографски отпечатанной странице. Но возмущаться прежде всего надо жизненными обстоятельствами, неутолимо рождающими «феню». Желательно разглядеть причины. Чтобы не тратить понапрасну пыл в борьбе со следствиями.

Армия и демократия — вещи трудно совместимые. Однако предстоит их совместить. Иначе ничего путного не получится, и шумно провозглашенная «борьба с негативными явлениями» останется очередной пустопорожней кампанией. Истина проста: у генерала и у солдата неодинаковые обязанности, но одинаковые человеческие права. Остальное — от лукавого. Это и доказывает рядовой запаса А. Терехов.

Ему все-таки подфартило. Его рукописи не пылятся в письменном столе, быстро получают путь к печатному станку. Но повезло и читателю, повезло и редакциям. Повезло мне, получившему возможность не оглядываться по сторонам, сказать доброе слово о молодом прозаике.

В. Кардин

Реставрация были

Дальневосточный прозаик Ю. Кашук уже год одаривает «Книжное обозрение» — а значит, и нас с вами — яркими статьями. Для двух из них поводом были издания «Краткого словаря по научному коммунизму» и двух статистических сборников по труду и народному хозяйству в СССР. Размышления над дефинициями и цифрами, кривозеркально отражающими современную реальность (и в какой-то мере кривозеркально на нее влияющими), оформились в страстный памфлет, основной звук которого можно было бы назвать колокольным,— так тревожен он своей обнажающей звучностью и, главное, призывом к разумному покаянию. «Нам бы, не ослабляя осмысления сталинизма и его корней, с такой же ясностью зрения обратиться бы к десятилетиям, которые уже при нас состоялись, уже с нашим участием. Потому что «бывали хуже времена, но не было подлей». Но у «подлых времен» своя логика, свой миф... Свое развитие,— дополняет Ю. Кашук, извлекая на свет очередной ученый труд, из тех, что изначально боятся света, взгляда, тем более анализа, а то и элементарного прочтения, труд с характерным (до безумия) названием: «Человек нового мира: проблемы воспитания». Опять этот пресловутый «новый человек»! Кашук по сему поводу остроумно предлагает «опыт параллельного чтения»: с одной стороны, коллективный ум редакционно-издательского совета МГУ, а с другой — просветленный христианский ум самого Николая Бердяева. Читатель понимает: слишком неравные силы, весовые категории, так сказать, разные, но Ю. Кашук совершенно справедливо восклицает: «А поделом! — тем более что бердяевские «Истоки русского коммунизма» говорят именно о «русской душе», которая и позволила (и позволяет до сих пор) разного рода кафедрам теории и практики коммунистического строительства (то есть строительства «нового человека») проводить эсхатологические опыты над нею.

Юрий Кашук приводит знаменательные слова Николая Бердяева, которые пригодятся нам при разборе романа самого Ю. Кашука. Именно в этих словах видится переход от штампованной чиновничьей мысли к идее покаяния современного писателя.

Роман «Железная береза» окончен, судя по пометке автора, в 1981 году. «Время еще то!» — скажет обыкновенный читатель. Но вышел роман в 1989-м. «Значит, не давали хода»,— решит проницательный и будет, видимо, прав. Профессионального же читателя заинтересует несколько иной аспект: что в романе такого, что, возможно, задержало его выход в «те» времена, и как то, что задержало, смотрится сейчас?

Начинается роман сказом про праведную землю Беловодье, которую в конце прошлого века открыл перехожий монах Степан. «Праведный люд здесь и жил, пока не сокрылся на тайный остров, чтобы отдать место обыкновенному народу». Праведность земли была явлена переселенцам через плодородие почвы, обилие рыбы и зверья, через магические места, скреплявшие обычаи пришлых российских и казацких родов с вертикальной

Юрий Кашук. Железная береза. М., Советский писатель, 1989. Публикации в еженедельнике «Книжное обозрение», 1989—1990.

традицией местности, память которой, по воле автора, связала в одно и палеолит, и народ сушеней, и могущественное царство чжурчженей, и — что однородно по силе катаклизма — годы гражданской войны за Советскую власть. Таинственный Купол-Пантеон, где нашли покой древние воины и красный партизан Леонтий Табунов,— это живое, творящееся предание, в котором одновременность означает неугасание древнего мифа, возрождающуюся от мифа историю. Тема архетипического наследства (даже от другой нации), преемственности (через природу, красоту, труд), тема вневременной связи людей — опорная в романе Юрия Кашука. Прослеживание этнических пластов Приморья, сказовая фокусировка на них — на сколько хватило исторической памяти — есть, по сути, оживление символа. В данном случае — символа, вынесенного в название книги,— Железной березы, то есть дальневосточной России. России 1919 и 1920 годов, оккупированной, партизанской.

Для Ю. Кашука реставрация истории или былей — а именно так называются главы романа — неизменно проходит через конкретного человека, носителя исторического смысла, через его психологию, которая, в свою очередь, крупным мазком ложится на полотно истории. Таковы жизнеописания династических вожаков красных партизан — братьев Табуновых, их колоритных жен, поэта и большевика Каторгина, который в революции нашел преодоление философских противоречий, дельца Лабутина, сутенера и самозванца Ивана Непомнящего и других, вносящих свой цвет в палитру Великого Перелома. Автор не только сохраняет цвет каждой личности, но и усиливает его,— как и положено для тех, кто на краю гибели, гражданского и духовного исчезновения, и для тех, кто на краю Пантеона, кто вместе со смертью за новый строй обретает, по мысли автора, бессмертие, входит именным звеном в структуру вертикальной памяти. Это погибшие братья Табуновы, легендарный Лазо и другие красные партизаны.

«Э-э!..— разочаруется обыкновенный читатель.— Подобных картин я насмотрелся и в «те» времена. Что ж здесь нового?» — «Не торопитесь, любезный! — ответит читатель проницательный.— Расставленные акценты... талоны на вечность, так сказать... еще ничего не значат. Это, возможно, дань традиции, н а ш е й традиции. Может быть, там, внутри, все амбивалентно. Недаром ведь сквозь роман золотой нитью проходит философский спор между революционным поэтом Трояновым и скептиком восточного уклона Граженем. А философия, скажу я вам, дело темное...» Профессиональный же читатель профессионально вчитается в спор двух интеллектуалов. Это спор идейный. На нем держится оправдание самого действия, сюжетных разворотов и приема, на нем в конце концов держится и самое существенное в романе — преемство мифа, уходящего в глубь веков, продолжение эпоса.

Итак, спор поэта-большевика и российского даоса. Любопытно в этих диалогах вот что: спорщики говорят как будто об одном, стараются подловить друг друга, смутить, и временами, судя по ремаркам автора, это удается, но если вникнуть в с м ы с л аргументов каждого, то получается так же, как в случае со сбитым прицелом: собеседники то ли сидят далеко друг от друга (хотя и могут передать друг другу чашку), то ли как в анекдоте — опираются на разные значения слова; последнее особенно странно, так как Троянов в прошлом штудировал востоковедение. Гражень: «Вы разделили мир на черное и белое, на своих и чужих, или — или, кто — кого... А мир один. Он и не знает, и не ведает про человеческие разделения его на свет и тьму. На хорошо и плохо. Свет и тьма только в художественном воображении противоборствуют. Свет становится тьмой, тьма светом, и нет им дела до наших вымыслов... Что мне зло, то вам добро. И что ни возникает в мире — не остается неподвижным, а претерпевает перемены. Все в мире изменчиво, лишь круг перемен неизменен...» Заметим, что разговор происходит в отстроенном среди тайги китайском чайном павильоне, где вся обстановка настоящая, даже живой буддийский монах; он-то и вторит чудаку хозяину, цитируя то Конфуция, то Будду. Алексей Троянов парирует: «Вне осуществления нет Пути». Как будто бы и в лад, но не о том: разная глубина семантики. Ведь, по даосскому канону, осуществление пути — осуществление не-деяния.

Когда Гражень говорит: «Не так уж я его возношу высоко, разум наш человеческий. И не потому, что он слаб, нет, я цену разуму знаю, велик он и необъятен. Но он только часть мира, и не объять частью весь мир»,— и страшно пророчествует: «...Истребите хищников — вас же грызуны сожрут. Расплодятся в неисчислимом количестве и сожрут». Троянов в простоте душевной (то есть формальной) указует на логичность смен формаций: «Но мы-то, коммунисты, большевики, тоже не с неба свалились, так ведь? Естественным путем произошли в российской действительности. Родитель у социализма, у рабочего класса — не кто-нибудь, а история. Авраам роди Исаака, капитализм роди социализм... Мы тем и сильны, что корни свои знаем, родство свое помним». Правда, о корнях и родстве Троянов благоразумно умалчивает, а Гражень, к сожалению, не интересуется, зато простота, как рычаг обусловленного психологизма, здесь в действии. Логика коммунизма, «разумно устроенного общества» притягательна своей простотой: «Принцип-то прост, и расширительное толкование здесь неуместно(!): каждому по потребностям, от каждого по способностям. И чтобы любой, понимаете — любой, а не случайно попавшийся на глаза благотворителям,

мог свои способности осуществить». К слову сказать, внутреннюю темноту и противоречивость верховного принципа коммунизма сам Троянов смутно ощущает, да и мудрый юноша Леонтий мучился от заглядывания вглубь. Но если Леонтий был жителем простоты, то Каторгин-Троянов — ее заложник, а то и охранник в придачу. Здесь важно выяснить: откуда исток е г о простоты? На что она реакция? Автор по этому поводу говорит прямо: простота Троянова классового происхождения. Дело в том, что он сын заводских рабочих, но образование получил на денежки «благотворителя», на которого он и посетовал в разговоре с Граженем. Почему посетовал? Да потому, что благодетель, непрошеный, конечно, сослужил ему плохую службу: вытянул из пролетарской среды, лишил изначальной простоты, отравил художественной сложностью, научил ставить вопросы, на которые нет ответа, и т. д., т. е. усложнил натуру, что само по себе, может быть, и хорошо в мирное, склонное к созерцанию время, но в лихолетье классовой борьбы излишняя сложность мешает.

Простота агрессивна: она любит разделять, а разделяя — властвовать; власть этой — д у р н о й простоты (которая, как известно, хуже воровства) держится на максиме: кто не с нами — тот против нас. Вопрос об исключительности — а логика простоты не терпит исключений — Троянов для себя и для «будущего разумного общества» решает просто: «...Станет эта Ячность таким же врагом, как теперешняя частная собственность,— и придется ее срывать с дороги, потому что не обойдешь...» Гражень рассуждения Троянова метко называет дилетантскими, подразумевая, что к власти приходят дилетанты.

«Так что же все-таки во всем этом крамольного? — спросит простой читатель.— У нас — убежденность. У них — ан... аб... амбивалентность. Мы были правы, потому и победили».— «Не надо так упрощать,— ответит проницательный читатель.— Автор формировался, рос, так сказать... от романа к статьям. Его мысль конкретизировалась, окрепла. Об этом говорит идея покаяния, с которой он начал одну из статей. Поэтому противоречия между романом и публицистикой я не вижу. В конце концов это н а ш, сегодняшний путь. Обычный путь многих». Профессиональный же читатель процитирует И. Р. Пригожина: «При всем желании невозможно описать для вас мир таким, каким он вам нравится». Процитирует вслед за самим Ю. Кашуком, но только обращаясь уже к нему самому. Тем самым профессиональный читатель скажет, что метод, который был положен в основу работы над материалом, предопределил возвратную траекторию сей замечательной цитаты. Имя этого широко распространенного «по Министерству соцреализма и при Министерстве коммунистической умственности» метода — обусловленный психологизм. Говоря проще, это когда автор з н а е т, что доказывает уже доказанное, что исход литературной игры предрешен, потому что давным-давно и прочно предрешен исход идеологической игры. Автор может позволить себе лишь внутренние борения героев, да и то лишь на весьма скромном «пятачке» сознания. В философском споре большевика и собственника нет ничего «амбивалентного», но, видимо, сам спор испугал редакторов, задерживавших издание рукописи в «то» время, хотя роман-то написан по законам «того» времени, точнее — по заказу, растворенному, витавшему в «том» воздухе.

Рецензенту думается, что писатель о б я з а н работать со стихией, а не с установкой, с неожиданным, а не с ожидаемым и — не завися от времени!

Михаил Умнов

Из почты «Знамени»

Уважаемый редактор, уважаемые члены редколлегии журнала «Знамя»!

В восьмом номере вашего журнала за 1990 г. напечатана превосходная рецензия Сергея Бурина на книгу устных рассказов Михаила Ромма. Считаю необходимым уточнить для читателей лишь одну деталь: Семен Семенович Дукельский из одноименного рассказа М. Ромма — не «чуть ли не из органов», как пишет автор, а человек, занимавший крупные посты в ЧК, ГПУ, НКВД. Он автор книги «ЧК — ГПУ» о красном терроре на Украине (Государственное изд-во Украины, 1923 г.), в 20-е гг. был председателем Одесского губернского отдела ГПУ, а в 30-е — начальником секретного отдела управления полномочного представителя ОГПУ по Центрально-Черноземной области в г. Воронеже.

В 1930 г. именно С. С. Дукельский руководил фабрикацией дела «Трудовой Крестьянской партии» в ЦЧО. Несомненно, что вовсе безосновательное выдумывание и вымучивание этого «дела» нанесло непоправимый урон нашему краю и обществу в целом. Были арестованы и заочно осуждены на расстрел или годы концлагеря вузовские профессора А. Н. Минин, Ф. В. Чириков, Б. Л. Брук, В. И. Иванов, Г. М. Тумин.., научные сотрудники И. Г. Бейлин, П. М. Писцов, А. П. Урусов, Ф. М. Семенов, Н. А. Меркулов, П. К. Нечепаев, Н. Н. Пекгольд, мой отец Б. П. Базилевский.., уездные агрономы Ф. В. Березников, В. Д. Дементьев, Н. А. Ковбасенко, Б. В. Потулов, И. С. Подсвиров.., 176 крестьян опытников — всего по делу «проходило 779 человек... Осуждено 547 и выделено в особое производство 100 чел.» (дело № 107337, т. 9, л. д. 222 — хранится в архиве УКГБ по Воронежской области).

С. С. Дукельский вместе с Ильиным, Яньшиным, Розенблюмом и другими коллегами лично допрашивал ложно обвиненных по 58-й статье и искал способы, как добиться от них признаний в преступлениях, которых они не совершали.

Все распоряжения по делу ТКП в ЦЧО утверждались С. С. Дукельским, все решения коллегии ОГПУ, смертные приговоры производились с его «подачи»

Зловещая личность С. С. Дукельского, нарисованная М. Роммом, особенно убедительна именно потому, что писал о нем не подследственный, а как бы независимый человек со стороны.

В 1957 г. все проходившие по «делу ТКП» были реабилитированы.

Прошу опубликовать мое письмо, потому что хочу, чтобы читатели М. Ромма и читатели Вашего журнала знали эти факты.

Валентина Базилевская,
член общества «Мемориал»

г. Воронеж

Главный редактор **Г. Я. БАКЛАНОВ.**

Редколлегия: **С. С. АВЕРИНЦЕВ, Ю. С. АПЕНЧЕНКО, Д. А. ВОЛКОГОНОВ, В. П. ГЕРБАЧЕВСКИЙ** (зам. гл. редактора), **Ю. А. ДРУНИНА, С. Н. ЕСИН, Г. А. ЖУКОВ, Е. А. КАЦЕВА** (отв. секретарь), **В. Л. КОНДРАТЬЕВ, В. Я. ЛАКШИН, В. С. МАКАНИН, В. Д. ОСКОЦКИЙ, В. Ф. ТУРБИНА, Я. А. ХЕЛЕМСКИЙ, Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО, С. И. ЧУПРИНИН** (первый зам. главного редактора).

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный редактор — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-82, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 921-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 10.12.90. Подписано к печати 04.01.91. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая. Усл. печ. л. 21,0. Усл. кр.отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27.
Тираж 121 000 экз. Заказ № 3147. Цена 1 р 90 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.